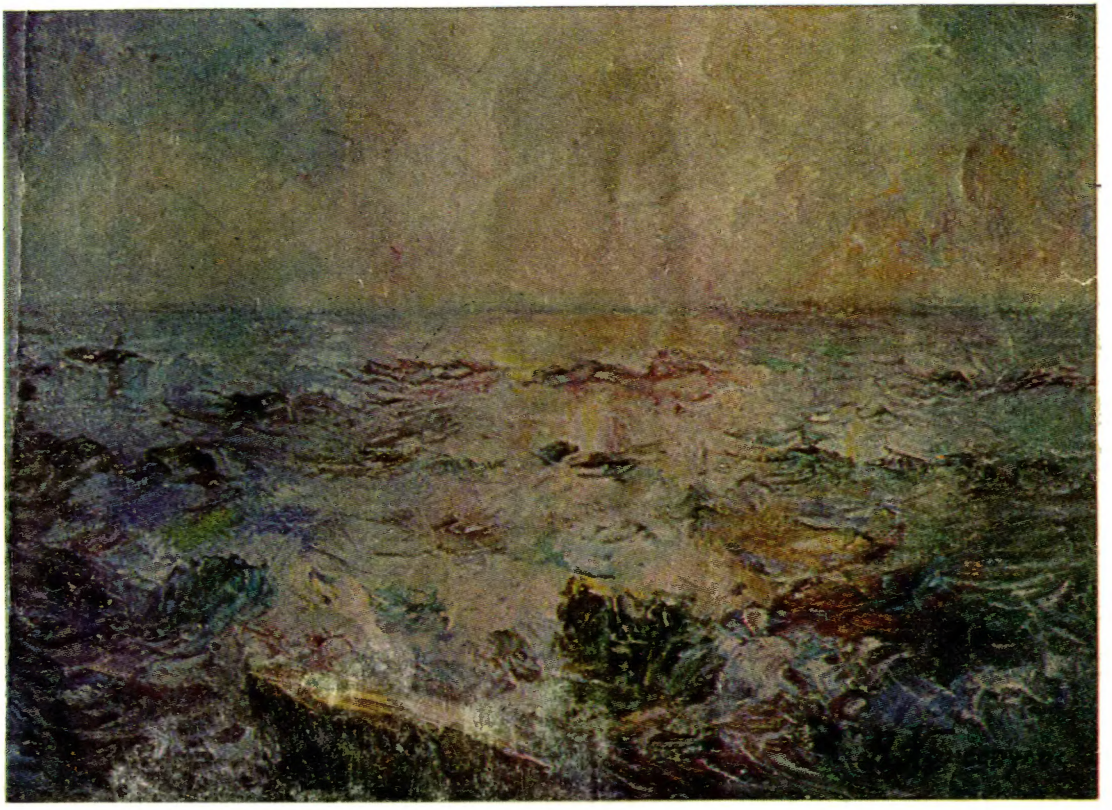
ISSN 0130–6545

7.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



работы болгар

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 Июль 1980

Содержание

ВЛАДИСЛАВ ТЕРЛЕЦКИЙ — Дом *(Новелла. Перевод с польского К. Старосельской)* 3

Из японской поэзии

САЙСЭЙ МУРО. КОТАРО ТАКАМУРА *(Перевод с японского и вступление Веры Марковой)* 34

МЮРИЭЛ СПАРК — Мисс Джин Броди в расцвете лет *(Роман. Перевод с английского Алексея Михалева)* 42

ЖОРЖИ АМАДУ — Возвращение блудной дочери *(Роман. Перевод с португальского Юрия Калугина)* 115

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — Испанец *(Роман. Окончание. Послесловие Бернара Клавеля. Перевод с французского Тамары Ерофеевой)* 148

К 25-летию журнала «Иностранная литература»

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — В русле времени и творчества 205

Чудо встречи. Несколько мнений советских писателей. ГЕОРГИЙ МАРКОВ. ЮРИЙ БОНДАРЕВ. МИКОЛАС СЛУЦКИС. ЮРИЙ ТРИФОНОВ. ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ. САВВА ДАНГУЛОВ. СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН 213

Критика

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ — Причудливость вымысла и строгость правды. (Заметки о творчестве Мюриэл Спарк) 221

Публицистика

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Канун *(Перевод с польского Э. Венгеровой)* 228

АЛЕКСАНДР БОВИН — Иранская революция (Хроника, документы, размышления) 244

Антирубрика

ГЕНРИК БАРДИЕВСКИЙ — Диалоги и сценки *(Главы из книги. Перевод с польского Елены Ризкиной)* 255

Среди книг

Издано в СССР

Советские писатели о зарубежной литературе. Михаил Рощин — Призма Габриэля Гарсиа Маркеса ✦ В. Турбин — Андерсен, его жизнь и бессмертие ✦ Лев Озеров — Испания в сердце 258

Из месяца в месяц 266

На обложке: репродукция картины болгарского художника ЯНИ ХРИСОПУЛОСА. (Статья о творчестве художника будет опубликована в очередном номере журнала.)

© «Иностранная литература», 1980 г.

ВЛАДИСЛАВ ТЕРЛЕЦКИЙ

Дом

НОВЕЛЛА

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Она подумала, что все это когда-нибудь сожжет: картины, которые расставила в парке среди деревьев, дом, такой старый, что уже можно писать его долгую историю, может быть, и того старика, что в пропахшем нафталином парадном костюме стоит в окне мастерской и щурит глаза от яркого света, ну, а если хватит отваги, сгорит и она сама — главное действующее лицо этой драмы, как сказал во время телефонного разговора последний наглец, которому она обещала показать дом и картины. Еще она подумала, что здесь все как на сцене, хотя сама она последние годы только и делала, что избегала людей. Ей не нужны были зрители. Любопытные, которые бы вечно подсматривали, какова она в роли няньки. Впрочем, ее усилия почти не приносили результатов, потому что враги, которых она боялась, были, к сожалению, всюду. К каким только ухищрениям они не прибегали, чтобы сюда проникнуть. Например, прикидывались туристами, приехавшими отдохнуть у реки или половить рыбку, или служащими из городка. Явных врагов она отвадила раз и навсегда, и они больше носу не казали, разве что присылали время от времени какие-то писульки, которые она, не читая, кидала прямо в печку. Все до единого представлялись доброжелателями. Она настолько привыкла к мысли, что его друзья — ее враги, что всякий, кто заговаривал о преданности и добрых чувствах, сразу вызывал недоверие. А поскольку они отличались коварством и в сметливости им нельзя было отказать, ей приходилось постоянно быть начеку, чтобы не попасться на удочку. Перед одними она играла роль свирепой фурии, готовой на любого спустить собак, для других выступала в образе усталой, многострадальной женщины, заслуживающей сочувствия. До недавнего времени она считала, что после смерти мужа — никогда, кроме той единственной минуты, когда она решила, что сожжет дом, ей в голову не приходило, что это могла быть смерть внезапная, подкравшаяся из-за угла,— продаст, хорошенько поторговавшись, все, что скопилось в мастерской и на чердаке: скульптуры, картины, рисунки и бумаги, которые он за свою жизнь успел исписать. Получить

© «Twórczość», 1979.

ВЛАДИСЛАВ ТЕРЛЕЦКИЙ — WŁADYSŁAW TERLECKI (род. в 1933 г.).

Польский писатель — прозаик, публицист, сценарист. Дебютировал как журналист в 1955 году. Автор нескольких исторических романов, в том числе «Заговор» («Spisek», 1966), «Возвращение из Царского села» («Powrót z Carskiego Sioła», 1973), «Две головы птицы» («Dwie głowy ptaka», 1978) и др., а также повестей, эссе, рассказов.

Предлагаемая вниманию читателя новелла «Дом» была напечатана в журнале «Твурчость» (№ 10, 1979).

она должна порядочно. Теперь уже — хотя ей не хотелось пока ничего трогать — сулили золотые горы. А с деньгами, думала, она устроит себе жизнь спокойную и обеспеченную. Сплошные радости и удовольствия. Полная свобода. Потом, однако, такие мысли перестали появляться. Когда это случится, она будет старой женщиной. Какие уж тут удовольствия? Напротив, деньги, что окажутся в ее распоряжении, обесценятся. Она будет злой и ожесточенной. Жизнь на его деньги — если так представлять себе будущее — утрачивала всякую прелесть. Поэтому лишь в тот день она подумала, что однажды разведет здесь огонь, пусть останется только зола и обуглившийся камень. Свидетельство неудавшейся жизни. Старый дом, в котором она жила, сохранился как воспоминание о лучшей жизни. Но то время принадлежало другим, давно уже умершим обитателям этого дома. Жив был только последний его владелец. Все вокруг постепенно менялось. Мир с каждым днем становился хуже, острее ощущалась безнадежность этой равнины — и в доме, и в парке, который до сих пор не погубили, не вырубили деревьев, потому что территория была обнесена высокой каменной оградой. Весна и лето точно взрывались, выплескивая новые, все более резкие краски,— ведь дом принадлежал художнику, и это не могло не оказывать магического влияния на все, что творилось вокруг,— однако то, что было видно с обрыва, вызывало гнетущую тоску: уродливая гостиница на берегу реки, городишко с нелепыми домами, которые понастроили владельцы теплиц и садов, снабжающие фруктами столицу; на всем лежала печать безнадежности. Так что и пейзаж менялся, а дом стоял и стоял, словно памятник, наперекор уходящему времени. Реликт более прекрасного прошлого — так, по крайней мере, она думала,— когда в воздухе еще не чувствовалось, что время, которое придет, будет суровым и неблагосклонным к людям, что оно принесет войны, отчаяние, ощущение бессилия. Прошлое это витало над равниной в монотонной круговерти дней и времен года. Трудно даже было оценить размеры надвигающейся катастрофы всеобщего уничтожения, которая — она часто об этом думала — должна все же когда-нибудь разразиться, чтобы живущих здесь людей превратить в ангелов. А пока — она улыбалась этим мыслям — ангелы едва шевелили переломанными грязными крыльями, тоскуя по вольному пространству, где можно дышать легко, полной грудью. Способен еще был запертый в мастерской старый художник все это видеть или он замечал только белые, ровно обрезанные листы картона и коробки с красками? Чего оставалось ждать? И тот мир, который он продолжал создавать вопреки слабости и болезням, существовал только как памятник безвозвратно утраченному времени. Следовало бы — все чаще приходило ей в голову — уничтожить это все, чтобы место, где он сейчас живет, уподобилось своей уродливой серостью тому, что видели глаза за оградой... Утром она надела свое лучшее платье. Накануне побывала у парикмахера. Там ее, конечно, узнали. Старый парикмахер, его помощник и уборщица. Она заметила, как они удивились, будто увидели по меньшей мере привидение. Сказала им, что завтра к мужу приезжают снимать фильм. Надо и себя немного привести в порядок. Они стали спрашивать, как он теперь себя чувствует.— Раньше,— парикмахер улыбался бледными узкими губами,— он часто появлялся в городе и сюда, в парикмахерскую, заходил иногда поболтать.— Раньше,— спокойно ответила она,— ему не было восьмидесяти лет и он не был так болен, как сейчас.— Ну да! — вздохнул парикмахер.— Моложе был, это верно. Мы его очень любили.— Его есть за что любить,— резко бросила она... У парикмахера были желтые лживые глаза. Их взгляд напомнил ей взгляд кошки, вспрыгнувшей на подоконник и подстерегающей птиц. Она следила, как он укладывает волосы.— Это правда,— не выдержал и снова спросил он,— что вы не впускаете в дом почтальона? — Правда,— ответила она.— Зачем его впускать, когда на воротах висит почтовый ящик, куда можно опускать

письма? Или прикажете всякий раз выбегать к нему, открывать ворота и угощать ежевичной наливкой?— Она усмехнулась. Раньше, когда еще почту развозил другой почтальон, который сейчас уже на пенсии, старик всегда угощал его на террасе рюмочкой наливки и выслушивал местные сплетни, что явно доставляло ему огромное удовольствие. Обычай этот они, видно, запомнили.— И врача тоже? — продолжал расспрашивать парикмахер, заметно осмелев после вежливых ответов.— Я не доверяю этому фельдшеру,— она все еще старалась отвечать спокойно, чтобы они чего-нибудь не заподозрили.— У меня есть другие знакомые врачи, они могут в любой момент к нам приехать,— врала, улыбаясь.— Кроме того, я верю в лечение травами. Рецепты, которые нынешние доктора выписывают направо и налево,— чистый обман.— В таком преклонном возрасте...— начал парикмахер.— А разве вы,— перебила его она,— не ходите к знахарю? — В городке огромной популярностью, о чем она не раз слыхала, пользовался некий пенсионер-железнодорожник, лечивший местных жителей. Она была уверена, что и парикмахер к нему захаживал.— Конечно ходим,— отозвался помощник, до сих пор молча прислушивавшийся к разговору.— Но это совсем другое дело! — сощурился парикмахер.— Мы люди бедные и на серьезные болезни, слава богу, не жалуемся.— Мы тоже, с вашего позволения, не богаты,— сказала она,— хотя все кругом говорят, будто у нас денег куры не клюют. Сейчас за картины не платят столько, сколько платили раньше. А кроме того, муж уже давно ничего не рисует. Откуда взяться деньгам? — Я слыхала, что аптекарь,— вмешалась уборщица,— недавно продал одну его картину за большие деньги. Он ее получил когда-то в подарок.— Ну и что? — через силу улыбнулась она, подумав, что вот еще одному посчастливилось.— Ему повезло, но я вовсе не уверена, что это действительно были большие деньги. Люди чего только не рассказывают...— Это посещение парикмахерской очень ее утомило. Вдобавок она была недовольна укладкой. Прическа ее старила, волосы порыжели, лежали плохо. Не хотелось смотреть на себя в зеркало. Она встала очень рано, чтобы успеть все приготовить. Заколола волосы и подумала, что теперь выглядит прилично. Потом разбудила старика. Помогла ему надеть извлеченный из шкафа парадный костюм. Он двигался совершенно безвольно, как манекен.— Ну, как? Я рада,— говорила она, причесывая его,— что ты как следует выспался. Впрочем, ты всегда хорошо спишь. А они здесь долго не задержатся, можешь быть спокоен. Надеюсь, ты примешь их соответствующим образом. Не обязательно отвечать на все вопросы, запомни. Знай себе цену. Не то они вцепятся в глотку и нам никогда от них не избавиться. Я сказала, что у тебя мало времени и мало сил. Они воображают, будто своим приездом доставят нам превеликое удовольствие. Постарайся дать им понять, что нас они совершенно не интересуют и никого здесь не осчастливят. Наверняка тебя спросят, когда ты написал картины, которые я расставила перед домом, потому что не хочу пускать их в мастерскую. Если сочтешь, что на этот вопрос стоит ответить, говори правду. Написал в последнее время. Еще им хочется знать, как ты работаешь. Я сказала, что сама все объясню.— Она принесла щетку и стала счищать перхоть, осыпавшую воротник.— Они должны быть счастливы, что ты уделишь им несколько минут. Все сделают и оставят нас в покое.— Она отступила на несколько шагов — посмотреть, хорошо ли его причесала.— Замечательно! — порадовалась.— Увидишь, как они удивятся, что, когда ты к ним выйдешь...— Подала ему трубку и коробочку с табаком.— Знаешь, что говорят в городе? — она вспомнила о своем вчерашнем посещении парикмахера.— Что ты давным-давно умер, а я скрываю твою смерть от мира. Скажи на милость, зачем бы я стала это делать? — рассмеялась она.— Вот и пусть увидят, что ты держишься великолепно и что в этом, черт подери, есть и моя заслуга...— Она подождала минутку.— Разумеется, ты не обязан им это говорить, хотя не скрою, мне было бы приятно. Полагаю, я заслужила

доброе слово. Только не подумай, что я этого домогаюсь...— Она посмотрела на часы. Времени оставалось еще много. Сварила кофе и принесла в мастерскую.— Вот тебе,— сказала, ставя перед ним чашку; обычно она подавала ему кофе в толстой кружке: боялась, как бы, начав рисовать, он не смахнул чего-нибудь со стола.— Погрейся.— И вышла из мастерской. Заглянула в библиотеку. Накануне она стерла пыль с мебели, вымыла пол и поставила кресла. Одно для себя, другое для него. Она подумала, что они должны все время сидеть рядом. Подошла к стене и еще раз посмотрела на старую фотографию в деревянной рамке. Этот снимок она разглядывала уже много раз. Всегда с одинаковым вниманием. На фотографии было запечатлено двое молодых людей. Снимали их, видно, в здешнем парке. На полпути между домом и обрывом, за которым начиналась река. Очень старая фотография. Бумага пожелтела, но черты остались четкими, не стерлись. Женщина в летнем белом платье до земли держала на плече открытый шелковый зонтик. Мужчина улыбался ей. На нем был белый полотняный костюм. В руке — соломенная шляпа с черной ленточкой. Высокий, выше своей дамы, и как будто чем-то смущенный, это было заметно. Своим видом он внушал доверие. Молодой и сильный, робеющий в присутствии женщины, которая смотрела на него, щурясь. Однажды она осторожно вынула фотографию из рамки. Ей хотелось поглядеть, нет ли на обороте какой-нибудь надписи, однако, кроме отпечатанной фамилии фотографа, там ничего не было, даже даты. Тогда она взялась за альбомы, которые хранились в библиотеке. Внимательно все до одного просмотрела, отыскивая привлекшие ее внимание лица. Таким способом ей удалось установить, что женщина с фотографии была первой женой владельца этого дома. Он, когда еще с ней разговаривал, упомянул однажды, что они прожили вместе очень недолго и жена его бросила. Кажется, она была актрисой. Как он утверждал, выбрала театр. Рассматривая снимки в альбоме, она не удивлялась этой женщине. По крайней мере не стала губить свою жизнь, думала с одобрением. Она прекрасно ее понимала. Провести всю жизнь бок о бок с этим нелюдимом, живущим в старом доме и рисующим картины, пусть даже самые распрекрасные,— не так уж заманчиво, это каждому ясно. Испытывать судьбу лучше в безопасном отдалении от таких людей. Другие вклеенные в альбом фотографии представляли ту же женщину в разных театральных ролях. Относились они, видимо, к более раннему периоду, когда художник еще не был ее мужем. Фотографию мужчины она искала долго. Наконец нашла. Без сомнения, это был тот самый человек. Снимок, на который она наткнулась, изображал его в военном мундире. На обороте она прочла несколько фраз, написанных четким, разборчивым почерком. Из них следовало, что фотография была подарена другу после первого боевого крещения. Стало быть, это тот самый друг, который много лет назад утонул в реке, спасая кого-то из купающихся. Об этом случае он тоже когда-то упоминал, но не хотел вдаваться в подробности. Таким образом, она установила, что это именно та пара, которая постоянно к нему наведывается. Она протерла стекло платочком. На долю секунды увидела отражение своего лица. Вспомнила, что забыла открыть окна. Воздух в библиотеке был сухой, спертый. Она распахнула окно. Перегнулась через подоконник. Вздохнула. Солнце освещало реку, чувствовалась легкая свежесть. Деревья золотились уже и краснели. Вроде бы осень, а утро занималось, словно в разгаре лета. У ворот лают собаки. Так, значит, задумалась она, упершись локтями в подоконник, проходит безвозвратное время, в глубоком спокойствии. Слышно, как поблизости шелестят ветки и ступает кошка, которая прокралась в библиотеку с намерением выскочить через окно в парк. В такую пору чьи-то невидимые пальцы стискивают гортань, аж перехватывает дыхание от внезапного острого приступа парализующего страха. Она подняла глаза. Ей почудилось, что над обрывом скользят две белые тени. Возможно,

это были облака, отражающиеся в воде.— К чему все усилия? Мир, доступ к которому она преграждала, давно уже мертв. Когда она появилась здесь впервые — ее прислали для работы в саду, сказав, что старику нужны люди, которые к весне навели бы там порядок,— ей показалось, что дом стоит спокойно, спрятавшись среди деревьев — она где-то читала про такой дом и теперь как будто его узнала,— и ничего в нем не меняется со сменой времен дня и года. И в каком-то радостном порыве, который тогда ее охватил, подумала, что его обитатели должны быть счастливы. Она знала, что дом принадлежит старому художнику и что будто бы он очень знаменит. Впрочем, она его иначе себе представляла. Оказалось, это заброшенный и неряшливый старик, не обращающий внимания на то, что делается вокруг. Она работала в саду за домом. Несколько раз он ей там встречался. Она заметила, что он внимательно за ней наблюдает и что ее присутствие ему приятно. Когда работа была сделана, он попросил, чтобы она осталась.— В таком доме,— объяснил,— без помощи не обойтись.— Она отказалась, но он стал настаивать. У нее тогда уже не было иллюзий, будто здешняя жизнь — сплошь счастье и радость. Но она знала, что это будет ее дом. И согласилась остаться. Интересно, думала она, стоя у окна, неужели с тех пор деревья выросли еще больше? Они ведь очень старые, а сколько у них сил! Река не изменила русла. Небо не стало менее далеким. Только время ухнуло в какую-то бездонную пропасть. Это она прямо кожей чувствовала. Тогда, решив, что здесь будет ее дом, она никак не предполагала, что окажется так одинока. Раньше она могла ночью войти к нему в спальню, сесть на кровать и трясти его за плечо, покуда он, наконец, не просыпался. Ее всегда удивлял его глубокий, тяжкий сон.— Итак, решено! — говорила она, когда он открывал глаза.— Я ухожу. Все это не имеет смысла.— Он молчал. Она еще ближе наклонялась к его лицу.— Ради бога, не спи! — Опускала ладонь на лоб.— Ты в самом деле считаешь, что я тебе не нужна? Я не так стара, дорогой. Могу еще жить по-другому, не думай.— Он закрывал глаза.— Ну ладно.— Она вставала.— Не доставлю тебе такого удовольствия. Я решила принести свою жизнь в жертву и буду тебе служить, потому что ты человек беспомощный, а вокруг полно людей, которые хотели бы причинить тебе зло.— Она выходила из спальни и начинала плакать. Долго не могла заснуть. Лежала неподвижно в постели. Слышала скрип мебели, шуршание веток за окнами, удары ветра или стук дождя по крутой крыше. Старалась вызвать в памяти картины, которые могли бы ее порадовать. Дрожала от страха, пробовала молиться. Ничего из ее стараний не выходило. Память подсовывала только печальные воспоминания. Она поняла, что уже не помнит слов молитвы, которую так часто когда-то повторяла. Зимой она прогнала последнего из его друзей. Раньше она пускала этого человека в дом, усаживалась вместе с ним в мастерской и слушала, о чем они разговаривают. Это были скучные разговоры о картинах. Она только одно поняла: похоже, их можно выгодно продать; впрочем, тот, который его навещал, твердил, что все работы непременно должны оставаться в одном месте. Старик слушал с явным удовольствием. Однажды она решила напоить их кофе. Было холодно, хотя она хорошо протопила печь. С утра ударил мороз. В мастерской даже руки коченели.— А не пора ли, наконец,— услышала она произнесенные шепотом слова гостя,— прогнать эту женщину? Ведь это твое проклятие! Что ей здесь нужно? — Он, видно, думал, что она закрыла за собой дверь и не может этих слов услышать.— Глупая и наглая. Я понимаю,— добавил он минуту спустя,— тебе хотелось иметь рядом кого-то близкого, кто бы о тебе заботился. Но зачем, скажи на милость, ты на ней женился? Впрочем, и это поправимо. Ты должен от нее избавиться.— Она стояла за дверью, чувствовала, как дрожат ее руки, держащие поднос.— Первым делом тебе нужно отсюда уехать и поселиться в городе. Потом оформить развод. Дальше так продолжаться не может...— Старик мол-

чал. Кто знает, возможно, догадывался, что она стоит за дверью и слышит слова гостя. Она не знала, как поступить. В конце концов открыла дверь в мастерскую.— Вот и кофе, прошу! — сказала, улыбаясь.— Видите,— посмотрела на гостя,— какая метель? Неизвестно, пойдет ли автобус. Как бы вам не пришлось у нас заночевать.— Я не пропаду, не беспокойтесь,— буркнул гость, размешивая сахар. Он, пожалуй, был помоложе старика. Время от времени окоченелыми пальцами потирал сверкающую лысину.— Если все же автобуса не будет, возвращайтесь. Кровать у нас найдется.— К сожалению,— он не скрывал своей неприязни, вообще старался не смотреть в ее сторону,— утром я должен быть в городе. У меня занятия в академии. Их не отменишь.— Какая жалость! — продолжала она.— Ведь вам о стольком еще нужно поговорить...— Поговорим в другой раз,— и стал прощаться. Несколько недель спустя — еще стояли морозные дни, и он приехал без предупреждения на машине — она не открыла ворот.— Поворачивайте,— сказала,— и больше к нам не приезжайте. Муж не желает с вами разговаривать. Я умею отличать настоящих друзей.— Он что-то объяснял, разъяренный, лицо покраснело. Угрожал. Она повернулась и пошла к дому. Заглянула в мастерскую. Спокойным голосом сообщила, что минуту назад прогнала этого человека и что с сегодняшнего дня они больше никого не будут у себя принимать.— Быть может,— добавила,— тебе это не понравится, но я так решила, потому что знаю: прежде всего это хорошо для тебя. Тебе нужен покой, и я буду твой покой оберегать. Я считаю, что ты никогда не разбирался в людях. Тебя всегда интересовали только собственные картины. А люди нужны были для того, чтобы их рисовать. Так, как нужен был дом, парк, краски,— она оглядела мастерскую.— Все, что ты здесь насобирал...— Она ждала, что он возмутится и не даст ей договорить. Ничего подобного не произошло. Он только смотрел как-то странно, с ненавистью. С того вечера он не сказал ей больше ни слова. Такова была его месть. Сначала она думала, что это ненадолго. Делала вид, будто его молчание нисколько ее не трогает, как бы вовсе ничего не замечала. Проходили, однако, недели, а он продолжал упорствовать. Она слышала собственный голос в доме, шаги, звуки передвигаемой мебели и картин, лай собак. Выключила телефон и перестала оплачивать приходящие счета. Они приезжали еще много раз. Те, которых она уже когда-то видела, и другие, являвшиеся впервые. Тогда она спускала с цепи собак. Говорила, что никого не намерена видеть. Какой-то лысый чиновник, приехавший в большой черной машине в сопровождении еще нескольких, которые увивались вокруг него, просил разрешения, по крайней мере, с ней поговорить. Она вспомнила, что видела уже на снимках в газетах эту лысую голову с синими мешками под глазами, вываливающийся из воротничка второй подбородок. Видно, важная персона.— У вас хороший костюм,— ответила она.— А у моих собак острые зубы...— И отвернулась. Она слышала, как он выругался, садясь в машину. Вскоре послышался шум запускаемого мотора, и автомобиль уехал. Время она тогда проводила за чтением книжек и просматриванием альбомов в библиотеке. В ту пору это доставляло ей наибольшее удовольствие. Весна была безнадежно дождливой и мглистой. Над рекой подымались громадные белые клочья тумана. Иногда они закрывали деревья, растущие в глубине парка. Мир постепенно зеленел. Зацветали цветы, когда-то посаженные перед домом. В большом альбоме, который она перелистывала, ей однажды попалось изображение маленького деревянного дома. Окна в решетках. За окнами два мужских лица. Руки, силящиеся сорвать решетки. Заваленная снаружи входная дверь. И пылающая крыша. Рисунок произвел на нее огромное впечатление. Кто поджег этот дом? — думала она.— Почему художники рисуют такие картины? Хотят кого-то предостеречь? А может, стараются подавить собственное воображение, пока то, что оно диктует, не приняло формы более реальной, чем все, что они сумели запечатлеть на бума-

ге? Или, может быть, это какие-то образы, сохранившиеся в памяти с детства? Ее будоражила жестокость, отчаяние, которое явственно проступало на картине. Она долго глядела на эту трагическую сцену. Удастся ли молодым людям уйти живыми? А может, нечего и пытаться? Может, их ждет наказание, от которого нигде не укрыться? Она взяла ножницы и вырезала картинку. Потом приколола ее над своей кроватью. Просыпаясь, смотрела на лица взывающих о помощи людей, искаженные смертельным испугом. В доме тем временем царила неизменная тишина. Дни проходили, похожие один на другой. В этом мире молчания со дня на день рос страх, с которым ей все реже удавалось совладать. Страх перед старостью, удручающие приметы которой она наблюдала, заходя в мастерскую. Сознание, что сама неотвратимо приближается к этой черте. (Насколько она при этом была беднее старика, упорно рисующего одно и то же — огромные бычьи головы и кровавые пульсирующие плоскости — наперекор растущей беспомощности.) Ощущение, что после нее не останется даже такого следа, хотя в общем-то — вновь и вновь ловила она себя на мысли о пожаре — ведь все можно испепелить. Впрочем, приди ему на ум мысль о таком конце, имело ли бы это для него значение, если ничто, по существу, его не интересовало? Ведь он жил, глядя в себя. Она завидовала ему в этом. Страх перед одиночеством становился все более тягостным. Ей негде было искать поддержки. Прошлое было столь же беспросветно, как настоящее. Довольно скоро ей прискучили и книги, и картины. Дни настали теплые, дожди прекратились. На реку потянулись люди, жаждущие отдыха, появились рыбаки со своими лодками. Все больше времени она проводила на террасе. Тогда и подумала: а почему бы ей не рисовать цветы? Она слыхала о великих художниках, которые писать начинали поздно, в зрелом возрасте, без всякого образования. Новое занятие полностью ее поглотило. Так прошло первое лето. В городке она показывалась редко. Пыталась договориться с какой-нибудь старушкой, чтобы та приносила домой продукты, но никого не нашла. Ни в тот год, ни на следующий. Боятся...— думала она, видя на каждом шагу косые взгляды.— Предпочитают держаться от меня подальше. Считают, что я богата, и завидуют этому. Да разве иначе могло быть?.. Аптекарша, у которой она покупала порошки от головной боли, конечно, не преминула спросить о муже. Она ответила, что летом муж чувствует себя немного лучше, но он слишком стар, чтобы выходить из дома.— Люди в его возрасте впадают в детство.— Ей интересно было, проявит ли та хоть каплю сочувствия, но аптекарша, отсчитывая порошки, взглянула на нее с не меньшей ненавистью, чем другие.— Какая жалость,— вздохнула, выписывая счет,— что вы не позволяете ему встречаться с людьми.— Я? — удивилась она.— Кто это вам сказал?..— Прикинулась возмущенной.— Все так говорят! — Аптекарша протянула ей пакетик.— Вчера заглядывал какой-то из газеты.— Нахалы! — перебила она.— Муж не разрешает мне с ними разговаривать. Полагаю, у него есть основания. А чего он хотел? — Понятия не имею,— пожала плечами аптекарша.— Разговаривал с теми, кто помнит вашего мужа. Я-то его не знаю. Но здесь еще многие не забыли.— Ну конечно! — буркнула она, засовывая пакетик с порошками в сумку.— Все считают, это моя затея. А он сам не хочет никого к себе пускать. Я только страж и исполнитель его воли.— Она улыбнулась. Остановилась в дверях.— Можете не верить, но это правда.— На обратном пути из городка ей навстречу попалась большая машина. Нетрудно было догадаться, откуда возвращаются сидящие в машине люди. В парк собаки никого не впустили, это точно, подумала она. И дверь надежно заперта. Тем не менее у нее появились дурные предчувствия. Из машины выскочил молодой человек и направился в ее сторону. Он заискивающе улыбался.— Мы вас ждали! — сказал.— Боже, какая страшная жара. Хотели было поехать на речку, освежиться, но в гостинице сказали, что вы в городе и вскоре должны вернуться.

Этим путем. Так что мы предпочли ждать на дороге.— Больше вам ничего не сказали? — перебила она. Он попросил позволения взять у нее сетку. Должно быть, она очень тяжелая.— Нет, ничего,— ответил без заминки.— К счастью, нам не пришлось долго ждать.— И сразу, не переставая подобострастно улыбаться, объяснил, что ему поручено снять фильм об этом доме и его обитателях. Разумеется, он знает, что она не жалует посторонних.— А может, это сплетни? — спросил. Она посмотрела на него. Он знаками показывал остальным, чтоб они не отходили от машины. Она притворилась, будто ничего не замечает.— Это правда! — сказала.— Я действительно никого не впускаю. Разные к нам приезжают.— Улыбнулась.— Кое-кто даже на автомобилях получше вашего.— Это не мой автомобиль,— ответил он, щурясь.— У меня нет своей машины. Честно говоря, я отчасти рассчитывал на везение.— Она по-прежнему улыбалась, хотя тот же, что всегда, отчетливый внутренний голос предупреждал: этот человек — тоже враг, и все время, пока он рядом, нужно быть начеку.— Везение! — пожала она плечами.— Ни на что не надейтесь.— И все-таки иначе это не назовешь,— продолжал он. Она вдруг поняла, что голос этого человека ей знаком: где-то она его уже слышала.— Встретил же я вас — значит, повезло.— О господи! — вздохнула она.— Знаете, как трудно жить в таком городишке, где даже купить ничего нельзя и люди относятся к нам с недоверием.— Если б он знал, подумала, сколько она вынуждена здесь сносить унижений, достаточно выйти из дома.— Скажите,— спросила,— откуда в людях столько ненависти?..— Мужчина приостановился.— Ну, не так уж все плохо! — ответил.— Вас не обижают.— Разумеется,— она поправила платок на голове; жаль, что не надела шляпу. У нее не было уверенности, не щелкают ли случайно те, что остались в машине, своими аппаратами. Проходя мимо, она заметила, что один из них, низкорослый и совершенно лысый, держал большой фотоаппарат с объективом, нацеленным на ворота, за которыми заливались лаем спущенные с цепи собаки.— К сожалению,— повторила,— они ненавидят и меня, и моего мужа, хотя никому из живущих здесь мы не сделали ничего дурного. Мы, как вам известно, стараемся держаться в стороне.— Он слушал сосредоточенно, с серьезным выражением лица; можно было подумать, это признание его огорчило.— Почему тогда,— перебил он ее,— вы не просите о защите?..— Она рассмеялась.— О какой? — Подумала, что он ничего не понимает.—И кто, по вашему мнению, мог бы мне ее гарантировать? — Теперь и она замедлила шаги; он шел, немного поотстав, оглядываясь. Машина стояла на прежнем месте. Она показала в ту сторону рукой.— Я думала,— сказала,— вы снимете ворота, моих собак. И этим удовлетворитесь. У меня есть газета, которую они мне как-то подкинули с таким снимком, а рядом напечатана заметка о странном доме, охраняемом собаками: везде запоры, стены с колючей проволокой... Знаете, что еще можно было увидеть на том снимке? — Что же? — заинтересовался он.— Меня! — ответила она.— Фотограф улучил момент, когда я шла от ворот к дому. Лица, правда, не видно, но ведь я — страж этого дома. Он подождал — видно, спрятавшись за оградой,— пока я покормлю свою свору, и тогда сфотографировал.— Она задумалась.— Скажите, что плохого я сделала тому человеку? — Подняла глаза и посмотрела на мужчину.— Ведь я его даже никогда не видела.— Это все любопытство! — ответил он.— Таков уж удел знаменитостей.— Какая он знаменитость! — перебила она.— Был когда-то. Сейчас это старый и больной человек, который нуждается в покое. И я за его покой отвечаю. Могу вам сказать, почему люди меня ненавидят. Потому что я о нем забочусь и самое для меня важное — его судьба, и только! — Она говорила решительно, сдержанно, стараясь невзначай не показать, что боится; она еще не знала, что ответить этому человеку, прикидывала разные варианты; ей давно было ясно, что когда-нибудь — рано или поздно — такой разговор непременно состоится, даже хотелось позвонить кому-нибудь

из его друзей — у нее была записная книжка со всеми телефонами, которую она как-то забрала из мастерской: эти люди, чьи адреса он записал, ему уже не нужны — так она это объяснила. Думала, старик будет требовать, чтобы она вернула записную книжку, но он не проронил ни слова. Так что же, раздумывала теперь она, слушая, с какой горячностью шагающий за ней мужчина распинается в своих добрых чувствах и огромном уважении к ее самоотверженности, стоит впустить его в дом? Показать, как они живут, и сказать всю правду? А что это, впрочем,— вся правда? Ее одолевали сомнения. Хочется ли вообще таким, как этот, только что заверявший ее в своем уважении, знать всю правду? — Мы не отнимем у вас много времени,— говорил он.— День, два. Приедем с киногруппой, с камерами и микрофонами. Покажем дом, мастерскую, вас и метра. Запишем небольшую беседу.— О нет! — покачала она головой.— У вас будет всего несколько часов, если вообще до этого дойдет.— Ну что ж, ничего не поделаешь,— поспешно согласился он.— Когда? — Она поняла, что слышала голос этого человека по радио. Очень уж он был знакомый, а ведь она никогда не видела его лица.— Не знаю! — ответила, не скрывая колебания.— Позвоните через несколько дней. Мне ведь нужно поговорить с мужем. Я далеко не уверена, что он согласится.— Раньше,— пробормотал мужчина,— он не уклонялся от таких встреч.— Она снова приостановилась.— Раньше? — переспросила.— Вы считаете, я ограждаю его от подобных посещений? Вы уже кое-что об этом слыхали, верно? — Я ничего такого не сказал,— вставил он.— Но подумали! — отрезала она.— А вам известно, что за мной однажды гналась толпа подростков, выкрикивали оскорбления, кидались камнями? Я как раз возвращалась домой с покупками. Мне пришлось от них убегать.— На самом деле ничего такого не было, однако она часто думала, что вполне могло случиться. Мужчина нахмурил брови.— Нужно было позвать на помощь.— На этой дороге? — пожала она плечами.— А ведь вы, собственно, хотите сделать то же самое. Не бросая камней. В перчатках.— Пусть знает, что ей известны их намерения. Мужчина начал было протестовать. Они хотят сделать фильм о метре, твердил он, вот и все. Это не первый фильм подобного рода. Тут нет ничего необычного. Ему непонятна ее подозрительность.— Хорошо! — перебила она его.— Я поговорю с мужем. И, правду сказать, мне наплевать, даже если вы сочтете меня чудовищем.— Ее разбирал смех — такое опечаленное было у ее спутника лицо. До чего трудно лгать! — Я-то знаю,— она посмотрела на часы,— что вы именно так обо мне думаете.— Повторила, чтобы он позвонил через несколько дней. Тогда и получит ответ. Попрощались, и мужчина вернулся к машине. Когда она была на рыночной площади, автомобиль проехал мимо нее. Она увидела чьи-то лица, глаза, с любопытством ее рассматривающие. Вернувшись домой, ни словом не обмолвилась о встрече. Только заглянула в мастерскую. Он сидел в кресле и дремал. Осторожно, чтобы его не разбудить, она закрыла дверь. Вышла на террасу. Подумала, что вся эта огромная территория принадлежит ей, все, что отсюда видно... деревянные ступеньки террасы... доски немного расшатались, надо бы принести ящик с гвоздями, вывихнуть ногу ничего не стоит; впрочем, может, это и к лучшему, ей-то здесь известна каждая выщербина, каждый пролом в ограде, каждый, самый крохотный участок стены, знакомы все кирпичи, старые и облупленные, и новые, ничего ей не станется, она же ходит осторожно. Следит, чтобы не споткнуться — как это с ним недавно случилось. В письме, которое нынешним солнечным утром она решила написать некоей важной особе — речь шла о деньгах,— это «С ним случилось» было написано с большой буквы, чтобы произвести впечатление на адресата. Так что, если бы кто-нибудь другой — впусти она постороннего в свои владения — вывихнул себе ногу на ступеньках, подымаясь на террасу, или, к примеру, ударился головой об стену в коридоре, где нет света, потому что перегорели пробки, это

следовало бы посчитать наказанием божьим. Пусть видят, как здесь, в этом тщательно охраняемом царстве, тяжело живется. Пусть поглядят ей в глаза — кто знает, может быть, вместо проклятия она бы услышала слово сочувствия. Нет, нет, это невозможно, улыбнулась она и поправила подушку на шезлонге, все они, кто бы ни хотел сюда проникнуть, ее смертельные враги. Ей постоянно нужно быть бдительной — она часто мысленно повторяла это слово и иной раз приходила к выводу, что именно бдительность — главный смысл всякой человеческой жизни, ведь каждого подстерегает такая бездна опасностей, такое множество подвохов, что лишь предельно обостренное внимание способно уберечь человека от беды. А сколько всяческого рода крушений, много раз задумывалась она, наблюдаешь даже в том случае, если, как она сейчас, избегаешь людей, не подпуская к себе таких, которые только и ждут, что перед ними распахнутся двери, а бегающие у ворот собаки будут посажены на цепь. Накануне она решилась наконец сорвать телефонный провод в его мастерской — для большей безопасности. Он, правда, никуда не звонил без разрешения.— Ну, ладно, ладно...— бормотал раньше, когда еще с ней разговаривал, сидя в углу и вертя кисть в худых, длинных пальцах,— кому я могу звонить, зачем они мне все теперь...— Она подозревала, что своими заверениями он хочет ее обмануть, однако никак не давала этого понять.— Сам видишь,— она наклонялась над креслом и нежно проводила рукой по его голове, ощущая под пальцами холодную кожу, не голова, думала, а кусочек гладко отполированного мрамора,— ведь ты,— она понижала голос,— больше всего нуждаешься в покое, правда? Они бы рады этого покоя тебя лишить, только и мечтают, чтобы ты снова оказался в их власти, а они будут тянуть из тебя все, что смогут, поскольку знают, что ты беспомощен и у тебя уже нет сил самому себя защищать. Но ты не бойся, я тебя защищу, будь спокоен...— Он все это время сидел опустив голову. Она убрала руку. Он не поднял глаз, не посмотрел в ее сторону. Она оглянулась. Картины стояли прислоненными к стенам — так, как она их поставила. Она не любила мастерской. Он не позволял открывать окон, поэтому дух там стоял тяжелый. Пыль висела в воздухе вместе с запахом красок и мокрого холста.— Ну что, так ничего и не скажешь? — спрашивала она.— Не хочешь платить мне добротой, а я ведь посвятила тебе всю свою жизнь...— Он молчал. Она выходила на террасу, если была хорошая погода, и начинала рисовать. Только цветы, небольшие картинки. Она была уверена, что когда-нибудь это принесет ей деньги. Пока же рисовала для собственного удовольствия. А отчасти чтобы убить время. В полдень она вставала с шезлонга и отправлялась на долгую прогулку в парк. Парк был старый и очень красивый. Последние деревья росли прямо над обрывом. Внизу текла река. Очень широкая. На другом ее, низком, берегу виднелась черная полоска где-то далеко кончающихся лесов. Парк был огорожен, и она часто проверяла, не пробита ли где-нибудь в стене дыра. Несколько проломов велела недавно хорошенько заделать. Собаки, бегающие перед домом — надежная его охрана,— сразу же к ней бросались. Всей шумной сворой, к которой она привязалась и которую он откровенно ненавидел. Что бы она без них делала? Любой имел бы, как это бывало раньше, доступ к дому. Ворота никогда не закрывались. Всякий, кто ни появлялся в окрестностях, считал своим долгом зайти, поглядеть на метра, а то и выклянчить какой-нибудь набросок, потому что он был чертовски падок на похвалы и не придавал — так, во всяком случае, казалось — особого значения своей работе. Она подходила к берегу и подсматривала, чем занимаются туристы на пристани. Рядом с парком над самой рекой год назад выстроили небольшую гостиницу. В конце недели множество любителей отдыха приезжало сюда удить рыбу либо, в погожий денек, покататься по реке, взяв напрокат лодку. Некоторые с лодок рассматривали дом в бинокли и показывали друг другу пальцами на фигуру, стоящую на

берегу. Она никогда в таких случаях не улыбалась. Это тоже были враги. Неделю назад она еще раз убедилась, как опасно доверять незнакомым. Она тогда вышла отнести мясо собакам. Приближалась с кастрюлей к воротам, где стояли собачьи конуры, и вдруг заметила по другую сторону ограды молодого человека со светлой всклокоченной шевелюрой. Он что-то ей говорил. Она подошла поближе, потому что уж очень громко лаяли собаки.— Какие красивые звери! — улыбнулся он.— С удовольствием привел бы сюда живодера.— Это частная территория,— ответила она... Показала на прибитую к воротам дощечку, где собственноручно начертала предостерегающую надпись.— Вижу,— улыбнулся незнакомец.— Я подумал, что вы бы здесь могли разводить улиток.— Чего? — удивилась она.— Улиток,— повторил он.— Я был сегодня у реки, их там полно. Какой-то неслыханный урожай. Разве вы не знаете, что улиток скупают? А потом отправляют за границу. Это очень выгодно...— Она отогнала собак и разглядывала стоящего за воротами мужчину. Непохоже было, что он из тех, которые чем-то рассчитывают поживиться. Предложение насчет улиток ей показалось интересным.— Вы точно знаете? — спросила она. Он кивнул утвердительно.— Вы бы прилично заработали. Парк, вижу, большой. Можно войти?..— Она колебалась. Но молодой человек доверчиво ей улыбался. У него не было ничего общего ни с теми, кто являлся сюда без приглашения — этих она просто гнала от ворот,— ни с обитателями гостиницы, которые, снедаемые любопытством, неизменно поглядывали в эту сторону.— Кто вы такой? — она положила руку на засов.— Я имею дело с деревьями,— ответил он, не переставая улыбаться.— Садовник? — продолжала допытываться она.— Нет,— ответил он.— Я ухаживаю за старыми парками.— Стало быть, лесовод? — Что-то в этом роде,— подтвердил он.— А вы? — Она открыла ворота. Он постоял секунду, наблюдая за собаками, однако в конце концов вошел смело. Псы мгновенно его окружили и стали обнюхивать.— Ну что, успокоились? — Он еще чувствовал себя не слишком уверенно.— Надеюсь, эти милые зверюшки не сделают мне ничего плохого? — Собаки,— коротко сказала она,— распознают моих врагов.— Они пошли в глубь парка. Он восхищался деревьями.— Им лет по двести, знаете,— показал на два растущих в стороне от дорожки дуба.— Аж двести? — удивилась она.— Понятия не имела, что они такие старые. Впрочем,— усмехнулась,— здесь ведь все старое. Все,— повторила еще раз.— Кроме собак и меня, хотя и я начинаю стареть.— Она ждала, что́ он ответит. Он покосился на нее.— Вы? — пожал плечами.— Вам до старости еще далеко.— Она насторожилась: не кроется ли за любезными словами обман. А может быть, он старается усыпить ее бдительность? Но он снова стал говорить о деревьях, и в конце концов она поверила, что этого человека не следует опасаться.— Знаете, если б у меня было побольше времени,— сказала она, когда беседа о деревьях начала ей надоедать,— я бы купила кинокамеру.— Мужчина внимательно на нее смотрел.— Для памятных кадров? — спросил.— Сама не знаю,— улыбнулась она.— Наверно, я бы снимала зверей. Здесь полно лисиц, белок. Мне кажется, у меня к этому есть дар. Я вообще люблю наблюдать. Это как будто необходимо для такого дела? — О, безусловно,— поспешил согласиться он. В конце заросшей аллеи виден был дом.— Изумительно красивая усадьба! — указал он в ту сторону рукой.— Все так говорят,— буркнула она.— Это только кажется. Издалека. На самом деле это развалина. Все рушится, сыплется. Неизвестно, сколько потребуется денег, чтобы залатать все дыры.— Крутая крыша из красной черепицы...— продолжал он.— Где вы теперь купите черепицу? — перебила она его.— И все же надо как-то приводить это в порядок. А когда начинаются дожди, на потолках и на стенах немедленно появляются новые потеки. Все, кто глядит издали, вздыхают, думают: вот где прекрасно живется! Ох! — она поправила волосы, упавшие на лоб.— Я бы предпочла жить в городе, в большом доме, где встречаешь людей,

где много знакомых, а не в такой пустыне.— Она не верила в то, что говорит. Хотела заморочить голову собеседнику, вызвать хоть каплю сочувствия. Она отлично понимала, как трудно было бы ей жить в городе, присматривая за мужем и обороняясь от наглецов. Иногда она действительно тосковала по людям. Ей хотелось просто за ними подсматривать, как она ежедневно подсматривала за птицами или зверюшками, шныряющими вокруг дома.— Еще я подумывала,— начала она минуту спустя,— не купить ли мне машину, чтобы ездить иногда в город. Я очень люблю кино. Наверно, я имею право, как другие, время от времени выбираться в кино, как вы считаете? — Конечно! — Молодой человек угостил ее сигаретой.— Удивляюсь, как вы до сих пор этого не сделали.— Нам нужен автомобиль марки «кабриолет»,— добавила она.— Я б возила с собой мужа, он ведь совершенно беспомощен.— А почему бы вам не оставлять его дома? — удивился собеседник.— Без присмотра? — Она заметила, что он снова внимательно ее разглядывает. Жаль, подумала, что не надела выходного платья. Глаза у молодого человека были голубые. Они улыбались ей, хотя у самого вид был очень серьезный.— О, нет! — тряхнула она головой.— Я бы не могла его так оставить. Мой муж художник.— Фамилии она, однако, не назвала.— К сожалению, он совсем впал в детство, хотя еще понемножку работает. Поэтому ему нужен полный покой. Вероятно, по этой причине я и не стану покупать машину, хотя могла бы на ней ездить в кино или по крайней мере за покупками.— Вдруг она почувствовала жгучую ярость. Напрасно столько рассказала этому чужому человеку и вдобавок попыталась возбудить в нем жалость. Неужели, черт подери, думала она, не спуская с него глаз, я не заслуживаю ничего, кроме сочувствия? Трудно, однако, взять обратно то, что уже сказано.— Оставим его лучше,— пробормотала она.— Я тоже рисую, представьте себе.— Это безумно интересно! — Молодой человек затоптал каблуком окурок.— Мне бы хотелось взглянуть на ваши картины...— Я их еще никому не показывала,— быстро проговорила она.— Муж пишет большие полотна. Это нечто совсем другое.— Ну, пожалуйста! — настаивал он.— Вы должны мне их показать. Я не разбираюсь в живописи,— она колебалась, стоит ли пригласить его на террасу,— но смотреть картины готов сколько угодно, честное слово.— Я рисую цветы,— объяснила она.— То, что больше всего люблю, хотя,— вздохнула,— давно прошли те времена, когда я их получала от других.— Это несправедливо! — сказал мужчина.— Цветы, которые вы рисуете, должны быть прекрасны.— А разве по-вашему,— спросила она,— цветы вообще могут быть некрасивы? — Ах, нет! — махнул он рукой.— Я не о живых говорю. Вы же знаете, все можно обезобразить и этим погубить. Даже цветы. Сколько нынешних художников рисуют уродливые растения.— Вы правы,— согласилась она.— Эти художники вообще предпочитают показывать мир уродливым. А на моих картинах,— они уже приближались к террасе,— цветы такие, какие в действительности. Я не хочу лгать.— Улыбнулась. Указала на шезлонг и попросила подождать немного, пока она принесет свои работы. Через минуту вернулась. Мужчина сидел в шезлонге и вертел в пальцах незажженную сигарету.— Я вам покажу,— предупредила она,— только некоторые.— Он с явным интересом принялся рассматривать картины.— Очень красиво,— сказал, наконец, поднимая глаза.— Нужно быть очень впечатлительным человеком, чтобы рисовать так тонко.— Мне всегда говорили,— ответила она,— что у меня есть способности, но условия не позволяли посвятить себя этому занятию. Оно требует страшно много времени.— Он продолжал разглядывать картины, отодвигал их от себя, прищуривался.— Я наблюдала, как рисует муж, и однажды подумала: а ведь и я бы могла делать что-то в этом роде.— Просто счастливое решение! — сказал молодой человек.— Мне бы хотелось что-нибудь такое повесить себе на стену.— Вы не знаете цены картинам,— сказала она.— Это труд, как и всякий другой. Его можно

измерить в деньгах.— Понимаю,— огорчился он.— Муж тоже продает свои картины? — Муж? — фыркнула она.— Я не позволяю ничего продавать. Раньше раскупали все, что он ни нарисует. Буквально за гроши. Разные люди. Музеи, коллекционеры. Обманывали его, зная, что вскоре цена этих картин здорово подскочит.— Почему? — удивился он.— Разве вы не слыхали,— объяснила она,— что после смерти художника работы всегда вырастают в цене? — Он кивнул. Она увидела какую-то печальную гримасу на его лице.— Сейчас,— сказала,— они не меньше прежнего мечтают вырвать то, что еще осталось. Дудки. Потому у меня эти собаки. Вид у них довольно-таки грозный, правда? — О да,— согласился он.— А на их письма,— продолжала она,— я вообще не отвечаю. Не вскрываю конвертов и кидаю в печку.— Она села на стул. Усмехнулась.— Вы, наверно, думаете, я забочусь только о деньгах? — спросила. Молодой человек молчал.— Это неправда! — снова заговорила она минуту спустя.— Я женщина не старая, как видите. Могла бы еще кое-что получить от жизни. Однако я решила опекать немощного старца. Подумала, что ради этого стоит принести себя в жертву, хотя другие считают меня чудовищем.— Он опять испытующе посмотрел на нее грустными голубыми глазами.— И не жду справедливости.— Можно мне с ним познакомиться? — вдруг спросил гость.— Для меня это очень важно.— Только тут она поняла, что этот человек обманывает ее с первой минуты. Разговоры об улитках, киносъемках, деревьях, растущих в парке,— все это должно было в конечном счете сбить ее с толку. Он хотел только одного — проникнуть к мужу. На ее картины больше и не смотрел. Она раздумывала, как поступить. Если уж, решила, игра зашла так далеко, не стоит выходить из роли.— Как жаль! — вздохнула.— Муж бы очень вам обрадовался, но он болен.— Что-нибудь серьезное? — спросил молодой человек.— Вы полагаете,— усмехнулась она,— что в его возрасте бывают несерьезные болезни? — А может быть, вы разрешите,— продолжал он, видимо считая, что она не разгадала его истинных намерений,— посмотреть его картины.— О, нет! — твердо ответила она.— Муж никому не позволяет заходить в мастерскую. Даже меня неохотно пускает. У всякого свои причуды, приходится ему это прощать.— Голубоглазый был явно разочарован.— Может, тогда в другой раз,— сделал он еще одну попытку. Она не переставала улыбаться. Ей хотелось любой ценой его наказать.— Увидим. Впрочем,— сказала,— я могу продать вам одну из своих картин. На память.— Она взяла первый попавшийся холст.— Кажется, вам больше всего понравились эти голубые вьюнки, верно?..— Она видела, как он колеблется. Он мог сказать, что не захватил с собой денег или что зайдет как-нибудь еще. Но ему пришла в голову другая мысль.— С удовольствием,— буркнул он.— Если только это окажется мне по карману.— Она назвала сумму. Он нахмурился. Она уже знала, что он купит картину и постарается таким способом вкрасться в доверие.— Хорошо,— выдавил он и полез в карман.— Надеюсь,— он все еще не поднимался с шезлонга,— вы мне позволите вас навестить. Такой прекрасный парк, дом. Чудесно здесь отдыхаешь.— Она пересчитала деньги. Сунула их за лифчик.— Конечно!— согласилась.— Может, тогда я и с супругом вашим познакомлюсь?— спросил он.— Если только он будет здоров.— Она встала. Он взял картину под мышку.— Я вас провожу до ворот.— Шли молча. Только у выхода она остановилась.— Очень жалко,— сказала,— что мы так мало поговорили об улитках. Это, пожалуй, тема поинтереснее, чем мои картины.— Закрыв ворота, она больше не оглянулась. Собаки снова подняли лай. Интересно,— думала она,— стоит ли он там еще? Наверно, клянет все на свете. Цена, в которую ему обошлась покупка, пожалуй, не была чересчур высока. Она не сомневалась, что со временем картина будет стоить значительно больше. Как-то, в первый день своей работы в саду, она услышала беседу хозяина с двумя посетителями. Их машина стояла у ворот. Разговор шел о фильме, который они меч-

тали бы здесь снять. Старик брюзжал, жаловался на здоровье. Ни на минуту — это она успела заметить — не спускал с нее глаз; говорил, что у него уже нет времени на такие развлечения.— Сделайте,— посоветовал,— фильм о моих картинах, которые висят в музеях. Их так много, что порой я сам удивляюсь, когда успел все это нарисовать.— Они рассмеялись. Она обратила внимание, что они называют его «метр». Чувствовала, что изо всех сил стараются ему понравиться.— Без показа картин не получится фильма,— продолжал один из них, более настырный,— но еще нам нужно записать с вами беседу...— Этого еще не хватало! — бросил он.— Мне нечего сказать, да я и не любил никогда много болтать.— Он забавлялся своей трубкой, уминая табак. Хотел, видно, их позлить. Почему же,— думала она, сидя в глубине комнаты, он просто не вышвырнет их за дверь? А может, все-таки стоило бы позволить, чтобы они приехали и сняли фильм? Откуда такое упрямство? Она знала, что он бывает упрям. В тот самый день утром он позвал ее к себе. Она прибежала прямо из сада. Несмотря на страшную жару, в мастерской было холодно и дух стоял тяжелый, тошнотворный.— Раздевайся! — сказал он.— Я хочу тебя нарисовать.— Она подумала, что он сошел с ума. На стенах висели картины, где были нарисованы голые женщины и голые мужчины, это она заметила.— Ну, что уставилась? — фыркнул он.— Ничего с тобой не случится, не замерзнешь.— Она вдруг подумала, что сделает все, как он прикажет, но никогда уже не вернется в сад.— Неужели у вас там,— снова обратился он к одному из приезжих,— не найдется таких, что привыкли чесать языком за деньги? Да вам любой с три короба нагородит о моих картинах.— Видите ли, метр,— вмешался другой,— нам бы хотелось, чтобы фильм показал ваш внутренний мир. Никто вас тут не заменит.— Внутренний мир? — ухмыльнулся старик.— А картины? Они его показывают.— Потом он сказал, что уже поздно и им пора возвращаться в город. Дороги скверные, как бы не застряла машина.— Ладно уж,— буркнул напоследок, прощаясь с ними.— Загляните как-нибудь, когда я получше буду себя чувствовать.— Она слышала удаляющийся шум мотора. Он сидел на террасе и курил трубку. Ей нравился запах табачного дыма, сладкий и ароматный.— Почему вы их прогнали? — спросила она.— Не твое дело. Не вмешивайся! — ответил он, даже не повернув головы.— Все они заботятся о своих интересах. Почему я должен делать им приятное? Подумал бы кто-нибудь обо мне, моя дорогая.— Вы им позволяете приезжать когда вздумается? — Он рассмеялся.— А что, не нравится? — спросил. Она пожала плечами. Пока он ее рисовал — а это заняло несколько дней,— она так и не смогла увидеть картину. Ей было очень интересно, что получается, но к любопытству примешивался страх. Он не разрешал подходить близко.— Можешь одеваться и уходить! — говорил.— Куда? — спросила однажды она.— Откуда я знаю.— Он все еще стоял возле холста.— Какое мне дело? В сад.— Нет,— ответила она.— Я больше туда не пойду.— Отлично,— он нисколько не удивился.— Иди куда твоей душе угодно. Я хочу остаться один.— Она оделась и вышла из мастерской, хлопнув дверью. Постояла минутку, прислушиваясь с бьющимся сердцем, не побежит ли он следом, чтобы ее отчитать, но в мастерской царила могильная тишина. Она заглянула в кухню. Кухарка, которая приходила готовить им обеды, злобно на нее покосилась.— Чего ты вечно сюда суешься? — Не твое дело,— сказала она. Отрезала себе кусочек пирога.— Занялась бы лучше делом,— продолжала та ворчать.— Убраться нужно.— Она не ответила. Вышла из кухни. Выглянула в сад. Было душно, похоже, приближалась гроза. Она боялась грозы. Решила переждать в библиотеке. Села в кресло с ободранной обивкой и стала перелистывать огромные альбомы. Картины ей нравились. Она осторожно переворачивала страницу за страницей. На некоторых фотографиях были скульптуры. Она дотрагивалась до них пальцами. О надвигающейся грозе забыла. Думала, что, в общем-то, до сих пор никогда не

была по-настоящему счастлива. Может, счастливы только те, кто создают такие произведения? Может быть, старый человек, который ее рисовал, счастлив, и она должна этому его чувству завидовать. Когда она подняла голову, он стоял рядом. Разглядывал ее. Только иначе, чем в мастерской.— Одного не понимаю,— сказал,— почему я позволяю тебе здесь ошиваться? — Вы должны закончить картину,— ответила она, откладывая альбом.— Скоро закончу, уже немного осталось.— Она рассмеялась.— Значит, пока мне надо быть здесь.— Я вовсе в этом не уверен,— вздохнул он.— А может, ты мне в самом деле нужна? — Она догадывалась, что он чего-то недоговаривает и что сам теперь начинает испытывать страх в ее присутствии.— Должен же кто-то обо мне заботиться.— Подошел к ней, заглянул в альбом.— Еще бы! — ответила она решительным, сильным голосом... Спровадив нахала, который ловко провел ее своими россказнями об улитках, она не спеша вернулась на террасу. Села в шезлонг, вытащила деньги, пересчитала еще раз, опять спрятала. Неожиданный визит ее порадовал. Незнакомцу не удалось до конца ее обмануть. Если он другого мнения и вздумает явиться сюда еще раз, наткнется на захлопнувшиеся перед носом ворота. Ему никогда не переступить порога этого дома. Даже немного жаль, думала она. Он может нравиться женщинам... Она поймала себя на желании коснуться его руки, лица. В какой-то книжке, которая ей однажды попалась в библиотеке — там стояли на полках книги с исчерканными первыми страницами, где авторы писали старику всякие приятные слова,— она прочла, что по-настоящему счастливы бывают люди, которые отказываются от всяких излишков жизненных благ. Может, это и правда, думала она, но что, собственно, такое — эти излишки? Счастлив должен быть человек, который способен утолить голод. Это, пришло ей в голову, основная причина, по которой она порой ненавидит запершегося в мастерской человека. Ибо он, чувствовала она все время, голод этот утолял беспрестанно. Когда она отбирала у него краски, он отыскивал сломанные карандаши и рисовал... Она посмотрела на лежащие на террасе картины, отодвинула их ногой. Ничего хорошего в них, к сожалению, не было. Она рисовала, чтобы убить время. По принуждению, не по внутренней необходимости, которую он постоянно в себе ощущал. По-настоящему я была бы счастлива, если б стала актрисой, думала она. Солнце освещало всю южную стену дома, слышен был легкий шум, деревья шевелили ветвями. С раннего детства она мечтала, чтобы настала минута, когда другие смогут ею восхищаться. Это не было обычное стремление обратить на себя внимание, свойственное многим женщинам, которые, подобно ей, не были таким вниманием избалованы. А значит, чувство это не было той разновидностью тщеславия, которое быстро утрачивается, даже не полностью удовлетворенное. Она мечтала, чтобы те, которым надлежало ею восхищаться, разделяли также ее мысли, чувства, страх и радость, чтобы она могла навязывать им свои желания, а у них не было сил ни одного отвергнуть. Когда-то она любила учить наизусть стихи. Если пыталась кому-нибудь их почитать, ее чаще всего подымали на смех. В театре жизнь сложилась бы иначе, это ясно. Возможно, она бы не добилась больших успехов. Там, как везде в жизни, требуется множество счастливых случайностей, чтобы выбиться, обогнать других, а потом получить известность, славу и деньги. Она встала с шезлонга. Заглянула в мастерскую. Он сидел, склонившись над листом бумаги.— Может, отдохнешь немного? — спросила она. Он, как обычно, молчал, не поднимая головы. Тогда она села рядом. Бросила взгляд на стол. Везде лежали листы, на которых он красной краской рисовал бычьи головы.— Хорошо! — сказала она.— Молчи, я согласна. Твое общество доставляет мне не такое уж большое удовольствие. Можешь вовсе не открывать рта. Хочу только тебе объяснить: все, что я делаю, я по-прежнему делаю ради твоего блага. Сейчас, например, я бы предпочла, чтобы ты прервал работу и подышал свежим воздухом. Твои

друзья распространяют слухи, будто я запираю тебя на ключ,— засмеялась она.— Как тебе это нравится? Старик, запертый ненормальной бабой в мастерской. Разумеется, ты не соблаговолил заявить, что это ложь. Скажи, почему ты всегда рисуешь только себя? — Она подумала, что и в голове быка угадываются какие-то его черты; это, конечно, не ясно ощутимое сходство, а скорее внутреннее родство. Он молчал, углубившись в работу.— Ну, что ж! — вздохнула она.— Я решила с этим покончить. Раз и навсегда. Изволь правильно меня понять. Пора, наконец, заткнуть им рты. Я не могу больше так с тобой жить. Ты беспомощный старик, которому я отдаю все силы. В доме нет ни одного предмета, принадлежащего исключительно тебе. Картины и рисунки, ради которых ты всем готов пожертвовать, такая же моя собственность, как и твоя. Я тоже участвовала в их создании. Их бы просто не было, не будь меня рядом...— Она встала. Хотела открыть окно, глотнуть свежего воздуха, но вспомнила, что окна заколочены изнутри.— Я не вымогаю благодарности,— продолжала она,— хотя заслужила по крайней мере несколько добрых слов. Просто жду, чтобы ты подтвердил очевидное. Я этого требую.— Она снова села, следя за движениями его руки.— Тебе даже не хочется знать, что именно я решила? — спросила.— Неужели не интересно? Ты бы предпочел, чтобы все поверили, будто я засадила тебя в тюрьму.— Она не обольщала себя надеждой, что услышит ответ, что он нарушит свое молчание.— Я покажу им эту тюрьму еще раз,— сказала решительно.— Потом молчи себе до конца, ради бога...— Самой тяжелой была нынешняя зима. Занесло все дороги. Добираться в магазин, за продуктами, стоило большого труда. Муж болел. Прошлой осенью она вызвала врача. Тот приехал на машине. Элегантный, самоуверенный. С ней от первой до последней минуты обращался как с прислугой. Настойчиво рекомендовал ему лечь в больницу для тщательного обследования.— В вашем возрасте,— она слышала, как врач терпеливо ему это втолковывал,— следует быть особенно осторожным. Я, конечно, пропишу нужные лекарства, но еще раз повторяю: вы должны пройти всестороннее обследование. А это можно сделать только в больнице. Там есть все необходимые условия, оборудование и специалисты. Ваше здоровье слишком большая ценность, чтобы подвергать его излишнему риску...— Она хотела посоветоваться относительно собственных недомоганий. У нее болели мышцы рук, горло, но она передумала, когда врач стал говорить, что нужно делать, при больном. Он выписал ему кучу рецептов. Сказал, что через несколько дней позвонит, поинтересуется состоянием пациента. Прощался со стариком долго и многословно. Она ждала, не пожалуется ли тот на нее доктору, но он, как обычно, лишь односложно отвечал на вопросы. С начала и до конца визита говорил только врач... После его отъезда — он не хотел брать денег, а она предполагала, что придется торговаться, ведь никто не умеет так, как они, драть с человека шкуру — она села у постели и расплакалась.— Ты обратил внимание,— спросила,— что он даже не соизволил на меня взглянуть, хотя я чувствую себя ненамного лучше, чем ты? Я вообще для него как бы не существовала — один из предметов в твоем доме, вот и все. Ты, конечно, ничего не заметил, хотя я столько раз говорила, что чувствую себя отвратительно. Занят был только собой и своей болезнью. Неужели никто в жизни тебе не говорил, что ты способен думать только о себе и о том, чтобы тебе было хорошо? Лишь бы иметь возможность рисовать картины и читать книги, остальное не в счет? Никто ни разу не говорил? Хотя ты так долго живешь на свете? А самому тебе это не могло прийти в голову? Почему, черт подери, ты молчишь? Я ждала, что ты попросишь, чтобы он и меня посмотрел. Не мог выдавить из себя такую просьбу, да? А может, ты обо мне забыл? Вот я и спрашиваю: кто я, собственно, для тебя?..— Она сочла, что от лекарств проку не будет. Перешла на травы. Доктор в самом деле позвонил. Она сказала, что больной, слава богу, чувствует себя гораздо лучше и даже

встает с постели. Он спрашивал про лекарства, правильно ли она их дает больному. Она сказала, что с этим все в порядке. Напоследок он попросил, чтобы она спустя некоторое время ему позвонила. Она пообещала, что так и сделает. Только вот больной сам просит, чтобы она никогда больше его не вызывала. Между тем старик чувствовал себя скверно. В начале зимы он снова вернулся в мастерскую. Ей пришлось топить печь, потому что было очень холодно. Он сидел, набросив на плечи клетчатый плед, и рисовал. Она проводила дни в библиотеке, где и раньше просиживала часами. Не заметила даже, как промелькнула мартовская непогода и над парком появилось апрельское солнце. Такой же была предыдущая зима. Теперешняя подкралась еще неожиданнее, с метелями и сильными морозами. Стены дома — она слышала, как он говорил кому-то, что дом этот построили из старых лиственниц, которые росли когда-то в лесу на другом берегу реки, и что теперь там уже нет таких деревьев,— трещали по ночам. Комнаты не удавалось согреть. Везде царил пронизывающий холод. Он лежал у себя. Она приносила ему еду.— Наверно, ты уже сам прекрасно понял,— говорила она ему,— что никакие лекарства, прописываемые этими жуликами, не помогают. Ты поправляешься только благодаря моим травам. Небось думал, я хочу тебя отравить. Так, верно, считают твои друзья.— Кто бы из них ни звонил, чтобы осведомиться о его здоровье, она неизменно отвечала, что он чувствует себя хорошо. Тогда они просили позвать его к телефону. Она не моргнув глазом отвечала, что сейчас позовет. Откладывала трубку и, постояв несколько минут на месте, снова ее поднимала и говорила, что он очень занят в мастерской и просил не отрывать его от работы. Они бросали трубку. И звонили все реже. В январе сорвало телефонные провода, и они оказались совершенно отрезанными от мира. Вечерами она заходила к нему, пододвигала кресло к кровати.— Не притворяйся, что спишь, хорошо? — говорила.— Моя мать в твоем возрасте спала только четыре часа в сутки.— Он молчал, лежа с закрытыми глазами.— Только не думай,— продолжала она,— что я свихнусь, если ты не будешь со мной разговаривать. Интересно тебе, откуда у меня берется столько сил, чтобы все это выдержать? Я никогда не отступаю, запомни. А выбор я сделала. Ты подумал, как бы тебе жилось без меня? Кто другой отважился бы стольким ради тебя пожертвовать? Или ты считаешь, что мог бы заполучить кого-нибудь, кто бы лучше о тебе заботился, допустим, за деньги? Ошибаешься, дорогой. Все они только и мечтают тебя обокрасть. Вот чем бы обернулась эта забота, если ты действительно воображаешь, будто кто-то за это бы взялся.— Голова, лежащая на подушке, даже не дрогнула.— Думаешь о прошлом? — спросила она.— В этом нет ничего плохого, черт побери. Будь мне столько лет, я бы тоже, наверно, о чем-нибудь таком думала. Что тебе вспоминается?..— Веко приподнялось, он смотрел на нее.— Какой ты был раньше? Всегда такой же бессмысленно упрямый? А может, хочешь, чтобы я рассказала о себе? Боже правый, почему бы нет? Пожалуй, счастлива я была только в раннем детстве. Тогда я тянулась к людям. Воображала, будто мир устроен справедливо и людям вовсе незачем причинять друг другу зло. Мне хотелось непременно чего-то в жизни достичь. То есть я мечтала, чтобы моя жизнь была нужна другим, но не хотела, чтоб меня эксплуатировали. К сожалению, скоро я убедилась, что подобные мечты не всегда осуществляются. Хуже того: часто жизнь губит стоящих людей, вознося за их счет таких, которые ничего хорошего не заслуживают. Что, собственно, ты можешь знать о справедливости? Тебе знакомы опасности, которых мне приходилось избегать? О, это не всегда удавалось. Часто нужно было расплачиваться, и дорогой ценой, можешь быть уверен. Нет, нет, я вовсе не жду сострадания. Впрочем, не уверена, что тебе вообще известно такое чувство. Скорее, нет, правда? Я тебе не рассказывала о человеке, который меня обманул? Я тогда была совсем молоденькая. Он меня соблазнил. Потом

оказалось, он давно связан с другой, а изменить уже ничего было нельзя...— Старик по-прежнему молчал. Она дотронулась до одеяла. Он не пошевелился. Она была уверена, что он не спит и никакая это не старческая дремота. Хочет, видно, ее унизить. Она силилась понять, сколько в его поведении злого умысла и расчетливости, а сколько старческой немощи. Случалось ведь, что он пытался ее обмануть... Летом он обычно выходил на террасу и сидел там в кресле, посасывая трубку. Рядом лежал альбом для эскизов. Время от времени он что-то в нем рисовал. Потом забывал об этих рисунках, и ей приходилось приносить их ему в мастерскую. Однажды она заметила, как он махал рукой оказавшемуся возле дома мужчине, которого она наняла для работы в саду. Вероятно, думал, она занимается своими делами в глубине дома, и даже предположить не мог, что за ним следят. Когда тот подошел, он что-то ему сказал и быстро протянул конверт. Ах, вот как! — подумала она тогда. Захотелось меня обдурить... Она по-прежнему не спускала с него глаз. Он взял альбом и побрел в мастерскую. Она отыскала работника. Попросила, чтобы он отдал письмо. Тот делал вид, будто не понимает, о чем она просит. Она сказала, что выгонит его, не заплатив ни гроша, сегодня же, если он не отдаст переданного ему письма. Он долго с ней препирался, но в конце концов конверт отдал. Не сказав ни слова, она вернулась домой. Заперлась в библиотеке — хотя старик давно туда перестал заглядывать,— разорвала конверт и начала читать. Письмо было короткое, написанное аккуратным мелким почерком. Она не знала человека, которому оно было адресовано. Вероятно, кто-нибудь из его старых друзей или чиновник, к которому он, видно, питал доверие. Он просил о помощи. Писал, что ему не разрешается ни с кем видеться и что такую жизнь он дольше не вынесет, а письмо это — мольба о спасении. Она положила конверт на стол, где лежали снятые с полок книги, и заплакала. Просидела в библиотеке до самого вечера. Более или менее успокоившись, решила делать вид, будто ничего не знает. Зашла в мастерскую. Ей показалось, он смотрит на нее, щурясь, а глаза смеются.— Опять ты не открываешь окон,— посетовала,— сколько можно дышать этим ужасным воздухом. Пора, наконец, вытащить гвозди из подоконников. Ты уже привык к этому невыносимому запаху. Не понимаешь, как это может быть вредно для здоровья.— Не сумев сдержаться, расплакалась. Покосилась при этом на старика: интересно, заденут ли его хоть сколько-нибудь ее слезы. Он неподвижно сидел на месте и смотрел все так же, словно смеялся, прищурившись.— Ты не хочешь понять,— спросила она, перестав плакать,— что я дала себе волю только потому, что тревожусь за тебя? Сама-то я не обязана здесь сидеть, подумай, что это за удовольствие? Мне одного хочется: чтобы ты щадил себя, берег силы, которых у тебя совсем немного. Ты ведешь себя, мой дорогой, как старый упрямый ребенок, который сам не знает, чего, собственно, хочет и которого нельзя ни на секунду оставить без присмотра...— Какое-то едва заметное беспокойство промелькнуло в его взгляде. Но она не стала ничего больше говорить.— Я тебе это прощаю! — Приблизилась к креслу, коснулась его лба. Лоб был холодный и влажный. Она отдернула руку.— Так, как уже простила многое другое и как еще не раз вынуждена буду прощать впредь...— С минуту постояла на пороге, глядя на него с сочувствием. Она не о себе голько думала, хотя он так больно ее обидел. Потом несколько дней подряд она слышала, как он шлепал на террасу, когда должен был приехать почтальон.— Ждешь письма? — спрашивала.— Да они все давно тебя забыли. Нет, ты неисправим. Думаешь, кто-нибудь о тебе помнит? — Он не отвечал. Тяжелым шагом, сгорбленный, уходил в мастерскую. Опять наступили дни, когда на смену жаркому утру внезапно приходили тяжелые, подолгу громыхавшие грозы. Дома было невыносимо. Она ложилась на диван и закрывала голову подушкой. К вечеру небеса успокаивались. На безоблачном фоне появлялась луна, освещая деревья и дорожки

перед домом. В то лето она решила сама начать рисовать. Чаще стала заглядывать в мастерскую. Он по-прежнему не обращал на нее внимания, занятый своей работой. Она подсматривала, как он разводит краски, подготавливает бумагу. Однажды поставила на террасе столик. На него вазу. Срезала два фиолетовых ириса и принялась рисовать. Дело пошло на удивление хорошо. Раз уж судьба, думала она, сидя над листом картона, не позволила осуществить мечту о театре, нельзя упустить другой случай. Буду рисовать цветы. Теперь время проходило быстрее. Она уже не просиживала целыми часами в библиотеке. Две, лучшие по ее мнению, работы отнесла в мастерскую, похвастаться.— Что скажешь? — Положила их на стол, где лежали его рисунки. Он посмотрел и секунду спустя осторожно, не говоря ни слова, отодвинул на край, возвращаясь к прерванному занятию.— Неплохо, правда? — Ей было чертовски любопытно, что́ он в самом деле о них думает. Он не выдал себя ни единым жестом.— Значит,— она забрала картины,— они тебе нравятся, раз ты не считаешь нужным ничего поправлять. И мне так кажется. Давно бы следовало начать. Теперь я буду посвящать этой работе гораздо больше времени, дорогой. Я же вижу, насколько для тебя важно это занятие. И я его полюблю, увидишь. Можешь быть уверен, на сей раз я чего-нибудь достигну. Причем без твоей любезной помощи. На это ведь я не имею права рассчитывать, верно? — Он не отвечал. Она рассмеялась. Подошла к стене и отодвинула холст, для которого когда-то позировала.— Быть может,— фыркнула,— когда-нибудь и я нарисую твой портрет...— На картине она была голая. Тяжелое массивное тело выделялось на пронзительно зеленом фоне. Она не узнавала себя. Женщина на картине ни в чем ее не повторяла. Рядом с ней она чувствовала себя маленьким хрупким созданием, которое этот человек изобразил в искаженном виде. Когда она увидела картину впервые, то не могла удержаться от смеха. Ноги, руки, груди — все это не принадлежало ей. И тем не менее она снова и снова возвращалась к этой картине. Было в ней что-то пугающее, а она не могла точно определить, почему ей страшно. Видно, улавливала какое-то сходство, но не хотела в этом признаться. Почему, гадала, он не нарисовал ее такой, какая она есть на самом деле, раз уж она ему позволила это сделать? Хотел за что-то отыграться? Стало быть, он первый решил ее обидеть. Как-то ночью она спустилась в мастерскую. Зажгла свет. Поставила холст на мольберт. Долго на него смотрела. При слабом свете стоящей на столе лампы картина вызывала еще бо́льшую тревогу. А может быть,— размышляла она,— он действительно так меня видит? Но разве имеет кто-нибудь право чинить такой произвол? Она могла тогда картину уничтожить. Не приходилось сомневаться, что и это он бы встретил молчанием, которым вооружился в ту минуту, когда она выставила его друга. И никто иной бы уже не смог этого увидеть. Она быстро отогнала эту мысль. То, что чувствую я сама, не важно! — подумала. Картина ведь говорит о чем-то еще,— она приблизилась к освещенному холсту.— Это и есть самое главное. Вот оно, лучшее доказательство того, что он ее любил. Это в первую же минуту должно бросаться в глаза каждому, едва картина отделится от темноты... И вот она опять смотрела на этот холст. При дневном освещении краски казались более глубокими и чистыми. Он продолжал стоять, склонившись над столом, не отрывая взгляда от пустого листа. Сейчас опять нарисует, подумала она, снова повернув картину лицом к стене, голову быка или какие-нибудь красные плоскости, из-под которых потом проступит странный, кровавый лес, сплошное переплетение стволов, веток, освещенных сверху ярким солнцем, либо густые заросли трав, на которые смотришь сквозь воды торопливого красного ручья. В этих рисунках ей виделись симптомы болезни. Почему, не раз задумывалась она, складывая кипы разбросанных по всей мастерской листов, он не рисует ничего другого? Она не знала, как это назвать. Это не просто

непонятное упорство. Ей самой рисунки не нравились, но то, что он рисовал, вызывало уважение. Она объясняла себе, что это только привычка, ничего больше, и что все у него — глаза, пальцы, мозг — обызвествилось. Последние работы уже не имеют никакой ценности, они лишь свидетельство его существования, будто он молча кричит, что еще жив и что ему доступно нечто такое, чего она, а возможно, и другие люди не понимают, что является исключительно его тайной.— Да...— сказала она уже с порога.— Когда-нибудь я нарисую твой портрет. Усажу тебя на террасе, будешь держать цветы. Вот только набью немного руку...— Закрыла дверь. В глубине сада росли одичавшие розы, красные и очень пахучие. Он будет держать букет этих роз. Она заглянула в кухню. Полно немытых кастрюль и стаканов. С тех пор как она выставила прислугу, которая убиралась в доме и готовила обед, беспорядок мало-помалу завладел всеми помещениями. Она вынуждена была избавиться от этой женщины. Кухарка не относилась к ней так, как следовало относиться к хозяйке этого дома. Всегда считала ее приблудной, которую этот старик — она ведь с неизменной снисходительностью относилась к нему, как к упрямому ребенку — пригрел на свою беду. С того времени чего только она о ней не рассказывала в округе. Теперь она работала в гостинице, и по дороге в городишко им иногда случалось встречаться.— Мое почтение, пани помещица,— издевалась та при каждом удобном случае.— Не удавила еще своего бедолагу?..— Она проходила мимо молча, с поднятой головой. Старалась как можно меньше бывать в городе, только в случаях крайней необходимости. Однако время от времени надо было ходить за покупками. Она взяла сумку, выгребла деньги из ящика и набросила на плечи старое, потертое пальто. Заперла дом на ключ. Собаки у ворот встретили ее радостным лаем. Едва выйдя на дорогу, она увидела стоящую неподалеку машину. Из нее вылез молодой человек в кожаной куртке. Снял куртку и отдал сидящему в машине лысому человеку. Она увидела в руках лысого большой фотоаппарат с объективом, нацеленным прямо на ворота, из которых она только что вышла.— Ага, все-таки мне повезло! — услышала она голос приближающегося мужчины. Пути к отступлению не было. Первой ее мыслью было повернуть и уйти обратно в парк, но этот тип подошел уже слишком близко. Он что-то говорил, смеясь, и ей показался знакомым его голос, только не удавалось сообразить, кто же он, собственно, такой.— Вам что-нибудь от меня нужно? — она остановилась. Оглядела его внимательно.— Разумеется,— улыбнулся он.— Мне бы хотелось, чтобы вы нам помогли...— Она догадалась, что это один из тех, которых сюда подсылают, и что он наверняка ее враг. Нужно быть осторожной. Когда он объяснил, что́ его, собственно, интересует, она сказала, чтобы он позвонил через несколько дней, так как надо согласовать это с мужем, который болен и давно уже — будто они этого не знали — никого не принимает. Он поддакивал, заверял в своем уважении. Просил только, чтобы она ему помогла. За учтивыми улыбками, однако, крылось фальшивое обличье, такое же, как у других, которых она обычно заворачивала прямо от ворот. Вернувшись домой — после того, как были сделаны покупки в городке, где с некоторых пор ничего нельзя было достать, не потому, конечно, как объяснял ей знакомый мясник, что произошли какие-то серьезные неполадки, а по причине временных трудностей, которым вскоре придет конец, едва завершится жатва и будет собран пусть не ахти какой урожай,— она сварила молочный суп и отнесла тарелку в мастерскую. Потом, не дожидаясь, пока он примется за еду, вышла на террасу. Путешествие в город утомило ее. Она размышляла, не лучше ли отказать встреченному возле дома нахалу. В конце концов, думала, если она решит, что его вместе с камерами, микрофонами и бандой сообщников, не менее, чем он, любопытных, нечего пускать в дом, то просто скажет по телефону — а он наверняка через несколько дней

позвонит,— что у мужа, к сожалению, нет желания с ними встречаться и что она очень извиняется, но с волей мужа вынуждена считаться. У нее было ощущение, что пришла пора, наконец, сказать правду. Потом она навсегда закроет дверь. А перед тем поставит несколько условий. Прежде чем переступить порог мастерской — ей самой было очень интересно, скажет ли он им хоть словечко,— им придется выслушать то, что она сочтет нужным сказать. Это будет немножко похоже на театральное представление. Она воображала, как должна в этот день выглядеть. Пожалуй, наденет черное платье, которое велела сшить, когда они ехали расписываться. И приколет золотую брошку с аметистами, найденную однажды в письменном столе мужа. Если судить по уцелевшим семейным фотографиям, брошка принадлежала его матери. Накануне нужно будет еще зайти к парикмахеру и непременно подстричь волосы. Нельзя выглядеть старше своих лет. Она посмотрела на небо. Было еще светло. Уже появилась луна. Огромный шар поднимался над рекой, будто выплывал прямо из лесов, растущих на другом берегу. Она вернулась в мастерскую. Тарелка была пуста.— Я решила сделать тебе сюрприз,— сказала, зажигая лампу на столе.— Согласилась, чтобы о тебе сняли фильм. Ну, и как? — Ей показалось, что у него дрогнули веки.— Я этих людей не знаю,— добавила она.— Приехали сюда на машине и попросили, чтобы я их к тебе впустила. Я сказала, что прежде должна подумать. Тебе ведь такой разговор может оказаться не по силам. Мне бы хотелось знать, захочешь ли ты вообще...— Он смотрел на нее.— Я же знаю, что тебя это может очень утомить. Поэтому пока ничего не обещала. Только подала надежду. Они настаивали, пытались, видишь ли, меня купить сладкими речами. Я прекрасно понимаю, что им на самом деле нужно. Просто хотят обстряпать выгодное дельце. А ты как считаешь? Но я подумала, что этот визит может оказаться нам на руку. Пусть увидят, как я о тебе забочусь. Надеюсь, и ты рискнешь раз в жизни поступить по справедливости. Пусть узнают, скольким я для тебя пожертвовала... Наверно, они захотят посмотреть твои картины и рисунки. Ради бога, я ничего не имею против. Лишь бы это было в последний раз. Придется приглядывать, как бы они чего не украли. Ты, конечно, следить не станешь...— Она поглядела на сидящего. Все это время он не спускал с нее глаз. Она не была уверена, что он действительно понимает, о чем она говорит. Увидела только, что у него длинные, до плеч, седые волосы.— Нужно непременно помыть тебе голову,— вздохнула.— И немножко подстричь эту роскошную шевелюру. Нельзя так показываться людям...— Он как будто утвердительно кивнул головой. Значит, все-таки, подумала она, слушает внимательно.— Ну, видишь! — обрадовалась.— Не такая уж я плохая. У меня есть только одна просьба. Нечего им долго тебя мучить. Я попрошу, чтоб они заранее сказали, о чем будут спрашивать. Если они этого не сделают, я их не пущу в дом. Сам понимаешь, им придется принять это условие. Помни: они лицемеры; только и ждут случая, чтобы человека осмеять, погубить или унизить. С учтивыми улыбочками при этом. Но ты не бойся, я все время буду с тобой и не позволю, чтоб нам учинили какую-нибудь пакость.— Она встала, прошлась по мастерской. Увидела свою гигантскую тень, скользящую по стенам.— А может быть,— спросила,— расставим картины в парке? Они очень просили все им показать. Там, пожалуй, посветлее и смотреться работы наверняка будут лучше, чем здесь. Как ты считаешь, а? — Он молчал.— Сейчас-то хоть мог бы ответить,— сказала она обиженно.— Я все это делаю ради тебя.— Остановилась перед своим изображением.— И этот холст надо показывать? — Она спросила, как он считает. Ответа не последовало.— Ладно,— сказала она.— Я и об этом подумаю...— Назавтра мужчина, третьего дня встретившийся ей у ворот, и в самом деле позвонил. Спросил, поговорила ли она с мужем.— Конечно,— ответила она.— Ну и что? — нетерпеливо спросил он.— Мне нужно еще раз с вами уви-

деться.— Она посмотрела на календарь, сообразила, что календарь-то прошлогодний.— Послезавтра,— добавила.— Отлично,— пробормотал он.— Только приезжайте один,— попросила она и повесила трубку. Он явился в назначенный час.— Почему, скажите на милость,— недоумевал он,— я должен заранее показывать вам вопросы? Я их задам во время записи.— Таково его желание,— твердо ответила она.— А здесь в первую очередь с ним нужно считаться, так ведь?..— Молодому человеку хотелось бы с ним поговорить. Он объяснил, что они всегда так делают. Небольшая предварительная беседа до того, как приедет вся группа. Дальше уже все идет гладко.— Ну что ж!— поднялась она с шезлонга.— Похоже, до встречи дело не дойдет...— Они разговаривали на террасе. Она видела, как он с любопытством поглядывает в глубь дома. После ее слов сразу помрачнел, притих.— Хорошо, хорошо,— забормотал,— раз уж он так хочет, установим только день, когда мы сможем сюда приехать.— Полез в карман, вытащил календарь. Ей было совершенно все равно, она согласилась на тот день, который он предложил.— Вы, конечно, уже поговорили с его друзьями. Только, пожалуйста, не отрицайте.— Он сидел опустив голову, поигрывая авторучкой.— Воображаю, что вы от них услышали. Они по-прежнему считают, что я его притесняю, верно?— Он посмотрел на нее. Руки неподвижно лежали на коленях.— А вы подумали, как трудно опекать старого и усталого человека? Господи, да откуда вам знать! Сама не понимаю, о чем мы говорим? К тому же на мне все хозяйство. Никто не помогает, здесь работать невыгодно. Вот я и тружусь изо дня в день, не покладая рук. У меня даже не остается времени спокойно посидеть с ним на террасе, посмотреть, как он курит трубку.— Сочувствую вам,— буркнул он. Она понимала, что и это сочувствие — чистое притворство, он просто хочет втереться в доверие.— Однако, собираясь сюда, вы думали иначе. Что ж, я не требую справедливости.— Муж работает?..— Ей показалось, что он уже раз об этом спрашивал.— Временами,— неохотно ответила она.— Но не любит ничего показывать. Вас интересует только то, что он делает?— Она рассмеялась.— Потому что другим хотелось бы знать гораздо больше. Чем я его кормлю. Какие он принимает лекарства. Вывожу ли я его на дальние прогулки. Откуда такое любопытство?— Не знаю,— пожал он плечами.— У них у всех одна мечта — чтоб я сгинула. С ним бы они, не будь меня, давно справились. Вот и распускают слухи, будто я морю его голодом, не допускаю врачей и держу под замком в мастерской. До сих пор считают, что он принадлежит им. Точно купленная по дешевке вещь. Иногда мы с ним сидим на этой террасе,— продолжала она.— Конечно, если погода приличная и у меня выдастся свободная минута. Вот тогда мы о многом говорим.— Он, кажется, был не очень-то разговорчив,— робко вставил гость.— Только не со мной!— усмехнулась она, глядя на озабоченную физиономию собеседника.— Он говорит, что ему осточертело общество всех этих притворных друзей и благодетелей. Вот как порой складывается судьба у тех, кто достиг чего-то в жизни. Иногда он спрашивает, нравятся ли мне картины, которые он пишет, и — должна вам сказать — очень прислушивается к моим оценкам, хотя я не так уж и хорошо в этом разбираюсь, однако мои слова значат для него больше, чем мнение других, которые торгуют приобретенными знаниями и продают свои суждения. Слава богу, он уже не должен от них зависеть. Он говорит, что лишь теперь счастлив по-настоящему и что больше всего нуждается в покое. Вас это удивляет? Пожалуйста, не забывайте — раз уж мы столько о нем говорим,— что я тоже плачу за это свою цену. Нет, нет!— махнула она рукой.— Мне плевать на клевету, которую на меня возводят. Я имею в виду другое. Ведь я еще не старая женщина. Кто знает, не последние ли это годы, когда мне в полной мере доступны радости жизни. Что я получаю за свои старания? Его благодарность, это верно. Но вы можете, положа руку на сердце, сказать, что этого достаточно, дабы не возникало иных

желаний? Я живу здесь, в этой глухомани, бок о бок с врагами, которых вечно раздражает мое присутствие. Совсем одна. Почему так происходит? Попробуйте ответить себе на этот вопрос.— Ее слова, видимо, его озадачили. Он не знал, что сказать. Можно было, конечно, опять завести старую песню насчет сочувствия, но он понимал, что это бы прозвучало в высшей степени глупо. И потому молчал. Легкие, едва различимые клочья тумана появились среди деревьев. Ей любопытно было, что у него на уме. В том, что она рассказала — хотя старик давно с ней не разговаривал и никогда не спрашивал ее мнения о своих картинах,— крылась правда, от которой никуда не денешься. Возможно, он сейчас думает, что она лжет. А ведь она действительно одинока.— Мне подчас не с кем словом перемолвиться...— начала она.— Он хоть беседует со своими видениями...— Не договорила. Где-то неподалеку стучал по дереву дятел. Размеренный, глухой стук.— Со старыми друзьями, которые его время от времени здесь навещают. Как видите, он умеет говорить и с теми, кого давно нет в живых. Это привилегия старости. В особенности людей, у которых совесть не совсем чиста. А у таких, что посвятили свою жизнь исключительно искусству, может быть, по-вашему, чистая совесть? Не думаю. Но судить его тем не менее не берусь, прошу этого не забывать. Я стараюсь его понять. Это существенная разница. Мне кажется, наши беседы много для него значат. Мне самой интересно, пытается ли он таким способом что-то себе объяснить или же хочет увидеть прожитую жизнь в ином, нежели собственная память, отражении? Но кто еще — кроме него самого — может это знать? Это уже тайна...— Мужчина молчал. Лицо его было обращено в сторону реки, словно он прислушивался к доносящимся оттуда отголоскам. Дикие утки кричали над водой. Где-то вдалеке лаяла собака. Она попрощалась с ним, проводила до ворот. Потом спустила собак и вернулась на террасу. В тот вечер она больше не вспоминала о посетителе. На следующий день солнце сильно пригревало, но это уже было начало осени. Деревья желтели и краснели, в воздухе висел запах дыма, который ветер приносил с другого берега. Ее внимание в этот час было напряжено до предела, но одновременно она ощущала какую-то разливающуюся по телу лень. Она подумала, что пора зайти в мастерскую и рассказать о вчерашнем визите, а также о том, что они окончательно установили день съемок. К тому же ей было интересно, как он встретит это известие. Выдаст ли себя каким-нибудь неожиданным движением руки или гримасой — на то, что он заговорит, рассчитывать не приходилось. А может, пока не стоит ничего говорить? Сказать через несколько дней, перед самым их приездом. Она попыталась представить себе, как все это будет. А вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное? Я дам ему эту возможность,—повторяла она себе.—С чего бы он вдруг избавился от страха, с которым давно смирился? Он ее боится, потому что она для него — олицетворение всего живущего здесь, вокруг них. У него есть только один путь спасения. Он может рисовать картинки. Жаль, думала она, не открывая глаз, потому что солнце переместилось так, что его лучи падали ей прямо на веки, что он не понимает, в чем действительно состоит его собственное благо. Впрочем, способен ли человек — не только такой беспомощный и старый — ясно уразуметь, что в конечном счете обращается против него, а что — поистине во благо? Мы слишком часто попадаем во власть иллюзий. А может быть, он по-своему счастлив? Кто это знает... Итак, продолжала она строить предположения, они будут спрашивать, работает ли он еще и удовлетворен ли работой. Почему он не показывает последних картин, хотя его постоянно просят устроить выставку? Изменилось ли его отношение к живописи? Она велела непременно у него спросить, счастлив ли он. В самом начале беседы. Поскольку ей важно, чтобы все его так называемые друзья узнали правду. Они ведь до сих пор считают, что она его терроризирует... Только вечером она заглянула в мастерскую. Лам-

па не горела. Он спал в кресле.— Я принесла тебе ужин! — сказала она. Он сразу же принялся за еду.— Жалко,— она подошла к окну,— что ты сегодня не выходил в сад. В полдень было очень тепло, прямо как в середине лета. Но вечерами на террасе долго не просидишь.— Она слышала, как он ложкой зачерпывает из тарелки молоко. У него дрожат руки. Она повернулась к нему. Села напротив. Отодвинула рисунки.— Я еще кое-что должна тебе сказать,— начала.— Наберись терпения и послушай. Днем я лежала на террасе. Просто захотелось немножко погреться. Солнце светило очень ярко. Я закрыла глаза, но ни на миг не задремала. Можешь мне поверить. Я абсолютно все слышала. Собак у ворот, шелест ветвей, какие-то голоса на реке, где, наверно, катались на лодках отдыхающие из гостиницы. И вдруг я отчетливо услыхала приближающиеся шаги. Кто-то шел по аллейке. Я открыла глаза. Солнце светило прямо в лицо. Пришлось прищуриться. К дому шли двое. Молодой человек в белом костюме и дама в старомодном длинном белом платье, с зонтиком на плече. Мужчина держал в руке соломенную шляпу. Я слышала их голоса, хотя слов не разбирала: женщина что-то рассказывала, смеясь и грозя пальцем своему спутнику. Я была так поражена, что не решилась спросить — а они бы меня несомненно услышали,— чего они здесь ищут...— Он отставил пустую тарелку и принялся чистить трубку.— Когда я снова открыла глаза,— продолжала она,— на дорожке никого не было. Мне казалось, я еще слышу шаги. Не веришь — а я ни секунды не дремала. Это не был сон... Сознание у меня все время оставалось ясным. К тому же я никогда, как ты знаешь, не засыпаю днем. Эти люди действительно там были, дорогой. Я на них смотрела, и мне казалось, что когда-то я их уже видела, но не знала точно, когда и кто они, собственно, такие. С тобой никогда ничего подобного не случалось? Ах, понимаю, ты, конечно, считаешь, что мне померещилось. Можешь сказать, не кривя душой: похоже, что у меня бывают видения? — рассмеялась она.— Скорее уж у тебя. Скажи, может быть, я не права? — Он набил трубку табаком и взял спички.— Вот видишь,— она поудобнее уселась на стуле.— Случаются все же такие истории. Я тебе скажу еще кое-что, ты наверняка очень удивишься.— Ей нравилось, когда он курил трубку. Сквозь тошнотворный, тяжелый запах, которым был пропитан воздух в мастерской, пробивался тонкий дразнящий аромат.— Только какое-то время спустя, окончательно успокоившись,— она не спускала с него глаз,— я сообразила, что и в самом деле их уже видела. Угадай где? На фотографии, которая стоит в библиотеке. Это была та же самая пара, дорогой. Их фотографию ты когда-то велел оправить в деревянную рамку. Бумага пожелтела, но черты лица хорошо видны. Что ты на это скажешь? — она подождала минуту.— У меня начались галлюцинации. Проще простого, верно? Увы, мой дорогой. Это была совершенно реальная картина. Припомни: ты мне сам рассказывал об этих людях и о том, что и к тебе они приходят? Однако же не сказал, кто они такие, хотя я очень тебя просила. Говорил, что любишь сидеть на террасе, поскольку тебя временами навещают знакомые. Я не очень-то верила в эти посещения, честно говоря. Думала, тебе только так кажется. Потом ты уже никогда про них не вспоминал, считая, что я не заслужила права выслушивать твои рассказы. Почему ты так поступил? Неужели все должны верить только твоим словам, забывая, что у каждого есть еще собственные глаза и уши? Ты несправедлив, чего там рассуждать. Но тогда, признаюсь, ты был прав. Они действительно к тебе приходили, это я смалодушничала. О чем очень сожалею.— Он вдыхал дым, не открывая глаз.— Люди по природе своей недоверчивы. А теперь ты тоже не можешь мне сказать, чего они, собственно, хотят? — Он не поднял век.— Если это какая-то тайна, которую ты не хочешь поверить даже мне, скажи, по крайней мере, кто они,— улыбнулась она.— Вдруг снова появятся...— Мельком взглянула на рисунок. Все та же красная бычья морда с большими сверкающими глазами.

Она отодвинула от себя рисунок. Подумала, что, рисуя цветы, она восстанавливает нарушенную справедливость в мире. Почему,— взгляд ее скользил по разбросанным кистям и карандашам,— он рисует только эти головы? На другое не способен? Или таким образом выражает неугасимую волю к борьбе? Она встала и через стол перегнулась к нему.— Это хорошо! — сказала почти шепотом.— Видишь, у каждого из нас есть своя тайна. Человек ведь никогда не открывает всей правды другому.— Он забавлялся трубкой и следил за голубой струйкой дыма, тянущейся к лампе.— Впрочем, я вовсе ее от тебя не жду. Жалко, тебе не приходит на ум, что́ все-таки хотели сказать твои друзья...— Рассмеялась. Если бы кто-нибудь, подумала, остановился под окном и заглянул в мастерскую, сам укрытый сгущающейся темнотой, поглотившей очертания деревьев и разросшихся кустов, то подумал бы, невидимый, что вот, мол, двое говорят о болезнях и старый человек, сидящий с трубкой в кресле, выслушивает ее советы, как лечить свои недуги, или рассказы о живущих в городке людях, одним словом, муж с женой ведут, по обыкновению в полном согласии, вечернюю беседу перед тем, как погрузиться в сон.— Жалко,— повторила.— Но я уже начинаю догадываться, что им было нужно.— Вышла, не оглянувшись. Осторожно, чтобы не шуметь, закрыла дверь. Постояла, прислонившись к косяку и глядя в глубину неосвещенной комнаты. Подумала, что когда те сюда явятся, она впустит их только в библиотеку. А картины разрешит снимать в саду... В условленный час она была у ворот. Им здорово повезло. День обещал быть погожим. Утренний туман рассеялся, воздух был легкий и чистый. На небе ни облачка. Это важно, подумала она, им ведь необходимо хорошее освещение — так объяснял тот, с которым она договаривалась,— чтобы фильм хорошо получился. Ей очень хотелось, чтобы он получился хорошо... Она тщательно привязала собак, смеясь в душе над теми, кто панически их боялся. Псы выглядели устрашающе, это правда, но при виде постороннего, едва вступавшего на дорожку, убегали в глубь сада. Она широко распахнула ворота и вышла на дорогу. Скажет ли он им хоть одно слово? — думала она, щурясь от солнца.— Это ведь будет самое важное испытание. Найдет ли в себе достаточно сил, чтобы чем-нибудь ее попрекнуть? Она решила предоставить ему такую возможность. Он сможет выговориться перед аппаратом, который запечатлеет его слова на пленке, а они потом смогут повторить то, что он им скажет. Если отважится. В самом деле — осмелится ли он осудить ее за все то, что она здесь до сих пор делала? А если он не откроет рта? Можно ли будет считать это победой? Нет, это был бы проигрыш, свидетельствующий о слабости. Если же, несмотря ни на что, он с ними заговорит, продолжала размышлять она, победа все равно будет мнимая. Так или иначе, она раз и навсегда запрет ворота для всех, кому бы ни вздумалось впредь сюда явиться. Это игра, в которой каждый борется за сохранение своего достоинства. Те, которых она ждала, разумеется, не имели об этом ни малейшего представления. Их интересовало другое, они рассчитывали на немедленный успех... Приехали они с небольшим опозданием. Очень возбужденные. Она не ожидала, что их будет аж столько. Представились: операторы, специалисты по свету и звуку. Вынесли из машины свои аппараты. Она попросила, чтобы сначала они посмотрели картины. Если сочтут, что их нужно расставить иначе, она ничего не имеет против. Они хотели непременно осмотреть дом. Она сказала, что беседовать с мужем они будут в его библиотеке. К сожалению, он не желает пускать их в мастерскую. Это им очень не понравилось. В библиотеке установили прожекторы. Перелистывали книги. Разглядывали картины, висящие на стенах, и фотографии.— У нас есть еще немного времени,— сказала она человеку, который отдавал распоряжения.— Может быть, выпьете кофе?.. Он, не раздумывая, согласился. Она принесла поднос на террасу.— Здесь будет спокойней,— сказала. Он выпил. Похвалил. Кофе был крепкий и очень ароматный.—

То, что я люблю,— улыбнулся.— Без кофе не начинаю ни одного дела.— Спросил, как обычно складывается их день.— Что вам сказать? Работаем...— ответила она.— Муж, конечно, значительно больше отдыхает. Особенно он любит сидеть здесь. Говорит, это место встреч, к нему сюда приходят.— Мужчина удивился, но вопросов задавать не стал.— Сама я,— добавила она,— никогда этих посетителей не видела. Знаю их только по его рассказам, а еще по фотографии, которая вам, должно быть, попалась в библиотеке.— Она увидела, как он осторожно нажал клавиш стоящего рядом с чашкой магнитофона. Сделала вид, будто не заметила этого движения.— Интересно: порой и я начинаю верить, что эти посетители действительно к нему являются. Приходят, понимаете, оттуда,— указала она рукой в сторону парка,— от реки, и здесь их прогулка заканчивается. Мужчина и женщина. Муж утверждает, что они выглядят в точности как на снимке.— Она поднялась.— Может быть, показать вам его...— Он утвердительно кивнул. Она вернулась в библиотеку, сняла фотографию со стены. Посмотрела с порога: уже начали снимать картины. Подумала, что среди этих людей должны быть и такие, которым хорошо известна их подлинная ценность. Обрадовалась, что они принялись за дело с таким рвением. Как знать, может, только это и останется от его работ? Единственный след.— Взгляните...— Она налила кофе в пустую чашку. Пододвинула к нему сахарницу. Накануне вечером она долго чистила ее золой. Сахарница была старая, почерневшее серебро не поддавалось.— Можно вынуть из рамки? — спросил он.— Конечно, мой дорогой,— улыбнулась она. Колесико с пленкой медленно вращалось, хоть он и старался заслонить магнитофон раскрытым блокнотом. Вероятно, он недавно побывал на юге или на море. Лицо загорелое и молодое.— Как вы похожи на этого мужчину с фотографии! А может быть, мне только так кажется. У меня неважное зрение.— Этот снимок сделан пятьдесят лет назад...— Он вставил фотографию в рамку и осторожно положил на стол.— Так давно! — вздохнула она.— Правда, эти люди вызывают доверие? А может, дело в их молодости, поэтому появляется такое чувство. Они явно заняты собой. Я много раз пыталась себе представить, о чем они говорили, когда их фотографировали.— Они друг другу улыбаются...— пробормотал он с заметным удивлением.— Вы сказали, они здесь прогуливаются? — Именно,— подтвердила она.— Так утверждает мой муж.— Любопытно,— вздохнул он.— Так и говорит? — Женщина эта,— продолжала она,— была актрисой. Это первая жена моего мужа. Она ушла от него много лет назад.— Узнаю,— сказал он.— Это действительно она.— Очень была красивая, говорят,— она не спускала с него глаз и чувствовала, что он слушает с огромным напряжением.— К сожалению, не смогла жить в такой глуши. Я прекрасно понимаю, что она должна была испытывать, хотя, вероятно, очень его любила. Он сам, впрочем, никому об этом не рассказывает. Это старая история. Печальная история двух людей, у которых что-то не склеилось. Мне очень интересно, была ли она счастлива потом, когда его оставила? Достигла она многого. У меня не было случая ее порасспросить,— рассмеялась.— Вы меня понимаете...— Эта женщина умерла до войны,— вставил он.— Еще не старой...— Мужчина, который, как мне кажется, очень на вас похож,— продолжала она,— был другом моего мужа. Однажды купаясь в реке, он утонул. Приехал сюда надолго, отдохнуть. Было, кажется, невероятно жаркое лето, с тех пор такого ни разу не повторилось, и именно тогда произошел этот несчастный случай. Муж рассказывал, что как-то жарким днем они отправились вместе на реку поплавать. И тот начал тонуть,— она задумалась.— Что-то он еще говорил...— Что, что? — спросил мужчина, наклоняясь над столом.— Кажется, он тоже очень любил эту женщину.— Мужчина вертел в пальцах чашечку.— Муж хотел его спасти...— продолжала она,— но у самого сил было мало. Боялся: вдруг внезапная судорога, да и сердце пошаливало...— Печальный случай.— Он отставил чашку.— Жизнь

постоянно сталкивает нас с тайнами, которые принадлежат нашим близким,— она опять улыбнулась, подумав, что недалека от достижения поставленной цели,— и мы всегда стараемся их разгадать, чтобы как-то помочь беднягам.— О ком вы говорите? — перебил он.— О живых и о мертвых, разумеется,— ответила она.— Вы считаете, что я ошибаюсь? — Он молчал.— У них должна быть какая-то тайна, уверяю вас, раз они, спустя столько лет, продолжают прогуливаться в этом парке,— она усмехнулась.— А что это может быть? Скорее всего, какие-нибудь проблемы жизни и смерти. Или они приходят со своими жалобами, которые только он может услышать.— Среди деревьев мелькали операторы. Снимали картины, а заодно и дом. Прекрасно! — думала она.— Если вдобавок этот разговор записывается, они могут быть очень довольны собой.— Вы догадываетесь, что это за жалобы? — наклонился он над столиком. Возможно, хотел пододвинуть поближе магнитофон.— А что мне еще остается? Разумеется, все это лишь догадки. Муж говорит только одно: что они сюда приходят и что он вынужден с ними беседовать. Раскрывать тайны у него нет ни малейшей охоты. Но я, признаться, сама много об этом думала. Ведь каждому хочется как нельзя лучше узнать близкого человека. Может, вовсе и незачем к этому стремиться, но желание порой оказывается всего сильнее, забываешь, что иногда не мешало бы проявить деликатность, не так ли? — Он кивнул.— А вдруг ему хотелось, чтобы этот человек утонул? Если оба любили одну женщину, а что творилось у нее в душе, неизвестно? Почему она навсегда ушла от него вскоре после смерти друга? — Она развела руками.— Ответить на это могут только мертвые. Оттого он и разговаривает с покойниками. Это не должно вас особенно удивлять. Со старыми людьми такое часто случается. Что-то им эти встречи дают. Потому и я поверила, что они сюда приходят.— Вы хотите сказать...— начал он.— Я больше ничего не хочу сказать! — отрезала она.— Кроме того, что уже сказала и что вы, вероятно, сочли болезненным бредом.— Он вам рассказывает об этих встречах? — упорствовал мужчина.— Говорит только, что к нему приходят,— ответила она.— И что он вынужден с ними разговаривать, вот и все.— Она поправила волосы.— Почему вас так заинтересовала эта история? — Поглядела на часы.— Кажется, у нас мало времени.— Значит, вы здесь усматриваете,— он не хотел сдаваться, ее это порадовало,— некий комплекс вины? Похоже на то, правда?..— Ничего подобного я не говорила! — резко ответила она.— Мне только хотелось, чтобы вы поняли: жизнь здесь течет не так, как везде, и трудно подходить к ней с обычными мерками. Вы думаете, я его не просила поделиться своими тайнами? Много раз ему доказывала — хотя потом обычно жалела о своей настойчивости,— что таким образом он избавится от угрызений совести, если они действительно его мучают. Он никогда не возражал, но и ответа не давал. Спустя некоторое время я поняла, что бедняга не может этого сделать. Подумайте сами,— она смерила молодого человека суровым, гневным взглядом.— Вы очень любите посвящать близких во все без исключения дела? Ведь это невозможно...— Почему вы мне это говорите? — спросил он.— О господи! — Она усмехнулась.— Я хочу, наконец, втолковать вам, что мы обыкновенные люди. Покойники являются к нам, потому что у нас с ними свои счеты. Мы платим кое-какие долги. Возможно, защищаемся от чего-то, что нам не дает покоя. Ведь такие люди, как он,— она говорила очень медленно,— необычайно чувствительны. Нельзя проникнуть к ним в душу. Со своей совестью они пытаются разобраться сами. Когда рисуют, или пишут книги, или сочиняют музыку...— Молодой человек смотрел на нее с удивлением. Видно, ожидал чего-то совсем другого. Ведь ему внушали, что она глупа и заносчива. Не понимает того, что делает муж, и просто мечтает его погубить.— Как тяжело,— заговорила она, помолчав минуту,— когда нельзя толком помочь человеку, который ведет такую борьбу. А может быть, вовсе не нужно ему помогать? Но как тогда жить

с ним под одной крышей? Можно ли переложить часть вины на свои плечи?..— Она встала.— Боюсь,— сказала,— вы слишком молоды, чтобы правильно понять, что я имею в виду.— Он по многу времени так... размышляет? — Мужчина тоже поднялся, спрятал блокнот в карман.— Конечно,— ответила она.— Он не замечает, как идет время. Иногда мне приходится проверять, не слишком ли долго он сидит на солнце. В его возрасте это небезопасно. Я поправляю ему шляпу, убиваю комаров, которые садятся на лоб, или приношу табак для трубки...— Нельзя сказать, что вы счастливы? — Он оглянулся, его люди собирали картины и заново расставляли их в других местах.— Напротив! — твердо ответила она.— Я пожертвовала собой, чтобы обеспечить ему спокойную старость. Только это важно...— Порой нелегко правильно оценить такое самопожертвование,— пробормотал он.— Вы правы,— согласилась она.— Те, что вас сюда прислали, тоже, кажется, не хотят этого понять.— Она попросила, чтобы он пока посидел в библиотеке. Долго ждать не придется. Она только проверит, все ли в порядке и выйдет ли к ним муж. Зашла в спальню. Постояла перед зеркалом. Увидела темный румянец на лице. Это не был загар. Прикоснулась к щекам. Глаза ярко блестели. Она не сомневалась, что они используют записанный разговор. В каких бы целях они ни стали это делать, она своего так и так добьется. Поправила волосы. И волосы лежали хорошо. Если дойдет до съемок — она уже представляла себе эту сцену: они сидят рядом и отвечают на вопросы,— эти люди увидят совсем другого человека, нежели ожидали увидеть. Так оно и должно быть. Значит, перед ними она предстанет озабоченной, ласковой, приветливой. Все будет хорошо. Она отвернулась от зеркала. Подошла к кровати. Нагнулась к приколотому над ней листку. Посмотрела на горящий дом — выписанный с такой тщательностью. Увидела искаженные страхом лица за решетками окон. Руки, судорожно сжимающие прутья. Она подумала, что, если б здесь начался пожар, огонь, наверно, был бы виден издалека. Даже с противоположного берега реки. И в городке. Она опустила веки. Чувствовалось, как быстро пульсирует в висках кровь. Потом она пошла в мастерскую. Он сидел в кресле и курил трубку. Пиджак валялся в углу. Она всплеснула руками.— Что ты делаешь! — простонала.— Я целый вечер гладила этот костюм. Хочешь непременно, чтоб они увидели, какой ты неаккуратный? А может быть, решил так меня наказать? — Он чиркнул спичкой, поднес ее к трубке. Она увидела его глаза, освещенные слабым язычком пламени. Он смотрел на нее. Она подняла пиджак. Стряхнула пыль.— Ну, не будем ссориться...— Села напротив.— Они уже снимают твои картины. Сказали, что я очень хорошо придумала, расставив их во дворе. Будто бы так они стали еще красочнее. Должны хорошо получиться. Пусть только не получатся! — она усмехнулась.— Знаешь, это ведь в последний раз, больше я не пущу сюда ни одного нахала. Пока им об этом не известно, но я не намерена ничего скрывать. Они надеются, что сегодня ты их попросишь передать твоим старым друзьям и вообще всем, кому нравятся твои картины, чтобы они тебя не покидали. Что ты ждешь от них помощи.— Ответа не было. Он курил трубку и смотрел на нее.— Тут они немедленно сбегутся, чтобы тебя обокрасть. Я-то не пропаду, но что будет с тобой? — Она встала. Подошла поближе.— Мы не дадим себя в обиду, правда? — Коснулась губами его лба, лоб был холодный. Она знала, что вскоре ей придется проделать то же движение на глазах у чужих людей.— Помни, я всегда с тобой. Даже это молчание решила тебе простить. Признаю: ты имеешь право на любые причуды. Да и скажи, кто из нас без греха? — Посмотрела на часы.— Я приду за тобой через несколько минут,— сказала с порога.— Постарайся быть с ними любезен.— Вернулась в библиотеку. Там возился с прожекторами осветитель.— Шеф,— сказал он, скаля в улыбке зубы,— в парке...— Она подошла к столику. Взяла фотографию в рамке. Рукавом стерла пыль со стекла и повесила на прежнее место. За-

держалась перед камерой. Камера была уже установлена на штативе, напротив двух кресел, между книжным шкафом и дверью. Она чувствовала растущее напряжение.— Скоро все будет готово.— Осветитель включил прожектор. Библиотека на мгновение наполнилась ослепительно ярким блеском. Она зажмурилась. Как будто внезапно полыхнул огонь.— Придется привыкнуть...— сказал осветитель.— Заботьтесь о себе! — буркнула она. Вышла на террасу. Они все еще снимали картины. Того, с кем она только что разговаривала и кого они называли шефом, не было. Пришлось спуститься в парк. Солнце сильно припекало. Она задержалась возле нескольких картин, что были поближе. Они стали объемнее. В мастерской казалось, на холст положены бесплотные пятна, резкими цветами бьющие в глаза. Теперь видно было, что у каждого цвета есть своя, отдельная глубина и что все они поразному вписываются в ограниченное рамой пространство. Он, должно быть, знал, что именно таков будет окончательный эффект. В этом не было ничего случайного. Она пожалела теперь, что часто пренебрежительно проходила мимо этих картин. И тогда, впрочем, ей не удавалось подавить невольное восхищение, но чаще всего их совершенство ее раздражало. Ей бы хотелось все объяснить стечением обстоятельств, сноровкой, обнаружить на последних полотнах повторение того, что он сам когда-то, очень давно, открыл, но всякий раз оказывалось: это иное, новое видение вещей, так было задумано. Почему на этих холстах столько красного? — думала она.— Столько всяких его разновидностей и оттенков? От темного золота, переходящего в розовое сверкание, до черного багрянца, от которого больно глазам. Да, подумала, он великий художник. Только что это меняет?.. Она свернула к обрыву. Может быть, именно поэтому она временами так сильно его ненавидит? Остановилась на берегу. Река текла по широкому руслу. Потом плавной излучиной исчезала за горизонтом. Леса на противоположном берегу — полоса свежей зелени. Она чувствовала их запах. На воде не было ни одной лодки. Они стояли у пристани. На террасе перед гостиницей загорало всего несколько человек. Она прислонилась к дереву. Вдруг послышались чьи-то шаги.— Хорошо, что мы ее поснимали вволю... Долго еще эта ведьма нас здесь продержит? — Она не шелохнулась, шаги приближались.— А может, она и в самом деле придушила старика? — Громкий смешок.— Скажешь, не похожа на такую? — Прекрати! — Во втором она узнала мужчину, с которым разговаривала.— Ее голыми руками не возьмешь. Еще все может испортить.— Красивый дом,— отозвался первый.— Мне бы хотелось тут жить. Только не в таком кошмарном обществе. Она нормальная? — Остановились. Кто-то из них закуривал.— На сумасшедшую, черт бы ее драл, не похожа. Впрочем, откуда мне знать? — Она дрожала от страха, как бы они на нее не наткнулись. Однако они повернули к дому. Она перевела дыхание. Лишь минуту спустя двинулась следом за ними.— А я вас ищу! — сказала, улыбаясь.— Все в порядке?..— Она уловила едва заметное беспокойство у него на лице. Но он тут же улыбнулся.— Мы готовы,— ответил.— Отлично...— Она попросила его на секунду остановиться. Показала на картину.— Вы в этом разбираетесь, правда? — спросила.— Совсем немного,— ответил он.— Ну, и что вы скажете? — Они прекрасны! — воскликнул он. Она не уловила ни тени притворства.— Да вам это каждый может подтвердить. Глубокий старик, а пишет так же замечательно, как в свои лучшие годы...— Вы в этом уверены? — она окинула его быстрым взглядом.— Абсолютно уверен! — кивнул он.— Никаких сомнений. Они правда поразительны...— Я тоже так считаю...— согласилась она. И порадовалась, подумав, что ведь это ее неоспоримая собственность.— Я слыхала,— она остановилась на ступеньках террасы,— о нем говорили, что он белее, чем снег...— Мужчина удивленно поднял брови. Он не понимал, к чему она клонит.— А может ли человек,— продолжала она,— таким быть, по-вашему? — Он задумался.— Наверно, речь шла о его творчестве,—

сказал.— Да, конечно. Они были правы. Он такой и есть.— Замолчал. Минуту спустя посмотрел на часы.— Мне бы хотелось,— сказала она, делая вид, будто не заметила этого движения,— чтобы вы показали, что во всем этом есть и моя заслуга.— Естественно...— вот теперь в его голосе появилась фальшивая нотка.— Всем этим я обязан только вам.— Мне нужно лишь одно, дорогой мой,— она взялась за ручку двери,— чтобы вы показали правду, ничего больше...— В библиотеке собрались все, кто должен был присутствовать при записи. Ее закидали злыми, насмешливыми взглядами. Она отвечала неизменно приветливой улыбкой.— Немного погодя,— сказала,— я принесу вам кофе.— Они благодарили. Не скрывали нетерпения: слишком уж долго она заставляет ждать мужа. Молодой человек тем временем уселся в кресло и что-то говорил стоящему возле камеры осветителю. Она забыла, что и ему придется тут сидеть, поскольку он собирается задавать вопросы.— Нужно подставить стул,— сказала.— Зачем? — удивился он.— Для вас,— ответила она.— Да здесь же два кресла,— он и не думал вставать.— Совершенно верно,— согласилась она.— Для мужа и для меня. Я должна быть рядом с ним.— Она услышала за спиной короткий смешок. Мужчина у камеры нахмурился.— Ах, да! — пробормотал тот, что сидел в кресле.— Придется вам все переставить.— Он встал. Подошел к ней.— Долго нам еще ждать? — спросил со злостью.— До чего ж у вас мало терпения! — вздохнула она.— Я как раз к нему иду...— Закрыла дверь. Они тут же заговорили все разом. Видимо понизив голос, потому что она не могла разобрать ни слова. Нужно подойти к зеркалу. Посмотреть на себя. Но внезапно силы ее оставили. Она закрыла глаза. Из мастерской доносился шелест листов картона. Должно быть, он раскладывал их на столе. Она почувствовала, как по щекам у нее текут слезы. Такие они, значит! — подумала. Под опущенными веками мелькали клочья красного и белого. Глазам было больно. Вот будет зрелище — единственное в своем роде,— подумала,— когда она, наконец, сожжет этот дом, безвозвратно уничтожив все, что здесь находится. Только такой останется след! Ни на что другое пусть не рассчитывают, не заслужили. Огонь — вот лучший ответ. Она собралась с силами и вошла в мастерскую.— Тебя ждут, дорогой...— Увидела, что, зажав в зубах трубку, он как ни в чем не бывало работает, разложив на столе лист картона.— Потом закончишь.— Он не шелохнулся.— И так уже,— продолжала она,— я заставила их долго ждать. Они кипят от злости, можешь мне поверить.— Он поднял голову и смотрел на рисунок. Она увидела на его лице удовлетворение.— Ты прекрасно выглядишь! — она положила ему руку на плечо. Он вздрогнул. Посмотрел на нее.— Это надолго не затянется, увидишь,— пообещала она.— Я постараюсь, чтобы ты не устал.— Он не двигался с места.— Ты ведь сделаешь это для меня, правда? — настаивала она.— Они уже столько времени ждут.— Осторожно просунула руку ему под локоть. Легонько потянула к двери.— Мне бы хотелось от тебя услышать,— она еще раз окинула его взглядом,— что́ ты рисуешь на этих картинах — пожар? Когда я сейчас в саду на них смотрела, мне показалось, так оно и есть.— Он не ответил. Они прошли еще несколько шагов.— Осторожно! — шепнула она.— В коридоре нет света. У них там огромные лампы. У тебя могут заболеть глаза.— Она только смутно видела его

лицо. Свободной рукой поправила ему волосы на лбу. В ней всколыхнулась какая-то неожиданная нежность.— Они — враги,— шептала она.— Но ты не должен их бояться. Я с тобой...— Прежде чем открыть дверь в библиотеку, она прикоснулась губами к его щеке. Почувствовала: колется. Жалко, должно быть, плохо его утром побрила. Он ее не оттолкнул. Позволил вывести себя на свет. Ее удивила мгновенно воцарившаяся в библиотеке тишина. Все смотрели только на них. Потом зажглись прожекторы. Мужчина, который теперь сидел между ней и мужем, объяснял, что сначала будет проведена проба голоса и света. С трудом подняв голову, она смотрела прямо в камеру.— Что бы вы хотели нам сказать, метр? — слышала она голос этого человека.— С тех пор как была ваша последняя выставка, прошло немало времени. Многое вокруг изменилось. Мы только что видели ваши прекрасные полотна...— Умолк. Теперь был слышен лишь монотонный шум работающей камеры. Она все время улыбалась. У нее уже не оставалось сомнений, что победа будет полной.— Может быть, вы захотите, метр,— продолжал тот же голос,— рассказать нам о своих последних работах...— Ответа не было. Он молчал. Она покосилась в его сторону. Он сидел неподвижно с поднятой головой и закрытыми глазами. Даже губами не пошевелил.

■

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА.

Советский переводчик с польского. Переводила произведения Я. Ивашкевича, А. Рудницкого, С. Зелинского, В. Маха, М. Домбровской, Т. Новака, Ю. Кавалеца, Э. Стахуры и др.

Из японской поэзии

Вступление и перевод ВЕРЫ МАРКОВОЙ

Здесь представлены стихи двух известнейших японских поэтов нового времени: Сайсэя Муро и Котаро Такамура.

Японская поэзия своеобразна даже в наши дни, когда очень сильно взаимопроникновение литератур разных народов. У нее особое видение мира. Конечно, каждый большой художник ищет свой угол зрения, но даже новое в японской поэзии зачастую носит отпечаток сложившихся веками национальных традиций. Иногда они подсказывают выбор ключевого художественного образа, настрой чувств, тот или иной отклик на голос природы...

Художественная фантазия в самых своих, казалось бы, неожиданных капризных изломах говорит о национальном характере.

Не следует забывать также, что поэты — дети своей среды и своей эпохи. Каждый из них движется внутри истории и вместе с ней, при этом у современников пути могут скрещиваться и расходиться, уводить от народа и приводить к нему. В этих поисках родится и высокая поэзия Сайсэя Муро и Котаро Такамура.

Сайсэй Муро (1889—1962) — поэт и романист. Подлинное его имя — Тэрумити; Сайсэй — литературный псевдоним.

Сайсэй прославлен в Японии как тончайший лирик, непревзойденный мастер поэтического искусства. По его словам, он жил в поэзии и для нее.

Бедственно-трудными были детство и юность Сайсэя. Он был незаконнорожденным, нежеланным ребенком. Отец умер, мать бросила мальчика на произвол судьбы, и его взяли приемышем в семью буддийского священнослужителя, где мира и благости не хватало, а попреков и ссор было сколько угодно. Закончить среднюю школу ему не удалось, пришлось идти на заработки. Но в юноше рано проснулся поэтический талант.

Сайсэй поехал в Токио. Там он испытал бездомность, нищету, голод, увидел страшный лик капиталистического города. Он был одним из обездоленных — и здесь главный источник гуманизма Сайсэя. Толстой и Достоевский стали его любимыми писателями.

Понемногу завязались литературные знакомства. Вместе со своим другом Сакутаро Хагивара, вождем нового направления в японской поэзии, Сайсэй стал издавать в 1916 году журнал «Кандзё» («Чувство»). Группа поэтов, собравшихся под эгидой этого журнала, провозгласила примат чувства. Живая речь гибка и эмоционально насыщена, и потому стихи надо писать на простом разговорном языке — так считали поэты группы «Кандзё».

В 1918 году вышли первые поэтические сборники Сайсэя: «Стихи о любви» и «Маленькие поэмы». В 1930 году появился сборник «Стихи о железе».

Стихи нашей подборки были написаны в эпоху второй мировой войны и после нее, кроме стихотворения «Слон», созданного в 1922 году. Ныне оно стало хрестоматийным.

Попробуем войти в его атмосферу. Тихий зимний вечер. Поэт сосредоточенно смотрит на старинное, времен средневековья, блюдо. На нем синий силуэт слона. Под пристальным взглядом слон оживает, движется, выходит в пространство. Но солнечный свет гаснет, чудо кончилось. И все-таки главное чудо — не сам предмет, а человек, который его воспринимает, поэт.

В этом стихотворении ясно просматривается связь новой поэзии Японии с классической. Недаром Сайсэй много времени и труда отдал изучению творчества великого поэта Басё (XVII век). Связь времен продолжается: теперь молодые японские поэты учатся мастерству у Сайсэя Муро, Котаро Такамура и других поэтов старшего поколения.

Котаро Такамура (1883—1956) был сыном скульптора и вырос в среде творческой интеллигенции. Он посвятил свою жизнь двум искусствам: ваянию и поэзии. В 1906—1909 годах путешествовал по Европе. Картины Парижа в его ранних стихах — собор Нотр-Дам под дождем, ночные кафе — словно написаны кистью импрессиониста.

Когда Котаро Такамура вернулся на родину, Япония с ее косным укладом жизни показалась ему душной тюрьмой. Художник, влюбленный в красоту, он верил, что именно красота призвана восстановить гармонию мира и утраченную цельность души. Но никакой полет фантазии не мог преобразить реакционную Японию в царство красоты. Стремясь вырваться из скорлупы отчуждения и одиночества, Котаро Такамура сблизился с литературной группой «Сиракаба» («Белая береза»), находившейся под сильным влиянием идей Толстого. Движущей идеей для него становится любовь к народу.

В 1914 году вышел первый сборник стихов Котаро Такамура «Дорожный указатель».

В 1930 году появилась книга «Тиэко». Своей жене Тиэко поэт посвятил самые ли-

рические, самые проникновенные строки. Она для него — не только любимая женщина, но и духовный ориентир; огромной трагедией его жизни была болезнь жены: Тиэко потеряла разум.

Да, Тиэко теперь не говорит разумно:
Весь разговор ее теперь лишь знаки
Для куликов и голубых сорок.

На смерть жены написана элегия «Лимон», одно из самых известных стихотворений Котаро Такамура.

Во время войны поэт укрылся от бомбежек в горах, его мастерская в Токио была истреблена огнем. В эвакуации он создал большой цикл стихов: предельно искреннюю повесть о своей жизни. Старость — время осмысления личного прошлого и исторических событий, свидетелем которых довелось быть. Взволнованно, с большой силой он казнит себя за то, что, мечтая о свободе, бунтарь в душе, «растерял тройное орлиное оперенье», что не был активным борцом против ненавистных ему фашизма и милитаризма. Трагичен автопортрет, который оставил нам в своих поздних стихах Котаро Такамура. Он глубоко, по-человечески и художественно, правдив.

САЙСЭЙ МУРО

Слон

На матово-белом фарфоре
Синий слон идет за мальчишкой-погонщиком.
Это блюдо старинной выделки
Кривобоко. Слон цвета индиго
Выходит из глубины
И тянется дальше печальной тенью.

У этого старого блюда
Дно застыло, словно покрыто лаком.
В сумерках вечера
Слон больше не кажется длинным.
Он сжался
И стал еще более грустным.

Бумага

Бумага, она бела.
Но белизна расклубится дымкой,
Дымка станет снегом,
Облаком станет,
Облако — закатным огнем
Или сиянием луны.
В бумаге раскрывается даль,
Длинная улица вырастает.
Люди по улице идут.
Чей-то кашель.
Чей-то приятный голос.
Бумага, она бела.

Из-неплотно-притворенных-ставен
Заглянет светлая лунная ночь.
В листе бумаги нет глубины.
Как можно его называть бездонным?
А все же, все же
В листе бумаги есть глубина.
Там дома белеют рядами.
Там говор людской слышен весь день.
Там не стихает таинственный шепот.

В теснинах гор

Но что же он писал?
От глаз чужих ладонью прикрывая,
Мельчайшие лепил он письмена
Убористыми плотными рядами.
Красивые листы бумаги
Сплошь знаками он покрывал
И в клочья рвал листы...
О чем же
Так потаенно каждый день писал он?
Никто не знает
И не узнает, хоть умри!
Когда бы даже удалось собрать
Все это множество мельчайших знаков,
Они не станут с нами говорить,
И не услышишь их, и не увидишь.
А если б все они пришли толпой,
Быть может, я бы заново родился
И начал по-иному жить.
Напрасно звать! Исчезли письмена
И никогда назад не возвратятся,
Их больше нет.
Они в теснинах гор
Теперь, наверно, стали облаками.

Год за годом

Когда приходит весна,
Люди спешат поглядеть на ветки:
Богат ли весенний цвет,
Много ли плодов уродится?
Печальный год, когда нет плодов.
Еще печальней,
Когда и цветы не зацветут.
Год изобилья дарует все:
Золотом осыпаны ветви.
Надо лишь смотреть на деревья,
Чтобы без ошибки прочесть
Летопись ветров и метелей.

Деревья умеют писать.
Пишут повести и поэмы, расскажут
О любовных встречах под лиственной сенью.
Смотрите, упали на землю
Тени листьев
Плетением темных узоров.

Сколько пишут деревья коротких стихов!
Люди год за годом
Все глубже погружаются в чтенье,
И в ответ все шире
Стихи разрастаются и ветвятся.
Если бы все собрать,
Книги бы расцветали весною,
Летом золото бы на ветках сверкало.

Сумерки в Японии

Цветы сплетаются с цветами.
Смешались краски.
Тихий ветер
Лицо овеет, но ушам не слышен.
Здесь словно свадьба совершилась.
В японских сумерках особенная мягкость,
Как будто свет зажжен в яичной скорлупе.
Вкруг люди собрались,
Держа в руках
Тончайшей прелести исполненную повесть.

Три года в горах

Три года я провел в горах.
Природа до конца непостижима,
Попытки можно множить,
Но не дойдешь до сокровенной сути.
И я решил вернуться в город.
К чему напрасно тратить жизнь,
Неисчерпаемое наблюдая.
Довольно бы и тридцати минут,
А я смотрел на горы
Три долгих года.
Я три раза видел,
Как снова возвращается весна.
Она придет опять,
Но у меня
Нет больше времени ее встречать.
Глядите!
Всех моих друзей
Война похоронила.
Я один,
Один остался доживать.
Огонь заката,
Мне посланный оттуда,
С той стороны, что позади лежит,
Я и сегодня вижу.
Уберегся
Здесь, под защитой гор. Вернусь в столицу.
Но в моем саду
Не буду следовать подсказкам
Природы, вытверженным наизусть.
Нет, пусть покажет сад
Лишь то, что вновь откроется душе.
Там, где мои погибшие друзья

Ходили, я тропинку проложу.
Пускай, не прерываясь,
Тропинка тянется все дальше, дальше,
До письменного моего стола,
Ко мне, тому, кто голову сберег,
Единственный...

Призывный голос

За горой сияет солнечный свет.
Просочился чей-то голос сквозь ветви.
Торопливо я на вершину взошел,
Но лишь ветер бродит в чаще деревьев.
Я сошел с горы, голос слышится вновь,
Голос женщины слышится вновь.
Подымусь на вершину, там нет никого.
Лишь сойду в низину, голос зовет.

КОТАРО ТАКАМУРА

Лимон

Элегия

Ты просила: «Дай мне лимон!»
На печально белеющем ложе смерти
Из рук моих ты взяла лимон.
Я глядел, как твои прекрасные зубы
Вонзились в свежую мякоть.
Пролился аромат цвета топаза.
Эти несколько капель —
Словно лимон был даром небес —
Вдруг сознанье твое разбудили.
Лазурно-ясными стали глаза
И тихо-тихо мне улыбнулись.
О, с какою силой
Рука твоя сжала руку мою!
Так, в последний миг, прощаясь со мной,
Тиэко́ стала прежнею Тиэко.
Всю любовь всей своей жизни
Ты вложила в это одно мгновенье,
Глубоко дыханье перевела,
Как в былые дни, на горной вершине,
И — механизм остановился!

Перед твоим портретом,
Осененным веткой цветущей вишни,
Я и сегодня положу
Прохладой сияющий лимон.

Непочтительный сын

Удушливой тюрьмой
Мне показался город Кобэ.
Что ж! Фудзи хороша, но так мала!
От радости себя не помнят
Отец и мать.
Вернулся, дождались,
А я в душе прошу у них прощенья.
Они, по счастию, не знают,
Какие мысли бродят в голове
У их сынка, что любящим слывет.

Но в непочтительного сына
Теперь я поневоле превратился,
Чтоб стать свободным человеком.
Как? Человеком? Здесь, в такой стране!
Да это же мятеж!

Наверно, первою развеется мечта
Об отчем доме, где меня
Мои родители так долго ожидали.
А что со мною станется потом,
По совести, я сам не знаю,
Одно лишь ясно:
«Добрым и прекрасным
Традициям» я стал чужим.

«Какое у него лицо во сне!» —
У изголовья тихо шепчет мать.
Ну, что прикажете мне делать
С такою нежною семейною любовью?

Конец войны

Моя мастерская сгорела дотла.
Я укрылся на севере,
В Ханамаки,
И вот, наконец, извещенье по радио...
Я остался сидеть, прикованный к месту,
Но невольно весь задрожал.

Япония донага раздета.
Люди в своем паденье
Скатились до самого дна.
Чтобы спастись от голода,
Ищут помощи у вражеских войск
Те, кому удалось уцелеть.
Император поспешил с разъясненьем:
«Я есмь человек.
Отныне прошу не считать меня богом».

С глаз моих упали заслоны.
Впервые за шестьдесят долгих лет
С плеч скатилась тяжелая ноша.
Снова мой дед, и отец, и мать
Возвратились в далекую нирвану.
Я глубоко, всей грудью вздохнул.
После чудесного освобождения
Одно еще у меня осталось:
Человеческое чувство любви.

Тучи минули, небо сияет блеском,
Бледно-зеленым, как старый фарфор,
В моем необъятно широком сердце.
И я с беспечностью нищеты
Пустынной красотой наслаждаюсь.

Доклад

(Для Тиэко)

Япония полностью переменилась.
Те, кто вселял в тебя дрожь омерзенья,
Чванливые, наглые властолюбцы
Как-никак перестали существовать.
Но перемена эта
Чужою силою совершена
(Японию начали «перевоспитывать»,
Говоря словами иных людей).

А я-то желал, как ты,
Всем сердцем, всем моим существом,
Чтобы внутренний взрыв породил
Обновленный мир, полный свежей жизни!
Но не хватило собственных сил...
Прости, мне стыдно перед тобой!
Ты мечтала о подлинной свободе.
Ты так страстно мечтала о ней
В кольце безысходной железной ограды,
И ты рванулась вперед —
За пределы разума и сознанья,
Ты разбила голову — насмерть!

Да, лицо Японии изменилось.
Но о таких переменах,
Не выстраданных, не совершенных нами,
Мне будет горько тебе рассказать.

Примерный образец

Снова сегодня посыпал
По-дурацки исполнительный снег.
Лачуга немотствует, будто глухая.
В лачуге ютится старик,
Примерный образец в своем роде —
Дурацкой покорности образец.

Старик этот выкован был
В особой стране особой моралью,
Связующей три поколенья семьи.
И он, в душе затаив
Орлиные крылья мятежа,
Рассекающие ветер в полете,
Отрастил когти жалкого повиновенья
И сам сломал свои силы.

Он жил шесть десятков лет
Накрытый железною сетью устава:
«Чинно сидеть, оправив одежду» —
Слепое послушное существо,
Как этот неумолимый снег.

Теперь он как будто освободился,
Раскрой свои крылья, лети,
Но он увидел печальную правду:
Себя самого,
И он растерял
Тройное орлиное оперенье.
Глаза его застят темные пятна.
Рухнули все четыре стены,
Но на развалинах старого замка
Он тихо дышит еще,
Упирается неподвижным взглядом
В пустое пространство перед собой.

Лачуга в горах приютила
Этот глупой покорности образец,
И, погребая эту лачугу,
Снег, тоже до глупости усердный,
Сыплет, пока ему должно сыпать,
Падает, падает без конца.

Первозданная Тиэко

Тиэко уже возвратилась
К первозданным началам:
Простым элементам.
Я не верю в посмертную жизнь души.
Но Тиэко подлинно существует.
Тиэко внедрилась в тело мое,
Тиэко слилась с ним воедино.
Зажгла в его клетках
Фосфорические огни.
Она играет со мной,
Она порой меня подтолкнет,—
Не предаст меня в жертву одряхлению.
Дух лишь другое имя плоти.
Тиэко, живущая во мне,—
Вершинный полюс моей души.

Тиэко — непогрешимый судья.
Она задремлет, сбиваюсь с дороги.
Слышу голос ее, я на верном пути.
Стоит ей весело подпрыгнуть,
Кружится в танце мое бытие.
Растворенная в теле моем,
Тиэко улыбается мне.

■

МАРКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА.
Советский переводчик и литературовед. Ей принадлежит много переводов из классической японской литературы (прозы и поэзии), в том числе книг, вышедших в последние годы: «Японские трехстишия» (1973), «Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья» (1975), «Две старинные японские повести» (1976), Сайгё «Горная хижина» (1979). В «Иностранной литературе» в ее переводе печатались подборка стихотворений американской поэтессы XIX в. Эмили Дикинсон (№ 12, 1976), классические японские танки (№ 5, 1977). Она также автор ряда статей по истории японской поэзии, прозы и театра.

МЮРИЭЛ СПАРК

Мисс Джин Броди в расцвете лет

РОМАН

Перевод с английского АЛЕКСЕЯ МИХАЛЕВА

Глава первая

Разговаривая с девочками из школы Марсии Блейн, мальчики ставили велосипеды перед собой и придерживали их за руль — таким образом мужская и женская стороны были отгорожены друг от друга барьером, а кроме того, создавалось впечатление, что мальчики остановились на минутку и сейчас поедут дальше.

Девочки были в панамах, потому что встреча происходила неподалеку от школы, а ходить без головного убора считалось нарушением дисциплины. Начальство сквозь пальцы смотрело на некоторые отклонения от канонического положения панамы на голове, когда дело касалось учениц четвертого класса средней школы [1] и выше, разумеется если панама не надевалась набекрень. Но и помимо этой крайности существовал целый ряд утонченных отступлений от правила, предписывавшего носить панаму, подняв поля сзади и опустив спереди. Все пять девочек, в присутствии мальчиков сбившиеся в плотную кучку, носили панамы с явным проявлением индивидуальности.

Эти девочки составляли «клан Броди». Так их называли и до того, как директриса в сердцах закрепила за ними это прозвище, когда они, в двенадцать лет, перешли из начальной школы в среднюю. В средней школе в них немедленно признали учениц мисс Броди, потому что они располагали обширной информацией о многих вещах, по словам директрисы, не имевших отношения к утвержденной программе и вообще не нужных для школы как учебного заведения. Выяснилось, что эти девочки наслышаны о бухманитах [2] и Муссоли-

[1] Система просвещения в Великобритании предусматривает резкую границу между начальной и средней школой. Частные учебные заведения, типа описываемого в романе М. Спарк, объединяют начальную и среднюю школы, тем не менее классы средней школы все равно именуются: первый, второй и т. д. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Бухманиты (или Оксфордская группа) — последователи Фрэнка Бухмана (1878—1961), создателя реакционного буржуазного религиозно-этического учения, объявившего средством устранения социальных конфликтов моральное усовершенствование личности.

МЮРИЭЛ СПАРК — MURIEL SPARK (род. в 1918 г.).

Английская писательница и литературовед. Окончила женскую школу в Эдинбурге, несколько лет провела в Центральной Африке. В годы второй мировой войны работала в британском Министерстве иностранных дел. О творчестве Мюриэл Спарк в этом номере в разделе «Критика» публикуется статья Г. Анджапаридзе «Причудливость вымысла и строгость правды».

Вниманию читателя предлагается роман М. Спарк «Мисс Джин Броди в расцвете лет» («The Prime of Miss Jean Brodie». London, Macmillan, 1961).

ни, о художниках итальянского Возрождения, о косметических преимуществах лосьонов и настойки гамомелиса по сравнению с простым мылом и водой; они были знакомы со словом «пубертация», с внутренним убранством лондонского дома автора «Винни-Пуха», а также с любовными переживаниями Шарлотты Бронте и самой мисс Броди. Они знали о существовании Эйнштейна и о доводах тех, кто отрицал подлинность Библии. Они знали начатки астрологии, но не могли назвать дату битвы при Флоддене[1] или столицу Финляндии. Все девочки клана, за исключением одной, с относительной точностью, как и сама мисс Броди, считали на пальцах.

Даже когда им исполнилось шестнадцать и, доучившись до четвертого класса, они после уроков слонялись за воротами и уже приспособились к принятому в школе порядку, в них по-прежнему можно было распознать клан Броди, они славились на всю школу — иначе говоря, их недолюбливали и относились к ним с подозрением. Они не болели за свою команду, да и сам клан почти ничто не объединяло, кроме неугасающей дружбы с мисс Броди. А она по-прежнему преподавала в начальных классах. К ней вся школа относилась с величайшим подозрением.

Женская школа Марсии Блейн была основана в середине девятнадцатого века, частично на пожертвования состоятельной вдовы одного эдинбургского переплетчика. Марсия Блейн при жизни была поклонницей Гарибальди. Портрет этой мужеподобной дамы висел в актовом зале, и каждый год в день рождения основательницы школы к нему ставили букет «износоустойчивых» цветов вроде хризантем или георгинов. Вазу с цветами устанавливали под портретом на небольшой кафедре, где лежала раскрытая Библия с подчеркнутыми красными чернилами словами: «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов».

Девочки, что сейчас переминались с ноги на ногу под деревом и из-за присутствия мальчиков держались тесной стайкой, были — каждая сама по себе — чем-то знамениты. Шестнадцатилетняя Моника Дуглас была старостой класса и славилась главным образом математическими способностями — она умела считать в уме,— а также вспышками гнева: временами она накалялась до того, что раздавала пощечины направо и налево. У нее был очень красный нос (и зимой и летом), длинные темные косы и толстые, похожие на бутылки ноги. С тех пор как ей исполнилось шестнадцать, Моника носила панаму значительно выше, чем положено, на самой макушке, словно она была ей мала и словно сама Моника отлично понимала, что, как она ни надень панаму, все равно будет выглядеть нелепо.

Роз Стенли славилась своей сексапильностью. Панама сидела на ее светлой, коротко стриженной голове вполне скромно. Роз заминала тулью с обеих сторон.

Юнис Гардинер, маленькая, подтянутая, была знаменита своей воздушностью эльфа на занятиях гимнастикой и блестящими результатами в плавании. Она носила панаму, подняв поля спереди и опустив сзади.

Сэнди Стрэнджер вообще загибала поля наверх и сдвигала панаму как можно дальше на затылок, а чтобы панама не сваливалась, Сэнди пришила к ней резинку, которую опускала под подбородок. Сэнди то и дело жевала эту резинку, а изжевав ее вконец, пришивала новую. Примечательна Сэнди была лишь маленькими, почти отсутствующими глазками, но подлинную известность ей принесло ее произношение гласных звуков, которые давным-давно, еще в начальной школе, приводили в восторг мисс Броди.

---

[1] Битва при Флоддене (1513) — одна из решающих битв в англо-шотландских войнах XVI века, в которой боровшиеся за независимость шотландцы потерпели тяжелое поражение.

— Выйди вперед и прочитай нам, пожалуйста, стихотворение — у нас был утомительный день.

Отбросив прочь веретено,
Она взглянула за окно
На пруд, где лилия цвела,
На всадника, что как стрела
Под гору мчался в Камелот[1].

— Это возвышает,— обычно говорила мисс Броди, плавным движением простирая руку к десятилетним ученицам, ждавшим спасительного звонка.— Если у людей отсутствует воображение, они погибли,— убеждала она девочек.— Юнис, выйди вперед и сделай сальто, нам необходима комическая интермедия.

Ну, а пока что мальчики с велосипедами весело издевались над Дженни Грей, передразнивая ее манеру говорить, как на уроках красноречия. Дженни собиралась стать актрисой. Она была лучшей подругой Сэнди. Панаму она носила, загибая передние поля вниз под прямым углом. Она была самой хорошенькой и изящной из всех девочек клана, чем и славилась.

— Не паясничай, Эндрю,— сказала она со своей обычной надменной интонацией.

Из пяти мальчиков троих звали Эндрю, и все три Эндрю тут же принялись передразнивать Дженни, повторяя: «Не паясничай, Эндрю»,— а девочки смеялись, и панамы прыгали на головах.

Подошла Мэри Макгрегор, последняя из девочек клана, славившаяся тем, что была безответной дурехой, просто никем, и любой мог свалить на нее что угодно. Вместе с ней была и некая Джойс Эмили Хэммонд, девочка из богатой семьи, признанная хулиганка, которую определили в школу Блейн совсем недавно: это была последняя надежда родителей Джойс Эмили, потому что ни одной другой школе, как и ни одной гувернантке, не удавалось справиться с их дочерью. Она все еще носила зеленую форму прежней школы. Остальные девочки были в темно-лиловых. На новом месте Джойс Эмили пока ограничивалась тем, что изредка кидалась бумажными шариками в учителя пения. Она настаивала, чтобы ее имя произносили полностью — Джойс Эмили. Эта самая Джойс Эмили из кожи вон лезла, лишь бы попасть в знаменитый клан, и полагала, что ее полное имя дает ей право на что-то претендовать, но у нее не было никаких шансов стать своей в клане, хотя она и не могла понять почему.

— Учительница идет,— сказала Джойс Эмили и кивнула на ворота.

Два Эндрю выкатили велосипеды на дорогу и умчались. Три других мальчика, презрев опасность, не тронулись с места, они просто отвернулись и стали смотреть в другую сторону, словно на минуту остановились полюбоваться облаками над Пентландскими холмами. Девочки встали в кружок, якобы что-то обсуждая.

— Добрый день,— сказала мисс Броди, подойдя к ним.— Я уже несколько дней с вами не виделась. Думаю, мы не будем задерживать этих молодых людей с велосипедами. Всего хорошего, мальчики.

Знаменитый клан двинулся за ней, и хулиганка Джойс пошла следом.

— Кажется, я не знакома с этой новенькой,— заметила мисс Броди, пристально разглядывая Джойс. А когда их представили друг другу, сказала: — Ну что ж, дорогая, нам пора.

Оглянувшись, Сэнди увидела, как Джойс Эмили зашагала в противоположную сторону, а потом пустилась вскачь, длинноногая и чересчур непосредственная для своего возраста. Клан Броди остался наедине со своими тайнами, как в детстве — шесть лет назад.

---

[1] Здесь и далее цитируются отрывки из поэмы Альфреда Теннисона «Леди Шалотт».

«Я начиняю ваши юные головы житейской премудростью,— говаривала мисс Броди в те годы.— Все мои ученицы — это элита, сливки общества».

Сэнди, прищурив маленькие глазки, посмотрела на очень красный нос Моники и, последовав за кланом в фарватере мисс Броди, вспомнила это изречение.

— Девочки, мне бы хотелось, чтобы завтра вы пришли ко мне на ужин,— сказала мисс Броди.— Постарайтесь к вечеру освободиться.

— Драматический кружок...— пробормотала Дженни.

— Предупреди, что ты не сможешь. Мне необходимо с вами посоветоваться. Готовится новый заговор, чтобы выжить меня из школы. Излишне говорить, что я никуда не уйду.— Несмотря на категоричность ее заявления, тон был обычный, спокойный.

Мисс Броди никогда не обсуждала свои дела с другими учителями и советовалась только с бывшими ученицами, с теми, кого она воспитала, посвящая в свою жизнь. И раньше готовились заговоры, чтобы изгнать мисс Броди из школы Блейн, но все они терпели фиаско.

— Мне снова намекнули, что будет лучше, если я перейду в одну из новых школ, где мои методы более уместны, чем здесь. Но я не собираюсь искать вакансию в какой-нибудь новомодной школе. Я останусь здесь, на этой фабрике массового просвещения. Им тут нужна свежая струя. Дайте мне девочку в соответствующем нежном возрасте, и она — моя на всю жизнь.

Девочки улыбнулись, понимая ее каждая по-своему.

Мисс Броди сверкнула карими глазами и этим многозначительно дополнила спокойные интонации своего голоса. Подсвеченный солнцем римский профиль придавал мисс Броди могущественный вид. Клан ни минуты не сомневался, что она одержит верх. С тем же успехом можно было ожидать, что вакансию в новомодной школе станет искать Юлий Цезарь. Мисс Броди никогда не уйдет из школы Блейн. А если начальство твердо вознамерилось от нее избавиться, то заговорщикам придется умертвить мисс Броди — другого пути нет.

— Кто входит в шайку на этот раз? — спросила Роз, знаменитая своей сексапильностью.

— Состав оппозиции обсудим завтра вечером,— ответила мисс Броди.— Но будьте уверены, у них ничего не выйдет.

— Конечно,— подхватили все,— конечно не выйдет.

— По крайней мере не сейчас, когда я в расцвете лет. А я попрежнему в расцвете. Запомните, всегда очень важно правильно угадать пору своего расцвета. А вот и мой трамвай. Место мне, думаю, никто не уступит. Мы с вами живем в тысяча девятьсот тридцать шестом году. Эпоха рыцарей миновала.

За шесть лет до этого мисс Броди повела свой новый класс на урок истории под большой вяз в школьном саду. Шагая по длинным коридорам школы, они дошли до кабинета директрисы. Дверь была распахнута настежь, в комнате — ни души.

— Малышки,— сказала мисс Броди,— подойдите сюда и посмотрите.

Они столпились у двери, и мисс Броди показала им на большой плакат, прикрепленный кнопками к противоположной стене. На плакате было изображено большое мужское лицо. Внизу написано: «Безопасность превыше всего».

— Это Стенли Болдуин. Он пролез в премьер-министры, но ненадолго,— сказала мисс Броди.— Мисс Маккей оставила его здесь висеть, потому что верит в лозунг «Безопасность превыше всего». Но безопасность не превыше всего. Превыше всего Доброта, Истина и Красота. Следуйте за мной.

Для девочек это было откровением, они впервые почувствовали, что мисс Броди не такая, как остальные учителя. А некоторые из них вообще впервые поняли, что взрослые, представлявшиеся им монолитным отрядом командиров, могут отличаться друг от друга. Взяв это на заметку и испытывая возбуждающее ощущение причастности к назревающему, но не опасному для них самих скандалу, они последовали за опасной мисс Броди под надежную тень вяза.

Часто в ту солнечную осень, когда позволяла погода, девочки учились, рассевшись вокруг вяза на трех скамейках.

— Возьмите учебники,— нередко говорила в ту осень мисс Броди,— и держите их открытыми на случай вторжения. Если к нам заглянет кто-нибудь посторонний, мы занимаемся историей... литературой... английской грамматикой...

Маленькие девочки держали учебники перед собой, но смотрели не в книги, а на мисс Броди.

— Тем временем я расскажу вам о моем последнем летнем отпуске, когда я ездила в Египет... Я расскажу вам, как ухаживать за лицом и руками... о французе, с которым я познакомилась в поезде по дороге в Биариц... а еще я расскажу вам об итальянских картинах, которые я видела. Кто величайший итальянский живописец?

— Леонардо да Винчи, мисс Броди.

— Неверно. Правильный ответ — Джотто. Он мой любимый художник.

Временами Сэнди казалось, что у мисс Броди грудь плоская, без всяких выпуклостей, прямая, как ее спина. В другие дни это была настоящая женская грудь, большая и очень заметная — Сэнди было что разглядывать своими крошечными глазками, когда мисс Броди, проводя уроки в классе, стояла с высоко поднятой головой и глядела в окно, всем своим обликом напоминая Жанну д'Арк.

— Я неоднократно говорила вам, а прошедшие каникулы еще раз меня в этом убедили, что сейчас по-настоящему началась пора моего расцвета. Пора расцвета человека может легко пройти незамеченной. Вы, маленькие девочки, когда станете взрослыми, должны быть всегда начеку, чтобы не пропустить ее, в каком бы возрасте она к вам ни пришла. В эту пору вы должны жить полной жизнью. Мэри, что у тебя под партой? На что ты там уставилась?

Мэри сидела клуша клушей, она была слишком глупа, чтобы что-нибудь придумать. Она была настолько глупа, что даже соврать не могла; она совершенно не умела выкручиваться.

— Это комик, мисс Броди,— сказала она.

— Ты хочешь сказать — комедийный актер, шут?

Класс захихикал.

— Веселые картинки,— сказала Мэри.

— Веселые картинки, вот оно что. Сколько тебе лет?

— Десять, мадам.

— Ты уже слишком большая, комиксы не для десятилетних. Дай сюда.

Мисс Броди взглянула на яркие страницы.

— Ну как же — «Тигренок Тим»! — сказала она и бросила книжку в мусорную корзину. Заметив, что все глаза прикованы к корзине, она вынула оттуда книжку, разорвала ее в клочья и кинула обратно.— Слушайте меня, девочки. Пора расцвета — это то, для чего рождается человек. Сейчас, когда наступила пора моего расцвета... Сэнди, ты отвлекаешься. О чем я говорила?

— О вашем расцвете, мисс Броди.

— Если кто-нибудь сюда придет,— сказала мисс Броди,— не забудьте, что сейчас мы занимаемся английской грамматикой. А пока что я расскажу вам немного из своей жизни, о времени, когда я была моложе, чем сейчас, хотя и на шесть лет старше, чем тот человек.

Она прислонилась к вязу. Был один из последних осенних дней, и под порывами ветра листья стайками слетали на землю, падали на детей, и те радовались возможности пошевелиться, безнаказанно поерзать, сбрасывая листья с волос и колен.

— «Пора туманов, зрелости полей»[1]... В начале войны я была помолвлена с одним молодым человеком, но он пал на полях Фландрии,— сказала мисс Броди.— Сэнди, ты что, решила затеять стирку?

— Нет, мисс Броди.

— Почему же у тебя закатаны рукава? Я не собираюсь иметь дело с девочками, которые закатывают рукава, пусть даже в самый погожий день. Опусти их сейчас же, мы цивилизованные люди. Он пал за неделю до объявления перемирия. Пал наземь, как осенний листок, хотя ему было всего двадцать три года. Когда мы вернемся в класс, мы найдем на карте Фландрии то место, где похоронили моего возлюбленного, когда вас еще на свете не было. Он был беден. Родом из Эйршира, из деревни, он был прилежен и способен к ученью. Делая мне предложение, он сказал: «Нам придется воду пить и ходить неспешно». Так говорили у Хью в деревне, когда хотели сказать «жить скромно». «Нам придется воду пить и ходить неспешно». Что означает эта поговорка, Роз?

— Что вам придется жить скромно, мисс Броди,— ответила Роз, шесть лет спустя завоевавшая громкую славу своей сексапильностью.

Рассказ о павшем женихе мисс Броди шел полным ходом, когда вдали показалась директриса мисс Маккей, направлявшаяся к ним через лужайку. Из маленьких поросячьих глазок Сэнди уже капали слезы, и они заразили ее подругу Дженни, впоследствии прославившуюся на всю школу своей красотой. Дженни всхлипнула и полезла за носовым платком, заткнутым за резинку панталон под коленкой.

— Хью был убит за неделю до перемирия. А потом были всеобщие выборы, и люди кричали: «Кайзера на виселицу!» Хью — лесной цветок, погребенный в могиле.

У Роз Стенли слезы лились ручьем. Сэнди скосила заплаканные глаза, наблюдая за продвижением мисс Маккей, которая, подавшись всем телом вперед, шествовала через лужайку.

— Я к вам на минутку и тотчас уйду,— сказала директриса.— Из-за чего это вы, малышки, плачете?

— Они растроганы моим рассказом. У нас урок истории,— ответила мисс Броди, ловко поймав на лету падающий лист.

— Плакать над историей в десятилетнем возрасте! — воскликнула мисс Маккей, глядя на девочек, которые, пошатываясь, поднялись со скамеек, все еще ошеломленные рассказом о воине Хью.— Я только на минутку и уже ухожу. Что же, девочки, начался новый семестр. Надеюсь, вы отлично провели летние каникулы, и жду от вас отличных сочинений о том, как вы их провели. Не стоит плакать над историей в десять лет. Право же!

— Вы благоразумно поступили, не ответив на заданный вопрос,— сказала мисс Броди, когда директриса ушла.— В сложных ситуациях лучше не говорить ни слова — ни плохого, ни хорошего. Слово — серебро, а молчание — золото. Мэри, ты меня слушаешь? Повтори, что я сказала.

Мэри Макгрегор, неуклюжее существо — два глаза, нос и рот, снежная баба да и только, впоследствии прославившаяся тем, что была дурехой и всегдашним козлом отпущения, а в двадцать три года погибла в горящем отеле,— рискнула ответить:

— Золото.

— Что золото? Как я сказала?

---

[1] Строка из стихотворения Джона Китса «Осень». Перевод С. Маршака.

Мэри обвела взглядом все вокруг и посмотрела наверх. Сэнди прошептала: «Опавшие листья».

— Опавшие листья,— повторила Мэри.

— Попросту говоря,— сказала мисс Броди,— ты меня не слушала. Если бы только вы меня слушали, малышки, я бы сделала из вас сливки общества.

Глава вторая

Мэри Макгрегор, хоть и прожила на свете двадцать три с лишним года, так никогда и не поняла, что Джин Броди не вдавалась в откровенность с другими учителями и история ее любви рассказывалась только ее ученицам. Когда через год после начала второй мировой войны Мэри записалась в женскую вспомогательную службу военно-морского флота и стала неловкой и бестолковой медсестрой, на которую часто валились все шишки, она не очень-то вспоминала Джин Броди, хотя никогда не относилась к ней плохо. Но однажды, в самую горькую пору, когда первый и последний кавалер Мэри, капрал, с которым она была знакома две недели, бросил ее, не явился на свидание и вообще больше не показывался на глаза, она перебрала в уме свое прошлое, стараясь понять, была ли когда-нибудь по-настоящему счастлива; и ей показалось, что те первые годы, проведенные с мисс Броди, когда она сидела за партой, слушая разные истории и суждения, не имевшие ничего общего с ее привычным окружением, и были самым счастливым временем в ее жизни. Она подумала об этом между делом и больше уже никогда не возвращалась мыслями к мисс Броди. Она пережила свое унижение и погрузилась в привычное для нее состояние тупой озадаченности, продолжавшееся до тех пор, пока она не погибла во время пожара в отеле в Камберленде, куда приехала в отпуск. Из конца в конец бегала Мэри Макгрегор по коридорам в удушливом дыму. Она то бежала в одну сторону, то поворачивала и бросалась обратно, но и там и там дорогу ей преграждала стена огня. Она не слышала ничьих криков, потому что гул пожара заглушал крики; она не кричала сама, потому что дым душил ее. Повернув в третий раз, она наткнулась на кого-то, упала и умерла. Ну, а в начале тридцатых годов, когда Мэри Макгрегор было десять лет, она безучастно сидела в классе мисс Броди.

— Кто пролил чернила на пол? Ты, Мэри?

— Я не знаю, мисс Броди.

— Полагаю, что ты. Я никогда не видела более неловкой девочки. Если даже тебя не интересует, о чем я говорю, по крайней мере сделай вид, что тебе интересно.

Это и были дни, которые Мэри Макгрегор, перебирая в памяти прошлое, признала счастливейшими в своей жизни.

У Сэнди Стрэнджер в ту пору было предчувствие, что эти годы позже будут считаться самыми счастливыми в ее жизни, и, когда ей исполнилось десять лет, она так и сказала своей лучшей подруге Дженни Грей, приглашенной к ней на день рождения. Пиршество венчали ломтики ананаса со сливками, а самым замечательным во всем празднике было то, что девочек предоставили самим себе. Для Сэнди вкус и вид экзотического ананаса воплощали представление о счастье, и она сосредоточенно разглядывала маленькими глазками бледно-золотистые кубики, прежде чем подцепить их ложкой; ей казалось, что вкус ананаса, от которого пощипывало язык,— это вкус особого счастья, не имеющего ничего общего с едой и отличающегося от того бессознательного счастья, которое испытываешь во время игры. Девочки оставили сливки напоследок и теперь уплетали их за обе щеки.

— Малышки, вы станете сливками общества,— сказала Сэнди, и Дженни фыркнула сливками в платок.

— Знаешь,— сказала Сэнди,— считается, что эти дни — самые счастливые в нашей жизни.

— Да, все так говорят,— согласилась Дженни.— Говорят: наслаждайтесь школьными годами, потому что никто не знает, что вас ждет впереди.

— Мисс Броди говорит, что лучшие годы — это пора расцвета,— сказала Сэнди.

— Да, но зато она никогда не была замужем, как наши родители.

— Зато у них не бывает расцветов.

— Зато у них бывает половая жизнь,— сказала Дженни.

Девочки замолкли, поскольку это для них было пока еще поразительным открытием, они сделали его совсем недавно; сама формулировка и ее значение были полны новизны. В это невозможно было поверить. Потом Сэнди сказала:

— У мистера Ллойда на прошлой неделе родился ребеночек. Наверное, мистер Ллойд жил половой жизнью со своей женой.

Это предположение воспринималось легче, и они визгливо захихикали в розовые бумажные салфетки. Мистер Ллойд был учителем рисования в старших классах.

— А ты можешь себе *представить,* как это у них было? — шепотом спросила Дженни.

Сэнди сощурила глазки еще больше, стараясь мысленно нарисовать соответствующую картину.

— Он, наверное, был в это время в пижаме,— шепнула она в ответ.

Девочки покатились со смеху, представляя однорукого мистера Ллойда, торжественно шествующего в школу.

Потом Дженни сказала:

— Это делается под влиянием минуты. Так это и случается.

Дженни была надежным источником информации, потому что недавно обнаружилось, что девушка, работавшая в бакалейной лавке ее отца, беременна, и Дженни кое-чего нахваталась, когда разразился скандал. Она поделилась своими сведениями с Сэнди, и они занялись изысканиями, которые так и называли — «изыскания», увязывая воедино подслушанное тайком в разговорах и вычитанное в толстых словарях.

— Это все происходит как гром среди ясного неба,— продолжала Дженни.— С Тини это случилось, когда она в выходной гуляла со своим кавалером в Паддоки. Потом им пришлось пожениться.

— А ведь если подумать, то желание могло бы пройти, пока она снимала *одежду,*— сказала Сэнди. Под «одеждой» она определенно подразумевала трусики, но слово «трусики» звучало бы слишком грубо в подобном научном контексте.

— Да, я этого тоже не понимаю,— согласилась Дженни.

В дверь заглянула мать Сэнди:

— Веселитесь, милочки?

Из-за ее плеча показалась голова матери Дженни.

— Ой-ой-ой,— сказала мать Дженни, поглядев на стол.— Они тут сладким объедаются.

Сэнди это замечание обидело и унизило: можно подумать, главное в празднике — еда.

— Чем же вы сейчас займетесь? — спросила мать Сэнди.

Сэнди метнула на нее взгляд, полный затаенной ярости, как бы говоря: ты обещала оставить нас в покое и не вмешиваться, а обещание есть обещание, ты же знаешь, что это очень плохо — нарушать обещание, данное ребенку, так же можно человеку всю жизнь испортить,— у меня все-таки день рождения.

Мать Сэнди попятилась, уводя с собой и мать Дженни.

— Не будем им мешать,— сказала она.— Ну, веселитесь, веселитесь, милочки.

Сэнди иногда смущало, что ее мать — англичанка и зовет ее «милочка», потому что эдинбургские мамы так не говорили, а говорили «дорогая». У матери Сэнди было яркое зимнее пальто, отороченное пушистым лисьим мехом, как у герцогини Йоркской, а матери других девочек носили твидовые пальто или в лучшем случае ондатровые шубки, которых им хватало на всю жизнь.

Стояла дождливая погода, и в саду было слишком сыро, поэтому девочки не могли пойти докапывать тоннель в Австралию. Они подняли стол с остатками пиршества и перенесли его в угол комнаты. Сэнди открыла крышку ящичка в табурете у рояля и извлекла оттуда тетрадку, спрятанную между двумя стопками нот. На первой странице было написано:

ХИЖИНА В ГОРАХ

сочинение Сэнди Стрэнджер и Дженни Грей

Это был их еще не законченный рассказ о Хью Каррутерсе, возлюбленном мисс Броди. Его не убили на войне, в телеграмме была ошибка. Он вернулся с фронта и, чтобы справиться о мисс Броди, зашел в школу, где первой, кого он встретил, была директриса мисс Маккей. Она сообщила ему, что мисс Броди не желает его видеть, что она любит другого. С горьким хриплым смехом Хью ушел прочь и поселился в хижине в горах, где однажды Сэнди и Дженни и нашли его, зябко кутающегося в кожаную куртку. На данном этапе повествования Сэнди была в плену у Хью, а Дженни удалось ночью сбежать, и она пыталась отыскать в темноте дорогу вниз. Хью готовился пуститься за ней в погоню.

Сэнди вынула из ящика буфета карандаш и начала писать продолжение:

« — Хью,— взмолилась Сэнди,— клянусь вам всем, что для меня свято, что мисс Броди никогда не любила другого, что она ждет вас внизу, молясь и уповая в расцвете лет. Если вы дадите Дженни уйти, она приведет к вам вашу возлюбленную Джин Броди, и вы увидите ее своими собственными глазами и заключите в объятия после разлуки, длившейся двенадцать долгих лет и один день.

Его черный глаз блеснул в свете висевшей в хижине лампы.

— Отойди, девочка,— крикнул он,— и не преграждай мне дорогу. Что я, не знаю, что ли, что эта девчонка Дженни донесет о моем убежище моей бывшей невесте, насмеявшейся надо мной! Что, я не знаю, что ли, что вы обе — шпионки, которых она подослала, чтобы поглумиться надо мной! Отойди от двери, тебе говорят!

— Никогда! — сказала Сэнди, решительно заслонив своим юным гибким телом дверь и вставив руку в задвижку. Ее большие глаза горели лазурным огнем мольбы».

Сэнди отдала карандаш Дженни:

— Теперь твоя очередь.

Дженни написала:

«Одним движением он отшвырнул ее в дальний угол хижины, вышел за порог, в лунный свет, и зашагал широкими шагами, не обращая внимания на метель».

— Вставь про его сапоги,— подсказала Сэнди.

Дженни написала: «Его высокие сапоги блестели в лунном свете».

— Слишком много лунного света,— сказала Сэнди,— но мы уберем это позже, когда будем готовить к изданию.

— Ой, но это же тайна, Сэнди!

— Я знаю,— сказала Сэнди.— Не волнуйся, мы это не опубликуем, пока не достигнем расцвета.

— Как ты думаешь, мисс Броди когда-нибудь жила с Хью половой жизнью? — спросила Дженни.

— Тогда у нее был бы ребеночек, правда?

— Не знаю.

— Я не думаю, чтобы они что-нибудь такое делали,— сказала Сэнди.— Их любовь была выше всего этого.

— Мисс Броди говорила, что в его последний отпуск они прижимались друг к другу в страстном самозабвении.

— Тем не менее я не думаю, что при этом они сняли с себя одежду,— сказала Сэнди.— А ты как думаешь?

— Нет. Я себе этого не представляю.

— Мне бы не хотелось жить половой жизнью.

— И мне тоже. Я выйду замуж за целомудренного человека.

— Бери ириску.

Они сидели на ковре и ели сладости. Сэнди подложила угля в камин, и пламя взметнулось вверх, бросая отблески на кудряшки Дженни.

— Давай играть в ведьм у костра, как в канун дня всех святых.

Они сидели в полутьме, ели ириски и произносили колдовские заклинания. Дженни сказала:

— А в музее есть греческий бог. Он стоит совсем голый. Я его видела в прошлое воскресенье, но я ходила с тетей Кейт и не могла разглядеть как следует.

— Давай пойдем в музей в следующее воскресенье,— предложила Сэнди.— Это же изыскание.

— А тебя отпустят со мной?

— Не думаю,— ответила Сэнди, завоевавшая печальную славу тем, что ей никуда не разрешали ходить без взрослых.— Может быть, нам удастся уговорить кого-нибудь повести нас.

— Можно попросить мисс Броди.

Мисс Броди часто водила девочек в картинные галереи и музеи, так что эта идея казалась вполне осуществимой.

— Ну а вдруг,— сказала Сэнди,— она не даст нам поглядеть на него, раз он голый?

— Вряд ли она заметит, что он голый. Она просто не захочет смотреть на его это самое.

— Я знаю. Мисс Броди выше всего такого.

Дженни пора было ехать с мамой домой, на трамвае через мост Дин-бридж, по заколдованному ноябрьскими сумерками Эдинбургу. Сэнди помахала им из окна и задумалась, сознает ли и Дженни тоже, что ведет двойную жизнь, чреватую проблемами, с какими не приходится сталкиваться даже миллионерам. Ведь хорошо известно, что миллионеры ведут двойную жизнь. Вечерняя газета гремучей змеей вползла в почтовый ящик, и неожиданно в доме воцарилось настроение, какое бывает только в шесть часов вечера.

Без четверти четыре мисс Броди читала своему классу стихи, чтобы взбодрить девочек перед уходом домой. Ее глаза были почти закрыты, голова откинута назад.

Ветер бурю нес с востока,
Желтый лес поник убого,
Не принять реке потока,
Что с небес по воле бога
Льется вниз, на Камелот.

Сэнди смотрела на мисс Броди сощуренными белесыми глазками, плотно сжав губы.

Роз Стенли выдергивала нитки из пояска гимнастического костюма. Дженни была очарована стихами и сидела с приоткрытым ртом,

ей никогда не бывало скучно. Сэнди тоже никогда не было скучно, но она, чтобы никогда не скучать, вела двойную жизнь.

Сойдя к реке, она нашла
Под ивой лодку без весла
И написала на борту: «Несчастная Шалотт».

«Интересно, чем же ваша светлость написала эти слова?» — мысленно спросила Сэнди, сидя с плотно сжатыми губами.

«На поросшем травой берегу случайно оказалась банка с белилами и кисть,— милостиво ответила леди Шалотт.— Без сомнения, их забыл какой-нибудь беспечный безработный».

«Увы, и это в такой-то дождь»,— заметила Сэнди, чтобы что-то сказать, а в это время голос мисс Броди возносился к потолку и обволакивал ноги старшеклассниц этажом выше.

Леди Шалотт положила белую руку на плечо Сэнди и долгим взглядом посмотрела ей в лицо.

«Почему такой юной и прекрасной суждено быть столь несчастливой в любви!» — промолвила она тихо и печально.

«Что означают эти слова?» — в тревоге вскричала Сэнди, уставившись прищуренными глазками на мисс Броди и сидя с плотно сжатыми губами.

Мисс Броди спросила:

— Сэнди, у тебя что-нибудь болит?

Сэнди сделала изумленное лицо.

— Вы, девочки,— сказала мисс Броди,— должны учиться придавать лицу выражение безмятежности. В этом одно из важнейших преимуществ женщины: и в беде и в радости — на лице безмятежность. Взгляните на Мону Лизу, вон там!

Все головы повернулись к репродукции, которую мисс Броди привезла из своих путешествий и приколола к стене. Мона Лиза в расцвете лет улыбалась с непоколебимой безмятежностью, хотя только что вернулась от зубного врача и нижняя челюсть у нее распухла.

— Она старее, чем камни, на которых она сидит. Ах, попали бы вы, девочки, в мои руки, когда вам было по семь лет! Я иногда боюсь, что сейчас уже слишком поздно. Если бы вы учились у меня, когда вам было семь лет, вы бы стали сливками общества. Сэнди, выйди вперед и прочти несколько строф, дай нам послушать твои гласные.

Так как Сэнди была наполовину англичанкой, она правильно произносила гласные — только этим она и славилась. Роз Стенли еще не приобрела известность своей сексапильностью, и вовсе не она, а Юнис Гардинер как-то раз показала Сэнди и Дженни строчку в Библии: «...взыграл младенец во чреве ее». Сэнди и Дженни заявили, что она гадкая, и пригрозили сказать про нее. Дженни уже славилась красотой, и у нее был нежный голос, поэтому мистер Лоутер, учивший их пению, смотрел на нее с восторгом, когда она пела: «Приди сюда, где сердцем щедрая весна...»; и он ворошил ее кудряшки, что было весьма рискованно, так как мисс Броди всегда оставалась со своими ученицами на урок пения. Он ворошил ее кудряшки и поглядывал на мисс Броди, как шаловливый ребенок, будто проверяя, не желает ли она поддержать его такие неэдинбургские манеры.

Мистер Лоутер был небольшого роста, с длинным туловищем и короткими ногами. Волосы и усы у него были рыжевато-золотистого цвета. Он прикладывал ладонь к уху и наклонялся к ученицам, проверяя их голос. «Спой «а-а-а»!»

«А-а-а» — пела Дженни высоким чистым голоском, как русалка с Гебридских островов, о которой Сэнди читала стихи. Но при этом Дженни скашивала глаза, чтобы поймать взгляд Сэнди.

Мисс Броди вывела девочек из музыкального класса и, собрав их в коридоре, сказала:

— Вы, девочки,— мое призвание. Если бы завтра лорд-герольд Шотландии сделал мне предложение, я бы отказала ему. Я отдала вам себя в расцвете лет. А теперь постройтесь в затылок и постарайтесь, пожалуйста, шагать с высоко поднятой головой,— еще выше! — как ходит Сибил Торндайк [1], женщина благородной наружности.

Сэнди запрокинула голову, задрала веснушчатый носик и, уставившись поросячьими глазками в потолок, двинулась вперед.

— Как ты идешь, Сэнди?

— Как Сибил Торндайк, мадам.

— Когда-нибудь, Сэнди, ты зайдешь слишком далеко.

Лицо Сэнди приняло обиженное и недоумевающее выражение.

— Да,— сказала мисс Броди.— Я слежу за тобой, Сэнди, и вижу, что у тебя легкомысленный характер. Боюсь, тебе никогда не принадлежать к элите, или, как говорится, к сливкам общества.

Когда они вернулись в класс, Роз Стенли сказала:

— Я запачкала блузку чернилами.

— Пойди в кабинет естествознания и попроси, чтобы тебе вывели пятно, но запомни — это портит шелк.

Девочки иногда специально капали чернилами на рукава шелковых блузок, чтобы мисс Броди позволила сходить в кабинет естествознания, где занимались старшеклассницы. Приводящая своим видом в трепет учительница естествознания мисс Локхарт — неизменно в белом халате, короткие седые волосы волнами зачесаны назад, открывая загорелое и обветренное лицо любительницы гольфа,— смачивала кусок ваты прозрачной жидкостью из большой банки и, молча держа девочку за руку, промокала ваткой чернильное пятно, с головой уходя в это занятие. Роз Стенли пошла в кабинет естествознания просто от скуки, а вот Сэнди и Дженни ради того, чтобы мисс Локхарт подержала их за руку, сажали чернильные пятна на блузки регулярно. Правда, они соблюдали осторожность и, опасаясь подозрений мисс Броди, позволяли себе это удовольствие не чаще раза в месяц. В полном странных запахов кабинете естествознания учительницу всегда словно окружало облако чистого воздуха. В этой длинной комнате мисс Локхарт была в своей стихии, и когда однажды Сэнди увидела, как она вышла из школы и направилась к своей спортивной машине, одетая, как обычная учительница, в твидовый костюм, в облике мисс Локхарт чего-то недоставало. Среди длинных столов, уставленных банками с разноцветными кристаллами, порошками и жидкостями — коричневыми, золотистыми, серыми, ярко-голубыми,— стеклянными сосудами причудливой формы — луковицеобразными и похожими на трубки,— мисс Локхарт казалась Сэнди какой-то необыкновенной. Всего один раз попала Сэнди в кабинет естествознания, когда там шел урок. Старшеклассницы, большие девочки, некоторые уже с заметной грудью, стояли парами у столов. В руках у них были пробирки с зеленым веществом, и они встряхивали их над пламенем газовых горелок. Над столами плясали язычки пламени и десятки зеленых пробирок. Голые ветви деревьев скреблись в окна длинной комнаты, а за стеклом, в холодном зимнем небе висело огромное красное солнце. У Сэнди в эту минуту хватило ума вспомнить, что школьные годы считаются самыми счастливыми в жизни, и она поспешила к Дженни с потрясающей новостью: в старших классах будет изумительно, а мисс Локхарт — просто чудо.

— Девочки в кабинете естествознания что хотят, то и делают,— сказала Сэнди,— им так и положено.

— У мисс Броди мы тоже часто делаем что нам хочется,— заметила Дженни.— Моя мама говорит, что мисс Броди чересчур дает нам волю.

[1] Сибил Торндайк (род. в 1882 г.) — знаменитая английская актриса театра и кино.

— Ей надо давать нам не волю, а уроки,— сказала Сэнди,— а вот на уроках естествознания полагается делать что хочешь, это разрешено.

— А мне нравится у мисс Броди,— сказала Дженни.

— Мне тоже. Моя мама говорит — она старается расширить наш кругозор.

Как бы то ни было, походы в кабинет естествознания были для Сэнди полны тайной радости, и она очень тщательно следила за тем, чтобы сажать на блузку чернильные пятна через достаточные промежутки времени, стараясь не вызывать у мисс Броди подозрения, что они появляются не случайно. Когда мисс Локхарт держала Сэнди за руку и аккуратно выводила с рукава пятно, Сэнди погружалась в транс, зачарованная колдовской атмосферой длинной комнаты, где по праву царила учительница естествознания. В тот день, когда после урока пения Роз Стенли получила разрешение пойти в кабинет к мисс Локхарт, мисс Броди сказала своим ученицам:

— Обращайтесь с чернилами аккуратнее. Я не могу позволить вам без конца ходить в кабинет естествознания. Мы не должны подрывать нашу репутацию.

Потом она добавила:

— Искусство важнее, чем наука. Искусство стоит на первом месте, а уже за ним идет наука.

На доске висела большая карта, потому что у них начался урок географии. Мисс Броди повернулась было с указкой к доске, чтобы показать, где находится Аляска, но вместо этого вновь взглянула на девочек:

— Первыми идут искусство и религия, затем философия и только потом естественные науки. Таков порядок важнейших дисциплин в школе жизни, так они располагаются по значимости.

Шла зима первого года из тех двух лет, которые этот класс проучился у мисс Броди. Начался тысяча девятьсот тридцать первый год. Мисс Броди уже определила своих фавориток, точнее, тех, кому могла доверять, а еще точнее, тех, чьи родители наверняка не будут противиться наиболее современным и еретическим аспектам ее просветительской деятельности, потому что эти родители были либо слишком образованны, чтобы жаловаться, либо слишком необразованны, либо слишком счастливы, что им повезло и они могут дать своим дочерям образование за умеренную плату, либо слишком доверчивы, чтобы подвергать сомнению ценность знаний, которые их дочери приобретают в школе с солидной репутацией. Мисс Броди приглашала избранниц на чай, но им запрещалось рассказывать об этом другим девочкам. Она посвящала их в свои дела, они были осведомлены о личной жизни мисс Броди и ее вражде с директрисой и союзниками директрисы. Они узнали, какие неприятности по службе пришлось перенести из-за них мисс Броди. «Это ради вас, мои девочки, ради того, чтобы сохранить мое влияние на вас сейчас, в годы моего расцвета». Так родился клан Броди. Юнис Гардинер вначале была настолько скромной и тихой, что было непонятно, почему мисс Броди включила ее в число избранниц. Но со временем она стала развлекать присутствующих на чаепитиях у мисс Броди, кувыркаясь на ковре. «Ты наш Ариэль»,— сказала ей мисс Броди. И тут Юнис принялась болтать. Ей не разрешалось кувыркаться по воскресеньям, так как мисс Броди во многом была настоящей эдинбургской старой девой самой суровой закалки. Юнис Гардинер крутила сальто на коврике только по субботам, когда они собирались перед чаем, или после чаепития, в кухне на линолеуме, пока остальные девочки мыли посуду и облизывали пальцы, передавая друг другу мед в сотах, который убирался в буфет. Спустя двадцать восемь лет с той поры, как Юнис делала шпагат на сборищах у мисс Броди, она, став

к тому времени медсестрой и выйдя замуж за врача, как-то вечером сказала мужу:

— На будущий год, когда мы поедем на фестиваль...

— Да?

Она плела шерстяной коврик и потянула не за ту нитку.

— Да? — повторил он.

— Когда мы будем в Эдинбурге,— сказала она,— напомни мне, чтоб я не забыла сходить на могилу мисс Броди.

— Какая такая мисс Броди?

— Это моя бывшая учительница. Настоящий кладезь культуры. Она одна стоила целого Эдинбургского фестиваля. Она часто приглашала нас в гости и рассказывала о своем расцвете.

— Каком расцвете?

— Расцвете лет. Однажды, когда она была в отпуске, она влюбилась в египетского дипкурьера, а потом все нам про это рассказала. У нее было несколько любимых учениц. Я была в их числе. Я смешила всю нашу компанию, показывая разные акробатические штуки.

— Я всегда чувствовал, что ты получила несколько странное воспитание.

— Но она не была сумасшедшей. Она была вполне в здравом уме и прекрасно понимала, что делает. Она нам и про свои романы все рассказывала.

— Расскажи и мне.

— Ну, это долгая история. Вообще-то она была просто старой девой. Нужно будет отнести цветы к ней на могилу,— не знаю, разыщу ли я ее.

— Когда она умерла?

— Сразу после войны. К тому времени она уже не работала. Уход из школы был для нее трагедией — ее заставили уйти раньше срока. Начальница никогда ее не любила. Ее предал кто-то из нашего же клана — нас называли кланом Броди. Я так и не узнала кто.

А теперь пора рассказать о большой прогулке по старому Эдинбургу, на которую мисс Броди повела свой клан в одну из мартовских пятниц, когда в школе сломалось паровое отопление и всех остальных детей хорошенько закутали и отпустили по домам. Девочки были в лиловых пальто и черных велюровых шапочках с бело-зелеными хохолками. Со студеного Форта дул ветер, а тяжелое небо обещало разродиться снегопадом. Мэри Макгрегор шагала в паре с Сэнди, так как Дженни отпросилась домой. За ними шла — позже прославившаяся способностью решать в уме сложные математические задачи, а также вспышками гнева — Моника Дуглас с багрово-красным лицом, широким носом и темными косичками, выбивавшимися из-под шапочки; ее ноги, уже тогда похожие на бутылки, были обтянуты черными шерстяными чулками. В паре с Моникой шла Роз Стенли, высокая светловолосая девочка с бледно-желтой кожей, пока еще не завоевавшая известность своей сексапильностью и говорившая только о паровозах, подъемных кранах, автомобилях, «конструкторах» и других вещах, которые обычно интересуют мальчишек. Ей было все равно, как устроены моторы и что можно собрать из «конструктора», но она знала названия, цвета, марки автомобилей, и сколько в них лошадиных сил, и сколько стоят разные «конструкторы». Кроме того, она обожала лазить по заборам и деревьям. И хотя своими интересами одиннадцатилетняя Роз походила на мальчишку-сорванца, ее тогдашние увлечения не отразились на ее женственности — напротив, они были как бы сознательной подготовкой к будущему, потому что именно ее поверхностное знакомство с этой тематикой через несколько лет сослужило ей хорошую службу в отношениях с мальчиками.

Рядом с Роз, высоко, как Сибил Торндайк, подняв голову, шла мисс Броди. Нос с горбинкой придавал ей гордый вид. На ней

было застегнутое на все пуговицы просторное твидовое пальто с бобровым воротником и коричневая фетровая шляпа с загнутыми наискосок полями. Замыкала шествие Юнис Гардинер, та самая, что через двадцать восемь лет, вспоминая мисс Броди, сказала: «Я должна сходить к ней на могилу». Через каждый шаг Юнис подпрыгивала, и казалось, она вот-вот начнет выделывать на мостовой пируэты, поэтому мисс Броди, время от времени оглядываясь, укоризненно говорила: «Ну, Юнис!..» И время от времени, чтобы поболтать с Юнис, мисс Броди отставала от процессии.

Сэнди, читавшая тогда «Похищенного»[1], вела беседу с героем книги Аланом Броком и была довольна, что идет в паре с Мэри Макгрегор, потому что беседовать с ней было необязательно.

— Мэри, ты можешь негромко разговаривать с Сэнди.

— Сэнди не хочет со мной разговаривать,— сказала Мэри, та самая, что впоследствии металась по коридору горящего отеля, пока не погибла.

— Если ты и дальше будешь глупо вести себя и дуться, Сэнди, конечно, не захочет с тобой разговаривать. Постарайся хотя бы сделать приятное лицо, Мэри.

«Сэнди, ты должна доставить это письмо через вересковую пустошь Макферсонам,— сказал Алан Брек.— От этого в равной степени зависят и моя жизнь, и наше общее дело».

«Я никогда не подведу тебя, Алан Брек,— ответила Сэнди.— Никогда!»

— Мэри,— сказала мисс Броди,— пожалуйста, постарайся не отставать от Сэнди.

А Сэнди неслась на всех парусах, воодушевленная Аланом Броком, чей пыл и признательность, пока Сэнди готовилась к переходу через вересковую пустошь, достигли берущих за душу масштабов.

Мэри старалась не отставать от нее. Они проходили через Медоуз, продуваемый ветром городской пустырь, кричащее зеленое пятно под хмурым небом. Целью их экскурсии был Старый город, так как мисс Броди сказала, что они должны увидеть место, где свершалась история. Прогулка привела их к аллее Мидл Медоу. Замыкавшая шествие Юнис принялась скакать на одной ноге, приговаривая в такт:

Эдинбург, Лит,
Портобелло, Массельбург
И Далкит[2].

Она сменила ногу:

Эдинбург, Лит...

Мисс Броди обернулась и одернула ее, а затем прикрикнула на шедшую в первой паре Мэри Макгрегор, которая во все глаза уставилась на проходившего мимо студента-индийца:

— Мэри, ты можешь идти как следует?!

— Мэри,— сказала Сэнди,— перестань глазеть на коричневого дядю.

Изведенная придирками девочка тупо посмотрела на Сэнди и попробовала идти быстрее. Но Сэнди шла, то неожиданно прибавляя шаг, то почти останавливаясь, потому что Алан Брек решил спеть ей свою любимую песню перед тем, как она отправится через вересковую пустошь доставлять письмо, которое должно спасти ему жизнь. Он пел:

Это песня о шпаге Алана.
Кузнец ковал ее,
Огонь закалил ее.
Теперь же она сверкает
В руках Алана Брека.

[1] «Похищенный» — роман Роберта Льюиса Стивенсона.
[2] Названия пригородов Эдинбурга.

Потом Алан Брек похлопал Сэнди по плечу и сказал: «Сэнди, ты смелая девочка и ничуть не уступаешь в храбрости ни одному из подданных короля».

— Не иди так быстро,— пробормотала Мэри.

— А ты что идешь понурившись? — отозвалась Сэнди.— Ну-ка подыми голову! Выше!

Ни с того ни с сего Сэнди вдруг захотелось быть доброй к Мэри Макгрегор, и она подумала, как ей может быть хорошо, если она начнет хорошо относиться к Мэри, вместо того чтобы обижать ее. Сзади слышался голос мисс Броди, разговаривавшей с Роз Стенли:

— Вы все — будущие героини. Британия должна стать страной, достойной того, чтобы в ней жили героини... Лига Наций...

Эти слова, напомнившие Сэнди о присутствии мисс Броди в тот самый момент, когда она совсем было собралась хорошо относиться к Мэри, подавили ее порыв. Сэнди обернулась и, взглянув на подруг, представила себе, что все они — одно тело, с мисс Броди вместо головы. На один страшный миг она почувствовала, что она сама, отсутствующая Дженни, вечно во всем виноватая Мэри, Роз, Юнис и Моника — единое целое, подчиненное судьбе мисс Броди, как будто по воле божьей они появились на свет именно ради этого.

Поэтому мелькнувшая соблазнительная мысль не обижать Мэри напугала Сэнди еще больше, так как подобным поведением она отделила бы себя от других, осталась бы в одиночестве, и к ней относились бы гораздо хуже, чем к Мэри, которая, хоть и была признанным козлом отпущения, но по крайней мере, по определению мисс Броди, входила в разряд будущих героинь. Поэтому, поддерживая давнюю добрую традицию, Сэнди сказала Мэри:

— Была бы здесь Дженни, я бы не пошла в паре с тобой.

— А Мэри ответила: — Я знаю.

Сэнди опять себя возненавидела и продолжала снова и снова цепляться к Мэри, словно считая, что, если одно и то же делать много раз подряд, в конце концов получится что-нибудь путное. Мэри заплакала, но плакала она потихоньку, чтобы не увидела мисс Броди. Тут уж Сэнди была бессильна что-то изменить и решила идти, как шла, представляя, что она — замужняя дама и у нее размолвка с мужем.

«Но, Колин, какая женщина это вынесет: опять перегорели пробки, а ведь в доме есть мужчина!»

«Сэнди, радость моя, откуда мне было знать...»

Когда они почти прошли Медоуз, навстречу им попалась группа девочек-скаутов. Выводок мисс Броди проследовал мимо них, глядя прямо перед собой. Одна только Мэри впилась глазами в рослых, одетых в синюю форму девиц, шагавших с предписанным уставом бодрым видом и говоривших с более выраженным шотландским акцентом, чем позволяли себе в присутствии мисс Броди девочки клана. Они прошли мимо, и Сэнди сказала Мэри:

— Так глазеть неприлично.

А Мэри ответила: — Я и не глазела.

В это время девочки, шедшие сзади, расспрашивали мисс Броди про скаутов и брауни [1], потому что многие другие ученицы начальной школы были брауни.

— Для тех, кому вообще нравятся подобные организации,— сказала мисс Броди со своей подчеркнуто эдинбургской интонацией,— это именно то, что им нужно.

Таким образом, вопрос о скаутах и брауни был автоматически снят с повестки дня. Сэнди вспомнила восхищенные отзывы мисс Броди об отрядах Муссолини и фотографию триумфального марша черно-рубашечников по Риму, которую та привезла из Италии.

[1] Брауни — младшая ветвь организации скаутов.

— Это — фашисты,— объяснила тогда мисс Броди и произнесла новое слово по буквам.— Кто это, Роз?

— Фашисты, мисс Броди.

Они были все в черном и маршировали, держа безукоризненное равнение, одинаково выбросив вперед правую руку, а Муссолини стоял на возвышении, как учительница физкультуры или вожатая скаутов, и наблюдал за ними. Муссолини, создав фашистские отряды, положил конец безработице и грязи на улицах. Когда они подходили к концу Мидл Медоу, Сэнди пришло в голову, что их клан — это отряд фашистов мисс Броди, и не просто потому, что они тоже идут строем, как заметил бы даже случайный прохожий, а потому, что сведены в отряд, служащий целям мисс Броди и по-своему равняющийся на нее. В этом не было ничего особенного, но Сэнди все же показалось, что в неодобрительном отношении мисс Броди к скаутам сквозила ревность; тут была какая-то непоследовательность, нелогичность. Может быть, скауты внушали опасение как конкурирующая фашистская организация и мисс Броди не могла вынести этой мысли? Сэнди подумала, что, вероятно, имеет смысл вступить в брауни. Но тотчас же ее снова охватил страх отбиться от стада, и ей пришлось отбросить эту мысль, потому что она любила мисс Броди.

«С тобой хорошо дружить, Сэнди,— сказал Алан Брек, с хрустом давя сапогом осколки стекла, валявшиеся на залитом кровью полу корабельной рубки. Взяв со стола нож, он срезал со своей куртки серебряную пуговицу.— Где бы ты ни показала эту пуговицу,— сказал он,— друзья Алана Брека придут к тебе на выручку».

— Повернем направо,— сказала мисс Броди.

Они пришли в Старый город, район Эдинбурга, который девочки знали плохо, так как никто из их родителей не интересовался историей настолько, чтобы повести своего ребенка в зловонный лабиринт трущоб, составлявших в то время Старый город. Кэнонгейт, Грассмаркет, Лаунмаркет — эти названия ассоциировались с угрюмым районом насилия и отчаяния. «Бандит с Лаунмаркет приговорен к тюремному заключению» — подобные заголовки часто попадались в эдинбургских газетах. Только Юнис Гардинер и Моника Дуглас уже бывали на Королевской Миле [1], переходя пешком Хай-стрит на обратном пути из Эдинбургского замка или из дворца Холируд [2]. Дядя Сэнди возил ее в Холируд на машине, и она видела очень короткую и слишком широкую кровать, на которой спала Мария Стюарт, и крошечную, меньше, чем буфетная в доме у Сэнди, комнатку, где королева играла в карты с Риччио [3].

Они вышли на большую площадь Грассмаркет, где находился Замок,— вообще-то его было видно отовсюду: он возвышался в широком проеме между домами, где раньше жила знать. Здесь Сэнди впервые испытала чувство, какое охватывает человека, попадающего в чужую страну: непривычные запахи и краски, незнакомые нищие. На холодной как лед мостовой сидел какой-то человек — просто сидел. Толпа мальчишек — некоторые из них босиком — играла в войну, и они прокричали что-то вслед лиловому выводку мисс Броди. Девочки не слыхали раньше подобных выражений, но справедливо догадались, что они неприличны. Дети и женщины в платках выходили из темных закоулков и снова скрывались в них. Сэнди обнаружила, что от изумления взяла Мэри за руку. Все остальные девочки тоже держались за руки, а мисс Броди говорила об истории. Они шли дальше по Хай-стрит.

---

[1] Королевская Миля — путь от Эдинбургского замка к дворцу Холируд.

[2] Дворец Холируд выстроен в начале XVI века. В нем около шести лет жила Мария Стюарт. В настоящее время — летняя резиденция английских королей.

[3] Давид Риччио (1533—1566) — итальянский музыкант, фаворит Марии Стюарт.

— Джон Нокс [1],— говорила тем временем мисс Броди,— был озлобленным человеком. Он никогда не чувствовал себя непринужденно в обществе веселой французской королевы [2]. Мы, эдинбуржцы, многим обязаны французам. Мы — европейцы.

Вокруг стояла неимоверная вонь. Впереди на Хай-стрит посреди дороги собралась толпа.

— Проходите мимо спокойно,— сказала мисс Броди.

Толпа окружила кольцом мужчину и женщину. Они кричали друг на друга, и мужчина дважды ударил женщину по голове. Какая-то другая женщина, очень маленькая, с короткими черными волосами и красным лицом с большим ртом, подошла к мужчине и, взяв его за руку, сказала:

— Я буду твоим мужем.

Всю жизнь потом Сэнди время от времени вспоминала этот эпизод и терялась в догадках, потому что была совершенно уверена, что маленькая женщина сказала именно «я буду твоим мужем», а не «я буду твоей женой», но объяснения она так и не нашла.

И много раз в своей жизни Сэнди, разговаривая с людьми, чье детство прошло в Эдинбурге, с удивлением сознавала, что существуют другие Эдинбурги, совсем не похожие на ее Эдинбург и связанные с ним только общими названиями районов, улиц и памятников. Точно так же существовали и другие тридцатые годы. Поэтому, когда Сэнди было уже под сорок и ей наконец разрешили принимать многочисленных визитеров,— такой поток гостей противоречил монастырскому уставу, но для Сэнди благодаря ее трактату было сделано особое исключение,— и когда очередной посетитель сказал: «Я учился в школе в Эдинбурге, вероятно, тогда же, когда и вы, сестра Елена», Сэнди, к тому времени уже несколько лет звавшаяся в монастыре Преображения сестрой Еленой, ухватившись по обыкновению за прутья решетки и уставившись на него маленькими тусклыми глазками, попросила рассказать про его школьные годы, про школу, в которой он учился, и про Эдинбург, каким он его знал. И опять выяснилось, что его Эдинбург не похож на Эдинбург Сэнди. Он учился в школе-интернате, холодном и сером здании. Его учили надменные англичане или «почти англичане», как сказал этот посетитель, получившие образование в третьеразрядных колледжах. Сэнди не помнила, чтобы ее когда-нибудь интересовало, где получили образование ее учителя, а школа всегда представлялась ей залитой солнцем, а зимой — мягким перламутровым светом. «Но Эдинбург,— продолжал посетитель,— был красивым городом, красивее, чем сейчас. Конечно, трущобы теперь расчистили. Я больше всего любил Старый город. Нам очень нравилось рыскать по Грассмаркет. А что касается архитектуры, то в Европе нет города красивее».

— Нас однажды водили на прогулку через Кэнонгейт,— сказала ему Сэнди,— но меня напугала нищета.

— Что поделать, тридцатые годы. Скажите, сестра Елена, что, по-вашему, оказало на вас самое сильное влияние в тридцатые годы? Я имею в виду, когда вам было лет четырнадцать-пятнадцать. Вы читали Одена [3] и Элиота [4]?

— Нет,— ответила Сэнди.

— Мы, мальчики, были, конечно, помешаны на Одене и других поэтах его круга. Мы мечтали убежать в Испанию, сражаться на войне. На стороне республиканцев, разумеется. А в вашей школе во время гражданской войны в Испании все тоже разделились на два лагеря?

— Не совсем так,— сказала Сэнди.— У нас все было иначе.

[1] Джон Нокс (1505—1572) — главный деятель шотландской Реформации, ярый противник Марии Стюарт.

[2] Имеется в виду Мария Стюарт.

[3] Уистен Хью Оден (род. в 1907 г.) — английский поэт.

[4] Томас Стернз Элиот (1888—1965) — английский поэт и критик.

— Вы тогда, конечно, еще не были католичкой?

— Нет.

— Влияние, которое оказывают на нас в юности, очень важно,— заметил посетитель.

— О да,— сказала Сэнди,— даже если это влияние вызывает протест.

— Что же на вас больше всего повлияло тогда, сестра Елена? Политика, личная жизнь? А может, это был кальвинизм?

— Нет,— ответила Сэнди.— Это была некая мисс Броди в расцвете лет.

Она вцепилась в чугунные прутья, как будто ей хотелось вырваться из зарешеченной темной комнаты. Сэнди не отличалась сдержанностью, присущей другим монахиням, которые принимали своих редких посетителей, сидя в глубине темных келий со сложенными на коленях руками. Сэнди всегда наклонялась вперед и, вцепившись обеими руками в прутья решетки, вглядывалась в лица собеседников, а другие монахини, наблюдая это, говорили, что сестре Елене приходится нести тяжкое бремя с тех пор, как вышла ее книга о психологии, имевшая такой неожиданный и шумный успех. Но для Сэнди было сделано особое исключение, и, вцепившись в решетку, она беседовала с избранными посетителями: психологами, людьми, задумавшими принять католичество, дамами из великосветских журналов, академиками. Все они расспрашивали Сэнди про ее необычный трактат о природе нравственного восприятия, названный «Преображение банального».

— Мы не пойдем в Сент-Джайлз,— сказала мисс Броди,— потому что уже поздно. Но я полагаю, вы все бывали в этом соборе.

Почти все они действительно бывали в соборе Сент-Джайлз и видели древние, ветхие знамена в пятнах крови. Сэнди не была в соборе, но ей и не хотелось туда идти. Старые эдинбургские церкви пугали ее: сложенные из темного камня, почти того же цвета, что и скала, на которой стоял Замок, они важно грозили пальцами шпилей.

Мисс Броди как-то раз показала девочкам открытку с видом Кёльнского собора — похожий на свадебный торт, он, казалось, был построен для развлечений, праздников и пиров, которые Блудный сын закатывал в начале своих странствий. Но внутри шотландские церкви были не очень страшны, потому что во время служб там собирались люди, а никакие не духи. Сэнди, Роз Стенли и Моника Дуглас росли в верующих, хотя и не часто посещающих церковь семьях. Дженни Грей и Мэри Макгрегор были пресвитерианками и ходили в воскресную школу. Юнис Гардинер принадлежала к епископальной церкви и утверждала, что верит не в Христа, а в Отца, Сына и Святого Духа. Поскольку Сэнди верила в духов, Святой Дух ее вполне устраивал. В ту зиму вопрос о религии был поднят мисс Броди, которая, хотя по-прежнему, как и в юности, придерживалась строгих устоев шотландской церкви и соблюдала воскресенье, теперь, в расцвете лет, стала ходить в университет на вечерние занятия по сравнительной религии. В связи с этим ее ученицам рассказывалось обо всем, что узнавала она сама, и они впервые услышали, что некоторые порядочные люди не верят ни в бога, ни даже в аллаха. Но с девочек требовали, чтобы они прилежно учили Библию, потому что в ней заложены Истина и Доброта, и читали ее вслух, чтобы ощутить ее Красоту.

На широкой Чемберс-стрит девочки перестроились и теперь шли по трое. Мисс Броди шагала между Сэнди и Роз.

— Директриса вызывает меня в понедельник на первой перемене,— сказала мисс Броди.— Не сомневаюсь, что мисс Маккей собирается поговорить со мной о моих методах преподавания. Такое случалось и раньше. То же меня ждет и в дальнейшем. А я, между тем, следую своим принципам просвещения и отдаю этому все лучшее,

что есть во мне в расцвете лет. «Просвещение» по-латыни — «эдукацио». Слово «эдукацио» происходит от корневого гласного «э» в слове «экс», то есть «наружу», и от глагола «дуко», то есть «я веду». Слово «эдукацио» обозначает «выведение наружу». Для меня просвещение — это выведение наружу того, что уже заложено в душе ученика. Для мисс Маккей просвещение — это вкладывание в ученика того, чего в нем нет, и это совсем не то, что я называю просвещением. Я называю это вторжением, «интрузией», от латинской корневой приставки «ин», означающей «внутрь», и основы «трудо», то есть «я вбиваю». Метод мисс Маккей заключается во вбивании в ученические головы массы информации; мой метод — выведение знания наружу, а это и есть подлинное просвещение, что подтверждается корневым значением слова «эдукацио». И после этого мисс Маккей обвиняет меня в том, что я вбиваю в головы моих девочек разные идеи, а на деле это то, чем занимается она сама,— у меня же совершенно противоположный подход. Что означает просвещение, Сэнди?

— Выводить наружу,— ответила Сэнди, занятая сочинением официального приглашения Алану Бреку спустя один год и один день после их захватывающего дух побега через вересковую пустошь.

«Мисс Сэнди Стрэнджер просит г-на Алана Брека пожаловать на обед во вторник шестого января в 8 часов вечера».

Герой романа «Похищенный» должен был удивиться неожиданному приглашению прибыть к Сэнди по новому адресу в одинокий дом в гавани. Этот дом в графстве Файф, описанный в одном из романов дочери Джона Бэкена [1], достался Сэнди в результате разных хитрых интриг. Алан Брек явился бы в полной форме солдата шотландского полка. А что, если бы вдруг в тот вечер ими овладела страсть и они в самозабвении предались бы половой жизни? Сэнди мысленно нарисовала себе эту картину и поняла, что здесь что-то не сходится. Ведь наверняка у людей есть время подумать, рассуждала она, должны же они хоть на минуту задуматься, снимая одежду, а если они задумаются, какое же тогда самозабвение?

— Это «ситроен»,— сказала Роз Стенли, глядя вслед проехавшему автомобилю.— Их делают во Франции.

— Сэнди, дорогая, не беги так. Возьми меня за руку,— сказала мисс Броди.— Роз, у тебя голова забита автомобилями. В автомобилях, конечно же, нет ничего дурного, но есть и более высокие предметы для размышления. Я уверена, что Сэнди сейчас думает не об автомобилях, а, как и полагается хорошо воспитанной девочке, внимательно слушает, о чем я рассказываю.

А если люди раздеваются в присутствии друг друга, думала Сэнди, то это так непристойно, что они просто вынуждены хоть на минуту забыть о своей страсти. А если они, пусть даже на минуту, забывают об этом, как же их может захлестнуть желание? Если все это случается как гром среди ясного неба...

Мисс Броди сказала:

— Поэтому я намерена просто указать мисс Маккей на радикальное отличие наших принципов просвещения. Слово «радикальный» употребляется, когда речь идет о корнях. По-латыни «радикс» означает «корень». Директриса и я в корне расходимся в понимании сути нашей работы. Вопрос заключается в том, что правильнее: просвещать детские умы или насиловать их. Мы спорили об этом и раньше, но я должна заметить, что мисс Маккей вряд ли можно назвать выдающимся логиком. Логик — это человек, сильный в логике. Логика — это искусство рассуждать. Что такое логика, Роз?

— Это про рассуждения, мадам,— ответила Роз, та, что позже, но все еще подростком, вызывала у мисс Броди изумление, а затем

[1] Джон Бэкен (1875—1940) — шотландский писатель-романист.

благоговение, а затем и безграничный восторг в связи с тем образом, который, казалось, Роз собой олицетворяла,— образом великой любовницы, поднятой на недосягаемую высоту над всеми обычными любовницами, стоящей выше законов морали, этаким воплощением Венеры, чем-то совершенно особым. На самом деле у Роз тогда не было романа, как полагала мисс Броди, но впечатление создавалось именно такое, тем более, что Роз славилась своей сексапильностью. Ну а на одиннадцатом году жизни, во время той зимней прогулки, Роз разглядывала автомобили, а мисс Броди еще не настолько вошла в пору своего расцвета, чтобы позволять себе какие-нибудь разговоры о сексе, кроме завуалированных намеков, которые она допускала, говоря о своем павшем возлюбленном: «Он был целомудрен», или когда, прочитав вслух строку из стихотворения Джеймса Хогга «Прекрасная Килмини» [1]:

В целомудрии Килмини не было равных...—

добавляла: «Это значит, что она не ходила гулять с мужчинами в долину».

— Когда я буду в понедельник утром говорить с мисс Маккей, я подчеркну, что по условиям контракта никто не имеет права осуждать мои методы, пока не доказано, что они хоть в чем-то аморальны или политически вредны, и если мои ученицы хотя бы минимально подготовлены к сдаче переходных экзаменов. Я уверена, девочки, что вы приналяжете на учебу и хоть как-нибудь да выкрутитесь, даже если на следующий день забудете все, что выучили. Что до аморальности, меня никогда не смогут в ней обвинить, разве что какой-нибудь предатель извратит факты. Я не думаю, что меня когда-нибудь предадут. Мисс Маккей моложе меня и больше получает. Это случайность. Просто считается, что подготовка, которую университет давал в мое время, уступает подготовке во времена мисс Маккей. Потому-то она и занимает более высокую должность. Но ее способность рассуждать оставляет желать лучшего, и поэтому разговор в понедельник не вызывает у меня опасений.

— У мисс Маккей ужасно красное лицо и все вены видно,— вставила Роз.

— Я не могу позволить подобные замечания в моем присутствии, Роз,— сказала мисс Броди.— Это было бы нелояльно.

Они оставили позади пожарную вышку и дошли до конца Лористон-плейс, где должны были сесть на трамвай и поехать на Черчхилл в гости к мисс Броди. Вдоль улицы тянулась длинная очередь мужчин. Они были без воротничков, в потрепанных костюмах. Разговаривая, они сплевывали под ноги и дымили окурками, зажатыми средним и большим пальцами.

— Мы перейдем здесь,— сказала мисс Броди и повела клан через дорогу.

Моника Дуглас прошептала:

— Они — праздные.

— В Англии их называют безработными. Они стоят в очереди за пособием от бюро трудоустройства,— сказала мисс Броди.— Вы все должны молиться за безработных, я напишу вам специальную молитву. Все знают, что такое пособие?

Юнис Гардинер никогда об этом не слышала.

— Это деньги, еженедельно выдаваемые государством в помощь безработным и их семьям. Иногда, получив пособие, они, не заходя домой, тратят его на выпивку, и их дети голодают. Они — наши братья. Сэнди, сейчас же перестань глазеть. В Италии проблема безработицы уже решена.

Сэнди почувствовала, что это не она глазеет на бесконечную очередь братьев на другой стороне улицы, а сама очередь притяги-

[1] «Прекрасная Килмини» — одна из песен поэмы шотландского поэта Джеймса Хогга (1770—1835) «Пробуждение королевы».

вает ее взгляд. И она снова очень испугалась. Несколько мужчин невидящими глазами посмотрели через дорогу на девочек. Девочки подошли к трамвайной остановке. Мужчины разговаривали между собой и поминутно сплевывали. Некоторые смеялись, но их смех переходил в сухой кашель, и они опять сплевывали.

Девочки ждали трамвая. Мисс Броди сказала:

— Когда я приехала в Эдинбург учиться, я сняла комнату на этой улице. Я вам сейчас расскажу про мою хозяйку, очень экономная была женщина. Обыкновенно каждое утро она заходила ко мне узнать, что я хочу на завтрак, и говорила примерно так: «Копченую селедку будете? Не будете. Яйцо всмятку скушаете? Не скушаете». В результате я на этой квартире завтракала только хлебом с маслом, да и того было совсем немного.

Смех девочек перекликнулся со смехом на другой стороне улицы. К тому времени очередь, то двигаясь, то останавливаясь, начала вливаться в двери бюро трудоустройства. Как только Сэнди перестала смеяться, ее вновь охватил страх. Она смотрела на медленно, рывками ползущую очередь, и та казалась ей единым организмом, телом дракона, который не имел права жить в их городе и все-таки не желал покидать его и был неуязвим. Сэнди подумала о голодающих детях. Эта мысль уменьшила ее страх. Ей хотелось заплакать, ей обычно всегда хотелось плакать, когда она видела уличных певцов или нищих. Ей захотелось, чтобы рядом была Дженни, потому что Дженни, стоило при ней завести разговор о бедных детях, тут же ударялась в слезы. Но змееподобное чудовище на другой стороне улицы начало подрагивать от холода, и Сэнди снова охватил трепет. Она обернулась к задевшей ее за рукав Мэри:

— Перестань толкаться.

— Мэри, дорогая, нельзя толкаться,— сказала мисс Броди.

— А я и не толкалась,— ответила Мэри.

В трамвае Сэнди отпросилась домой, сказав, что вроде бы у нее начинается простуда. Ее и вправду знобило. В ту минуту ей хотелось быть дома, в тепле своей комнаты, и даже сплоченный клан Броди казался ей сейчас не такой уж теплой компанией.

Но позднее, представив, как Юнис крутит сальто и делает шпагат на линолеуме в кухне у мисс Броди, а остальные девочки в это время моют посуду, Сэнди все-таки пожалела, что не пошла в гости. Она вынула секретную тетрадь, спрятанную между нотами, и добавила новую главу к «Хижине в горах», правдивой истории любви мисс Джин Броди.

Глава третья

Шли дни, с Форта дул ветер.

Не стоит думать, что мисс Броди в пору расцвета была исключительным явлением или, поскольку одно связано с другим, не совсем в своем уме. Ее уникальность состояла лишь в том, что она преподавала в учебном заведении типа школы Марсии Блейн. В тридцатые годы таких, как мисс Броди, были легионы: женщины от тридцати и старше, заполнявшие свое обездоленное войной стародевическое существование поисками и открытием для себя новых идей, энергичной деятельностью в сфере искусства и социального обеспечения, просвещения и религии. Передовые старые девы Эдинбурга не преподавали в школах, тем более в таких традиционных, как школа Марсии Блейн. Именно поэтому, как считали незамужние дамы, работавшие в школе Блейн, мисс Броди была слегка не на своем месте. Но она была вполне на месте в ряду ей подобных: энергичных дочерей умерших или немощных коммерсантов, священников, университетских профессоров, врачей, бывших владельцев больших магазинов или рыбных промыслов, наделивших своих дочерей цепким умом, румяными щеками, лошадиным телосложением, способностью логически мыслить, бодро-

стью духа и собственными средствами. В три часа дня таких, как она, можно было застать у демократических эдинбургских прилавков спорящими с владельцами бакалейных магазинов о чем угодно, начиная с подлинности священного писания и кончая вопросом, что́ на самом деле значит надпись «гарантировано» на банках с джемом. Они посещали лекции, пробовали питаться только медом и орехами, брали уроки немецкого языка и затем пускались в путешествие по Германии пешком; покупали фургоны и отправлялись в горы, к озерам; они играли на гитаре и поддерживали начинания всех новых мелких театральных трупп; они снимали квартиры в трущобах, раздавали соседям банки с красками и учили, как простыми средствами украсить жилище; они пропагандировали идеи Мари Стоупс [1]; они ходили на собрания Оксфордской группы и бдительным оком следили за спиритическими сеансами. Некоторые участвовали в Шотландском националистическом движении, другие, как, например, мисс Броди, называли себя европейцами, а Эдинбург — европейской столицей, городом Юма [2] и Босуэлла [3].

Они, однако, не принимали участия в женских комитетах. Они не преподавали в школах. Комитетским старым девам не хватало инициативности, и они были далеки от бунтарства — они прилежно работали и были благонравными прихожанками. Школьные учительницы вели еще более правильный образ жизни: зарабатывали себе на хлеб, жили с престарелыми родителями, ходили на прогулки в горы, а по выходным ездили в Норт-Бервик.

Старые девы типа мисс Броди очень любили поговорить, они были феминистками и, подобно большинству феминисток, разговаривали с мужчинами, «как мужчина с мужчиной»:

— Я вот что вам скажу, мистер Геддес, контроль над рождаемостью — единственное средство решения проблем рабочего класса. Бесплатное предоставление каждой семье...

Или — часто в три часа дня у прилавков преуспевающих бакалейщиков:

— Мистер Логан, хоть вы и старше меня, но я — женщина в расцвете лет, и я вам скажу, что в воскресных концертах профессора Тови гораздо больше божественного, чем в службах пресвитерианской церкви.

В свете всего этого мисс Броди во внешних проявлениях ничем не отличалась от ей подобных. Что касается ее внутреннего мира, то это — отдельный вопрос, и было еще неясно, до каких крайностей доведет мисс Броди ее внутреннее «я». От других учителей она внешне отличалась лишь тем, что все еще находилась в зыбкой стадии формирования, в то время как они, после того как им исполнялось двадцать, уже вполне сознательно не отваживались менять свои взгляды, особенно в вопросах этики. Мисс Броди хвасталась, что на свете нет ничего такого, чего она уже не может выучить. Учительница, говорившая девочкам: «Сейчас я в расцвете лет. Вы пожинаете плоды моего расцвета», была не сложившейся мисс Броди, а личностью, развивающейся на их глазах, как и сами девочки, которые в ту пору лишь формировались. Расцвет все еще эволюционирующей личности мисс Броди продолжался и когда девочки приближались к двадцатилетнему возрасту. И принципы, по которым мисс Броди жила в заключительной фазе своего расцвета, привели бы ее самое в изумление, услышь она об этом в его начале.

Летние каникулы тысяча девятьсот тридцать первого года ознаменовали первую годовщину вступления мисс Броди в пору расцвета. Надвигающийся учебный год во многом стал для клана Броди годом

[1] Мари Кармайкл Стоупс (1880—1958) — английская писательница, феминистка, по специальности палеоботаник. Пропагандировала контроль над рождаемостью.

[2] Дэвид Юм (1711—1776) — знаменитый философ и историк.

[3] Джеймс Босуэлл (1740—1795) — шотландский юрист и писатель.

прозрений. Девочкам к этому времени было по одиннадцать-двенадцать лет, и этот год был полон будоражащих открытий. Впоследствии секс стал для них лишь одной из составных частей жизни. В тот год он довлел над всем остальным.

Новый семестр начался, как всегда, бодро. Войдя в класс, загорелая мисс Броди сказала:

— Я снова ездила в Италию и провела там бóльшую часть каникул. Кроме того, неделю была в Лондоне. Я привезла с собой массу открыток — мы можем приколоть их на стену. Вот репродукция картины Чимабуэ [1]. А вот большой отряд фашистов Муссолини, на этой фотографии их видно лучше, чем на прошлогодней. Они делают потрясающие вещи, я вам потом расскажу. Я со знакомыми была на приеме у папы. Мои знакомые поцеловали его перстень, но я сочла, что приличнее просто склониться к его руке. На мне было длинное черное платье с кружевной накидкой, и я изумительно выглядела. В Лондоне мои друзья — они весьма состоятельные люди, у их дочери две гувернантки или, как говорят в Англии, няни — повели меня к А. А. Милну [2]. У него в холле висит репродукция картины Ботичелли «Примавера», что значит «Весна». Я была в черном шелковом платье с большими красными маками — оно мне очень к лицу. Муссолини — один из величайших людей в мире, Рамсею Макдональду [3] до него далеко, а его фашисты...

— Доброе утро, мисс Броди. Доброе утро, девочки, садитесь,— сказала директриса, влетев в класс и оставив за собой открытую настежь дверь.

Мисс Броди, высоко подняв голову, прошла у нее за спиной и закрыла дверь, придав этому акту вполне определенное значение.

— Я к вам только на минутку,— сказала мисс Маккей,— и сейчас же ухожу. Что ж, девочки, сегодня первый день нового семестра. Мы не упали духом? Нет. В этом году, девочки, вы должны как следует заниматься по всем предметам и сдать экзамены с честью. Помните, что на будущий год вы переходите в среднюю школу. Я надеюсь, вы все хорошо провели летние каникулы — вы все хорошо выглядите и загорели. Надеюсь в скором времени прочитать ваши сочинения о том, как вы провели лето.

Когда она ушла, мисс Броди долго пристально смотрела на дверь. Джудит, девочка не из клана, хихикнула. «Прекрати»,— сказала мисс Броди. Повернулась и стала стирать тряпкой длинный пример на деление, который всегда выписывала на доске на случай вторжения во время уроков арифметики, когда по случайности могла заниматься с девочками вовсе не арифметикой. Стерев с доски, она вновь повернулась к классу:

— Мы не упали духом — нет, мы не упали духом — нет. Как я начала говорить, Муссолини совершил величайшие подвиги, и безработица при нем ликвидирована сейчас даже в большей степени, чем в прошлом году. В этом семестре я смогу вам рассказать об очень многом. Как вам известно, я не верю в необходимость разговаривать с детьми как с несмышленышами, вы способны понять гораздо больше, чем обычно предполагают взрослые. Просвещение, или «эдукацио», означает «выведение наружу» от «э», то есть «наружу», и от «дуко», то есть «я веду». Экзамены экзаменами, а рассказ о том, что я видела в Италии, пойдет вам на пользу. В Риме я видела Форум и Колизей, где умирали гладиаторы и рабов кидали на съедение львам. Один вульгарный американец сказал мне: «Похоже на шикарную каменолом-

[1] Джованни Чимабуэ (1240—1302) — флорентийский художник.

[2] Алан Александер Милн (1882—1956) — английский писатель.

[3] Джеймс Рамсей Макдональд (1886—1937) — английский государственный и политический деятель, лейборист. В 1924-м, а затем в 1929—1931 гг. занимал пост премьер-министра Великобритании.

ню». Американцы произносят слова с назализацией. Мэри, что означает «произносить с назализацией»?

Мэри не знала.

— Глупа по-прежнему,— сказала мисс Броди.— Юнис?

— В нос,— ответила Юнис.

— Отвечай, пожалуйста, полным предложением,— сказала мисс Броди.— Я считаю, в этом году вам следует научиться отвечать полными предложениями. Постараюсь все время следить за этим. Правильно надо было ответить так: «Произносить с назализацией — значит произносить в нос». Этот американец сказал: «Похоже на шикарную каменоломню». Ах, и это про место, где сражались гладиаторы! «Хайль, Цезарь! — восклицали они.— Идущие на смерть приветствуют тебя!»

Мисс Броди в коричневом платье стояла с поднятой рукой, словно гладиатор. Глаза ее сверкали, как клинок.

— Хайль, Цезарь! — снова воскликнула она и, сияя, повернулась к окну, как будто там сидел Цезарь.— Кто открыл окно? — спросила мисс Броди, резко опустив руку.

Все молчали.

— Кто бы это ни сделал, окно открыто слишком широко. Шести дюймов вполне достаточно. Больше — уже вульгарно. В таких вещах нужно иметь внутреннее чутье. По расписанию мы сейчас должны заниматься историей. Достаньте учебники истории и держите их в руках. Я вам еще немного расскажу про Италию. У фонтана я познакомилась с одним молодым поэтом. На этой картине Данте впервые встречается на Понте Веккио с Беатриче — так по-итальянски произносят имя Беатриса, и оно звучит очень красиво. В тот миг он и влюбляется в нее. Мэри, сядь прямо и не сутулься. То был великий момент в великой любви. Кто написал эту картину?

Никто не знал.

— Она написана Россетти[1]. Кто такой Россетти, Дженни?

— Художник,— ответила Дженни.

Во взгляде мисс Броди сквозило недоверие.

— И гений,— добавила Сэнди, приходя на выручку Дженни.

— Он был другом...? — подсказала мисс Броди.

— Суинберна[2],— сказал кто-то из девочек.

Мисс Броди улыбнулась.

— Не забыли,— сказала она, обводя взглядом класс.— Каникулы каникулами, а не забыли. Держите учебники истории перед собой на случай, если к нам опять кто-нибудь заглянет.

Она неодобрительно посмотрела на дверь и с достоинством подняла свою прекрасную голову темноволосой римской матроны. Она часто говорила девочкам, что покойный Хью восхищался ее римской внешностью.

— На будущий год,— сказала она,— вас будут учить специалисты: специальный учитель истории, математики, языков. По каждому предмету будет свой учитель, и на каждый урок будет по сорок пять минут. Но в этот последний год, пока вы еще у меня, я подарю вам плоды своего расцвета. Они будут служить вам всю жизнь. Тем не менее сперва я отмечу в журнале, кто сегодня присутствует. У нас две новенькие. Новые девочки, встаньте.

Они поднялись с мест и, широко раскрыв глаза, уставились на мисс Броди, которая села за стол.

— Вы привыкнете к нашим порядкам. Какого вы вероисповедания? — спросила мисс Броди, держа ручку наготове. А в небе над школой кружились чайки, прилетевшие с залива Ферт-оф-форт; зеленые и золотистые верхушки деревьев клонились к школьным окнам.

---

[1] Данте Габриэль Россетти (1828—1882) — английский поэт и художник; основатель школы прерафаэлизма.

[2] Алджернон Чарльз Суинберн (1837—1909) — английский поэт.

Приди, осень, желто-серая осень, скорей,
Красой увяданья мне душу согрей.

— Роберт Бернс,— сказала мисс Броди, закрывая журнал.— Мы с вами живем в середине тридцатых годов. У меня в столе четыре фунта румяных яблок из сада мистера Лоутера, его подарок. Давайте-ка съедим их, пока все спокойно — не потому, конечно, что яблоки не входят в мою компетенцию, но осторожность это... осторожность это... Сэнди?

— Залог отваги, мисс Броди.— Ее маленькие глазки смотрели на мисс Броди, слегка сощурившись.

Коллеги по начальной школе невзлюбили мисс Броди еще до ее официального вступления в пору расцвета. Учительницы старших классов относились к ней безразлично или с легкой усмешкой, потому что они еще не почувствовали на себе влияние клана Броди — это ожидало их на следующий год, но и тогда они не раздражались понапрасну, сталкиваясь с результатами, как они говорили, «экспериментальных методов мисс Броди». Эти методы вызывали бурное негодование именно в начальной школе среди меньше зарабатывающих и менее образованных учительниц, с которыми мисс Броди имела дело каждый день. Однако из общего правила существовало два исключения — два человека не только относились к мисс Броди без возмущения и небезразлично, но, напротив, всячески ее поддерживали. Одним из них был Гордон Лоутер, учитель пения в младших и старших классах, другим — Тедди Ллойд, преподававший рисование старшеклассницам. Они были единственными мужчинами в школе. Оба были уже слегка влюблены в мисс Броди, так как она одна в их повседневном окружении волновала их как женщина, и, не сознавая этого, они уже начинали соперничать, добиваясь ее благосклонности. Но пока что они не заслужили ее внимания как мужчины, она признавала в них лишь своих сторонников и испытывала благодарность, смешанную с гордостью. Именно члены клана догадались раньше мисс Броди и уж конечно раньше самих мужчин, что мистер Лоутер и мистер Ллойд, каждый претендуя на исключительное право, готовы вывернуться наизнанку, чтобы показать себя в выгодном свете перед мисс Броди.

Гордон Лоутер и Тедди Ллойд казались клану Броди внешне довольно похожими, пока более близкое знакомство с ними не доказало, что они весьма отличаются друг от друга. Оба были золотисто-рыжей масти, Тедди Ллойд, учитель рисования, был гораздо лучше сложен, более красив и намного интереснее как личность. Говорили, что он наполовину валлиец, наполовину англичанин. У него был такой хриплый голос, как будто его постоянно мучил бронхит. Золотистая прядь падала со лба, закрывая глаза. Но самое удивительное заключалось в том, что у него была всего одна рука, правая, которой он рисовал. Вместо левой был пустой рукав, заткнутый в карман. Содержимое рукава он потерял в мировую войну.

Классу мисс Броди только один раз выпала возможность рассмотреть его вблизи, да и то в полумраке, потому что в кабинете рисования были опущены шторы: мистер Ллойд показывал диапозитивы. Мисс Броди привела своих учениц в кабинет и собралась было сесть вместе с ними на край скамейки, но тут учитель рисования подошел к ней, держа в единственной руке стул, и церемонно предложил его, чуть согнув при этом колени, как лакей. Мисс Броди с достоинством уселась, расставив ноги — истинное воплощение Британии,— причем ее широкая коричневая юбка поднялась значительно выше колен. Мистер Ллойд показывал диапозитивы картин с выставки итальянской живописи в Лондоне. В руке у него была указка, с помощью которой он прослеживал композицию полотен, давая поясне-

ния хриплым голосом. Он ничего не говорил о сюжетах картин, а только обводил указкой каждый изгиб и каждую линию, проведенную художником единым движением кисти и оборванную, например, где-нибудь у локтя, а затем вновь подхваченную, например, у кромки облака или на спинке стула. Застывшие в позах игроков в волейбол дамы «Примаверы» заставили мистера Ллойда поработать как следует. Он без устали обводил указкой контуры их задов, просвечивавших сквозь складки ткани. Когда он сделал это в третий раз, по передней скамье пробежала волна веселья, распространившаяся затем и на другие ряды. Крепко сжимая губы, девочки пытались сдержать душившие их конвульсии, но чем крепче сжимались губы, тем чаще хрюкали носы под напором подавляемого смеха. Мистер Ллойд с обидой и раздражением окинул класс взглядом.

— Очевидно,— сказала мисс Броди,— эти девочки выросли в семьях, не знакомых с культурой и традициями. Нас окружают филистеры, мистер Ллойд.

Это замечание тотчас привело в чувство девочек, стремившихся показать, что они происходят от культурных и бесполых предков. Мистер Ллойд немедленно возобновил демонстрацию художественных форм и опять начал обводить указкой задрапированные прелести одной из ботичеллиевских девиц. Сэнди притворилась, что на нее напал сильный кашель, то же самое сделали еще несколько девочек, сидевших за ней. Другие полезли под скамейки, делая вид, будто что-то уронили. Кое-кто, привалившись к плечу соседки, откровенно хохотал, беспомощно прикрыв рукой рот.

— А уж *ты,* Сэнди, меня просто удивляешь,— сказала мисс Броди.— Я думала, ты из другого теста.

Сэнди, продолжая кашлять, подняла голову и лицемерно заморгала. Мисс Броди тем временем переключилась на сидевшую к ней ближе всех Мэри Макгрегор. Мэри хихикала, потому что ее заразил общий смех — она была слишком глупа, чтобы у нее возникли собственные забавные эротические ассоциации, и урок мистера Ллойда никогда бы не подействовал на нее так, если бы не развеселились остальные. Но сейчас она бесстыже хихикала, как испорченный ребенок из некультурной семьи. Мисс Броди схватила Мэри за руку, рывком подняла девочку на ноги, потащила к двери и вытолкнула из класса. Захлопнув дверь, мисс Броди вернулась на место с видом человека, окончательно решившего проблему. Проблема и на самом деле была решена, так как энергичная акция мисс Броди отрезвляюще подействовала на девочек, а также дала понять, что формально неугодный заводила удален и они больше не виноваты.

Мистер Ллойд между тем перезарядил проектор и перешел к описанию мадонны с младенцем, в связи с чем девочки были еще более признательны мисс Броди за ее акцию, так как всем было бы неловко, если бы приступ смеха начался в момент, когда указка мистера Ллойда шарила по контурам святыни. Они были даже слегка шокированы, что по такому поводу мистер Ллойд нисколько не изменил интонаций своего хриплого голоса и продолжал бесстрастно объяснять, как художник действовал кистью; он вел себя почти вызывающе, методически обводя очертания богоматери и святого младенца. Сэнди перехватила взгляд, брошенный мистером Ллойдом в сторону мисс Броди. Казалось, он ждал от нее одобрения своего очень профессионального подхода к искусству, и Сэнди видела, как мисс Броди улыбнулась в ответ — такой горделивой и понимающей улыбкой могла улыбнуться богиня какому-нибудь богу, витавшему над горными вершинами.

Вскоре после описанных событий Моника Дуглас, позднее прославившаяся математическими способностями и вспышками гнева, заявила, что видела, как мистер Ллойд целовал мисс Броди. Моника была абсолютно уверена в достоверности своих наблюдений, пере-

данных остальным пяти членам клана. Девочки пришли в волнение — в это трудно было поверить.

— Когда?

— Где?

— Вчера после уроков, в кабинете рисования.

— А ты что там делала? — спросила Сэнди, взяв на себя ведение перекрестного допроса.

— Я ходила туда за новым альбомом.

— Зачем? У тебя ведь еще не кончился старый.

— Кончился,— сказала Моника.

— Когда же он кончился?

— В прошлое воскресенье, когда вы с мисс Броди играли в гольф, я рисовала.

Дженни и Сэнди действительно в прошлое воскресенье играли с мисс Броди в гольф на поле в Брейд-Хиллз, пока остальные девочки ходили на этюды в поле.

— У нее правда кончился альбом. Она нарисовала Тивудский лес с пяти точек,— подтвердила Роз Стенли.

— Где они стояли в кабинете рисования? — спросила Сэнди.

— В другом конце,— сказала Моника.— Я догадалась, что он ее обнимал и целовал. Когда я открыла дверь, они отскочили друг от друга.

— Какой рукой он ее обнимал? — схитрила Сэнди.

— Правой, конечно. У него нет левой.

— Ты зашла прямо в комнату или из дверей увидела?

— Я вошла и вышла. Я правда видела, говорю тебе!

— А они что сказали? — поинтересовалась Дженни.

— Они меня не видели,— ответила Моника.— Я сразу повернулась и убежала.

— Это был долгий-предолгий поцелуй? — требовательно спросила Сэнди, а Дженни подошла поближе, чтобы услышать, что ответит Моника.

Моника подняла глаза к потолку, как будто подсчитывая в уме. Закончив вычисления, она сказала:

— Да, долгий.

— Откуда ты знаешь? Ты ведь даже не осталась посмотреть.

— Знаю, и все,— ответила Моника, постепенно накаляясь.— Я все успела заметить. Это был маленький кусочек настоящего долгого поцелуя, потому что я видела, как он ее обнимал, и...

— А я не верю,— взвизгнула Сэнди, так как была взволнована и отчаянно старалась доказать правдивость донесения Моники, отсеивая сомнительные детали.— Наверное, тебе это приснилось.

Моника вцепилась пальцами в руку Сэнди и ущипнула ее, подло, с вывертом. Сэнди взвыла от боли. Моника с пылающим ярко-красным лицом рванула вверх свой портфель, задев стоящих рядом девочек, и те попятились.

— Она начинает злиться,— сказала, прыгая на одной ножке, Юнис Гардинер.

— Я не верю ей,— повторила Сэнди, тщетно стараясь представить себе сцену в кабинете рисования и спровоцировать располагавшую фактами Монику описать ее с должным чувством.

— А я верю,— сказала Роз.— Мистер Ллойд — художник, и мисс Броди — тоже артистичная натура.

Дженни спросила:

— А разве они не видели, как открылась дверь?

— Видели,— ответила Моника.— Когда я открыла дверь, они отскочили друг от друга.

— Откуда ты знаешь, что они не видели тебя? — спросила Сэнди.

— Я уже убежала, когда они обернулись. Они стояли в другом

конце кабинета, рядом со шторой, на фоне которой рисуют натюрморты.

Она подошла к двери класса и продемонстрировала свое стремительное исчезновение. Эта инсценировка не удовлетворила Сэнди, и она сама вышла из класса, потом открыла дверь, заглянула в комнату, изумленно раскрыла глаза, ахнула и молниеносно ретировалась. Эксперимент с перевоплощением как будто убедил Сэнди и так понравился ее подругам, что пришлось повторить его. Когда Сэнди исполняла этот этюд в четвертый раз и он был уже вовсю расцвечен разнообразными деталями, за ее спиной появилась мисс Броди.

— Что ты делаешь, Сэнди? — спросила она.

— Просто играю,— ответила Сэнди, фотографируя своими маленькими глазками новую ипостась мисс Броди.

Вопрос о том, могла ли на самом деле мисс Броди позволить поцеловать себя и ответить на поцелуй, занимал клан до самого рождества. Дело в том, что история любви мисс Броди в годы войны не позволяла им представить свою учительницу во плоти, поскольку та, более молодая Джин Броди принадлежала к доисторическим временам — до их появления на свет. Прошлой осенью, слушая под вязом рассказы мисс Броди из цикла «Когда я была молодой», они воспринимали их как нечто весьма далекое от реальности, но поверить в них было легче, чем в донесение Моники Дуглас. Клан Броди решил не разглашать это сообщение, потому что, если бы оно разнеслось по классу, оно пошло бы и дальше, и в конце концов его бы услышал кто-нибудь, кто мог устроить Монике неприятность.

А мисс Броди и в самом деле изменилась. И дело было не только в том, что Сэнди и Дженни, мысленно воссоздавая ее новый образ, пытались представить ее себе как женщину, которую можно называть просто Джин. Перемена была в ней самой. Она стала носить платья поновее и светящееся янтарное ожерелье; оно было из такого настоящего янтаря, что если его потереть, а потом поднести к кусочку бумаги, у него проявлялись магнетические свойства, как однажды продемонстрировала девочкам мисс Броди.

Перемена, произошедшая с мисс Броди, была особенно ощутима в сравнении с другими учительницами начальной школы. Стоило взглянуть на них, а потом на мисс Броди, и было уже легче представить себе, как она поддается поцелуям.

Дженни и Сэнди гадали, не позволили ли себе мистер Ллойд и мисс Броди большего, чем поцелуй в кабинете рисования, и не захлестнула ли их страсть. Они бдительно следили за животом мисс Броди, стараясь определить, не начал ли он расти. Иногда, когда им бывало скучно, они решали, что он уже растет. Но в те дни, когда на уроках мисс Броди было весело, они видели, что живот у нее такой же плоский, как и раньше, и тогда даже приходили к единому мнению, что Моника Дуглас наврала.

Учительницы начальной школы, здороваясь по утрам с мисс Броди, делали это более чем по-эдинбургски, иначе говоря, весьма любезно, и каждая считала своим долгом непременно сказать «Доброе утро, дорогая», но Сэнди, которой к тому времени исполнилось одиннадцать лет, чувствовала, что тон, каким они произносят слово «дорогая», казалось, намеренно заставляет это слово рифмоваться со словом «презираю», так что эти дамы могли с тем же успехом вместо «Доброе утро, дорогая» говорить «Доброе утро. Презираю!». Мисс Броди отвечала им с еще более выраженным гордым английским акцентом, чем обычно. «Доброе у-у-тро»,— отвечала она, проходя по коридору и поворачивая голову не более чем на оскорбительные полдюйма, и их презрение, попав под колеса кареты, везущей превосходство мисс Броди, превращалось в лепешку. Мисс Броди шагала по коридору с вы-

соко-высоко поднятой головой и часто, войдя наконец в свой класс, позволяла себе на минутку с облегчением привалиться к двери. Она редко заходила в учительскую в свободные часы, когда у ее учениц был урок пения или рукоделия, предпочитая оставаться со своим классом.

Что касается учительниц рукоделия, то эти две женщины стояли несколько особняком от остальных, и их не воспринимали всерьез. Они были младшими сестрами третьей, ныне покойной сестры, после смерти которой никто так и не сумел взять на себя руководство их жизнью. Звали их мисс Эллен и мисс Алисон Керр. Научить чему-либо они не могли — слишком уж были суетливы. Вечно растрепанные, с голубовато-серыми лицами и птичьими глазками, они вместо того, чтобы учить, как надо шить, брали у девочек по очереди их шитье и делали за них бóльшую часть работы. Когда у кого-нибудь дело совсем не клеилось, они распарывали уже сшитый кусок и перешивали заново, приговаривая: «Так не пойдет» или: «Какой же это запошивочный шов!» Сестры-рукодельницы пока еще не поддались общей тенденции и не осуждали мисс Броди, так как в душе твердо верили, что их ученые коллеги выше любой критики. Поэтому уроки рукоделия были для всех прекрасным развлечением, и мисс Броди до самого рождества каждую неделю на этих уроках читала девочкам вслух «Джен Эйр», а они, слушая ее, кололи иголками пальцы, насколько хватало терпения, чтобы на шитье оставались интригующие пятнышки крови — из таких пятнышек можно было составлять целые узоры.

Уроки пения были совсем другое дело. Через несколько недель после сообщения о поцелуе в кабинете рисования постепенно стало ясно, что мисс Броди необычно ведет себя до, во время и после уроков пения. В те дни, когда у девочек было пение, она надевала самые новые платья.

Сэнди спросила Монику Дуглас:

— А ты твердо знаешь, что ее поцеловал именно мистер Ллойд? Ты уверена, что это был не мистер Лоутер?

— Это был мистер Ллойд,— ответила Моника.— И потом, это было в кабинете рисования, а не в музыкальной комнате. Чего ради мистер Лоутер пойдет в кабинет рисования?

— Мистер Ллойд и мистер Лоутер похожи,— сказала Сэнди.

— Это был мистер Ллойд,— повторила Моника, постепенно вскипая.— Он обнимал ее одной рукой. Я их видела. Лучше бы я вообще тебе не рассказывала. Роз единственная мне верит.

Роз Стенли действительно верила, но верила лишь потому, что ей было все равно. Ее меньше других членов клана волновали любовные похождения мисс Броди, как и вообще чужая интимная жизнь. Эта черта сохранилась за ней навсегда. Позднее, когда она прославилась сексапильностью, ее потрясающие притягательные свойства объяснялись тем, что секс совсем не интересовал ее, она никогда о нем не думала. Как впоследствии говорила мисс Броди, у Роз был инстинкт.

— Роз единственная мне верит,— сказала Моника Дуглас.

Когда в конце пятидесятых годов Моника навестила Сэнди в монастыре, она сказала:

— Я правда видела, как Тедди Ллойд целовался с мисс Броди в кабинете рисования.

— Я знаю, что ты видела,— ответила Сэнди.

Она знала и до того, как мисс Броди сама рассказала ей об этом однажды вскоре после войны, когда они в отеле «Брейд-Хиллз» пили чай с бутербродами, потому что бюджет мисс Броди не позволял устроить чаепитие у нее дома. Мисс Броди сидела в уцелевшей с прежних лет темной ондатровой шубке, никому больше не нужная и познавшая предательство. Она ушла из школы до срока.

— Пора моего расцвета миновала,— вздохнула она.

— Но это был замечательный расцвет,— сказала Сэнди.

Они смотрели в широкие окна на тонкую полоску Брейдберна, вьющуюся по полям, и на дальние холмы, искони такие суровые и голые, что даже во время войны им нечего было терять.

— Как тебе известно, Тедди Ллойд очень любил меня,— сказала мисс Броди,— а я — его. Это была большая любовь. Как-то раз он поцеловал меня в кабинете рисования. Мы так и не стали любовниками, даже когда ты уехала из Эдинбурга и искушение было особенно велико.

Сэнди продолжала смотреть маленькими глазками на холмы.

— Но я отвергла его. Он был женатым человеком. Я отвергла большую любовь, пришедшую ко мне в пору расцвета. Нас с ним роднило абсолютно все... артистичные натуры...

В свое время она рассчитывала, что ее расцвет продлится до шестидесяти. Но тот послевоенный год оказался последним и всего лишь пятьдесят шестым в жизни мисс Броди. Выглядела она даже старше своих лет, у нее была опухоль. Этот год завершал ее жизнь в нашем мире, что, в несколько другом смысле, относилось и к Сэнди.

Мисс Броди сидела, переживая свое поражение.

— Поздней осенью тысяча девятьсот тридцать первого года... Ты меня слушаешь, Сэнди?

Сэнди отвела взгляд от холмов.

Поздней осенью тысяча девятьсот тридцать первого года мисс Броди не появлялась в школе две недели. Предполагалось, что она нездорова. После уроков клан отправился с цветами навестить ее, но в квартире никого не было. Когда на следующий день девочки начали наводить справки, им сказали, что она уехала за город к подруге и пробудет там, пока не поправится.

На это время класс мисс Броди разделили на несколько групп и втиснули ее учениц в классы других преподавателей. Девочки клана Броди были неразлучны, и всех их отдали худой как скелет учительнице с соответствующей ее телосложению фамилией — звали ее мисс Скелетт,— уроженке Гебридских островов, носившей юбку до колен, сшитую из чего-то похожего на серое одеяло; юбка эта не выглядела элегантно, даже когда длина до колена была в моде — Роз Стенли утверждала, что учительница скроила юбку такой куцей из экономии. У мисс Скелетт была очень большая, похожая на череп голова. Маленький холмик груди сдавлен корсажем, шерстяная кофточка — отталкивающего темно-зеленого цвета. На клан Броди ей было совершенно наплевать, а девочки были ошарашены неожиданным переходом к напряженной учебе и обескуражены ужасной крутостью мисс Скелетт с ее строгими требованиями постоянно соблюдать тишину.

— О боже мой,— как-то раз громко сказала Роз, когда они сели писать сочинения.— Я забыла, как пишется «собственность». Там два «н» или...?

— Выучишь наизусть сто строчек из «Мармион»[1],— налетела на нее мисс Скелетт.

К концу первой недели журнал с плохими отметками, соответственно сказывавшимися при составлении характеристик в конце семестра, вовсю пестрел фамилиями девочек клана Броди.

За исключением тех случаев, когда мисс Скелетт надо было внести очередную жертву в черный список, она не удосуживалась запоминать имена учениц мисс Броди. «Ты, девочка»,— обычно говорила она, глядя на одну из них. А сами они в ту неделю были настолько ошеломлены происходящим, что даже не заметили отмену урока пения, который должен был состояться в среду.

В четверг их согнали в класс рукоделия сразу после обеда. Двух учительниц рукоделия, мисс Алисон и мисс Эллен Керр, казалось, подавляло присутствие мисс Скелетт, и они тотчас же склонились над швейными машинками, показывая девочкам, как с ними обра-

[1] «Мармион, или Сказание о битве при Флоддене» — поэма Вальтера Скотта.

щаться. Челноки машинок сновали вверх и вниз, что обычно заставляло Сэнди и Дженни хихикать, потому что в то время все, что хоть отдаленно могло навести на эротические мысли, немедленно наводило девочек именно на них. Но отсутствие мисс Броди и присутствие мисс Скелетт ощутимо отвлекали их от сексуальной символики окружающих предметов, а нервозность сестер-рукодельниц лишь способствовала возврату к суровому реализму.

Мисс Скелетт, по всей видимости, ходила в ту же церковь, что и сестры Керр, с которыми она время от времени заговаривала, продолжая вышивать салфетку для подноса.

— Мой братец...— то и дело повторяла она,— мой братец говорит...

Брат мисс Скелетт был приходским священником, чем и объяснялись дополнительные предосторожности, к которым в тот день прибегали мисс Алисон и мисс Эллен и в результате чего большая часть шитья пошла прахом.

— Мой братец каждое утро встает в половине шестого... Мой братец организовал...

Сэнди размышляла о следующей главе «Джен Эйр», чтением которой мисс Броди оживляла уроки рукоделия. К этому времени Сэнди уже разделалась с Аланом Бреком и завела дружбу с мистером Рочестером [1]. В данный момент она сидела с ним в саду.

«Вы боитесь меня, мисс Сэнди».

«Вы говорите загадками, как сфинкс, сэр, но я не боюсь».

«Вы так печальны и спокойны, мисс Сэнди... Как! Вы уже уходите?»

«Пробило девять, сэр».

Фраза, сказанная мисс Скелетт, прервала сцену в саду:

— Мистер Лоутер не приходил в школу на этой неделе.

— Да, я тоже об этом слышала,— откликнулась мисс Алисон.

— Его, кажется, не будет по меньшей мере еще неделю.

— Он заболел?

— Боюсь, что да,— сказала мисс Скелетт.

— Мисс Броди тоже нездорова,— заметила мисс Эллен.

— Да,— кивнула мисс Скелетт.— Она тоже не придет на работу еще неделю.

— А что с ней такое?

— Не могу вам сказать,— ответила мисс Скелетт и сделала еще стежок. Затем она подняла глаза на сестер:— Возможно, мисс Броди страдает тем же недугом, что и мистер Лоутер.

Сэнди представила мисс Скелетт в роли экономки из «Джен Эйр», которая, догадываясь обо всем, наблюдает, как она поздно вечером возвращается в дом из сада, где сидела на скамейке с мистером Рочестером.

— А что, если у мисс Броди роман с мистером Лоутером? — сказала Сэнди, обращаясь к Дженни, чтобы хоть как-то развеять окружавшую их бесполую тоску.

— Но целовал-то ее мистер Ллойд. Она должна быть влюблена в мистера Ллойда, иначе она не позволила бы ему поцеловать себя.

— Может, она теперь отыгрывается на мистере Лоутере. Он не женат.

Они фантазировали, бросая вызов мисс Скелетт и ее мерзкому братцу, и сами понимали, что фантазируют... Но, вспомнив, каким тоном мисс Скелетт сказала: «Возможно, мисс Броди страдает тем же недугом, что и мистер Лоутер», Сэнди неожиданно заколебалась, подозревая, что это предположение не лишено оснований. По этой причине она была более сдержанна, чем Дженни, придумывая детали воображаемого романа. Дженни прошептала:

— Они ложатся в постель. Потом он выключает свет. Потом они касаются друг друга пальцами ног. И тут мисс Броди... мисс Броди...

[1] Герой романа Шарлотты Бронте «Джен Эйр».

Ее разобрал смех.

— И тут мисс Броди зевает,— сказала Сэнди, чтобы соблюсти приличия, поскольку теперь она подозревала, что это не просто фантазия.

— Нет, мисс Броди говорит: «Дорогой...» Она говорит...

— Тихо ты,— прошептала Сэнди.— Юнис идет.

Юнис приблизилась к столу Дженни и Сэнди, схватила ножницы и пошла обратно. С некоторых пор Юнис ударилась в религию, и в ее присутствии нельзя было говорить о сексе. Она перестала ходить вприпрыжку и скакать на одной ноге. Увлечение религией длилось у нее недолго, но в это время она вела себя очень противно, и ей не доверяли. Когда Юнис отошла на достаточное расстояние от их стола, Дженни продолжила:

— У мистера Лоутера ноги короче, чем у мисс Броди, поэтому она, наверное, обхватывает его ноги своими, и...

— Ты не знаешь, где живет мистер Лоутер? — перебила Сэнди.

— В Крэмонде. У него там большой дом и есть экономка.

Через год после войны, когда Сэнди, сидя с мисс Броди у окна отеля «Брейд-Хиллз», отвела взгляд от холмов, чтобы показать, что она слушает, мисс Броди сказала:

— Я отвергла Тедди Ллойда. Но я решила завести какой-нибудь роман, это было единственным спасением. Моя любовь к Тедди была наваждением, эта любовь венчала мой расцвет. Но осенью тридцать первого года у меня начался роман с Гордоном Лоутером. Он был холост, и это было приличнее. Все это — чистая правда, и больше тут ничего не скажешь. Ты меня слушаешь, Сэнди?

— Да, я слушаю.

— У тебя такое выражение, будто ты думаешь о чем-то другом, дорогая. Да, как я уже сказала, это все.

Сэнди действительно думала о другом. Она думала, что это далеко не все.

— Конечно, вокруг подозревали, что у нас связь. Наверное, вы, девочки, знали об этом. По крайней мере, ты, Сэнди, догадывалась... Но никто не мог доказать, что между мной и Гордоном что-то было. Это так и осталось недоказанным. Меня предали не поэтому. Я бы хотела узнать, кто же меня предал. Невероятно, что это мог сделать кто-то из моих же девочек. Я часто думаю, а не бедняжка ли Мэри... Наверное, мне нужно было быть с ней помягче. То, что случилось с Мэри,— трагедия. Я представляю себе этот пожар... бедная, бедная девочка. И все равно не понимаю, как она могла меня предать.

— Она не встречалась ни с кем из учителей после того, как ушла из школы,— сказала Сэнди.

— Может быть, меня предала Роз?

Ее хныканье — «предала меня, предала меня» — надоело Сэнди и действовало ей на нервы. Вот уже семь лет, подумала она, как я предала эту зануду. Что она имеет в виду, говоря «предала»? Сэнди глядела на холмы, как будто ей хотелось увидеть там прежнюю и неуязвимую мисс Броди, безразличную к критике, как утес.

Вернувшись после двухнедельного отсутствия в школу, мисс Броди сообщила своим ученицам, что получила огромное удовольствие от прекрасного и заслуженного отдыха. Уроки пения у мистера Лоутера снова пошли своим чередом, и он сияющей улыбкой встречал мисс Броди, когда она гордо приводила своих шагающих с высоко поднятой головой воспитанниц в музыкальную комнату. Мисс Броди теперь аккомпанировала мистеру Лоутеру. Она сидела за роялем очень прямо и порой с некоторой печалью во взоре уверенно вступала вторым сопрано, когда девочки пели «Как сладостен чудный удел пастушка» и другие мелодичные опусы, разучиваемые для ежегодного концерта. Коротконогий, застенчивый и златовласый мистер Лоутер

больше не играл кудряшками Дженни. Голые ветви скреблись в окна, и Сэнди была почти уверена, что у мисс Броди любовь с учителем пения. Роз Стенли тогда еще не проявляла заложенные в ней способности, благодаря которым позднее обнаружилась страсть мисс Броди к однорукому Тедди Ллойду, и мисс Броди продолжала пышно цвести, никем пока не преданная.

Невозможно было вообразить, что мисс Броди спит с мистером Лоутером, невозможно было вообще вообразить ее в какой бы то ни было эротической ситуации, и тем не менее невозможно было не подозревать, что так оно и есть.

В течение весеннего семестра директриса несколько раз приглашала девочек на чай к себе в кабинет, сначала небольшими группами, а потом поодиночке. Таков был заведенный порядок, поскольку за чаем мисс Маккей выясняла, собираются ли девочки, перейдя в среднюю школу, учиться по современной программе или намерены поступать на классическое отделение.

Мисс Броди успела дать своим ученицам соответствующее разъяснение:

— Я не имею ничего против современной программы. Современное и классическое отделения равноправны, и каждое из них дает знания, которые пригодятся в жизни. Вы должны сделать выбор самостоятельно. Не каждому по силам классическое образование. Вы должны сделать выбор совершенно самостоятельно.

Естественно, у девочек не оставалось сомнения в пренебрежительном отношении мисс Броди к современному отделению.

Из всего клана его выбрала одна Юнис Гардинер, потому что ее родители желали, чтобы она прошла курс домоводства, а сама она хотела, чтобы у нее оставалось больше времени для занятий спортом, что предусматривалось программой современного отделения. Юнис в то время энергично готовилась к конфирмации и по-прежнему была благочестива чуть больше, чем нравилось мисс Броди. Она теперь отказывалась крутить сальто вне гимнастического зала, душила носовые платки лавандовой водой, отклонила предложение попробовать губную помаду тетки Роз Стенли, проявляла подозрительно здоровый интерес к международному спорту, и когда мисс Броди повела клан в театр «Эмпайр», где девочкам предоставлялась первая и последняя возможность увидеть на сцене Павлову, Юнис не пошла; она отпросилась, потому что, как она сказала, у нее было «важное».

— Важное что? — спросила мисс Броди, всегда придиравшаяся к словам, когда чуяла ересь.

— Это в церкви, мисс Броди.

— Да, да, но важное — что? Слово «важное» — прилагательное, а ты употребляешь его как существительное. Если ты имеешь в виду важное собрание, конечно, иди себе на это важное собрание, а у нас будет свое важное собрание в присутствии великой Анны Павловой, женщины, фанатически преданной искусству, балерины, при появлении которой на сцене другие танцовщицы становятся похожими на слонов. Мы увидим, как Павлова танцует «Умирающего лебедя» — это приобщит нас к вечности.

Весь семестр она пыталась вдохновить Юнис, предлагая ей по крайней мере стать первым миссионером в каком-нибудь смертельно опасном районе земного шара, так как мисс Броди не могла смириться с мыслью, что хоть одна из ее девочек вырастет, не посвятив себя целиком какому-либо высокому призванию. «Кончится тем, что ты станешь вожатой отряда скаутов в пригороде вроде Корстофайна»,— мрачно предостерегала она Юнис, которой, кстати, эта идея втайне казалась заманчивой и которая сама жила в Корстофайне. Весь семестр прошел в атмосфере легенд о Павловой, о ее фанатической преданности искусству, о ее диких истериках и презрении ко всему

заурядному. «Она закатывает скандалы кордебалету,— говорила мисс Броди,— но это простительно великой актрисе. Она говорит по-английски свободно, и у нее очаровательный акцент. Потом она возвращается домой и погружается в созерцание лебедей на своем озере».

«Сэнди,— сказала Анна Павлова,— ты после меня единственная фанатично преданная искусству балерина. Твой «Умирающий лебедь» — совершенство; такая выразительная прощальная дробь коготков по сцене...»

«Я знаю»,— сказала Сэнди, переводя дух за кулисами. (Подумав, она предпочла именно такой ответ, а не «О, я просто делаю все, что могу».)

Павлова понимающе кивнула. Она смотрела в пространство перед собой глазами трагической изгнанницы и жрицы искусства.

«Каждый артист знает про себя,— сказала Павлова.— Не так ли?»

И голосом, полным отчаяния, угрожающего перейти в истерику, воскликнула:

«Меня никогда не понимали. Никогда! Никогда!»

Сэнди сняла с ноги балетную туфельку и небрежно бросила в другой конец кулис, где ее почтительно подняла какая-то рядовая танцовщица из кордебалета. Перед тем, как снять вторую туфельку, Сэнди сказала Павловой:

«Я уверена, что я-то вас понимаю».

«Это правда,— воскликнула Павлова, пожимая Сэнди руку,— потому что ты — актриса и понесешь факел искусства дальше».

Мисс Броди говорила:

— Павлова созерцает лебедей, чтобы довести до совершенства свой лебединый танец. Вы все, взрослея, должны найти свое призвание, как я нашла свое в вас.

За несколько недель перед смертью, когда мисс Броди, сидя в постели, принимала навестившую ее в больнице Монику Дуглас и узнала от нее, что Сэнди ушла в монастырь, она сказала:

— Какая жалость! Я имела в виду совсем не такое призвание. Ты не думаешь, что она сделала это мне назло? Мне начинает казаться, что это Сэнди предала меня.

Директриса пригласила Сэнди, Дженни и Мэри на чай накануне пасхальных каникул и занялась обычными расспросами: что они собираются делать в средней школе и на каком отделении намерены заниматься — современном или классическом. Для Мэри Макгрегор классическое отделение исключалось, так как ее отметки были ниже, чем требовалось. Это сообщение, казалось, повергло Мэри в уныние.

— Почему тебе так хочется учиться на классическом отделении, Мэри? Оно тебе совершенно не подходит. Неужели твои родители этого не понимают?

— Мисс Броди предпочитает классическое.

— Мисс Броди здесь абсолютно ни при чем,— сказала мисс Маккей, решительно надавливая могучим задом на сиденье стула.— Все зависит от твоих отметок и от того, что по этому поводу думаешь ты и твои родители. А у тебя отметка ниже, чем нужно.

Когда Дженни и Сэнди сообщили о своем решении идти на классическое отделение, она сказала:

— Вероятно, потому, что так предпочитает мисс Броди. Что вам дадут латынь и греческий, когда вы выйдете замуж или устроитесь на работу? Немецкий пригодился бы больше.

Но они стояли на своем, и, смирившись с их выбором, мисс Маккей откровенно попыталась завоевать расположение девочек, расхваливая мисс Броди.

— Прямо не знаю, что бы мы делали без мисс Броди. Ее ученицы всегда отличаются от других, а последние два года, я бы сказала, существенно отличаются.

Потом она попробовала выкачать из них какую-нибудь информа-

цию. Правда ли, что мисс Броди водит их в театр, картинные галереи, приглашает к себе в гости? Как это мило с ее стороны!

— Мисс Броди сама платит за ваши билеты в театр?

— Иногда,— сказала Мэри.

— Но не всегда за всех,— добавила Дженни.

— Мы ходим на галерку,— сказала Сэнди.

— Что ж, это очень любезно с ее стороны. Надеюсь, вы это цените.

— О да,— ответили они хором, сплоченно и бдительно следя, чтобы беседа не приняла оборот, хоть в чем-то неблагоприятный для объединяющего клан Броди начала. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания директрисы.

— Прекрасно,— сказала она.— А на концерты вы с мисс Броди ходите? Мисс Броди ведь очень музыкальна, да?

— Да,— сказала Мэри, вопросительно глядя на подруг.

— В прошлом семестре мы ходили слушать «Травиату»,— сказала Дженни.

— Мисс Броди музыкальна? — снова спросила мисс Маккей, обращаясь к Сэнди и Дженни.

— Мы видели Павлову,— сказала Сэнди.

— Мисс Броди музыкальна? — повторила вопрос мисс Маккей.

— По-моему, мисс Броди больше интересуется искусством, мадам,— ответила Сэнди.

— Но ведь музыка тоже — форма искусства.

— Я имею в виду картины и рисунки,— сказала Сэнди.

— Прекрасное объяснение,— кивнула мисс Маккей.— Вы, девочки, берете уроки музыки?

Они все ответили «да».

— У кого? У мистера Лоутера?

Они ответили каждая по-разному, потому что уроки музыки у мистера Лоутера не входили в учебную программу, и все три девочки занимались с ним дома частным образом. Но упоминание о мистере Лоутере заставило даже тугодумку Мэри догадаться, к чему клонит мисс Маккей.

— Я слышала, мисс Броди аккомпанирует вам на уроках пения. Что же заставляет тебя думать, Сэнди, что мисс Броди предпочитает музыке живопись?

— Мисс Броди сама нам так сказала. Она говорит, что музыка ее просто интересует, а живопись — ее страстное увлечение.

— А какие *у вас* культурные интересы? Я полагаю, вы еще слишком юны для страстных увлечений.

— Рассказы, мадам,— сказала Мэри.

— Мисс Броди вам что-нибудь рассказывает?

— Да,— сказала Мэри.

— О чем же?

— Об истории,— хором сказали Дженни и Сэнди, потому что они давно предвидели, что когда-нибудь им зададут этот вопрос, и загодя, как следует поломав голову, придумали ответ, буквально соответствующий истине.

Мисс Маккей молча глядела на них, перекладывая пирог со стола на поднос; было очевидно, что она поражена их явно подготовленным ответом.

Больше она не задавала никаких вопросов, но произнесла следующую весьма примечательную речь:

— Вам очень повезло с мисс Броди. Хотелось бы, чтобы ваши работы по арифметике были получше. Ученицы мисс Броди всегда так или иначе производят на меня большое впечатление. Вам придется как следует подзаняться самыми обычными учебными предметами, чтобы сдать переходные экзамены. Мисс Броди дает вам отличную подготовку для учебы в средней школе. Общая культура не может

заменить твердые знания. Я счастлива, что вы верны мисс Броди. Вы должны быть преданы школе, а не какому-то одному человеку.

Содержание этой беседы было передано мисс Броди не полностью.

— Мы рассказали мисс Маккей, как вам нравится искусство,— тем не менее сообщила Сэнди в разговоре с мисс Броди.

— Это действительно так,—сказала мисс Броди,— но «нравится» — не то слово, искусство живописи — моя страсть.

— Я так и сказала,— заметила Сэнди.

Мисс Броди поглядела на нее, как будто хотела сказать то, что, кстати, уже говорила ей дважды, а именно: «Когда-нибудь, Сэнди, ты зайдешь слишком далеко».

— В сравнении с музыкой,— добавила Сэнди, моргая маленькими поросячьими глазками.

В конце пасхальных каникул произошло событие, увенчавшее насыщенный эротикой год: к гулявшей в одиночестве Дженни пристал какой-то мужчина, весело демонстрировавший свои достоинства на берегу Уотер-оф-Лит. Он сказал ей:

— Иди сюда, посмотри, что у меня есть.

— Что? — спросила Дженни, подходя ближе и думая, что он подобрал выпавшего из гнезда птенца или нашел необычное растение. Поняв, что́ имелось в виду, она, целая и невредимая, но запыхавшись, прибежала домой, где ее окружили пришедшие в ужас заботливые родственники и настояли, чтобы она для успокоения обязательно выпила сладкого чаю. Поскольку о происшествии было сообщено в полицию, к ним домой в тот же день явилась необыкновенная женщина в полицейской форме, чтобы расспросить обо всем Дженни.

Эти события были настолько захватывающими, что разговоры о них заставили остаток каникул пролететь в одно мгновение и продолжались весь летний семестр. Происшествие тотчас неблагоприятно отразилось на Сэнди, так как ей уже вот-вот должны были разрешить прогулки без сопровождения в уединенные уголки вроде того, где пристали к Дженни, а теперь о самостоятельных вылазках снова не могло быть и речи. Но это было лишь побочным результатом инцидента. Зато все остальное, связанное с ним, дало девочкам массу интересного. Обсуждение шло в двух направлениях: первое — сам мужчина и природа демонстрировавшегося им предмета и второе — женщина из полиции.

Первый вопрос был исчерпан очень быстро.

— Отвратительный тип,— сказала Дженни.

— Мерзкое животное,— сказала Сэнди.

Вопрос о сотруднице полиции был неисчерпаем, и хотя Сэнди никогда не видела ни ее, ни вообще женщин-полицейских (в те дни женщины только начинали работать в полиции), на летний семестр она совершенно забросила Алана Брека, мистера Рочестера и всех других литературных героев и влюбилась в допрашивавшую Дженни незнакомку из полиции. Своим интересом Сэнди поддерживала и угасавший энтузиазм Дженни.

— Как она выглядела? На ней был шлем?

— Нет, кепи. У нее были короткие светлые волосы, и из-под кепи выбивались локоны. И темно-синяя форма. Она мне сказала: «Ну, а теперь расскажи все, как было».

— А ты что сказала? — спросила Сэнди уже в четвертый раз.

И уже в четвертый раз Дженни ответила:

— Ну, я ей сказала: «На берегу под деревьями гулял мужчина, и он держал что-то в руке. А потом, когда он меня увидел, он засмеялся и говорит: «Иди сюда, посмотри, что у меня есть». А когда я подошла поближе и увидела...» Но я же не могла ей сказать, что я увидела, правда? Тогда она мне сказала: «Ты увидела какую-нибудь

гадость?» Я сказала: «Да». Потом она спросила меня, как этот мужчина выглядел и...

Ее история каждый раз звучала одинаково, а Сэнди хотелось услышать новые подробности про сотрудницу полиции, и она искала какие-нибудь зацепки. Дженни, рассказывая, произнесла слово «гадость» как «гадось», что было для нее нехарактерно.

— Она сказала «гадость» или «гадось»? — спросила Сэнди, когда история была ей рассказана в четвертый раз.

— Гадось.

Это вызвало у Сэнди крайне гадкое ощущение и на несколько месяцев отбило охоту размышлять о сексе. Тем не менее, поскольку подобное произношение не нравилось Сэнди и у нее от этого даже бежали по спине мурашки, она приставала к Дженни с просьбами пересмотреть эту деталь и согласиться, что женщина из полиции все-таки произнесла слово «гадость» правильно.

— Очень многие говорят «гадось»,— сказала Дженни.

— Знаю, но мне такие люди не нравятся. Они — ни то ни се.

Это обстоятельство очень тревожило Сэнди, и ей пришлось выдумать новый речевой образ для своей героини. Кроме того, ее беспокоило, что Дженни не знала ни как звали сотрудницу полиции, ни даже как к ней обращаться: констебль, сержант или просто мисс. Сэнди решила называть ее сержант Анна Грей. Сэнди была правой рукой Анны Грей в женской полиции, и они были призваны ликвидировать секс в Эдинбурге и его окрестностях. В воскресных газетах, к которым у Сэнди был свободный доступ, можно было найти правильную профессиональную терминологию, фразы типа «имела место интимная близость» и «истица была в положении». О женщинах в подобных случаях не говорилось «мисс» или «миссис», их называли просто по фамилии: «Уиллис была отослана обратно под стражу...», «адвокат сообщил, что, как выяснилось, Роубек в положении».

Итак, Сэнди, сдвинув на затылок темно-синее форменное кепи, сидела на ступеньках лестницы рядом с сержантом Анной Грей и держала под наблюдением участок между деревьями на берегу Уотер-оф-Лит, куда приходило «мерзкое животное», сказавшее Дженни: «Посмотри, что у меня есть», и где на самом деле Сэнди никогда не была.

«И вот еще что,— сказала Сэнди.— Нам надо побольше узнать о деле Броди и выяснить, не в положении ли она в результате своей связи с Гордоном Лоутером, про которого известно, что он учитель пения в женской школе Марсии Блейн».

«Интимная близость несомненно имела место,— ответила сержант Анна Грей, очень мило выглядевшая в темной форме и кепи, обрамленном коротко стриженными вьющимися волосами.— Единственное, чего нам не хватает, это нескольких компрометирующих документов».

«Предоставьте все это мне, сержант Анна»,— сказала Сэнди, потому что в те дни они с Дженни занимались сочинением любовной переписки между мисс Броди и учителем пения. Сержант Анна благодарно сжала руку Сэнди, и они посмотрели друг другу в глаза: между ними существовало столь глубокое взаимопонимание, что слова были излишни.

Когда кончились каникулы и девочки вернулись в школу, уотер-оф-литское дело хранилось Дженни и Сэнди в секрете, так как мать Дженни сказала, что об этом нельзя рассказывать. Тем не менее казалось вполне естественным, что такой сенсационной новостью следует поделиться с мисс Броди.

Однако в первый учебный день Сэнди, сама не зная почему, сказала Дженни:

— Не говори мисс Броди.

— Почему? — удивилась Дженни.

Сэнди попыталась определить, что мешало ей поделиться новостями с мисс Броди. Причина заключалась в неопределенности отношений мисс Броди с жизнерадостным мистером Лоутером и подкреплялась тем обстоятельством, что мисс Броди, войдя в класс, первым делом сказала:

— Я провела пасху в маленькой деревушке Крэмонд, основанной еще римлянами.

Именно там в одиночестве жил в большом доме с экономкой мистер Лоутер.

— Не говори мисс Броди,— сказала Сэнди.

— Почему? — удивилась Дженни.

Сэнди попыталась найти причины, мешающие ей поделиться с мисс Броди. К ним непонятным образом относились и события этого же утра, когда мисс Броди послала Монику Дуглас в кабинет рисования за блокнотами и угольными карандашами на новый семестр, а потом вернула ее и послала Роз Стенли. Нагруженная блокнотами и коробками с мелками, Роз пришла обратно в сопровождении столь же нагруженного Тедди Ллойда. Он свалил блокноты на стол и спросил мисс Броди, хорошо ли она провела каникулы. Она подала ему руку и сказала, что осматривала Крэмонд и что не следует свысока относиться к соседним прибрежным деревушкам.

— Никогда бы не подумал, что в Крэмонде есть что осматривать,— улыбаясь ей, заметил мистер Ллойд, и золотистая прядь упала ему на глаза.

— Там столько очарования,— сказала она.— А вы куда-нибудь ездили?

— Я работал,— хрипло ответил он.— Писал семейные портреты.

Роз в это время кончила запихивать блокноты в шкаф. Она обернулась, и мисс Броди, обняв ее за плечи, поблагодарила мистера Ллойда за помощь, как будто она и Роз были одним целым.

— Несшт,— сказал мистер Ллойд, что означало «не за что», и вышел из класса. Именно тогда Дженни и прошептала: «Роз изменилась за каникулы, правда?»

Роз действительно изменилась. Ее светлые волосы были подстрижены еще короче и блестели. Лицо похудело и стало бледнее, глаза не казались, как прежде, широко раскрытыми; веки были полуприкрыты, как будто она позировала фотографу по особому случаю.

— Наверное, она стала взрослой,— сказала Сэнди.

Мисс Броди называла это «пубертация», но когда девочки пытались пользоваться этим словом между собой, они хихикали и смущались.

После уроков Дженни сказала:

— Я лучше расскажу мисс Броди про того мужчину

Сэнди ответила:

— Не говори мисс Броди.

— Но почему же нет? — спросила Дженни.

Сэнди старалась, но не могла понять, почему не надо об этом рассказывать, и в то же время чувствовала какую-то неуловимую связь между каникулами мисс Броди в Крэмонде и тем, что она послала к мистеру Ллойду именно Роз. Поэтому она сказала:

— Женщина из полиции говорила, чтобы ты постаралась забыть все, что случилось. А из-за мисс Броди ты, может быть, будешь об этом вспоминать.

— Да, пожалуй, ты права,— согласилась Дженни.

И они позабыли о мужчине с Уотер-оф-Лит, но все чаще и чаще вспоминали про женщину из полиции.

Последние несколько месяцев, когда они учились у мисс Броди, она была просто прелесть. Она не пилила их, не читала нотаций и даже в самые напряженные моменты срывала раздражение только

на Мэри Макгрегор. В ту весну мисс Броди со своим классом захватила скамейки под вязом, откуда была видна бесконечная аллея деревьев в густо-розовом майском цветении и слышалось, как постукивали копыта, а в такт им скрипели колеса пустых тележек фермеров, рано утром продавших свой товар и возвращавшихся домой по невидимой за деревьями дороге. Неподалеку от вяза, как бы напоминая девочкам о ждущих их на следующий год чудесах, группа старшеклассниц овладевала началами латыни. Однажды их вдохновленная весной учительница под аккомпанемент цокающих копыт пони и скрипа тележек запела песенку на латыни, и мисс Броди восторженно подняла указательный палец, чтобы ее девочки тоже послушали.

Nundinarum adest dies,
Mulus ille nos vehet.
Eie, curre, mule, mule,
I tolutari gradu.[1]

В ту весну мать Дженни ждала ребенка; не выпало ни одного настоящего дождя; трава, солнце и птицы избавились, наконец, от зимнего эгоцентризма и начали думать о других. Старая история любви мисс Броди заново ожила под вязом, расшитая неожиданными узорами; оказалось, что, когда ее покойный жених приезжал с войны в отпуск, он часто брал ее кататься на рыбацкой лодке, и они провели немало самых радостных в их короткой любви часов среди скал и камней прибрежной деревушки. «Иногда Хью пел, у него был сильный тенор. А иногда он затихал, ставил мольберт и рисовал. У него был большой талант и к музыке, и к живописи, но я думаю, что по-настоящему Хью был прежде всего художником».

Так впервые девочки услыхали о склонностях Хью к искусству.

Сэнди была озадачена и призвала на совет Дженни. Им обеим стало ясно, что мисс Броди старается увязать свой новый роман с прежним. Поэтому теперь они слушали мисс Броди в оба уха, а остальные — вполуха.

Сэнди была покорена методом мисс Броди выкладывать мозаику из фактов и разрывалась между восхищением перед такой техникой и настоятельной необходимостью доказать состав преступления мисс Броди против морали.

«Что слышно насчет компрометирующих документов?» — спрашивала сержант Анна Грей в присущей ей бодрой дружеской манере. Она действительно была потрясающим человеком.

На каникулах в середине семестра Сэнди и Дженни закончили сочинение любовной переписки мисс Броди с учителем пения. Они жили у тетки Дженни в маленьком городке Крейл на берегу реки Файф. Тетка с подозрением относилась к их сочинительству, поэтому они, захватив тетрадку, поехали на автобусе в соседнюю деревню выше по реке и уселись заканчивать свое произведение у входа в пещеру. Перед ними стояла сложная задача показать мисс Броди одновременно в выгодном и невыгодном свете, так как сейчас, когда подходил к концу последний семестр занятий у мисс Броди, ничто меньшее их бы не устроило.

Требовалось установить, что интимная близость имела место. Но не на обычной кровати. Подобное предположение годилось бы лишь для оживления уроков рукоделия, а мисс Броди заслуживала более возвышенного отношения. Они поместили ее на величественном, формой напоминающем льва, утесе Трон Артура[2], где крышей ей служило небо, а ложем — папоротник. Внизу перед ее взором расстилался

[1] Наступает день ярмарки,
Нас отвезет туда мул.
Эй, мул, мул, беги резвее,
Беги рысью.

[2] Трон Артура — базальтовая скала в центре старого Эдинбурга.

обширный парк, а наверху сверкали грозовые молнии и гремел гром. Там-то и нашел ее застенчивый и улыбчивый Гордон Лоутер, маленький мужчина с длинным туловищем, короткими ногами, золотистой шевелюрой и такими же усами.

— Он взял ее,— сказала Дженни, когда они впервые обсуждали эту сцену.

— Взял ее... Нет, нехорошо. Она отдалась ему.

— Она отдалась ему,— сказала Дженни,— хотя охотно отдалась бы другому.

Последнее письмо из этой серии, сочиненное в середине семестра, выглядело так:

Мой и только мой восхитительный Гордон!

Твое письмо, как ты можешь себе представить, глубоко меня растрогало. Но, увы, я должна раз и навсегда отказаться от предложения стать миссис Лоутер. Причина этого двойственна. Я предана моим девочкам, как мадам Павлова — искусству, и в моей жизни есть другой, чья взаимная любовь ко мне не знает границ Времени и Пространства. Это Тедди Ллойд! Интимная близость с ним никогда не имела места. Он женат на другой. Однажды в кабинете рисования мы растаяли в объятиях друг друга и познали истину. Но я горжусь, что отдалась тебе, когда ты пришел и взял меня на папоротнике Трона Артура в то время, как вокруг ревела буря. Если я окажусь в положении, я отдам дитя на попечение доброго пастуха и его жены, и мы сможем обсудить это спокойно, как платонические знакомые. Я могу время от времени снова позволять себе легкомысленные поступки, как отдушину, потому что я в расцвете лет. Мы также сможем провести еще немало веселых дней, катаясь по морю на рыбацкой лодке.

Мне бы хотелось сообщить тебе, что твоя экономка смущает мою душу, как Джон Нокс. Боюсь, что она довольно ограниченная особа, судя по ее невежеству в вопросах культуры и итальянской живописи. Прошу тебя, скажи ей, чтобы она не говорила мне «вы знаете, как пройти наверх», когда я прихожу в твой дом в Крэмонде. Ей следует провожать меня по лестнице до твоей комнаты. Ноги у нее прекрасно гнутся. Она только делает вид, что это не так.

Я люблю слушать, как ты поешь «Эй, Джонни Коуп». Но, получи я завтра предложение от лорда-герольда Шотландии, я бы отклонила его.

Разреши мне в заключение горячо поздравить тебя с твоей половой жизнью, а также с успехами в пении.

С безмерной радостью
Джин Броди.

Дописав это письмо, они прочли всю сочиненную ими переписку от начала до конца. Они не могли решить, что лучше: бросить компрометирующие документы в море или закопать их. Как им было известно, забросить что-то с берега в море на деле труднее, чем на словах. Сэнди нашла в глубине пещеры прикрытую камнем сырую ямку, и они запихнули туда тетрадку с любовной перепиской мисс Джин Броди и никогда больше ее не видели. По пружинящему торфу они пешком отправились обратно в Крейл, полные новых планов и безмерной радости.

Глава четвертая

— Пороха в этой банке мне хватит, чтобы взорвать всю нашу школу,— ровным голосом сказала мисс Локхарт.

Она стояла в белом халате за лабораторным столом, поглаживая стеклянную банку, на три четверти заполненную темно-серым по-

рошком. В классе, как она и ожидала, воцарилась мертвая тишина. Мисс Локхарт всегда начинала первый урок именно этими словами и показом банки с порохом. Первый урок по существу был не уроком, а демонстрацией наиболее эффектных атрибутов кабинета естествознания. Все глаза были прикованы к банке с порохом. Мисс Локхарт подняла ее со стола и осторожно поставила в застекленный шкаф рядом с такими же банками, наполненными разноцветными кристаллами и порошками.

— Это — бунзеновские горелки, это — пробирка, это — пипетка, вон там — реторта... тигель...

Так она создавала вокруг себя ореол служительницы таинственного культа. Она была ну просто самой интересной учительницей в средней школе. Правда, все учителя в старших классах были самыми интересными. Началась совсем новая жизнь, можно было подумать, что они учатся вообще в другой школе. Здесь не было тощих учительниц вроде мисс Скелетт, многочисленных дам, которые, гордо проплывая по коридору мимо мисс Броди, с роковой улыбкой говорили: «Доброе утро, дорогая». Учителя здесь, на первый взгляд, не интересовались чужой жизнью и думали только о своем предмете, будь то математика, латынь или естествознание. К новым ученицам они относились не как к живым людям, а как к удобным алгебраическим символам, и воспитанниц мисс Броди это вначале приободрило. Первую неделю они были в восторге от учебной программы, состоящей из пленяющих удивительной новизной предметов и от бегания из класса в класс по новому расписанию. Их жизнь теперь была полна впечатлений от незнакомых очертаний и звуков, отделенных волшебной палочкой от обыденной жизни: потрясающих геометрических фигур — окружностей и треугольников, страниц с греческими непонятностями и диковинных шипящих и брызжущих звуков, которые произносила учительница греческого: «Псст... псуцх...»

Спустя несколько недель, когда сквозь эти вздохи и звуки начало проступать значение, было уже трудно восстановить в памяти впечатления первых дней, казавшихся увлекательной игрой, было трудно представить себе, что греческие звуки могли шипеть и брызгаться и что слово mensarum [1] вначале напоминало обрывок бессмысленной считалки. Программы современного и классического отделений до третьего класса средней школы различались только подбором современных или классических языков. Ученицы современного отделения учили немецкий и испанский, и, когда они зубрили языки на переменах, коридор, как приемник при настройке, исторгал какофонию иностранных звуков. Мадемуазель, курчавая брюнетка, носившая полосатую мужскую рубашку с настоящими запонками, говорила по-французски с необыкновенным произношением, которое никто так никогда и не смог перенять. В кабинете естествознания иногда пахло, как на Кэнонгейт в тот зимний день, когда они ходили на прогулку с мисс Броди; запах бунзеновских горелок смешивался с проникающим в окна сладковатым дымом осенних костров. В кабинете естествознания, который ни в коем случае нельзя было называть лабораторией, уроки именовались экспериментами, и возникало ощущение, что даже мисс Локхарт не знает, чем кончится тот или иной эксперимент, и, пока они сидят на уроке, школа может взлететь на воздух.

В ту первую неделю в кабинете естествознания был поставлен эксперимент с насыпанным в пробирку магнием, от которого пламя газового рожка тряслось, как от щекотки. В разных концах комнаты из пробирок выстрелили ослепительно белые магниевые вспышки, тотчас же пойманные установленными для этого над пробирками колбами. Охваченная ужасом Мэри Макгрегор помчалась по един-

[1] Mensarum *(лат.)* — родительный падеж множественного числа от слова «стол».

ственному проходу между столами. В другом конце комнаты навстречу ей вспыхнуло белое пламя, и она бросилась обратно, но и там ее ждала новая слепящая вспышка. Из конца в конец в панике бегала она по проходу между столами, пока ее не поймали и не успокоили; мисс Локхарт, уже познавшая на собственном опыте раздражение, испытываемое при одном взгляде на лицо Мэри — два глаза, рот, нос, а больше и говорить не о чем,— сказала ей, что нельзя быть такой глупой.

Однажды, много лет спустя, когда к Сэнди в монастырь приехала Роз Стенли и они завели разговор о погибшей Мэри Макгрегор, Сэнди сказала:

— Каждый раз, как со мной случается беда, я жалею, что не относилась к Мэри лучше.

— Откуда нам было знать,— ответила Роз.

И мисс Броди в тот день, когда они с Сэнди сидели у окна в отеле «Брейд-Хиллз», тоже сказала: «Я иногда думаю, не предала ли меня Мэри Макгрегор? Наверное, мне нужно было быть с ней помягче».

В средней школе клан Броди мог легко утратить свою индивидуальность не только потому, что мисс Броди перестала руководить их жизнью, заполненной теперь энергичным штурмом наук, преподаваемых бездушными специалистами, но и потому, что директриса намеревалась разогнать клан.

Она попыталась привести задуманный план в действие, но он провалился. Он был слишком дерзок — одним ударом избавить школу от мисс Броди и расколоть ее клан.

Она принялась опекать Мэри Макгрегор, рассчитывая, что ту легко переубедить и подкупить, но она недооценивала ее тупость. Она вспомнила, что Мэри, как и остальные девочки Броди, хотела заниматься на классическом отделении, но ей отказали. Теперь мисс Маккей пересмотрела это решение и разрешила Мэри учить по крайней мере латынь. Она ожидала, что за это Мэри снабдит ее информацией о мисс Броди. Но поскольку Мэри хотелось учить латынь, только чтобы ублажить мисс Броди, директриса ничего этим не добилась. Мисс Маккей могла сколько угодно приглашать Мэри на чай, та просто не понимала, чего от нее хотят, и считала, что все учителя заодно — и мисс Броди, и все остальные.

— Теперь, когда ты учишься в средней школе, ты ведь не часто будешь видеться с мисс Броди,— заметила мисс Маккей.

— Понимаю,— сказала Мэри, воспринимая ее слова скорее как приказ, чем как провокационный вопрос.

Мисс Маккей задумала новый план, но он же ее и подвел. В средней школе существовала система активного соперничества. Старшеклассницы делились на четыре отряда, называвшиеся Холируд, Мелроуз, Аргайл и Биггар[1]. Мисс Маккей проследила за тем, чтобы девочки Броди были по возможности распределены в разные отряды. Дженни попала в Холируд, Сэнди и Мэри Макгрегор — в Мелроуз, Моника и Юнис — в Аргайл, а Роз Стенли — в Биггар. Тем самым они были обязаны соперничать во всех областях школьной жизни как в стенах школы, так и на продуваемых ветром пригородных хоккейных площадках, открытых любой непогоде, как могилы мучеников. Девочкам сказали, что теперь самое главное — чувство локтя; каждый отряд должен изо всех сил бороться за вымпел и собираться по утрам в воскресенье, чтобы болеть за свою команду, подбадривая ее выкриками. Дружба между девочками из разных отрядов, конечно, не должна от этого страдать, но чувство локтя...

Этого заявления для клана было достаточно, так как за два го-

[1] Названия четырех старинных аббатств в Эдинбурге и его окрестностях.

да у мисс Броди девочки получили полное представление о том, что значит «чувство локтя» и «болеть за свою команду».

— Выражения вроде «чувство локтя» всегда применяются для подавления индивидуальности, любви и личных отношений,— некогда сказала мисс Броди.— Понятия типа «болеть за команду»,— говорила она,— не следует распространять на женщин, особенно если они посвятили себя призванию, достоинства которого с незапамятных времен диаметрально противоположны этой концепции. Флоренс Найтингейл[1] знать не знала, что нужно болеть за чью-то команду; она выполняла свою миссию, спасая жизнь людей, независимо от того, к какой команде они принадлежали. Если вы внимательно читали Шекспира, то знаете, что Клеопатра понятия не имела о чувстве локтя. Или возьмем, к примеру, Прекрасную Елену из Трои. А английская королева? Действительно, она присутствует на международных соревнованиях, но ей приходится это делать просто для вида, а на самом деле ее интересуют только здоровье короля и антиквариат. Куда бы завело чувство локтя Сибил Торндайк? На сцене она одна — великая актриса, а чувство локтя — у остальной труппы. Павлова...

Возможно, мисс Броди предвидела, что наступит время, когда ее команда — ее шесть девочек — столкнется с четырьмя влекущими в разные стороны командами Аргайла, Мелроуза, Биггара и Холируда. Неизвестно, в какой степени она действовала по обдуманному плану, а в какой руководствовалась только инстинктом. Как бы то ни было, в этом первом испытании ее могущества мисс Броди одержала победу. Ни одна из руководительниц четырех отрядов средней школы не представляла собой примера, способного затмить Сибил Торндайк или Клеопатру. Клан Броди для проявления чувства локтя скорее записался бы в скауты. Не только члены клана, но по меньшей мере еще десять девочек, прошедших через руки мисс Броди, стороной обходили спортивные площадки и участвовали в общих играх только по принуждению. Никто, кроме Юнис Гардинер, палец о палец не ударил, чтобы хотя бы записаться в какую-нибудь команду и проверить в ней свое чувство локтя. Юнис, по общему мнению, была просто создана для спорта, и тут уж ее винить было не в чем.

Почти каждое воскресенье мисс Броди собирала свой верный клан и за чаем слушала рассказы девочек об их новой жизни. Что до нее самой, то, как мисс Броди говорила клану, она была невысокого мнения о потенциальных возможностях ее новых воспитанниц. Она смешила своих прежних учениц рассказами о новых малышках, и это сближало клан еще больше, девочки чувствовали себя избранницами. За чаем она рано или поздно обязательно спрашивала, чем они занимаются в кабинете рисования, так как теперь девочек учил златокудрый, однорукий Тедди Ллойд.

Об уроках рисования всегда было что рассказать. В самый первый день мистеру Ллойду оказалось не под силу поддерживать в классе дисциплину. После целой серии непривычных, насыщенных занятиями точными науками девочки немедленно ощутили расслабляющую атмосферу кабинета рисования и расслабились без меры. Мистер Ллойд хрипло прикрикнул на них, чтобы они замолчали. Это вызвало еще большее оживление.

Своей единственной рукой он держал над головой блюдце и, постепенно опуская его, пытался объяснить природу и очертания овала. Но его романтическая внешность и хрипло выкрикнутое «Замолчите!» вызвали всплеск разноголосого хихиканья.

— Если вы сейчас же не замолчите, я трахну это блюдце об пол,— сказал он.

Попытка замолчать провалилась.

[1] Флоренс Найтингейл (1820—1910) — знаменитая английская медсестра.

Он трахнул блюдце об пол.

В наступившей затем мертвой тишине он обвел взглядом класс и, остановившись на Роз Стенли, показал пальцем на осколки блюдца:

— А ну, ты, с профилем, убери это!

Отвернувшись, он пошел в другой конец длинного класса и до конца урока занимался там каким-то своим делом, а девочки новыми глазами посмотрели на профиль Роз Стенли и, восхищаясь манерами мистера Ллойда, принялись рисовать бутылку, установленную на фоне занавески. Дженни, повернувшись к Сэнди, заметила, что у мисс Броди действительно хороший вкус.

— Ничего удивительного, у него темперамент творческой личности,— сказала мисс Броди, когда ей рассказали историю с блюдцем. Когда же она услышала, что он сказал Роз: «А ну, ты, с профилем», она по-особому посмотрела на Роз, а Сэнди в это время смотрела на мисс Броди.

С тех пор, как Сэнди и Дженни похоронили свое последнее сочинение и перешли в среднюю школу, их интерес к возлюбленным мисс Броди приобрел новый оттенок. Они перестали видеть во всем только эротическую сторону и теперь старались понять самую суть любовного чувства. Казалось, что с того времени, когда их интересовал только секс как таковой, прошли годы и годы. Дженни уже исполнилось двенадцать. Ее мать недавно родила мальчика, но у Сэнди и Дженни даже не возникло желания проанализировать первопричину этого события.

— В средней школе мало времени для нашего «изыскания»,— сказала Сэнди.

— Мне кажется, секс меня больше не интересует,— ответила Дженни.

Как ни странно, это действительно было так, и она потом всего один раз в жизни неожиданно снова испытала то трепетное изумление, которое секс вызывал у нее в детстве. Это случилось в Риме, когда Дженни, актрисе средней руки, жене театрального импресарио, было уже под сорок. Пережидая дождь, она стояла с одним мало знакомым ей мужчиной под выступающим карнизом описанного во всех путеводителях здания. Вновь вспыхнувшее в ней радостное и кружащее голову чувство эротического пробуждения поразило ее. Невозможно было определить, что в целом представляло собой это ощущение: было ли оно физическим или мысленным, но в нем был тот утраченный простодушный восторг, который она переживала в одиннадцать лет. Она решила, что влюбилась в этого человека, и подумала, что, может быть, он тоже тянется к ней, но по-своему, из мира своих собственных ассоциаций, по большей части ей неизвестных. Тут ничего нельзя было поделать, потому что Дженни уже шестнадцать лет вела благополучную семейную жизнь, но тем не менее этот короткий эпизод всякий раз, как она потом его вспоминала, вызывал у нее удивление и наводил на мысль о скрытых возможностях, таящихся в чем угодно.

— От мистера Лоутера ушла экономка,— сообщила мисс Броди на одном из традиционных сборищ.— Это верх неблагодарности — вести хозяйство в его крэмондском доме очень просто. Как вам известно, я никогда ей не симпатизировала. По-моему, она не могла смириться с тем, что мистер Лоутер относится ко мне как к другу и доверяет, и ее раздражало, что я хожу к нему в гости. Мистер Лоутер пишет сейчас музыку для одной песни, и о нем необходимо позаботиться.

В следующее воскресенье она сказала девочкам, что сестры-рукодельницы, мисс Эллен и мисс Алисон Керр, временно взялись вести хозяйство мистера Лоутера, так как они живут по соседству с Крэмондом.

— Мне кажется, эти сестры слишком любопытны,— заметила мисс Броди.— У них чересчур тесные отношения с мисс Скелетт и шотландской церковью.

Каждое воскресенье у мисс Броди час уходил на урок греческого языка: она настояла, чтобы Дженни и Сэнди учили ее греческому, объясняя то, что в это время проходили сами. «Такая практика,— говорила мисс Броди,— имеет давние традиции. В старое время многие семьи могли позволить себе учить в школе только одного из детей, и поэтому каждый вечер этот единственный в семье школьник делился с братьями и сестрами знаниями, полученными утром. Я давно хотела выучить греческий, а кроме того, такая система занятий поможет вам самим как следует закрепить пройденное. Джон Стюарт Милль [1], когда ему было пять лет, каждое утро вставал на заре, чтобы учить греческий, и то, что мог делать Джон Стюарт Милль ребенком на заре, я могу делать не хуже в расцвете лет воскресными вечерами».

Она успешно овладевала греческим, хотя и несколько путалась в произношении, так как Дженни и Сэнди объясняли его неодинаково, по очереди делясь с ней накопленными за неделю знаниями. Но она была твердо намерена присутствовать и участвовать в новой жизни своих любимиц и просто игнорировала то, что в их новых делах казалось ей неразумным или выходило за сферу ее влияния.

Она заявляла: «Говорить, что прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками или что круг — это фигура на плоскости, ограниченная одной линией, все точки которой равноудалены от фиксированного центра, остроумно. Но не более того. Все и так знают, что такое прямая линия или круг».

В конце первого семестра после экзаменов мисс Броди ознакомилась с условиями предложенных девочкам задач и с величайшим презрением зачитала вслух наиболее уязвимые места: «Мойщик окон несет стандартную лестницу весом в 60 фунтов и длиной в 15 футов, к одному концу которой подвешено ведро с водой, весящее 40 фунтов. На каком расстоянии от конца лестницы он должен держать ее, чтобы нести свой груз горизонтально? Где центр тяжести груза?» Прочитав эти вопросы, мисс Броди еще раз взглянула на текст задачи, как будто всем своим видом хотела показать, что не верит собственным глазам. Она неоднократно давала девочкам понять, что умение решать подобные задачи никак бы не пригодилось Сибил Торндайк, Анне Павловой и покойной троянской царице Елене.

Но члены клана Броди в целом пока что по-прежнему пребывали во власти ослепляющего восторга от новых предметов. В последующие годы все было уже не так: язык физики, химии, алгебры и геометрии утратил первоначальную новизну, и эти науки превратились в отдельные области обыденной жизни со своей собственной привычной скукой, стали тяжелой работой. Даже Моника Дуглас, впоследствии проявившая прекрасные способности к математике, никогда не была так восхищена собой, как в тот день, когда впервые вычла «х» из «у», а результат еще раз вычла из «а»; никогда потом у нее не было такого счастливого лица.

Роз Стенли на уроках биологии в первом семестре увлеченно резала червей пополам, а спустя два семестра ее трясло от одной мысли об этом, и она бросила биологию. Юнис Гардинер открыла для себя промышленную революцию и настолько увлеченно анализировала все ее «за» и «против», что преподававшая историю вегетарианка с левыми взглядами начала возлагать на нее большие надежды, которые рухнули через несколько месяцев, когда Юнис переключилась на чтение романов из жизни Марии Стюарт. Сэнди с ее плохим почерком часами выписывала аккуратные строчки греческих букв, а Дженни с не меньшей гордостью зарисовывала лабораторное оборудование в тетрадь по химии. Даже глупая Мэри Макгрегор и та была пораже-

[1] Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ и экономист.

на, что понимает «Галльскую войну» Цезаря, не ставившую пока в тупик ее ущербное воображение,— орфография и произношение языка Цезаря были для нее легче, чем в английском; но в один прекрасный день из написанного ею обязательного сочинения неожиданно выяснилось, что, по ее представлениям, этот документ датируется эпохой Самюэла Пипса [1], а потом Мэри еще раз утвердила за собой славу бестолковой дурехи, под пытками наводящих вопросов поведав чуть не лопнувшему от смеха миру, что, по ее убеждению, латынь и стенография — одно и то же.

В течение тех нескольких месяцев, когда средняя школа держала клан в плену очарования, мисс Броди вела бой не на жизнь, а на смерть, проявляя не меньший энтузиазм, чем и сам клан, в котором она же взрастила эту способность. Выиграв битву за «чувство локтя», она не успокоилась. Было ясно, что даже теперь ее больше всего тревожит, как бы девочки не привязались к кому-нибудь из преподавательниц средней школы, но она предусмотрительно воздерживалась от открытых выпадов, так как сами учительницы, казалось, были совершенно равнодушны к ее выводку.

В летнем семестре любимыми уроками девочек стали не требующие умственного напряжения занятия в гимнастическом зале, где они раскачивались на параллельных брусьях, висели вниз головой на шведской стенке или карабкались по канатам к потолку, соревнуясь в ловкости с Юнис и подтягиваясь руками и ногами, как обезьяны по тропической лиане, а учительница физкультуры, маленькая седая и тонкая как тростинка женщина, объясняла им, что надо делать, и громко, с явно выраженным шотландским акцентом, выкрикивала команды, перемежая их отрывистым покашливанием, из-за которого ее позднее отправили лечиться в Швейцарию.

В летнем семестре, чтобы подавить приступы скуки и примирить насущные задачи будней с любовью к мисс Броди, Сэнди и Дженни стали придумывать про мисс Броди всякую смешную чепуху, используя приобретенные познания в науках. «Что было бы, если бы мисс Броди взвесить в воздухе, а потом под водой...» А когда на уроках пения им казалось, что мистер Лоутер не совсем в себе, они напоминали друг другу, что погруженная Джин Броди вытесняет собственный вес из Гордона Лоутера.

В конце весны тысяча девятьсот тридцать третьего года воскресные уроки греческого языка прекратились, так как этого требовали интересы мистера Лоутера. В его крэмондском доме, где девочкам клана побывать еще не довелось, хозяйство вполне охотно вели все те же учительницы рукоделия — мисс Эллен и мисс Алисон Керр. Они жили по соседству, и им не составляло труда по очереди заходить после школы к мистеру Лоутеру, готовить ему ужин и с вечера ставить на стол все необходимое для завтрака. Им это было не только не трудно, но и приятно, так как они делали доброе дело, а кроме того, это давало им скромный, но достойный доход. По субботам либо мисс Эллен, либо мисс Алисон устраивали у мистера Лоутера уборку и пересчитывали белье, отдаваемое в стирку. Иногда в воскресенье утром хозяйством мистера Лоутера занимались обе сестры: мисс Эллен руководила женщиной, которая приходила мыть полы, а мисс Алисон закупала продукты на неделю. Никогда в жизни до этого им не приходилось чувствовать себя в такой степени деловыми и полезными, особенно после того, как умерла их старшая сестра, всегда дававшая им указания, как заполнить неожиданно возникавшее свободное время, и поэтому мисс Алисон так и не смогла привыкнуть, что ее называют мисс Керр, а мисс Эллен так ни разу и не отважилась сходить в библиотеку и выбрать себе книгу — ей не хватало соответствующего распоряжения покойной мисс Керр.

[1] Самюэл Пипс (1633—1703) — английский мемуарист, известный своими дневниками.

Но сестра священника, худая как скелет мисс Скелетт, потихоньку начинала забирать в свои руки бразды правления вместо покойной сестры двух мисс Керр. Как обнаружилось впоследствии, мисс Скелетт пришлась по душе договоренность сестер с мистером Лоутером, и она подстрекала их перевести ее на постоянную основу. К этому ее побуждали как забота о благе сестер, так и собственные интересы, имевшие отношение к мисс Броди.

Мисс Броди навещала мистера Лоутера пока только по воскресеньям. Она всегда в воскресенье утром ходила в церковь, у нее было выработано целое расписание, устанавливающее очередность посещения церквей самых различных толков и направлений, включавших свободные церкви Шотландии, государственную шотландскую церковь, методистскую и епископальную церкви и все другие секты и ответвления, которые она могла раскопать и которые находились вне римской католической церкви. Неодобрительное отношение мисс Броди к католической церкви объяснялось ее убеждением, что это — церковь религиозных предрассудков и что католиками становятся лишь те, кто не желает думать собственной головой. Ее позиция в этом вопросе была несколько странной, потому что по своему характеру мисс Броди должна была бы принадлежать именно к римской католической церкви; эта церковь могла бы принять в свое лоно и в то же время усмирить мятущуюся душу со всеми ее взлетами и падениями, могла бы даже довести ее почти до стандарта. Но, может быть, именно поэтому мисс Броди и остерегалась католичества. Страстная поклонница Италии, мисс Броди во всем, что касалось католичества, призывала на помощь свою в Эдинбурге рожденную непреклонность, хотя в других случаях эта черта ее характера проявлялась не столь очевидно. Потому-то она и совершала обход всевозможных *не*католических церквей и редко пропускала хотя бы одно воскресенье. Она ни минуты не сомневалась и давала понять это остальным, что бог во всех случаях на ее стороне, и посему не испытывала никаких угрызений совести и не считала себя ханжой, исправно посещая церковь, а затем укладываясь в постель с учителем пения. Чрезмерное сознание вины может довести людей до безрассудных поступков — что касается мисс Броди, то ее до безрассудных поступков доводило чрезмерное сознание отсутствия вины.

Побочные результаты этого мировоззрения вдохновляли избранниц мисс Броди, потому что полное отпущение грехов, которое она сама себе дала, каким-то образом распространялось и на них, и лишь потом, перебирая в памяти прошлое, они смогли понять, что́ на самом деле представлял собой роман мисс Броди с мистером Лоутером, так сказать, в свете фактов. Все то время, пока девочки находились под ее влиянием, они не могли подходить к мисс Броди и ее поступкам с привычными мерками «можно» и «нельзя». Лишь через двадцать пять лет, когда Сэнди наконец избавилась от преследовавших ее неясных мыслей о дисгармонии мира, она смогла оглянуться назад и признать, что отсутствие у мисс Броди критического отношения к себе тем не менее дало кое в чем положительные и далеко идущие результаты. Но к этому времени Сэнди давно уже предала мисс Броди, а мисс Броди покоилась в могиле.

После воскресного утреннего похода в церковь мисс Броди обычно отправлялась в Крэмонд, где обедала и проводила весь день с мистером Лоутером. Воскресные вечера, а чаще всего и ночи, она тоже проводила с ним, выполняя свой долг, чтобы не сказать мученическую миссию, ибо сердце ее было отдано отвергнутому учителю рисования.

Мистер Лоутер, мужчина с длинным туловищем и короткими ногами, был застенчивым малым: он улыбался из-под золотисто-рыжих усов почти всем, своей мягкостью располагал к себе почти всех, мало говорил и много пел.

Когда выяснилось, что сестры Керр решились постоянно вести хозяйство у этого робкого и улыбчивого холостяка, мисс Броди вбила себе в голову, что он худеет. Она обнародовала свое открытие как раз в те дни, когда Дженни и Сэнди заметили, что мисс Броди стала стройнее, а поскольку им было уже почти по тринадцать лет и подобные детали воспринимались ими теперь более остро, их начал занимать вопрос, может ли мисс Броди привлекать и волновать мужчин своей внешностью. Они увидели ее в новом свете и решили, что она красива своеобразной затаенной романтической красотой, и что она похудела от печальной страсти к мистеру Ллойду и благородного отказа от него в пользу мистера Лоутера, и что вся эта ситуация ее вполне устраивает.

Мисс Броди говорила им: «Мистер Лоутер в последнее время похудел. Я не доверяю этим сестрам Керр. Они на нем экономят, у них прижимистый характер. Того, что они закупают в субботу, едва хватает ему на воскресенье, а не то что на всю неделю. Если бы только можно было уговорить мистера Лоутера уехать из его огромного дома и снять квартиру в Эдинбурге, о нем было бы намного легче заботиться. Ему необходима забота. Но его не уговорить. Невозможно уговорить человека, который никогда не возражает, а только улыбается».

Она решила руководить деятельностью сестер Керр в Крэмонде по воскресеньям, когда они обеспечивали домашнюю жизнь мистера Лоутера на неделю вперед. «Им за это хорошо платят,— сказала мисс Броди.— Я буду приезжать и следить, чтобы они закупали то, что нужно, и в достаточном количестве». Подобная идея могла показаться дерзкой, но девочки смотрели на это иначе. С жаром уговаривая мисс Броди напуститься на мисс Эллен и мисс Алисон и вмешаться в их дела, они отчасти предчувствовали интересное развитие событий, а отчасти были уверены, что мистер Лоутер своими улыбками как-нибудь уладит любые неурядицы; кроме того, сестры Керр были порядочными трусихами, и, что самое главное, одна мисс Броди стоила обеих сестер, вместе взятых, она была квадратом гипотенузы прямоугольного треугольника, а они — всего лишь квадратами его катетов.

Сестры Керр отнеслись к вторжению мисс Броди с полным смирением, и именно тот факт, что они всегда безропотно подчинялись любой подавляющей их силе, объясняет, почему они позже без утайки отвечали на вопросы мисс Скелетт. Тем временем мисс Броди занялась откармливанием мистера Лоутера, а так как это означало, что теперь она будет проводить субботние вечера в Крэмонде, члены клана были приглашены навещать ее по очереди — по двое каждую неделю — в резиденции мистера Лоутера, где он улыбался им, гладил их по головке или играл кудряшками хорошенькой Дженни, поглядывая при этом на кареглазую Джин Броди в ожидании то ли упрека, то ли одобрения, то ли еще чего-нибудь в том же роде. Пока она поила их чаем, он улыбался, а порой отставлял чашку, выходил из-за стола, садился за рояль и самозабвенно пел. Он пел:

Вперед шагай, Этрик, вперед, Тевитдейл,
Что же вы, черти, не держите строй!
Вперед шагай, Эскдейл, вперед, Лиддесдейл,
Нам до границы подать рукой!

Закончив песню, он улыбался застенчивой, смущенной улыбкой и снова садился за стол, глядя из-под рыжих бровей на мисс Броди, чтобы проверить, как она к нему относится в данный момент. Для него она была просто Джин — этот факт, по мнению всех членов клана, не подлежал разглашению.

Мисс Броди сообщила Сэнди и Дженни:

— Я не церемонилась с этими сестрами. Они морили его голодом. Теперь продуктами занимаюсь я. Не забывайте, что я происхожу от

Уилли Броди[1], солидного человека, столяра-краснодеревщика и изобретателя виселиц оригинальной конструкции, члена городского совета Эдинбурга и содержателя двух любовниц, которые сообща подарили ему пятерых детей. Во мне говорит его кровь. Он очень увлекался игрой в кости и петушиными боями. Впоследствии полиция объявила его розыск, так как он ограбил акцизное управление — не потому, что ему были нужны деньги, а просто кражи со взломом привлекали его своей опасностью. За границей его, конечно, арестовали и привезли обратно в Эдинбург в Толбутскую тюрьму, но это чистая случайность. Он окончил жизнь в прекрасном расположении духа на виселице собственного изобретения в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году. Кому-то это может нравиться, кому-то — нет, но во мне именно его закваска, и в дальнейшем я также не потерплю никаких глупостей от мисс Эллен и мисс Алисон Керр.

Мистер Лоутер запел:

На что мне, матушка, постель
Широкая и мягкая?
Мой милый умер за меня,
Засну в могиле завтра я.

Затем он поглядел на мисс Броди. Она в это время рассматривала чашку с отбитым краешком.

— Наверное, Мэри Макгрегор отбила,— сказала она.— В прошлое воскресенье Мэри приезжала сюда с Юнис, и они вместе мыли посуду. Наверняка это Мэри отбила.

За окнами на летней лужайке искорками вспыхивали маргаритки. Широкая лужайка уходила далеко-далеко, и за ней едва виднелся небольшой лесок, но даже этот лесок и поля за ним принадлежали мистеру Лоутеру. Застенчивый, музыкальный и милый мистер Лоутер был, что ни говори, человеком со средствами.

Теперь Сэнди вглядывалась в мисс Броди не только для того, чтобы разобраться, привлекательна ли она, но и пытаясь отыскать в ней хоть какой-нибудь намек на женскую покорность, поскольку этот элемент в ее любовном романе было труднее всего представить. Она была скорее доминирующим началом, нежели женщиной во плоти, подобно Норме Шерер[2] или Элизабет Бергнер[3]. Мисс Броди было сейчас сорок три, и в этом году она казалась гораздо стройнее, чем в те давние дни, когда стояла перед их классом во весь рост или сидела под вязом. Теперь она стала изящнее, но в сравнении с мистером Лоутером выглядела по-прежнему довольно крупной женщиной. Он был хрупким мужчиной и ниже, чем мисс Броди. Он смотрел на нее с любовью, а она на него — властно и по-хозяйски.

К концу летнего семестра, когда почти всем членам клана уже исполнилось тринадцать, мисс Броди начала каждую неделю расспрашивать приходивших к ней парами девочек про уроки рисования. Девочки всегда с пристальным интересом следили за уроками мистера Ллойда и за всем, что он делал, запоминая множество разных деталей, чтобы было что рассказать мисс Броди, когда подойдет их очередь навещать ее в доме Гордона Лоутера в Крэмонде.

Это был большой дом с остроконечной крышей, украшенной игривой башенкой. Лесная тропинка, ведущая к дому от проселочной дороги, так вилась и петляла, а газон перед крыльцом был таким узким, что дом никак нельзя было разглядеть полностью с близкого рас-

[1] Уилли Броди, или дьякон Броди,— реально существовавшая личность. Предполагается, что дьякон Броди послужил прототипом для героя романа Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886).

[2] Норма Шерер (род. в 1904 г.) — английская киноактриса.

[3] Элизабет Бергнер (род. в 1898 г.) — австрийская актриса театра и кино. В 1933 г. эмигрировала в Англию.

стояния, и, чтобы увидеть башенку, приходилось задирать голову. С торца дом был ничем не примечателен. В больших и мрачных комнатах на окнах висели жалюзи. Лестничные перила, начинавшиеся парой резных львиных голов, виток за витком уходили ввысь и где-то высоко терялись из виду. Вся мебель была массивной, украшенной резьбой и инкрустациями из серебра и розового стекла. В библиотеке на первом этаже, где мисс Броди обычно принимала девочек, стояло несколько застекленных книжных шкафов, и внутри их было так темно, что прочитать названия книг можно было, только подойдя к шкафу вплотную. В углу стоял большой рояль, летом на него ставили вазу с цветами.

Исследовать закоулки этого дома было ужасно интересно, и в дни, когда мисс Броди колдовала на кухне, готовя огромные запасы еды на следующий день — в ту пору ею как раз овладела навязчивая идея откармливания мистера Лоутера,— девочкам разрешалось бродить по дому, и они с замирающим сердцем подымались по широким ступеням лестницы, заглядывали в пыльные пустые спальни и, что было особенно интересно, заходили в две комнаты, которые хозяева забыли обставить как следует: в одной, кроме большого письменного стола, не было ничего, даже ковра на полу, а в другой было вовсе пусто, только с потолка свисала лампочка и в углу стоял большой голубой кувшин. Когда девочки, возвращаясь из этих экспедиций, спускались по лестнице, внизу их часто поджидал мистер Лоутер. Он стоял, застенчиво улыбаясь и прижимая к груди руки, с таким видом, будто волновался, все ли им понравилось. Перед тем как девочки уходили домой, он вынимал из вазы розы и вручал каждой по цветку.

Казалось, что в своем доме мистер Лоутер никогда не чувствовал себя как дома, хотя он здесь и родился. Прежде чем что-нибудь взять или открыть буфет, он всегда поглядывал на мисс Броди, ища ее одобрения, как будто ему нельзя было ничего брать без спросу. Девочки решили, что, наверное, его умершая четыре года назад мать всю жизнь держала его под каблуком, и он в результате не чувствует себя в доме хозяином.

Он сидел молча и благодарными глазами смотрел на мисс Броди, развлекавшую очередную пару гостей; члены клана начали посещать крэмондский дом с тех пор, как Джин Броди развернула кампанию по откармливанию мистера Лоутера, которая затем приняла такой гигантский размах, что маниакальная страсть мисс Броди заготовлять провизию впрок стала предметом разговоров мисс Эллен и мисс Алисон Керр и, соответственно, всех учительниц начальной школы. Однажды, когда по графику визитов в крэмондский дом подошла очередь Сэнди и Дженни, мисс Броди в их присутствии подала мистеру Лоутеру к пятичасовому чаю великолепный салат из омаров, несколько бутербродов с печеночным паштетом, пирог и, в завершение, большую тарелку овсяной каши со сливками. Все это было сервировано на отдельном подносе для него одного, чтобы остальные видели, что он на особой диете. Сэнди волновало, сможет ли мистер Лоутер управиться с кашей так же успешно, как и со всем прочим. Но он с молчаливой покорностью уминал все, что было на подносе, а мисс Броди в это время принялась расспрашивать девочек:

— Чем вы сейчас занимаетесь на уроках рисования?

— Готовимся к конкурсу на лучший плакат.

— А мистер Ллойд... хорошо себя чувствует?

— О да. С ним очень интересно. Две недели тому назад он показывал нам свою студию.

— Какую студию, где? У него дома? — спрашивала мисс Броди, хотя прекрасно все знала.

— Да, это большая длинная мансарда, там...

— Вы видели его жену, как она выглядит? Что она говорила?

Она вас угощала чаем? Какие у него дети? Что вы делали, когда пришли к нему?..

Она не пыталась скрыть от жующего хозяина дома свой острый интерес к учителю рисования. По мере того как мистер Лоутер разделывался с едой на подносе, глаза его постепенно принимали скорбное выражение. Сэнди и Дженни знали, что такие же вопросы задавались неделю назад Мэри Макгрегор и Юнис Гардинер, а еще неделей раньше на них отвечали Роз Стенли и Моника Дуглас. Но мисс Броди не уставала слушать разные версии одной и той же истории, если она касалась Тедди Ллойда, а теперь, когда девочки побывали у него, в его большом, запущенном, темном и богемном доме в северной части Эдинбурга, мисс Броди приходила в состояние крайнего возбуждения просто от общения с теми, кто недавно дышал одним воздухом с Ллойдом.

— Сколько у него детей? — спросила мисс Броди, держа чайник с заваркой на весу.

— По-моему, пять,— ответила Сэнди.

— А по-моему, шесть,— возразила Дженни,— считая малыша.

— Там полно малышей,— заметила Сэнди.

— Конечно, они же католики,— сказала мисс Броди, повернувшись к мистеру Лоутеру.

— Я про самого маленького,— сказала Дженни.— Ты забыла посчитать того крошечного. А с ним получается шесть.

Мисс Броди налила чай в чашки и бросила взгляд на тарелку Гордона Лоутера.

— Гордон,— сказала она,— а пирог?

Он покачал головой, мягко, будто утешая ее, ответил:

— О, нет, нет.

— Обязательно, Гордон. Он очень питательный.

Она заставила его съесть честерский пирог и при этом разговаривала с мистером Лоутером в несколько более подчеркнутой эдинбургской манере, словно хотела пирогом и обхождением заменить подлинную любовь, ту, которую она отдавала не ему, а Тедди Ллойду.

— Вам нужно поправляться, Гордон,— сказала она.— Вы должны прибавить тридцать фунтов до моего отъезда на каникулы.

Он улыбнулся всем по очереди, насколько ему это позволяли склоненная над тарелкой голова и медленно двигающиеся челюсти. Мисс Броди продолжала:

— А миссис Ллойд? Она... про нее можно сказать, что она сейчас в расцвете лет?

— Наверное, еще нет,— ответила Сэнди.

— Я, конечно, точно не знаю, но, может быть, расцвет миссис Ллойд уже позади,— сказала Дженни.— Она носит волосы до плеч, и поэтому трудно судить. С такой прической у нее молодой вид, хотя, возможно, она уже не молода.

— Она выглядит похоже, как будто у нее не будет никакого расцвета,— сказала Сэнди.

— Слово «похоже» лишнее в твоем предложении. Как зовут миссис Ллойд?

— Диэдри,— ответила Дженни, и мисс Броди приняла это имя как новость, хотя слышала его неделю назад от Мэри и Юнис, а еще неделей раньше от Роз и Моники, как слышал это и мистер Лоутер. За окном легкие капли дождя начали падать на деревья мистера Лоутера.

— Имя-то кельтское,— заметила мисс Броди.

Сэнди переминалась с ноги на ногу у двери в кухню, поджидая мисс Броди, чтобы пойти с ней на прогулку к морю. Мисс Броди совершала какие-то операции с гигантским окороком, прежде чем положить его в большущую кастрюлю. Кулинарные эскапады мисс Броди ни в коей мере не умаляли ее прежнего величия, так как все, что она готовила для Гордона Лоутера, выглядело огромным — будь

то пудинги, которыми большая семья могла бы питаться неделю, куски говядины или баранины или целые здоровые лососи с сердитыми глазами.

— Я должна приготовить это мистеру Лоутеру на ужин,— сказала мисс Броди,— и проследить, чтобы он поужинал до того, как я поеду домой.

Она пока что старалась поддерживать в девочках убеждение, что в субботние вечера возвращается к себе и оставляет мистера Лоутера в одиночестве в его большом доме. И пока что девочки не обнаружили никаких улик, опровергающих это утверждение, да и в дальнейшем это им тоже не удалось. Несколько позже мисс Скелетт привела к директрисе мисс Эллен Керр, подтвердившую, что под подушкой двуспальной кровати, на которой почивал мистер Лоутер, она нашла ночную рубашку мисс Броди. Она нашла ее, когда меняла белье. Аккуратно сложенная рубашка лежала под ближней к стенке подушкой.

— Откуда вы знаете, что она принадлежит мисс Броди? — осведомилась мисс Маккей, женщина острого ума, учуявшая добычу, но в то же время видевшая, что та еще далеко. Она стояла положив руку на спинку стула и наклонившись вперед — вся внимание.

— Каждый должен приходить к собственным выводам,— изрекла мисс Скелетт.

— Я обращаюсь к мисс Эллен.

— Да, каждый должен приходить к собственным выводам,— подтвердила мисс Эллен. Ее туго обтянутые кожей и испещренные красными венозными жилками скулы блестели, и мисс Эллен выглядела взволнованной.— Она из крепдешина.

— Это не доказательство,— сказала мисс Маккей, садясь за стол.— Приходите ко мне опять, если у вас будут веские улики. Что вы сделали с рубашкой? Вы предъявили ее мисс Броди?

— О нет, мисс Маккей,— ответила мисс Эллен.

— Вам следовало уличить ее. Вы должны были сказать: «Мисс Броди, подойдите-ка сюда на минутку, как вы можете это объяснить?» Вот что вы должны были сказать. Рубашка по-прежнему там?

— О нет, ее уже убрали.

— Ну и бесстыжая она,— сказала мисс Скелетт.

Все это директриса со временем пересказала Сэнди, когда та сидела у нее в кабинете и, с отвращением глядя маленькими глазками на мисс Маккей и избегая прямого ответа на весьма грубый вопрос, без обиняков заданный этой женщиной с вульгарным лицом, решилась в силу разных других соображений предать мисс Броди.

— Но я должна позаботиться о питании нашего милого друга до того, как вечером поеду домой,— говорила мисс Броди летом тысяча девятьсот тридцать третьего года, когда Сэнди стояла, прислонившись к двери кухни, а ее ногам не терпелось побегать у моря. Дженни пришла в кухню и встала рядом с Сэнди, и они вдвоем ждали мисс Броди, разглядывая высившуюся на кухонном столе гору продуктов, закупленных утром. Рядом на обеденном столе стояли большие вазы с фруктами, заваленные сверху коробками с финиками, и казалось, что сейчас рождество, а кухня мистера Лоутера — это кухня готовящегося к празднику отеля.

— А у мистера Лоутера не будет от всего этого запора? — повернулась Сэнди к Дженни.

— Если он ест овощи, то не будет,— ответила Дженни.

Пока они ждали, когда мисс Броди с присущим ей героизмом закончит обработку окорока, из библиотеки раздались звуки рояля, и мистер Лоутер довольно медленно и печально запел:

Служите Господу с веселием,
Идите пред лице Его с восклицанием.

Мистер Лоутер был регентом хора и старостой крэмондской церкви, и мистер Скелетт, приходский священник и брат мисс Скелетт, еще не посоветовал ему добровольно отказаться от этих обязанностей в связи с обнаружением ночной рубашки под подушкой рядом с его собственной.

Поставив окорок на медленный огонь и прикрыв кастрюлю крышкой, мисс Броди подхватила псалом сочным, приближающимся к контральто голосом, придавая мелодии бóльшую весомость:

Входите во врата Его со славословием;
Во дворы Его — с хвалою.

Дождь уже прекратился, и теперь сырость ощущалась лишь в соленом воздухе. Все время, пока они гуляли у моря, мисс Броди под ритмичный гул волн продолжала расспрашивать девочек об обстановке в доме мистера Ллойда, о том, что подавалось к чаю, просторная и светлая ли у него студия, и о чем они там разговаривали.

— Он у себя в студии выглядел очень романтично,— сказала Сэнди.

— В чем это выражалось?

— Я думаю, в том, что у него всего одна рука,— сказала Дженни. Броди.

— Но у него всегда была одна рука.

— Он ею пользовался больше обычного,— пояснила Сэнди.

— Он все время ею размахивал,— добавила Дженни.— Из окна его студии красивый вид. Он им гордится.

— Студия находится в мансарде, не так ли?

— Да, она идет во всю длину крыши. У него там есть новый портрет всей его семьи, немного смешной. Он начинается с него самого — себя он нарисовал очень высоким,— потом идет его жена, а потом все их дети по росту, кончая самым маленьким на полу. Они выстроены по диагонали через все полотно.

— Что же в этом портрете смешного? — спросила мисс Броди.

— Они все глядят прямо вперед, и у них очень серьезный вид,— объяснила Сэнди.— Считается, что это должно вызывать смех.

Мисс Броди немного посмеялась. Далеко на горизонте садилось солнце, и великолепный закат отражался в море кровавыми полосами, затуманенными зловещими багрово-золотистыми отблесками, будто, не вмешиваясь в обыденную жизнь, наступил конец света.

— У него там есть еще один портрет,— сказала Дженни,— правда, еще не законченный. Портрет Роз.

— Он пишет портрет Роз?

— Да.

— Роз ему позирует?

— Да, уже около месяца.

Мисс Броди пришла в волнение:

— Роз не говорила мне об этом.

— О, я забыла,— спохватилась Сэнди.— Это задумано как сюрприз. Мы не должны были говорить вам об этом.

— Что́ сюрприз? Портрет? Я его увижу?

В глазах Сэнди мелькнула растерянность — она не совсем понимала, в чем именно заключается сюрприз, задуманный Роз для мисс Броди.

Дженни сказала:

— Нет, мисс Броди. Роз хотела сделать вам сюрприз, храня в секрете, что она позирует мистеру Ллойду.

И до Сэнди тут только дошло, что это действительно так.

— А-а-а,— сказала мисс Броди с очень довольным видом.— Роз — просто умница.

Сэнди почувствовала, что ревнует, потому что Роз не считалась умницей.

— А в чем же она ему позирует?

— В гимнастическом костюме,— ответила Сэнди.

— Она сидит боком,— добавила Дженни.

— В профиль,— поправила мисс Броди.

Она остановила проходившего мимо рыбака и купила омара для мистера Лоутера. Расплатившись, мисс Броди сказала:

— Роз непременно будут рисовать еще много-много раз. Она может с успехом позировать мистеру Ллойду и в будущем. Она ведь принадлежит к сливкам общества.

Это было сказано с вопросительной интонацией. Девочки поняли, что она изо всех сил старается составить для себя полную картину из их отрывочных сообщений.

Дженни поспешила заметить:

— О да, мистер Ллойд хочет написать портрет Роз в красном бархате.

А Сэнди добавила:

— У мистера Ллойда есть кусок красного бархата, чтобы завернуть в него Роз. Они уже примеряли его.

— Вас звали туда еще? — спросила мисс Броди.

— Да, он пригласил нас всех,— сказала Сэнди.— Мистер Ллойд говорит, что мы очень симпатичный клан.

— Вас не удивляет, что мистер Ллойд выбрал из всех именно вас шестерых и пригласил к себе в студию? — спросила мисс Броди.

— Но ведь мы же — клан,— сказала Дженни.

— Он пригласил еще кого-нибудь из вашего класса? — спросила мисс Броди, зная ответ наперед.

— Нет. Только нас.

— Это потому, что вы — мои,— сказала мисс Броди.— Можно сказать, моя плоть и кровь, а я сейчас в расцвете лет.

Сэнди и Дженни не особенно задумывались, почему учитель рисования пригласил их к себе всем кланом. Но вообще-то в его отношении к клану Броди действительно было что-то особенное. Здесь крылась тайна, над которой стоило поразмыслить, но одно было ясно: когда мистер Ллойд думает о них, он думает о мисс Броди.

— Он всегда спрашивает о вас, когда нас видит,— сказала она.

— Да. Роз говорила мне об этом,— ответила мисс Броди. Неожиданно, как повинующиеся инстинкту перелетные птицы, Сэнди и Дженни не сговариваясь и без предупреждения бросились бежать по прибрежной гальке, подставляя себя пронизанному закатом ветру. Вернувшись к мисс Броди, они выслушали ее планы на приближающиеся летние каникулы, когда она намеревалась покинуть набравшего вес мистера Лоутера и, оставив его, увы, на попечение двух мисс Керр, поехать за границу — на этот раз не в Италию, а в Германию, где канцлером стал Гитлер, человек с пророческим даром, вроде Томаса Карлейля[1], и более надежная фигура, чем Муссолини; немецкие коричневые рубашки, как сказала мисс Броди, то же самое, что итальянские черные, только надежнее.

Дженни и Сэнди собирались летом на ферму, где, по правде говоря, уже через две недели имя мисс Броди не часто будет мелькать в их разговорах и беспокоить их умы, зато девочки будут косить сено и пасти овец. Всегда бывало очень трудно себе представить, что во время каникул можно наполовину забыть про мир мисс Броди, равно как и про мир школьных отрядов, мир Холируда, Мелроуза, Аргайла и Биггара.

— Не знаю, будет ли мистер Лоутер есть сладкое мясо, если я приготовлю его с рисом,— сказала мисс Броди.

---

[1] Томас Карлейль (1795—1881) — шотландский эссеист и историк.

— Ой, но это же похоже на мисс Броди! — воскликнула Сэнди.— Это же ужасно похоже на мисс Броди!

Затем, сообразив, что пока сорвавшиеся с ее губ слова долетели до ушей мистера и миссис Ллойд, они успели приобрести вполне определенное значение, добавила:

— Хотя, конечно, это Роз, это гораздо больше похоже на Роз, это ужасно похоже на Роз.

Тедди Ллойд передвинул портрет так, чтобы свет падал на него с другой стороны. И все равно лицо на портрете напоминало лицо мисс Броди.

Диэдри Ллойд сказала:

— По-моему, я не знакома с мисс Броди. Она блондинка?

— Нет,— хрипло ответил Тедди Ллойд.— У нее темные волосы.

Сэнди увидела, что на портрете изображена светловолосая голова. Это действительно был портрет Роз. Роз, в гимнастическом костюме, сидела в профиль у окна, положив руки ладонями вниз на колени. Что же у портрета было общего с мисс Броди? Может быть, профиль, может быть, лоб, а может быть, выражение, приданное голубым глазам Роз, смотревшим так же властно, как карие глаза мисс Броди. Портрет имел очень большое сходство с мисс Броди.

— Да, это действительно Роз,— сказала Сэнди, и Диэдри Ллойд взглянула на нее с недоумением.

— Портрет тебе нравится? — спросил Тедди Ллойд.

— Да. Прелесть.

— Ну что ж, это самое главное.

Сэнди продолжала смотреть своими очень маленькими глазками на портрет, и Тедди Ллойд небрежным взмахом единственной руки набросил на картину кусок белой ткани.

Диэдри Ллойд была первой знакомой Сэнди женщиной, одевавшейся под крестьянку, а мода на крестьянский стиль должна была продержаться еще лет тридцать, а то и больше. Она носила довольно длинную присборенную темную юбку, ярко-зеленую блузку с закатанными рукавами, крупные раскрашенные деревянные бусы и серьги, как у цыганки. Талия ее была стянута ярко-красным широким поясом, на ногах — сандалии из темно-зеленой замши. В этом и разных других подобных нарядах Диэдри была запечатлена на полотнах, расставленных по всей студии. У нее был приятный голос, звучавший так, будто она вот-вот рассмеется. Она сказала:

— У нас есть еще один портрет Роз. Тедди, покажи Сэнди тот новый портрет.

— Он пока не совсем готов для показа.

— Тогда, может быть, «Красный бархат»? Покажи его Сэнди. Прошлым летом Тедди написал роскошный портрет Роз. Мы закутали ее в красный бархат и сам портрет назвали тоже «Красный бархат».

Тедди Ллойд достал картину из-за нескольких стоявших у стены подрамников и поставил на мольберт ближе к свету. Сэнди посмотрела на картину своими крохотными глазками — было бы по меньшей мере странно, если бы такие глазки внушили кому-нибудь доверие.

Портрет был похож на мисс Броди. Сэнди сказала:

— Мне нравятся краски.

— Она здесь похожа на мисс Броди? — спросила Диэдри Ллойд голосом, в котором звенел смех.

— Мисс Броди — женщина в расцвете лет,— ответила Сэнди,— но вы вот сказали, и я теперь вижу, что в портрете есть некоторое сходство с ней.

— Роз в то время было всего четырнадцать,— заметила Диэдри Ллойд.— На портрете она выглядит зрелой женщиной, но она и на самом деле вполне созрела.

Темно-красный бархат был прилажен на Роз таким образом, что достигался сразу двойной эффект: Роз казалась однорукой, как и автор портрета, а ее грудь на вид была более развитой, чем даже сейчас, когда Роз уже исполнилось пятнадцать. Кроме того, портрет напоминал мисс Броди, и это было самым главным; в этом крылся самый большой секрет. У Роз было скуластое бледное лицо. У мисс Броди были маленькие скулы, но большие глаза, нос и рот. Невозможно было представить себе, как Тедди Ллойд умудрился придать бледному лицу Роз сходство со смуглым римским лицом мисс Броди, но ему это удалось.

Сэнди еще раз окинула взглядом другие недавно написанные портреты, стоявшие в студии: жена Тедди Ллойда, его дети, какие-то незнакомые ей люди. Никто из них не был похож на мисс Броди.

Затем на рабочем столе Ллойда она увидела рисунок, лежавший сверху на куче бумаг. С рисунка, прислонясь к фонарному столбу на Лаунмаркет, смотрела мисс Броди в накинутой на плечи шали, какие носят фабричные работницы. При ближайшем рассмотрении это оказалась скуластая и длинноносая Моника Дуглас. Сэнди сказала:

— Я не знала, что Моника вам позировала.

— Я сделал всего пару набросков. Тебе не кажется, что такой антураж весьма подходит Монике? А вот портрет Юнис в костюме Арлекина: мне понравилось, как она в нем смотрелась.

Сэнди обозлилась. Ни Моника, ни Юнис не рассказывали остальным членам клана, что они позировали учителю рисования. Но теперь, когда им всем было по пятнадцать, они о многом не сообщали друг другу. Она внимательнее пригляделась к портрету Юнис.

Юнис была одета в костюм Арлекина, сшитый для школьного спектакля. Несмотря на подтянутость, маленький рост и остренькое личико, на портрете она была похожа на мисс Броди. Запутавшаяся в противоречиях Сэнди была прежде всего восхищена экономностью метода Тедди Ллойда — четыре года назад ее точно так же привели в восторг вариации мисс Броди на тему ее любовной трагедии, когда она наделяла своего первого, времен войны, возлюбленного качествами учителя рисования и учителя пения, вышедших на ее орбиту совсем недавно. Метод подачи, применявшийся Тедди Ллойдом, был аналогичным, тоже экономным, и Сэнди в последующие годы всегда казалось, что в тех случаях, когда возникает необходимость выбрать тактику, самый экономный метод и есть самый лучший, потому что в данный, конкретный момент он будет наиболее полно и точно отвечать всем поставленным целям. Она руководствовалась именно этим принципом, когда ей пришло время предать мисс Броди.

Дженни неважно сдала последние экзамены и сейчас вот уже несколько дней в основном сидела дома, занимаясь зубрежкой. Сэнди чувствовала, что клан, не говоря уже о самой мисс Броди, сбивается с прежнего курса. Ей пришло в голову, что, вероятно, было бы не так уж плохо, если бы клан вовсе распался.

Где-то внизу завопил один из детей Ллойдов, затем еще один, затем все сразу. Диэдри, колыхнув крестьянской юбкой, выскочила из студии и побежала к своим отпрыскам. Ллойды были католиками, и религия вынуждала их иметь много детей.

— Когда-нибудь,— сказал Тедди Ллойд, складывая в кучу наброски перед тем, как повести Сэнди вниз пить чай,— я хотел бы написать всех девочек Броди, сначала каждую из вас в отдельности, а потом всех вместе.

Он тряхнул головой, откидывая со лба падавшую на глаза золотистую прядь.

— Было бы здорово написать всех вас вместе,— продолжил он,— и посмотреть, какой у меня получится групповой портрет.

Сэнди показалось, что эта идея маскирует попытку сохранить клан Броди в целости, пожертвовав только что проявившимися инди-

видуальностями. Она повернулась к Ллойду и с неожиданным раздражением, часто закипавшим в ней с недавних пор, сказала:

— Полагаю, мы вместе были бы похожи на одну большую мисс Броди.

Он радостно засмеялся и посмотрел на нее пристальнее, как будто видел в первый раз. Она ответила ему таким же пристальным взглядом маленьких глазок, почти шантажируя его своей дерзкой осведомленностью. Тогда он поцеловал ее долгим влажным поцелуем и хрипло сказал:

— Это тебе будет уроком, чтобы больше так не глядела на художников.

Она рванулась к двери, на ходу вытирая рот тыльной стороной ладони, но он поймал ее единственной рукой.

— Можешь не убегать. Ничего уродливее тебя я, наверное, за всю свою жизнь не видел.

Он вышел, оставив ее в студии одну, и ей волей-неволей пришлось вслед за ним спуститься по лестнице. Диэдри крикнула из гостиной: «Иди сюда, Сэнди!»

За чаем она пыталась проанализировать ощущения, вызванные случившимся эпизодом, но это было трудно, потому что дети, сидевшие с ними за столом, все время приставали к гостье. Старший сын Ллойдов — ему было восемь лет — включил радио и под аккомпанемент оркестра Генри Холла в жеманной английской манере затянул: «Пой, цыган!» Остальные трое детей галдели каждый свое. Сквозь весь этот шум Диэдри Ллойд попросила Сэнди называть ее не миссис Ллойд, а просто Диэдри. Так что у Сэнди не было возможности толком разобраться, какой отклик вызвали в ее душе поцелуй Тедди Ллойда и его слова, и решить, оскорбилась она или нет. А тут еще он нагло заявил: «Меня ты можешь вне школы звать Тедди». Между собой девочки и так уже звали его Тедди-Мазила. Сэнди поочередно взглянула на супругов Ллойд.

— Я столько слышала от ваших девочек про мисс Броди,— говорила в это время Диэдри.— Я просто должна пригласить ее на чай. Как ты думаешь, она пришла бы?

— Нет,— ответил Тедди.

— Почему же? — спросила Диэдри таким тоном, будто ее это совершенно не интересовало. Она была такая томная, и у нее были такие длинные руки! Не вставая с низкой табуретки, Диэдри подняла тарелку с печеньем и протянула ее всем по кругу.

— Если вы сейчас же не прекратите базар, я вас выгоню из комнаты,— пригрозил Тедди детям.

— Приведи к нам в гости мисс Броди,— обратилась Диэдри к Сэнди.

— Она не придет,— сказал Тедди,— верно, Сэнди?

— Она ужасно занята,— ответила Сэнди.

— Дай мне сигарету,— попросила Диэдри.

— Она все еще присматривает за Лоутером? — спросил Тедди.

— Ну, как сказать, в общем — да... слегка...

— Лоутер,— сказал Тедди, размахивая единственной рукой,— должно быть, пользуется успехом у женщин. За ним ухаживает половина наших школьных дам. Почему бы ему не нанять экономку? У него куча денег, он не женат, детей у него нет, и за дом он не платит — он у него собственный. Почему он не наймет настоящую экономку?

— Мне кажется, ему нравится мисс Броди,— сказала Сэнди.

— Но она-то в нем что нашла?

— Он ей поет,— неожиданно резко ответила Сэнди.

Диэдри засмеялась:

— По-моему, ваша мисс Броди с причудами. Сколько ей лет?

— Джин Броди,— сказал Тедди,— великолепная женщина в самом расцвете.

Он встал из-за стола, тряхнул головой, откидывая со лба прядь, и вышел из комнаты.

Диэдри задумчиво выпустила облачко дыма и потушила сигарету, а Сэнди сказала, что ей пора.

За последние два года мистер Лоутер доставил мисс Броди массу волнений. Временами казалось, он помышляет жениться на мисс Алисон Керр, а иногда создавалось впечатление, что он дарит свою благосклонность мисс Эллен, при этом продолжая быть влюбленным в мисс Броди, которая отказывала ему во всем, разделяя с ним только постель и заботы о питании.

Ему наскучила еда, потому что он от нее толстел, делался вялым и терял голос. Ему хотелось иметь жену, с которой можно играть в гольф и для которой можно петь. Он хотел провести медовый месяц на Эйге, одном из Гебридских островов, рядом с Рамом, а потом вернуться с женой в Крэмонд.

В разгар этого-то периода смутного недовольства Эллен Керр и обнаружила дорогую ночную рубашку, аккуратно сложенную под подушкой по соседству с подушкой мистера Лоутера на двуспальной кровати, ко всему тому на той самой, на которой мистер Лоутер родился.

И тем не менее мисс Броди по-прежнему отказывалась стать его женой. Он впал в меланхолию в связи с отставкой с поста регента хора и церковного старосты, а девочки думали, он грустит, подозревая, что мисс Броди никак не может привыкнуть к его коротким ногам и все тоскует по длинным ногам Тедди Ллойда.

Почти всем этим мисс Броди в завуалированной форме делилась с девочками, которым между тем исполнилось четырнадцать, а потом и пятнадцать лет. Но она не говорила им даже в завуалированной форме, что спит с учителем пения, так как все еще проверяла их, чтобы выбрать ту, на кого, как она говорила, можно положиться. Она не хотела, чтобы у их родителей возникли тревожные подозрения. Мисс Броди всегда очень следила за тем, чтобы произвести нужное впечатление на родителей своих избранниц, старалась завоевать их расположение и благодарность. Поэтому она делилась с девочками только тем, что казалось целесообразным в данный момент, а на самом деле зорко присматривалась к своему клану, стараясь выбрать из девочек ту, с которой можно будет делиться абсолютно всем и чье любопытство будет сильнее желания произвести сенсацию своей осведомленностью; она пыталась найти среди них ту, которая, стремясь услышать от мисс Броди все новые и новые признания, никогда не разгласит того, что уже знает. В силу необходимости таким доверенным лицом могла стать только одна девочка — довериться двум было бы опасно. С почти иезуитской проницательностью она остановила выбор на Сэнди, но даже и тогда не говорила с ней о своих интимных делах.

Летом тысяча девятьсот тридцать пятого года всех учениц школы по случаю Серебряного юбилея заставили носить в петлице жакета трехцветные розетки из красных, синих и белых ленточек[1]. Роз Стенли потеряла свою розетку и сказала, что, вероятно, обронила ее в студии Тедди Ллойда. Это случилось вскоре после того, как Сэнди побывала дома у учителя рисования.

— Что ты собираешься делать на летних каникулах, Роз? — спросила мисс Броди.

---

[1] В 1935 г. в Англии широко праздновалось двадцатипятилетие правления короля Георга V; красный, синий и белый — цвета английского флага.

— Отец повезет меня на две недели в горы. А что потом, я еще не знаю. Наверное, буду иногда позировать мистеру Ллойду.

— Прекрасно,— сказала мисс Броди.

Когда прошли летние каникулы, мисс Броди начала делиться с Сэнди своими сокровенными мыслями. Ранней солнечной осенью они после школы часто играли вдвоем в гольф.

— Все мои помыслы,— сказала мисс Броди,— сосредоточены на тебе и Роз. Только не говори об этом остальным девочкам, они будут завидовать. Я возлагала определенные надежды и на Дженни — она такая хорошенькая; но Дженни стала теперь совсем скучной, тебе не кажется?

Это был умно сформулированный вопрос, так как он четко выражал то, что уже зрело в мозгу Сэнди. За прошлый год Дженни ей надоела, и теперь она чувствовала себя одинокой.

— Тебе не кажется? — повторила мисс Броди, глядя сверху на Сэнди, готовившуюся к удару по мячу из лунки.

Сэнди крутанула клюшкой.

— Да, пожалуй,— ответила она.

Мяч вяло прокатился по краю лунки, описав полукруг.

— Я возлагала надежды и на Юнис,— сказала мисс Броди,— но кажется, она увлечена каким-то мальчиком, с которым они занимаются плаванием.

Сэнди все еще стояла в лунке. Порой, когда мисс Броди начинала витийствовать, было трудно понять, куда она клонит. В таких случаях надо было терпеливо ждать, пока не выяснится, что она имеет в виду. Сэнди подняла голову и посмотрела на мисс Броди, стоявшую над лункой на бугре, возвышавшемся над холмистым полем. Мисс Броди в твидовом костюме цвета голубоватого вереска, с лицом, еще хранившим теплый загар недавних каникул в Египте, была восхитительна. Разговаривая с Сэнди, она глядела на раскинувшийся внизу Эдинбург.

Сэнди вылезла из лунки.

— Юнис,— продолжала мисс Броди,— остепенится и выйдет замуж за какого-нибудь бизнесмена. Может быть, мое воспитание в чем-то принесло ей пользу. Мэри... ах... что до Мэри, то я никогда не обольщалась надеждами. Когда вы были детьми, я думала, что из Мэри все-таки может что-нибудь выйти. Она была довольно трогательной. Но она так действует мне на нервы! Я скорее предпочту иметь дело с мошенниками, чем с дураками. Моника, без сомнения, получит свою степень бакалавра с отличием, но у нее нет того, что я называю прозорливостью высшего порядка, и поэтому...

В этот момент подошла очередь мисс Броди играть, и она решила повременить с разговорами. Отмерив расстояние и ударив клюшкой по мячу, она продолжала:

—...и поэтому у нее плохой характер, она разбирается только в своих значках, символах и расчетах. Ничто так не выводит человека из себя, как отсутствие у него прозорливости высшего порядка, Сэнди, и вот почему мусульмане такие уравновешенные люди — они прозорливы в высочайшей степени. Мой драгоман в Египте никак не соглашался с тем, что для мусульман пятница — день божий. «Каждый день — это день божий»,— сказал он мне. Мне это показалось очень глубокой мыслью, и я почувствовала себя ничтожной мошкой. Мы распрощались с ним за день до моего отъезда, Сэнди, и вдруг, когда я уже сидела в поезде, смотрю: по платформе идет мой драгоман и несет мне изумительные цветы! Этот человек держался поистине с достоинством. Сэнди, у тебя ничего не получится, если ты будешь горбиться над клюшкой. Расправь плечи и нагибайся ровно. Он был совершенно великолепен и прекрасно знал, как себя вести.

Они подобрали мячи и перешли к следующей метке.

— Вы когда-нибудь играли с мисс Локхарт?— спросила Сэнди.

— А она играет в гольф?

— Да, довольно прилично.

Однажды воскресным утром Сэнди, к собственному удивлению, застала на поле учительницу естествознания за игрой в гольф с Гордоном Лоутером.

— Хороший удар, Сэнди. Я очень мало знаю о мисс Локхарт,— сказала мисс Броди.— По мне, занималась бы она лучше своими колбами и газами. Преподавательницы в средней школе, все до одной,— грубые материалистки; все они — члены Фабианского общества [1] и пацифистки. Именно против подобных убеждений восстают мистер Лоутер, мистер Ллойд и я сама, когда у нас остается время от борьбы с толпой ограниченных недоучек в начальной школе. Сэнди, я готова голову отдать на отсечение, что ты близорука — ты всегда щуришься, когда на кого-то смотришь. Тебе нужны очки.

— Ничего подобного,— раздраженно ответила Сэнди.— Так только кажется.

— Это нервирует собеседника,— сказала мисс Броди.— Да, Сэнди, дорогая, все мои помыслы сосредоточены на тебе и Роз. Ты наделена прозорливостью, может быть, правда, не высшего порядка, но ты — глубокая девочка, а у Роз есть инстинкт. Да, у Роз есть инстинкт.

— Может быть, правда, не высшего порядка,— вставила Сэнди.

— Да, ты права. Благодаря этому инстинкту Роз ждет большое будущее.

— Благодаря этому инстинкту она знает, как позировать для портретов,— заметила Сэнди.

— Вот именно, я же говорю, что ты прозорлива,— ответила мисс Броди.— А кому это знать, как не мне,— пора моего расцвета одарила меня инстинктом и прозорливостью одновременно.

Стремясь полностью осознать свое место в мире, Сэнди часто ходила к Толбутской церкви и собору Сент-Джайлз и подолгу рассматривала два эти здания, символизирующие мрачное и жуткое спасение души, в сравнении с которым языки огня, поджаривающего проклятых грешников, казались куда веселее и предпочтительнее. Ни дома у Сэнди, ни в школе никто никогда не говорил о кальвинизме, а если о нем и упоминали, то не иначе как о шутке, которую когда-то приняли всерьез. В то время Сэнди еще не понимала, что районы, где живут люди ее социального уровня, лишены какого бы то ни было внешнего своеобразия, столь явственного в кварталах, населенных эдинбуржцами, стоящими на общественной лестнице чуть выше или — и тогда это своеобразие обнаруживается особенно ярко — чуть ниже ее класса. У нее не было вообще никакого ощущения классовых различий. Первые пятнадцать лет своей жизни Сэнди могла прожить, не чувствуя никакой внешне выраженной разницы, в любом пригороде любого другого города на Британских островах; ее школа с системой разобщающих детей отрядов могла бы находиться, например, в Илинге [2]. Пока что она сознавала одно: в Эдинбурге существует и другая, особая жизнь, присущая исключительно Эдинбургу и идущая своим чередом мимо Сэнди, оставляя ее в полном неведении. И какой бы неподходящей ни была эта жизнь, Сэнди страдала оттого, что у нее отняли ее; какой бы неподходящей ни была эта жизнь, Сэнди страстно желала узнать, что она собой представляет, и не хотела, чтобы сведущие люди защищали ее от этой жизни.

---

[1] Фабианское общество — английская буржуазная реформистская организация, возникшая в 1884 г.

[2] Илинг — пригород Лондона.

Но в действительности чувство обделенности возникло у Сэнди потому, что у нее отняли религию Кальвина, вернее, возможность четко признать ее. Сэнди требовалось, чтобы кальвинизм признали хотя бы по праву рождения, и тогда его можно было бы отмести как нечто определенное. Кальвинизм распространялся вокруг постольку, поскольку это допускалось его неприятием. Мисс Скелетт и сестры Керр, во многих отношениях самые земные и трезвые люди из всех, кого знала Сэнди, ничуть не скрывали своей убежденности, что бог практически всем людям на свете еще до их рождения уготовил гнусный сюрприз, поджидающий их после смерти. Позднее, когда Сэнди прочитала Джона Кальвина, она обнаружила, что, хотя принятая трактовка кальвинизма кое в чем ошибочна, именно в этой концепции никакой ошибки не было — на самом деле такой подход отражал пусть не полное, но все-таки достаточное понимание основного положения Кальвина о том, что богу доставляет удовольствие вводить некоторых людей в заблуждение, даря им иллюзию радости и спасения, чтобы сюрприз, ждущий их в конце пути, был еще омерзительней.

Сэнди была не в состоянии сформулировать эти волнующие ее гипотезы, тем не менее она чувствовала, что они носятся в воздухе, которым она дышит; она видела их подтверждение в той необычной, отчаянной дерзости, с которой некоторые не соблюдали воскресенье; она чуяла их правомочность, следя за похождениями мисс Броди в пору ее расцвета. Теперь Сэнди разрешали гулять одной, и она бродила по явно запретным районам Эдинбурга, разглядывала почерневшие памятники и слушала невообразимую ругань пьяных мужчин и женщин. Сравнивая их лица со знакомыми ей лицами обитателей Морнингсайда и Мерчстона[1] и испытывая новые, тревожащие душу уколы кальвинистской вины, она видела, что разница невелика.

И точно так же, почти бессознательно, она уже догадывалась, что́ кроется за поступками мисс Броди, собственной властью отпустившей себе все грехи и избравшей особую жизнь, которая доставляла ей гораздо больше экзотического наслаждения самоубийцы, чем она испытала бы, просто начав пить, подобно многим другим отчаявшимся старым девам.

Было ясно: мисс Броди хочет, чтобы наделенная инстинктом Роз подготовилась к роли любовницы Тедди Ллойда, а наделенная прозорливостью Сэнди выполняла бы обязанности осведомителя, держа мисс Броди в курсе романа. Ради этой-то конечной цели Сэнди и Дженни в свое время и попали в число избранниц, в сливки общества. От такого замысла попахивало дымком адской серы, но именно этот аромат и притягивал Сэнди с ее теперешним взглядом на вещи. Кроме того, пока все это оставалось лишь абстрактной идеей. А время еще было, так как мисс Броди предпочитала разрабатывать свои планы не спеша — основное удовольствие она получала как раз от приготовлений. Более того, даже если эти планы были ясны самой мисс Броди не хуже, чем Сэнди, девочки были еще слишком юны. И тем не менее, когда им исполнилось по шестнадцать, мисс Броди стала часто говорить своему клану: «Из Сэнди может выйти первоклассный тайный агент, великая шпионка», а в разговорах с Сэнди с глазу на глаз неоднократно повторяла: «Роз станет великой любовницей. Она возвышается над принятыми нормами морали, они неприменимы к ней. Но не надо, чтобы об этом слышали те, кто не наделен прозорливостью».

На протяжении более чем года Сэнди постепенно проникалась духом этого плана, так как часто бывала в гостях у Ллойдов и потом сообщала мисс Броди, как продвигается работа Тедди над портретами Роз, столь очевидно напоминавшими мисс Броди.

— Роз,— говорила мисс Броди,— похожа на героиню из романа Дэвида Лоуренса. У нее есть инстинкт.

[1] Районы Эдинбурга, где в основном живут люди среднего достатка.

Но на самом деле интерес учителя рисования к Роз был чисто профессиональным: она была хорошей натурщицей. У Роз хватало инстинкта довольствоваться этой ролью, и в конечном итоге с Тедди Ллойдом переспала Сэнди, а Роз сообщила об этом мисс Броди.

Но все это произошло позже, а пока что мисс Броди, забросив мистера Лоутера в его Крэмонде, старалась проводить как можно больше времени с Роз и Сэнди, обсуждая с ними проблемы живописи, а затем и вопрос о том, как надо позировать художнику, и какое будущее ждет Роз на поприще натурщицы, и насколько важно для Роз понять, какая в ней таится сила; это ведь особый дар, а она — исключение из всех правил, то самое исключение, которое только подтверждает правило. Мисс Броди была слишком осторожна и не вдавалась в уточняющие детали, и Роз лишь наполовину догадывалась, что имеет в виду мисс Броди, ибо в это время, по сведениям Сэнди, Роз поступала как ей подсказывал инстинкт и начинала завоевывать славу своей сексапильностью среди мальчиков-старшеклассников, часто неуклюже стоявших с велосипедами на безопасном расстоянии от школьных ворот. Роз пользовалась огромной популярностью у этих мальчиков и лишь поэтому приобрела репутацию секс-бомбы, хотя, в общем, никогда не говорила о сексе и уж тем более не имела в этом вопросе практического опыта. Она во всем поступала, следуя инстинкту, и потому, слушая мисс Броди, считала необходимым делать вид, будто соглашается с каждым ее словом.

— Когда тебе будет семнадцать или восемнадцать, Роз, ты переживешь момент великого подъема.

— Да, мисс Броди, я и сама так думаю, правда.

Страсть Тедди Ллойда к Джин Броди ярко проявлялась во всех написанных им портретах девочек клана. Как-то зимой он написал их групповой портрет. На нем все девочки были в панамах, сидевших на каждой по-своему, но из-под каждой панамы с холста смотрела магически преображенная Джин Броди, принявшая облик Роз, Сэнди, Дженни, Мэри, Моники и Юнис. Однако больше всех на нее походила Роз — она от природы была хорошей натурщицей, и Тедди Ллойд платил ей по пять шиллингов за каждый сеанс, что было ей весьма кстати, так как она была помешана на кино.

Сэнди иногда проникалась к мисс Броди душевной теплотой, видя, как та заблуждается в своем представлении о Роз. В подобные минуты мисс Броди выглядела прекрасной и хрупкой, с ней происходило то же самое, что порой случалось с тяжелым, мрачным Эдинбургом, который, когда необычный жемчужно-белый свет падал на одну из изящно вычерченных улиц, неожиданно превращался в город, парящий в воздухе. Точно таким же образом властные черты мисс Броди казались Сэнди мягкими и нежными, когда она видела в своей учительнице лишь женщину, увлеченную пустым капризом; и много лет спустя Сэнди вспоминала мисс Броди с наибольшей симпатией, когда думала о ней просто как о глупенькой бедняжке.

Но мисс Броди как вождь клана, мисс Броди как римская матрона, мисс Броди как просветитель-реформатор была по-прежнему сильна. Со школьной точки зрения не всегда было желательно, чтобы о тебе говорили в связи с мисс Броди. Уже одного того, что клану не хватало чувства локтя и хоккею или волейболу девочки предпочитали гольф (если они вообще что-то предпочитали), было достаточно, чтобы они выделялись из общей массы, и при этом им даже не надо было заминать тульи панам и опускать или подымать поля с разных сторон. Выйти из клана Броди они не могли, потому что в глазах всей школы все равно оставались кланом. Формально они входили в отряды Холируд, Мелроуз, Аргайл и Биггар, но было хорошо известно, что девочки клана Броди не болеют ни за чью команду и им наплевать,

какой отряд получит вымпел. Им не разрешалось относиться к этому иначе. Их безразличие стало своего рода общественным институтом, который следовало уважать так же, как и систему отрядов. Что касается их самих, то, не закрепись за ними подобная репутация, к тому времени, как им исполнилось по шестнадцать и они перешли в четвертый класс средней школы, все шесть девочек давно бы пошли каждая своей дорогой.

Но пути назад не было, и им не оставалось ничего другого, кроме как извлекать максимальную выгоду из создавшегося положения,— вдобавок они видели, что им очень завидуют. Все считали, что девочкам клана с их визитами в Крэмонд, посещениями студии Тедди Ллойда, походами в театр и сборами дома у мисс Броди живется гораздо веселее, чем кому бы то ни было. И это действительно было так. А сама мисс Броди даже в глазах не входивших в ее клан школьниц всегда оставалась фигурой, окруженной романтическим ореолом.

С годами война мисс Броди с начальством из-за ее просветительских принципов принимала все более ожесточенный характер, и мисс Броди сумела внушить девочкам, что каждый раз, когда в этой борьбе назревает кризис, их моральный долг — выступать единым фронтом. В подобных случаях она после уроков находила своих любимиц, чаще всего болтавших с мальчиками-велосипедистами, и велосипеды мгновенно уносили мальчиков прочь, а девочки приглашались к ней на ужин на следующий день.

Они пошли с ней на трамвайную остановку.

— Мне снова намекнули, что будет лучше, если я перейду в одну из новых школ, где мои методы более уместны, чем здесь. Но я не собираюсь искать вакансию в какой-нибудь новомодной школе. Я останусь здесь, на этой фабрике массового просвещения, как того требует мой долг. Им тут нужна свежая струя. Дайте мне девочку в соответствующем нежном возрасте, и она — моя на всю жизнь. У этой шайки ничего не выйдет.

— Конечно,— сказали все,— конечно не выйдет.

Директриса пока еще не совсем отказалась от попыток выудить у девочек то, что они знали о мисс Броди. От огорчения, что ее планы не дают желаемых результатов, она подвергала девочек репрессиям, когда это удавалось делать под благовидными предлогами, которые, кстати, возникали не часто.

— Если они не попытаются подсидеть меня, опорочив мою просветительскую деятельность, они постараются бросить тень на мою личную жизнь,— однажды сказала мисс Броди.— Как ни печально, но действительно из-за моих отношений с бедным мистером Лоутером имеются обстоятельства не в пользу моей репутации. Как вам хорошо известно, девочки, я положила немало сил, заботясь о здоровье мистера Лоутера. Я к нему прекрасно отношусь. А почему бы и нет? Разве мы не должны любить своих ближних? Я ближайший друг мистера Лоутера, его доверенное лицо. В последнее время я, к сожалению, его забросила, но я по-прежнему для него дороже всего на свете, и мне стоит пошевелить мизинцем, чтобы он был тут как тут. Злые языки извращают природу наших отношений...

Мисс Броди вот уже несколько месяцев как забросила учителя пения, и девочки больше не проводили воскресные дни в Крэмонде. Сэнди решила, что мисс Броди перестала спать с Гордоном Лоутером потому, что передоверила удовлетворение своих плотских желаний Роз, предназначенной в любовницы Тедди Ллойду.

— Мне пришлось вынести массу инсинуаций, перечеркивающих все то полезное, что я делала в Крэмонде,— сказала мисс Броди.— Но ничего, я это как-нибудь переживу. Если бы я захотела, он бы на мне женился хоть завтра.

Наутро после этого утверждения газета «Скотсмен» поместила объявление о помолвке Гордона Лоутера с учительницей естествозна-

ния мисс Локхарт. Этого никто не ожидал. Мисс Броди была совершенно ошеломлена и сперва, опережая события, страдала, думая, что ее предали. Но, кажется, ей удалось заставить себя вспомнить, что настоящей любовью ее жизни был некогда отвергнутый Тедди Ллойд, а Гордон Лоутер был просто временно удобен. Вместе со всей школой она внесла деньги на фарфоровый чайный сервиз, который вручили жениху и невесте на последнем в семестре общем собрании. Мистер Лоутер произнес речь, называя присутствующих «девицами» и время от времени робко поглядывая на мисс Броди, любовавшуюся облаками за окном. Иногда он бросал взгляды на свою будущую жену, спокойно стоявшую в центре зала рядом с директрисой, ожидая, когда он закончит речь и она с мисс Маккей сможет подойти к нему. Как и всем остальным, мисс Локхарт внушала ему доверие: она не только хорошо играла в гольф и водила машину, но и могла взорвать школу своей банкой с порохом, хотя никогда об этом не помышляла.

Карие глаза мисс Броди были устремлены на облака, она выглядела очень красивой и хрупкой, и Сэнди неожиданно пришло в голову, что, может быть, она отвергла Тедди Ллойда, сознавая, что не в силах сохранить свою красоту навсегда: ее красота была непостоянна и то вспыхивала, то вновь угасала.

В следующем семестре, когда мистер Лоутер вернулся после медового месяца, проведенного на острове Эйг, мисс Броди вложила высвободившуюся энергию в осуществление плана, касавшегося Сэнди и Роз с их прозорливостью и инстинктом, а энергию, которая у нее оставалась сверх этого, она теперь направила в русло политических идей.

Глава шестая

Директриса мисс Маккей по-прежнему не переставала прощупывать клан Броди. Она знала, что спрашивать девочек в лоб бесполезно, и поэтому применяла тактику наводящих вопросов, надеясь, что девочки попадутся в ловушку и случайно проговорятся о каком-нибудь факте, который можно будет использовать, чтобы вынудить мисс Броди подать в отставку. Раз в семестр девочек приглашали в кабинет мисс Маккей на чай.

Но теперь ситуация была такова, что они почти ничего не могли рассказать про мисс Броди, не компрометируя при этом себя. Дружба с мисс Броди, продолжавшаяся уже семь лет, стала неотъемлемой частью жизни девочек, пропитывала их до мозга костей, и они не могли поломать сложившиеся отношения, не переломав собственных костей.

— Вы по-прежнему встречаетесь с мисс Броди? — спросила мисс Маккей с ослепительной улыбкой. У нее были новые зубы.

— В общем, да...

— Да, пожалуй, иногда...

Когда на чай к директрисе была приглашена Сэнди, мисс Маккей повела беседу в доверительном тоне, потому что она обращалась со старшеклассницами как с равными, точнее, как с равными, но все-таки одетыми в школьную форму.

— Ах уж эта наша милая мисс Броди! Она по-прежнему сидит под вязом и рассказывает малышам свою удивительную биографию. Я помню ее, когда она еще только начинала работать в школе: в то время она была энергичной молодой учительницей, но сейчас...

Она вздохнула и покачала головой. У нее была привычка вставлять в разговор мудрые крылатые выражения, произнося их на шотландском диалекте, чтобы они казались еще мудрее:

— Чего не исцелить, то нужно терпеть. Но, боюсь, мисс Броди уже давно не та. Сомневаюсь, что ее ученицы смогут в этом году сдать переходной экзамен в среднюю школу. Но не думай, пожалуй-

ста, что я осуждаю мисс Броди. Она, конечно, любит пропустить стаканчик-другой, я в этом уверена, но в конце концов кому какое дело, пока это не отражается на ее работе и на вас, ее воспитанницах.

— Она не пьет,— сказала Сэнди.— Разве что рюмку хереса в день своего рождения. Мы в этот день всемером выпиваем всего полбутылки.

По лицу мисс Маккей можно было догадаться, что она мысленно вычеркнула алкоголизм из списка пороков мисс Броди.

— О, я ничего другого и не имела в виду,— сказала мисс Маккей.

Теперь, когда девочкам было уже по семнадцать лет, они могли судить о мисс Броди не только как об учительнице. Когда они разбирали ее между собой, им пришлось в конце концов признать, что она, без сомнения, интересная женщина. Глаза ее сверкали, нос был с гордой горбинкой, все еще темные каштановые волосы тугими колечками вились на затылке, придавая ей вид почтенной матроны. Учитель пения, как бы его ни устраивала мисс Локхарт, ставшая ныне миссис Лоутер и навсегда потерянная для школы, всякий раз, встречаясь с мисс Броди, бросал на нее из-под рыжих бровей взгляды, полные робкого восхищения и воспоминаний.

Одной из самых ярых поклонниц мисс Броди была новая девочка Джойс Эмили Хэммонд, которую определили в школу Блейн недавно. Эта школа была последней надеждой родителей Джойс, уже перепробовавших несколько дорогих школ по обе стороны границы Шотландии, но Джойс неизменно отовсюду приходилось забирать, так как за ней закрепилась репутация хулиганки, пока ничем не подтвержденная в школе Блейн, если не считать того, что она иногда кидала бумажными шариками в мистера Лоутера, не причиняя ему никаких травм, кроме душевных. Она настаивала, чтобы ее звали полностью: Джойс Эмили. Каждое утро ее привозил в школу собственный шофер на большом черном автомобиле; домой она, правда, должна была добираться сама. Она жила в большом доме с усадьбой и конюшнями в одном из близких пригородов Эдинбурга. Родители Джойс Эмили, хоть и были богаты, попросили у школьного начальства разрешения до истечения испытательного срока не вносить сумму, необходимую для покупки еще одной новой школьной формы. Поэтому Джойс Эмили пока ходила в темно-зеленой форме в то время, как остальные ученицы школы Блейн носили лиловые платья. Она хвасталась, что дома в ее шкафу висят без употребления пять наборов школьных форм разных цветов, а рядом с ними хранятся реликвии, некогда принадлежавшие ее гувернанткам, а именно: толстая фальшивая коса, отрезанная Джойс Эмили собственноручно; сберегательная книжка гувернантки по имени мисс Миши и обуглившиеся остатки подушки, на которой покоилась голова еще одной гувернантки, некой мисс Чемберс, в тот момент, когда Джойс Эмили разожгла под ее кроватью огонь.

Одноклассницы слушали ее болтовню, но в целом относились к Джойс Эмили неодобрительно, и не только из-за ее зеленых чулок, такой же юбки и сверкающего автомобиля с шофером, но и потому, что жизнь и без нее была до краев заполнена подготовкой к экзаменам и соревнованиям за вымпел. Джойс Эмили страстно мечтала прилепиться к клану Броди, чувствуя его обособленность, но членам клана ее компания была нужна еще меньше, чем остальным. За исключением Мэри Макгрегор, девочки клана, кстати сказать, входили в число самых развитых учениц школы, и это определенно служило камнем преткновения для мисс Маккей в ее усилиях дискредитировать мисс Броди.

Кроме всего прочего, у девочек Броди были свои интересы и за пределами клана. У Юнис был знакомый мальчик, с которым она занималась плаванием и прыжками в воду. Моника Дуглас и Мэри Макгрегор посещали трущобы и раздавали беднякам кульки с крупой,

причем было известно, что Мэри Макгрегор постоянно изрекала что-нибудь вроде: «Если у них нет хлеба, почему же они не едят пирожные?» (На самом деле она один раз сказала: «Ну, а почему же они не сдают белье в прачечную?», когда услышала жалобы на недоступные цены на мыло.) В Дженни уже обнаружилось актерское дарование, и она с утра до вечера что-то репетировала в школьном кружке. Роз позировала Тедди Ллойду, а Сэнди иногда тоже приходила с ней в студию и наблюдала, временами подумывая, не заставить ли Тедди Ллойда поцеловать ее еще раз, просто чтобы проверить, удастся ли это сделать с помощью всего лишь одного дерзкого взгляда маленьких глазок. Помимо этих занятий члены клана после школы посещали мисс Броди по двое или по трое, а иногда и все вместе. В тот год (тысяча девятьсот тридцать седьмой) она особой заботой окружала Роз и усиленно расспрашивала Сэнди о развитии великого любовного романа, который должен был возникнуть между Роз и учителем рисования.

Так что им некогда было тратить время на хулиганку, которую влиятельные родители запихнули в их школу, даже если хулиганкой она была, как видно, только номинально. Однако у мисс Броди время для нее находилось. Члены клана были слегка обижены, но утешались тем, что они не обязаны делить общество мисс Броди с этой девицей и что мисс Броди приглашает ее к себе на чай и водит в театр отдельно.

В числе прочего Джойс Эмили хвасталась тем, что ее брат, студент Оксфорда, уехал в Испанию участвовать в гражданской войне. Эта темноволосая и довольно взбалмошная девочка тоже хотела сбежать в Испанию, носить белую блузку и черную юбку и маршировать с винтовкой. Никто не принимал ее заявлений всерьез. Испанская война была чем-то далеким, упоминающимся только в газетах и раз в месяц в школьном дискуссионном клубе. Все, включая Джойс Эмили, были антифранкистами, если вообще кем-то были.

Однажды все неожиданно сообразили, что Джойс Эмили уже несколько дней не ходит в школу и ее место за партой занято другой девочкой. Никто так и не знал, почему она бросила школу, пока спустя полтора месяца не пришло сообщение, что она сбежала в Испанию и погибла в поезде во время бомбежки. В школе по этому случаю состоялась краткая панихида.

Мэри ушла на курсы машинописи и стенографии, а Дженни поступила в театральную студию. Всего четверо из клана Броди продолжали учиться в последнем классе. Можно было подумать, что они вообще уже не ходят в школу — у них было так много свободного времени, так много лекций и самостоятельной работы в библиотеке, что в школу они забегали всего на минутку. С их мнением считались, с ними советовались, у них возникало ощущение, что стоит им захотеть, и они смогут командовать всей школой.

Юнис собиралась заниматься языками, хотя через год передумала и стала медсестрой. Монике судьба предопределила точные науки, а Сэнди — психологию. Роз оставалась в школе не в силу каких-то карьерных соображений — просто ее отец считал, что она должна выжать из школы все что можно, даже если потом поступит лишь в художественную студию или на худой конец станет натурщицей или манекенщицей. Отец играл в жизни Роз большую роль. Вдовец, крупный мужчина, настолько же красивый мужской красотой, насколько Роз — женской, он гордо именовал себя сапожником; на самом деле это означало, что он владел разветвленной сетью обувных мастерских. Несколько лет назад, познакомившись с мисс Броди, он немедленно проявил к ней здоровый мужской интерес, который она вызывала у столь многих мужчин, против ожидания не считавших ее

смешной; но она и думать не хотела о мистере Стенли, поскольку он по ее критериям никак не был похож на культурного мужчину. Она находила его слишком чувственным. Девочки, однако, боясь в этом признаться, любили отца Роз. А Роз в силу несомненно имевшегося у нее инстинкта пошла на поводу у инстинкта настолько, что унаследовала трезвую и жизнерадостную чувственность своего отца и вскоре после окончания школы удачно вышла замуж. Она стряхнула с себя влияние мисс Броди, как собака, выбравшись из пруда, стряхивает с шерсти воду.

Мисс Броди неоткуда было знать, что все так сложится, а пока за Роз неотступно шла по пятам слава секс-бомбы, и она пользовалась большим успехом у мальчиков, кончавших школу, а также у университетских студентов-первокурсников. И как-то раз мисс Броди сказала Сэнди: «Насколько можно судить по твоим рассказам, Роз и Тедди Ллойд скоро станут любовниками». Сэнди мгновенно поняла, что это вовсе не фантазия и не очередная забавная выдумка в стиле мисс Броди — ведь люди так часто развлекаются всякими досужими вымыслами и разными прогнозами, вроде того, будет ли война, и многочисленные предположения подобного рода носятся в воздухе, как бумажные птички. Но мисс Броди не фантазировала; она действительно верила в то, что сказала. Сэнди посмотрела на нее и поняла, что эта женщина одержима мыслью сделать так, чтобы Роз спала с человеком, которого любит она сама; в подобной идее не было ничего нового — новой была существующая ситуация. Сэнди вспомнила, как восемь лет назад мисс Броди, сидя под вязом, рассказывала незамысловатую историю своей первой любви, и задумалась, пытаясь определить, в какой степени за эти годы изменилась мисс Броди, ставшая намного сложнее, а в какой степени изменилось ее собственное восприятие мисс Броди.

В течение последнего года занятий в школе Сэнди продолжала поддерживать отношения с Ллойдами. Она ходила с Диэдри Ллойд по магазинам и купила себе такую же, как у нее, домотканую блузку. Она слушала разговоры Ллойдов между собой и при этом по привычке раскладывала в уме их психику на значки и символы, как в то время было принято у начитавшихся книг по психологии юношей и девушек, когда они слушали людей постарше, не знакомых с этой наукой. Иногда, в те дни, когда Роз приходилось позировать обнаженной, Сэнди сидела с художником и натурщицей в студии, молча наблюдая за происходившими на холсте странными преображениями нагого тела, казавшегося чужим и незнакомым и в то же время напоминавшего Роз и, более того, напоминавшего мисс Броди. Сэнди страшно интересовало, как устроена душа художника, настолько увлеченного мисс Броди, что он не считал ее смешной.

«Насколько можно судить по твоим рассказам, Роз и Тедди Ллойд скоро станут любовниками». Сэнди поняла, что мисс Броди действительно верила в то, что сказала. Она рассказывала мисс Броди, как странно походили на нее все портреты Тедди Ллойда. Она рассказывала об этом снова и снова, потому что мисс Броди любила про это слушать. Она рассказывала ей, что Тедди Ллойд хочет уйти с преподавательской работы и готовит выставку и его поддерживают критики, но расхолаживают опасения, что он не сможет содержать свою большую семью.

— Я — его муза,— сказала мисс Броди.— Но я отвергла его любовь, чтобы посвятить свой расцвет моим юным воспитанницам. Я — его муза, но Роз должна занять мое место.

Она считает себя Провидением, думала Сэнди; она считает, что она — кальвинистский бог, что она знает Начало и Конец. А еще Сэнди думала, что эта женщина — подсознательная лесбиянка. К мисс Броди можно было применить много разных теорий из учебника по психо-

логии, но все они были не в силах стереть ее образ с полотен однорукого Тедди Ллойда.

Когда Сэнди стала монахиней, члены клана Броди одна за другой периодически приезжали к ней в монастырь, потому что надо же им было чем-то себя занять, а кроме того, она написала книгу по психологии, да и вообще приятно посетить монахиню — это вызывает религиозные чувства и духовное очищение, с которым хорошо возвращаться домой,— особенно если монахиня разговаривает с вами, вцепившись в прутья решетки. В монастырь как-то приехала Роз, давно уже вышедшая замуж за удачливого бизнесмена, который занимался широким кругом дел, начиная с производства консервов и кончая коммерческими банковскими операциями. Они разговорились о мисс Броди.

— Она много говорила о призвании,— сказала Роз,— но она не имела в виду то призвание, которое выбрала ты. А тебе не кажется, что сама она в какой-то степени нашла свое призвание в нас?

— Да, конечно.

— Почему же ее выперли? — спросила Роз.— За секс?

— Нет. За политику.

— Я и не знала, что ее интересовала политика.

— Только между делом,— ответила Сэнди,— но это послужило предлогом.

Моника Дуглас приехала к Сэнди потому, что переживала жизненный кризис. Она вышла замуж за ученого и в одном из очередных приступов гнева швырнула в его сестру раскаленной головешкой. В связи с этим ученый потребовал развода, раз и навсегда.

— Я не очень разбираюсь в подобных вопросах,— сказала Сэнди.

Но Моника и не думала, что Сэнди сможет по-настоящему ей помочь,— она ведь знала Сэнди много лет, а люди, которых знаешь много лет, никогда не могут помочь по-настоящему. Поэтому они разговорились о мисс Броди.

— Ей все-таки удалось заставить Роз переспать с Тедди Ллойдом? — спросила Моника.

— Нет,— ответила Сэнди.

— А сама она любила Тедди Ллойда?

— Да,— сказала Сэнди.— И он тоже любил ее.

— Значит, можно сказать, что она на самом деле отвергла его любовь?

— Да, это правда. Что ни говори, а тогда она была женщина в расцвете лет.

— А ты тогда думала, что все ее разговоры про отвергнутую любовь — шутка,— сказала Моника.

— Ты тоже так думала,— ответила Сэнди.

Летом тысяча девятьсот тридцать восьмого года, после того, как последние девочки клана Броди кончили школу Блейн, мисс Броди поехала в Германию и Австрию, а Сэнди в это время изучала психологию и ходила к Ллойду позировать для собственного портрета. Иногда на эти сеансы приходила и Роз.

Когда Диздри увезла детей за город, Тедди Ллойду пришлось остаться в Эдинбурге, так как летом он преподавал в художественной школе. Сэнди продолжала два раза в неделю ему позировать, Роз иногда приходила вместе с ней, а иногда и нет.

Однажды, когда Сэнди была с Тедди Ллойдом наедине, она сказала ему, что теперь все его портреты, включая даже портрет самого маленького из его детей, получаются похожими на мисс Броди, и при этом посмотрела на него дерзким шантажирующим взглядом. Он поцеловал ее, как три года назад, когда ей было пятнадцать, и почти целых два летних месяца они занимались любовью в его пустом доме, лишь изредка открывая дверь заходившей к ним Роз, а по большей части вовсе не обращая внимания на вопли звонка.

В эти два месяца он понемногу работал над ее портретом, но она сказала ему:

— Ты по-прежнему делаешь из меня подобие Джин Броди.

Он начал писать заново, но повторилось то же самое.

Она спросила:

— Почему ты словно околдован этой женщиной? Разве ты не видишь, что она смешна?

Он сказал, что да, он понимает, что Джин Броди смешна, но, может быть, Сэнди будет так любезна и перестанет заниматься психоанализом — это неестественно для восемнадцатилетней девушки.

В начале сентября мисс Броди позвонила Сэнди по телефону и пригласила к себе. Она только что вернулась из Германии и Австрии, где теперь был наведен отличный порядок. После войны, когда они с Сэнди сидели в отеле «Брейд-Хиллз», мисс Броди признала, что «Гитлер действительно слегка зарывался», но в то время она была полна впечатлений от своего путешествия и абсолютно уверена, что новый режим спасет мир. Сэнди было скучно это слушать, ей не казалось необходимым спасать мир только для того, чтобы облегчить жизнь эдинбургских бедняков и обитателей трущоб. Мисс Броди сказала, что войны не будет. Сэнди вообще никогда об этом не думала. В конце концов мисс Броди перешла к делу:

— Роз мне сказала, что ты стала его любовницей.

— Да. Разве не все равно, я или Роз?

— Что это вдруг на тебя нашло? — типично по-шотландски спросила мисс Броди, как будто Сэнди ни с того ни с сего задаром отдала фунт мармелада английскому герцогу.

— Он меня интересует,— ответила Сэнди.

— Интересует — как же! Умная девочка, прозорливая! Он — католик, и я не понимаю, что у тебя общего с человеком, который не может думать собственной головой. Роз была бы то, что надо. У Роз есть инстинкт, но нет прозорливости.

Тедди Ллойд продолжал воспроизводить Джин Броди в своих портретах.

— У тебя есть инстинкт,— сказала ему Сэнди,— но у тебя нет прозорливости, иначе ты бы понимал, что эту женщину нельзя принимать всерьез.

— Я знаю, что нельзя,— ответил он.— Для твоего возраста у тебя чересчур аналитический ум, и ты слишком раздражительна.

Семья Ллойда вернулась в Эдинбург, и встречи с Тедди теперь волновали Сэнди своей рискованностью. Чем больше она понимала, что он все еще влюблен в Джин Броди, тем больше ее интересовала психика человека, любившего эту женщину. К концу года она совершенно охладела к нему самому, но зато с головой ушла в анализ его психики и, препарируя ее, извлекла оттуда среди прочих вещей его религию, как извлекают орех из скорлупы. Религия заполняла его психику настолько же, насколько видимые и невидимые тела заполняют небо. Она ушла от него, но взяла его религию и со временем стала монахиней.

В ту осень, когда она все еще изучала психику, заставляющую каждый новый портрет быть портретом Джин Броди, Сэнди встречалась с мисс Броди несколько раз. Вначале та просто примирилась с мыслью о связи Сэнди с учителем рисования, но потом постепенно пришла от этого в восторг и теперь снова без конца расспрашивала Сэнди о деталях их отношений, но не получала ответа на интересующие ее вопросы.

— Его портреты по-прежнему напоминают меня?

— Да, очень.

— Тогда все в порядке,— сказала мисс Броди.— Что ни говори, Сэнди, тебе на роду написано быть великой любовницей, хотя я никогда бы так не подумала. Правда диковинней вымысла. Признаюсь,

я хотела, чтобы его любовницей стала Роз, хотя иногда жалела, что уговорила юную Джойс Эмили поехать в Испанию сражаться за Франко: она бы прекрасно подошла для Тедди Ллойда, у нее был инстинкт и...

— Она уехала сражаться за Франко? — переспросила Сэнди.

— По крайней мере так было задумано. Я заставила ее трезво взглянуть на вещи. Бедняжке так и не удалось вообще принять участие в войне.

Когда Сэнди по заведенному порядку пришла осенью к мисс Маккей, директриса, глядя на эту трудную выпускницу с ненормально маленькими глазками, спросила:

— Надеюсь, ты иногда видишься с мисс Броди? Надеюсь, ты не забываешь старых друзей?

— Мы виделись с ней раза два,— ответила Сэнди.

— Боюсь, что она вбивала в ваши юные головы разные идеи,— сказала мисс Маккей, понимающе подмигивая Сэнди, чтобы показать, что теперь, когда Сэнди кончила школу, она может без опаски откровенно рассказать о похождениях мисс Броди.

— Да, массу идей,— ответила Сэнди.

— Хотела бы я знать каких? — с неподдельным беспокойством спросила мисс Маккей, обмякая в кресле.— Потому что все это по-прежнему продолжается. Я хочу сказать, продолжается из года в год, класс за классом, а теперь она сколотила себе новый клан, и они настолько отличаются от остальных, эти девочки из клана Броди! Они не по годам развиты. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да,— сказала Сэнди.— Но вам не удастся подловить ее на сексе. А вам не приходило в голову приглядеться к ее политическим убеждениям?

Мисс Маккей придвинула кресло почти вплотную к Сэнди. Разговор принимал деловой оборот.

— Дорогая моя, что ты имеешь в виду? Я не знала, что она интересуется политикой.

— А она ею и не интересуется,— сказала Сэнди,— разве что между делом. Она прирожденная фашистка, вы когда-нибудь об этом думали?

— Если ты мне это советуешь, Сэнди, я расспрошу ее учениц и посмотрю, что всплывет. Я и понятия не имела, что ты так серьезно относишься к международным проблемам, и я просто очень рада, что...

— Меня вовсе не волнуют международные проблемы,— сказала Сэнди,— меня волнует лишь, как пресечь деятельность мисс Броди.

Было совершенно ясно, что Сэнди шокировала директрису. Но, когда пришло время, мисс Маккей не преминула сказать мисс Броди: «Мне на это намекнула одна из ваших девочек, одна из вашего собственного клана, мисс Броди».

В конце года Сэнди должна была уезжать из Эдинбурга, и когда она зашла к Ллойдам попрощаться, она обвела взглядом студию, заставленную полотнами, с которых ей не удалось выжить мисс Броди. Она выразила Тедди Ллойду свое восхищение экономностью его метода, а он ей — свое, по аналогичному поводу, и Диэдри недоуменно посмотрела на него, не понимая, что он имеет в виду. Если бы он знал, что я положила конец мисс Броди, подумала Сэнди, он бы понял, что мой метод еще экономнее. Она теперь была более неистовой поборницей христианской морали, чем сам Джон Нокс.

В конце тысяча девятьсот тридцать девятого года мисс Броди заставили уйти из школы, мотивируя это тем, что она пропагандирует фашизм. Сэнди, услышав эту новость, вспомнила отряды чернорубашечников, марширующих на фотографиях, приколотых к стене класса. К этому времени католическая церковь уже приняла Сэнди в свое лоно, и она обнаружила там немало фашистов, куда менее приятных, чем мисс Броди.

«Вопрос о моих политических убеждениях,— писала мисс Броди в письме Сэнди, сообщая о своей отставке,— конечно, был просто предлогом. Они много раз пытались доказать мою аморальность, но им это не удавалось. Мои девочки всегда вели себя очень сдержанно. На самом деле начальство было против моей просветительской деятельности, достигшей апогея в годы моего расцвета. Как ты знаешь, я была предана моим девочкам. Но начальство использовало мои политические взгляды как оружие против меня. Что меня больше всего мучает и поражает, это то, что, если верить мисс Маккей, меня предала одна из девочек моего собственного клана, из-за чего и началось расследование.

Знаю, что ты будешь поражена. Я могу писать тебе об этом, потому что ты одна из всего моего клана вне подозрения — у тебя не было причин предавать меня. Прежде всего я подозреваю Мэри Макгрегор. Может быть, она по своей глупости вынашивала на меня обиду — она ведь доводила меня до белого каления. Я допускаю мысль, что это сделала Роз. Может быть, ей было неприятно, что у мистера Л. я стояла на первом плане. Юнис — я не могу себе представить, что это могла сделать Юнис, но мне действительно часто приходилось решительно бороться с ее обывательскими взглядами. Она хотела пойти в скауты, помнишь? Ей нравилось болеть за команду, и ее привлекало чувство локтя — может быть, Юнис затаила против меня злобу? Что касается Дженни, то ты ведь ее знаешь и знаешь, как она позабыла про все на свете и стала совершенно неузнаваемой после того, как решила быть актрисой. Она стала такой скучной. Ты не думаешь, что она могла обидеться на меня за то, что я говорила, что она никогда не станет новой Фэй Комптон[1], а тем более Сибиллой Торндайк? Остается еще Моника. Я почти склонна подозревать Монику. За математическим умом очень мало души, и, может быть, в одном из приступов ярости против Красоты, Истины и Добра, которых ей было не понять, она отступилась от меня и предала.

Тебя, Сэнди, как видишь, я исключаю из числа подозреваемых, потому что у тебя не было никаких оснований предавать меня, и именно с тобой я поделилась большей частью моих сокровенных мыслей и человеком, которого люблю сама. Попробуй догадаться, кто же мог предать меня. Я должна знать, кто из вас предал меня...»

Письмо Сэнди было загадочно и уклончиво, как ответ папы римского: «Если вы сами не предали нас, невозможно, чтобы вас предали мы. Слово «предательство» не подходит...»

Она получила от мисс Броди еще одно письмо после смерти Мэри Макгрегор, метавшейся из конца в конец охваченного пожаром отеля, пока огонь не настиг ее.

«Если это случилось с Мэри в наказание за то, что она меня предала, я знаю, что никогда бы ей такого не пожелала».

«Мне кажется,— написала Дженни,— что расцвет мисс Броди уже кончился. Она упорно хочет выяснить, кто ее предал. Это совсем не похоже на прежнюю мисс Броди; она всегда была так воинственно настроена».

После смерти мисс Броди ее имя все лето ласточкой перелетало от собеседника к собеседнику, но зимой воспоминания о ней угасли. Члены клана Броди всегда навещали Сэнди летом, потому что монастырь находился вдали от больших городов.

Когда Дженни приехала к Сэнди, ставшей теперь сестрой Еленой монастыря Преображения, она рассказала Сэнди, что неожиданно влюбилась в Риме, но что из этого ничего не может получиться.

— Мисс Броди с удовольствием бы послушала про это,— сказала Дженни.— Она сама ведь была грешницей.

---

[1] Фэй Комптон (род. в 1894 г.) — английская актриса театра, кино и телевидения.

— О, она была, по-своему, совершенно безгрешна,— ответила Сэнди, вцепляясь в прутья решетки.

Когда приехала Юнис, она сказала Сэнди:

— Мы ездили в прошлом году на Эдинбургский фестиваль. Я разыскала могилу мисс Броди и оставила там цветы. Я рассказывала моему мужу разные истории про нее, про то, как она сидела под вязом и все такое, и он говорит, что она была здорово забавной.

— Да, если хорошенько подумать, то конечно.

— Конечно, была,— сказала Юнис,— в пору ее расцвета.

Моника приехала к Сэнди еще раз.

— Перед смертью,— сказала она,— мисс Броди думала, что это ты ее предала.

— Предать можно лишь тогда, когда этого требует долг,— ответила Сэнди.

— А разве долг не требовал от нас верности мисс Броди?

— Только до определенной степени,— сказала Сэнди.

А потом наступил тот день, когда Сэнди посетил любопытный молодой человек, заинтересовавшийся ее необычной книгой о психологии, называвшейся «Преображение банального» и привлекавшей в монастырь так много визитеров, что Сэнди вцеплялась в прутья решетки с еще большим отчаянием.

— Что больше всего повлияло на вас в школьные годы, сестра Елена? Литература, политика, личные интересы? А может, это был кальвинизм?

Сэнди ответила:

— Нет. Это была некая мисс Броди в расцвете лет.

■

МИХАЛЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1944 г.).

Советский переводчик с персидского и английского языков. В его переводе выходили книги Голамхосейна Саэди (Иран) «Страх», «Одержимые ветром», роман Дэвида Ричардса (Канада), «Близилась зима» и другие произведения.

ЖОРЖИ АМАДУ

Возвращение блудной дочери

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

Хорошее это место, чтобы дожидаться смерти.

(Фраза коммивояжера о Сант'Ане-до-Агресте)

...те, что превращают море в помойку.

(Слова судьи Вильетты, приговорившего к тюремному заключению директоров компании Монтэдисон в Италии)

Тишина и уединение, река впадает в бескрайний океан, расстилающийся под ясным небом, здесь начало и конец всему. Огромные дюны, горы чистого песка, босая девушка бежит кверху, подобно козочке, лицо ее озаряет солнечный свет, в ушах шумит ветер; она несется, оторвавшись уже на приличное расстояние от преследующего ее сильного сорокалетнего мужчины.

Тяжело дыша, человек взбирается на дюны, придерживая шляпу рукой, чтобы не слетела, не потерялась. Туфли вязнут в песке, солнце слепит его, ветер сечет кожу, словно острое лезвие ножа. Он обливается потом, объят желанием и яростью.

Человек говорит что-то, кричит, но слова его не долетают до девушки, они тонут в песке, уносятся ветром. Она не слышит, однако догадывается обо всем и отвечает:

— Бэээ! — так блеют козы, которых она пасет.

Этот вызывающий крик доносится до торговца; прикинув, что она недалеко, он воодушевляется, бросается вперед. Внимательно наблюдая за ним, девушка выжидает.

Там, впереди, за рекой — океан, взглядом девушка окидывает беспредельную ширь. В этот момент ожиданий, томления и гнетущей тревоги у нее запечатлелась в памяти ослепительная необъятность ложа невесты, которое ей уготовано. По другую сторону устья великолепие просторного и ровного побережья Сэко — здесь, где море спокойное,

© Jorge Amado, 1977.

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.).

Бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

В Советском Союзе произведения Ж. Амаду издавались многократно на русском и других языках народов СССР. Советские читатели хорошо знают его романы «Подполье свободы», «Бескрайние земли», «Красные всходы», «Земля золотых плодов», «Габриэла», «Песчаные капитаны», «Дона Флора и два ее мужа», книгу повестей «Старые моряки». В «Иностранной литературе» напечатаны его повесть «Смерть Кинкаса Сгинь Вода» (№ 5, 1963), романы «Мы пасли ночь» (№ 2, 3, 1966), «Лавка чудес» (№ 2 — 4, 1972), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (№ 11, 12, 1975).

Мы начинаем публиковать в журнальном варианте новый роман Ж. Амаду «Тиета из Агреста, пастушка коз, или Возвращение блудной дочери» («Tieta do Agreste, pastora de cabras, ou a Volta da filha pródiga». Rio de Janeiro, Editora Record, 1977).

раскинулось большое селение рыбаков с лавкой, часовней и школой. Противоположную сторону высоких холмов, у подножия которых лежит поселок, атакует морская стихия, могучие волны бушуют неистово. Ветер приносит сюда день за днем урожай песка, самого белого, самого мелкого, будто нарочно отобранного для редкой красоты пляжа Манге-Сэко, не сравнимого ни с каким другим, здесь в беспокойном слиянии реки Реал с океаном рождается Баия.

Дюжины полторы жалких лачуг немногих рыбаков, которые обитают по эту сторону реки, постепенно перемещаются по воле ветра и песка, наступающих на них. Днем женщины ловят на отмелях крабов, мужчины забрасывают сети в море. Иногда же они отправляются за диковинным уловом, отважно преодолевая высокие, как дюны, волны на своих прочных лодках, способных противостоять мощному водяному валу и выходить далеко в море на встречу в обусловленное время с кораблем и шхунами, рассчитывая перегрузить в ночной темноте контрабанду.

Лжеторговец прибыл на моторной лодке, чтобы забрать ящики с вином, парфюмерией, отрезами итальянского шелка, английского кашемира и льна, другими товарами и получить умеренное вознаграждение за муку, кофе, сахар, кашасу[1]*, привезенные им с собой.*

Девушка позволяет мужчине подобраться к ней ближе и тут же вновь взлетает по песчаному склону, и с высоты опять раздается требовательный и робкий козий призыв. Другого изъявления любви она не знает — ни слов, ни звуков. Лишь сегодня она слышала, как козочка проблеяла точно так, завидя козла Инасио, вожака стада. Потом появился этот торговец, и девушка приняла его приглашение покататься на лодке — двадцать минут по реке, пять по волнующемуся морю вдоль великолепного пляжа Манге-Сэко. Как отказаться — сказать «спасибо, я не поеду»? Ложь! Ее соблазняла вовсе не прогулка по реке и морю, даже не эти столь любимые с детства дюны. Девушка не пытается прикинуться простодушной. Прежде она отказывалась от приглашений — торговец давно уже приставал к ней,— но нынче она сказала ему «поедем», зная, на что идет. Однако, почувствовав, как крепко он сжимает ей руку, вдруг испугалась, страх охватил ее. И все же теперь она задерживается, больше не пытается бежать.

Тиета, пастушка коз, на дюнах Манге-Сэко познала мужчину в слиянии моря и пота, песка и ветра.

ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД

Смерть и воскрешение Тиеты, или Блудная дочь

Хочу предупредить с самого начала: я не беру на себя ответственность за точность излагаемых фактов, не стану совать руку в огонь, так поступил бы только сумасшедший. И не потому, что с тех пор прошло уже более десяти лет, но главным образом потому, что у каждого — своя правда...

Запутанная история, полная противоречий и нелепостей, смогла преодолеть расстояние от заброшенного городка на границе штата до его столицы — двести семьдесят километров разбитого асфальта и сорок восемь проселочной дороги, покрытой красной глинистой пылью, въедающейся в кожу так, что ее не отмыть самым лучшим мылом,— и нашла отклик в столичной печати.

---

[1] Бразильский спиртной напиток из сока сахарного тростника. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Я излагаю факты, о которых узнал от разных людей. Если же я иногда и высказываю собственные суждения, то лишь потому, что не могу оставаться равнодушным к социальным потрясениям и бурям века, будоражащим мир. Но я осторожен, а в наше время осторожность заслуживает всяческого уважения — качество это жизненно необходимо.

Одно бы хотел я доподлинно знать в тот момент, когда поставлю точку в конце романа, и тут надеюсь на помощь читателей,— я бросаю вызов: ответьте мне, кто истинные герои этой истории, кто действительно боролся за благо родины и народа? От имени родины и народа говорят все, каждый выставляет себя их самым горячим и бескорыстным защитником. Но — мы увидим — в карманах многих ловкачей появятся деньги, а что касается родины и народа, то разбогатевшим на них наплевать.

Скажите мне, кто в этой запутанной истории, узлы которой я начинаю распутывать, достоин того, чтоб его именем была названа улица, проспект или площадь, кто заслуживает хвалебных статей, чествований, высоких званий, почетного гражданства, кто может быть провозглашен героем?

Герой — благородное слово, дающее право на всеобщее уважение.

Выпрямившись на стуле, скрестив руки на тощей груди, Перпе́туа, вся в черном, от туфель до шали,— глубокий траур она носит со дня смерти мужа,— понизив голос, высказывает мрачное предположение:

— А вдруг с ней что-нибудь случилось? — Она оборачивается к сестре и шепчет: — А если она пропала? — Ее резкий шепот звучит раздражающе: — Что, если она скончалась?

Охваченная тяжелым предчувствием, Элиза вздрагивает, перестает вытирать тарелку,— долгих два дня и две ночи она тщетно пыталась прогнать ужасное предчувствие, преследовавшее ее, лишавшее сна, державшее в крайнем напряжении.

— Ай, господи боже мой!

Перпетуа, расправив аккуратно выглаженную муаровую юбку, поясняет:

— Сегодня двадцать восьмое, считай — конец месяца. Письмо приходит всегда около пятого числа, ну, в крайнем случае — десятого. Она умерла!

Даже в сумятице утренних домашних забот Элиза выглядит красивой: смуглянка с бледным лицом, томными глазами, пухлыми губами. Под небрежной, старой, измятой одеждой вырисовывается стройное тело, крутые бедра, упругая грудь. В испуганных глазах вспыхнуло любопытство. Элиза ищет на лице сестры хоть какое-то другое чувство, помимо беспокойства из-за денег. Не находит — Перпетую явно не волнует предположение о смерти Тиеты, она опасается лишь за судьбу чека. Прекращение ежемесячных переводов пугает и Элизу: они не только потеряют необходимую помощь, но им обеим придется содержать еще отца и мать, а где взять средства? Ужас! Но нет, бог не допустит!

Ужас, конечно, однако впереди — еще худшая беда. Первое чувство страха сменила печаль, сердце сжалось. Если она умерла — всему конец, не только чекам, но и хрупкой надежде, в удел останется лишь пустота. Антониета... Она ей приходится сводной сестрой, Элиза родилась от второго, для всех неожиданного брака старого Зе Эстевеса — нет, она не сохранила о ней никаких воспоминаний, слишком мало она знала ее.

Еще недавно, особенно после замужества, в воображении Элизы отсутствующая сестра представала доброй феей, героиней сказки для малышей — ее туманный, почти нереальный образ приобретал кон-

кретные черты, явственность в ежемесячных переводах и приходивших время от времени подарках. Элиза свела воедино все: подслушанные фразы, комментарии отца и матери, крупный округлый почерк в небольших письмах, скупых на слова и скудных новостями, суть которых сводилась к одним и тем же вопросам о здоровье стариков, сестер, племянников,— письмах сухих и холодных, хотя и содержавших помимо чека объятья и поцелуи; конверты еще пахли духами даже после стольких дней странствий по почте; свертки с одеждой, малоношеной, почти новой; почетная орденская степень — комендадор, если она упоминала о муже, фотография в журнале. И со временем возник образ сестры — веселой, красивой и доброй феи, живущей в богатом и счастливом мире. Этот образ возникает тогда, когда Элиза мечтает о другой жизни, без скуки и усталости. Умерла Антониета, а что останется Элизе? Журналы с фотороманами, только и всего. Но боже мой! На что покупать эти журналы?

Сожаление обо всем, что она утратит — ежемесячные переводы, подарки, мечту,— наконец, просто тоска по умершей; полюбит ли она кого-нибудь так же, как любит ныне сводную сестру, которую в сущности и не знает? Она возражает, стремясь сохранить хотя бы надежду: Перпетуа, зловещая прорицательница, всегда предполагает самое худшее.

— Если б она умерла, мы узнали бы, кто-нибудь да сообщил нам. У нее ведь есть наш адрес, она пишет нам каждый месяц, не так ли? Должны были бы сообщить...— уже два дня, хлопоча по хозяйству, не смыкая по ночам глаз, твердит она.

— Сообщить? Кто сообщит? Разве если муж ее и семья — совсем рехнулись...

— Рехнулись? Но почему?

Перпетуа молча изучает сестру, спрашивая себя, должна ли она объяснять ей, наконец решается — так или иначе Элиза сама все узнает:

— Потому что с ее смертью мы получаем право на часть наследства. Все трое — отец и мы с тобой.

Элиза снова принимается за тарелки; откуда у Перпетуи взялась эта мысль о наследстве? Что за чепуха!

— Наследником ее признается муж, комендадор. С какой стати мы должны что-то наследовать? Отцу она, возможно, оставит немного, поскольку всегда была хорошей дочерью, даже слишком хорошей. Но нам двоим, чего ради? Когда она покинула дом, мне и года не было. А ты... разве не по твоей вине она ушла?

— Она ушла по своей воле. Я тут ни при чем.

— Не ты ли насплетничала отцу? Наболтала, а он избил бедняжку палкой, выгнал из дома, разве не так? Мать рассказала мне, как было дело, и отец подтвердил.

— Это теперь они говорят так, чтобы загладить свою вину перед ней. Как Тиета начала присылать деньги, она стала для них святой. Почему твоя мать не посочувствовала ей, когда та попала в беду? Кто избил ее, кто выгнал из дома? Я или старик?

— Если она не помнит обиды, зачем тебе понадобилось вспоминать?

— Я не со зла, просто хотела объяснить тебе, что нет у нее причины пожелать оставить наследство нам с тобой.

— От ее желания это не зависит...— Перпетуа поправила юбку, сняла с блузки невидимую соринку.— После ее смерти половина состояния остается мужу и, так как у нее нет детей, другая половина делится между родственниками, ближайшими родственниками — стариком и нами, отцом и сестрами.

— Ты хочешь сказать, что, когда человек умирает, половина того, что он имеет, достается родственникам?

— Именно...

— Значит, если ты умрешь, половину того, что у тебя есть, наследую я и отец...

— Ты не слушаешь, что тебе говорят. Такой раздел устраивают, только когда у покойного нет детей; то, что останется после моей смерти, будет разделено между моими детьми — Рикардо и Пето, моими единственными наследниками. Так уже было, когда умер мой муж, половина его наследства досталась мне, половина — детям.

— По-твоему, она умерла, а муж ее не сообщает нам, чтобы все досталось ему одному?

— А разве не может так быть? Почему она не сообщила нам своего адреса? Почему велела посылать ей письма до востребования, где это видано? Ясно — это запрет мужа, чтобы мы ничего не знали. Тебе известна его фамилия? И мне — нет. Комендадор тут, комендадор там — и все, никакой фамилии. Почему? Ты не догадываешься, а я много думала и сделала свои выводы.

Элиза тоже размышляла по этому поводу — что-то странное. Однако отсутствие адреса, фамилии, каких-либо подробностей о жизни и семье Антониеты объясняла иначе: видно, сестра простила оскорбления, не держит обиды в сердце, но все-таки и не забыла прошлого и не хотела вновь сближаться с родственниками, мелкими людьми из провинции, не хотела приобщать их к своему замечательному миру. Она помогала отцу и сестрам, как и следует поступать дочери, когда та достигла хорошего положения. Но долг исполнен, совесть спокойна, и точка, дальше — сдержанность и отчужденность. Если хотите знать, она права! Вот и все, остальное — лишь выдумка Перпетуи, она вечно придумывает всякие гадости. Если бы Антониета решила оставить что-нибудь после смерти отцу и сестрам, она бы заранее приняла необходимые меры, все подготовила бы и устроила.

— Нет, не верю. Если б она умерла, мы бы узнали.

Элиза, кончив накрывать на стол, замерла с отрешенным взглядом.

— Тиета путешествует, наслаждается жизнью. Во время ее поездок письмо всегда опаздывает. Опаздывает, но приходит. Помнишь, когда она была в Буэнос-Айресе и прислала ту красивую открытку? Такова уж ее жизнь: путешествия, прогулки, празднества. Тиета очень добра, не забывает нас, ведя такую оживленную жизнь. Случись такое со мной, я бы никогда, никогда не дала о себе знать.

Она взглянула на Перпетую, перебиравшую четки:

— Я вот что скажу тебе, и поверь, если сможешь: пусть я унаследовала бы все ее деньги и не обязана была бы делиться ни с кем, даже в этом случае я бы не пожелала ее смерти.

— А кто желает? — Перпетуа прерывает молитву, не выпуская из рук черных четок.— Но если письма больше не приходят, это явно говорит о том, что Антониета умерла. Я все на свете переверну, но разыщу ее мужа и долю свою получу.

Элиза опускает руки, голос ее снова становится безучастным:

— Завтра, как только придет автобус, я схожу на почту. Письмо получим завтра, вот увидишь.

— Да услышит тебя господь. И ты мне сразу сообщи, пришло оно или нет. Если нет, я приму свои меры.

Когда на следующий день автобус — «маринети»[1] Жаиро — прогудел на ближайшем повороте при въезде в городок, Элиза, сидя за старинным столиком, закончила подкрашивать губы и улыбнулась своему отражению в висящем на стене дешевом зеркале.

На несколько минут она забыла все свои тревоги, репетируя позы и жесты, подражая героиням фоторомансов: влюбленный взгляд, соблазнительная улыбка, страсть, доводящая до обморока, раскрываю-

[1] Популярное название автобуса.

щиеся для поцелуя уста, едва виднеется кончик языка, красного и влажного. Поцеловаться — но с кем? Она устало пожимает плечами, глаза затуманились. Элиза вспоминает о письме, пытается успокоить себя: письмо уже в почтовой сумке, его доставит автобус, сегодня оно придет непременно. А если не придет?

Накануне за завтраком Астерио, ее муж, торопливо пережевывая бобы, с полным ртом посетовал:

— Почему такая задержка? И как раз в ноябре, когда в торговле застой! Что там, черт возьми, стряслось?

Элиза сжала губы, выскажи она подозрение, сдавившее ей грудь, мужа охватила бы паника. Вялый по натуре, неспособный что-либо предпринять, он целыми днями торчит за прилавком магазина в ожидании редких покупателей, оживляясь только при виде кого-нибудь из своих партнеров по бильярду, с кем можно обсудить ставки и ход игры. Другое дело — суббота, базарный день. Распродав муку, вяленое мясо, фасоль, фрукты, а также глиняные горшки, обожженные в нехитрых печах, жители окрестных деревень и батраки с плантаций заполняют магазин, чтобы купить ткани, обувь, брюки, рубашки, безделушки, иной раз даже радиоприемник на батарейках.

Если бы Элиза передала Астерио свой разговор с Перпетуей, могла произойти одна из тех унизительных сцен, которые повторяются всякий раз при острой нехватке денег или препирательствах с поставщиками: мужа прошибал холодный пот, появлялись слабость в ногах, рези в животе, тошнота. В таких случаях он ложился в постель, стуча зубами.

Но за бильярдом он преображается, становится другим человеком. Смеется, шутит, хвастает смелостью, бесстрашно заключает пари, бросает вызов одному из лучших игроков — Асканио Триндаде, уверен в своей победе...

Элиза встает — ах, кто бы ей подарил зеркало, в котором можно было бы увидеть себя во весь рост!

И снова, пожав плечами, задает себе вопрос: чего ради она тратит столько времени, чтобы подкраситься, причесаться, выглядеть такой элегантной в перешитом платье, подаренном ей Тиетой, как и в прочих ее нарядах — каждый из самой лучшей материи и моднейшего покроя,— правда, поношенных, но очень мало, почти новых? К чему вся эта изысканность, такое старание получше подкраситься и причесаться, к чему низкий вырез в платье, обнажающий плечи и подчеркивающий грудь?

Только чтобы пройтись по пустынным улицам, встретить редких прохожих, заметить тяжелый взгляд араба Шалиты — неопрятного старика с усами, как у султана, с небритым подбородком и вечно с зубочисткой в зубах, владельца кинотеатра «Тупи» и кафе-мороженого,— или почувствовать кожей все подмечающий взгляд мальчишки Сабино, устремленный на покачивающиеся бедра недоступной жены хозяина, услышать свист хулиганистого Козлиного Духа, нищего и пьяницы, настолько испорченного и всеми презираемого, что можно бросить ему без опаски любую дерзость. Эти трое ничтожеств — вот и все. Вдобавок еще: «Добрый день, дона!» — шляпа поднята в немом приветствии; благословение викария и безудержная зависть женщин: «Похоже, ты разоделась на бал, дорогая».

Элиза скромно отвечает: «Это платье прислала мне Тиета, в нем столько вкуса и элегантности, не выбрасывать же его!» И все хором хвалят отсутствующую Антониету, щедрую сестру, образцовую дочь, неизменно присылающую каждый месяц помощь, королевские подарки — да, королевские, сеньора, каждое из этих платьев стоит огромных денег!

Элиза поручает девочке Арасй присмотреть за домом, запирает дверь на улицу и направляется на почту. Сердце сжимает предчувствие — письмо не пришло.

Один мой приятель упрекнул меня: к чему употреблять устаревшее слово «маринети» для обозначения маленького автобуса, это, мол, свидетельствует о моей отсталости. В наше время, когда мы прокладываем автострады, не уступающие лучшим дорогам за рубежом; когда строим множество промышленных предприятий; когда, следуя по пути прогресса, пробуждается новый северо-восток страны, преодолевший засухи, эпидемии, извечный голод и — не забудем — стремительно ликвидирующий неграмотность; когда печать, радио, телевидение унифицируют нравы, мораль, моды и язык, выметая, как мусор, местные обычаи, выражения, шутки, а монументальные небоскребы унифицируют облик городов, возвышаясь над историческими руинами и кварталами домов мнимой художественной ценности; когда наша народная музыка базируется наконец на универсальных мелодиях и темах, заимствованных главным образом у янки, отвергая ритмы презренного национального фольклора; когда мистика индуизма «возвышает» душу юношей в дыму алагоасской маконьи[1]; когда модерновые идеологи стараются упразднить идею слияния рас и насадить у нас белый, черный и желтый расизм, чтобы мы ни в чем не уступали подлинно цивилизованным нациям, и отпечаток насилия ложится на наше лицо, стирая с него исконное бразильское радушие, этот признак отсталости; когда искусство, осознавшее свою роль, игнорирует родную землю и человека, становясь конкретным, абстрактным, совершенно не отличающимся от европейского, североамериканского или японского; когда мы создаем новый язык для литераторов, эзотерический[2], но, конечно, крайне революционный по форме и содержанию — чем более он актуален, тем более непонятен; когда на основе цензуры и избиений мы создаем демократию, подлинную, а не ту старую, что вела страну к пропасти; когда мы чудодейственно вступаем в эпоху процветания в темпе богатых стран — производителей нефти, атомной бомбы и космических кораблей, виски и комиксов — этой вершины литературы; когда мы становимся в один ряд с великими нациями и на построенных у нас заводах производим отечественные автомобили — «мерседес бенц», «форд», «альфа-ромео», «фольксваген», «додж», «шевроле», «тойота» и т. д. и т. п.,— так вот, как в наше время осмелился автор обозвать «маринети» автобус, перевозящий пассажиров из городка Сант'Аны-до-Агресте в Эспланаду[3] и обратно? Набитый дурак, видимо, этот автор, потерявшийся во времени, среди греческих календ.

Да простят меня критики, но речь идет действительно о «маринети», о последней, возможно, машине, составляющей компанию засухам, эпидемиям, голоду, которые в сертане[4] еще упорно сопротивляются патриотическому натиску статей и речей.

Быть может, это последний «маринети», разъезжающий по дорогам Бразилии, но разъезжающий бесстрашно. Он никогда не движется быстрее тридцати километров в час — такую скорость достиг на лучшем участке дороги протяжением всего лишь в шесть километров, пролегающих через фазенду полковника[5] Васконселоса при выезде из Эспланады. На остальных сорока двух километрах машина тащится с трудом, там — проселок, доступный только для повозок, по нему не отваживаются ездить шоферы современных автомобилей, водители последних не обладают достаточной смелостью и мастерством. Только долгая практика позволяет Жаиро свершать на своем «маринети» ежедневное чудо, он привык к ямам, топям, прогнившим мата-буррос[6], головоломным спускам и поворотам. «Маринети» Жаиро появился

[1] Наркотик, производящий тот же эффект, что и опий.

[2] Тайный, скрытый, доступный лишь посвященным.

[3] Эспланада — город в штате Баия.

[4] Внутренние засушливые районы Бразилии.

[5] Почетное звание, присвоенное бразильскими крупными землевладельцами.

[6] Мост из бревен, положенных с промежутками, чтобы воспрепятствовать переходу через него животных.

здесь во время второй мировой войны. Теперь это музейный экспонат, все в нем заменено и починено. В ходовой части и в салоне автобуса сосуществуют детали самых редкостных марок и загадочного происхождения, даже есть, например, русский радиоприемник. Хитроумные приспособления, механические новшества, проволока, обрывки веревок. Широко используются старые газеты, ими закрывают окна, когда пыль невыносима. Завсегдатаи, опытные пассажиры, берут с собой подушки для сидений, сытные завтраки и бутылки с прохладительными напитками.

Жаиро обращается со своей видавшей виды машиной нежно, будто любовник; «маринети» для него источник заработка, его единственное достояние, а для жителей городка Сант'Аны-до-Агресте это единственное средство сообщения с остальным миром.

Если все идет хорошо, поездка длится три часа при отличной скорости — шестнадцать километров в час. В дождливую погоду путешествие становится более длительным, расписание — непредсказуемым. Жаиро точен в отношении часа отправления, тут он не допускает опоздания; час прибытия к месту назначения — не в его власти. «Маринети» Жаиро уже доводилось ночевать на дороге, увязнув в грязи, в ожидании упряжки быков. Для таких случаев Жаиро имеет в запасе изрядный репертуар анекдотов, а кроме того, у него есть еще старый русский приемник. Ворчливый, малочувствительный и с неустойчивой настройкой, издающий свист и треск, необычный аппарат помогает убить время, передавая музыкальные отрывки и последние известия. Но ночевки на дороге — это редкость, их можно сосчитать на пальцах. В зимний сезон поездка длится обычно пять-шесть часов.

Засуха, оспа, малярия, проказа, голод, высокая детская смертность — всего этого, я знаю, в сертане имеется в изобилии. Что же касается «маринети», Жаиро уверен, другого такого автобуса не существует.

Еще издали, прежде чем войти в почтово-телеграфное агентство, Элиза прочла на лице доны Кармозины подтверждение того, в чем была уверена: письмо не пришло. Опущенные руки, полузакрытые близорукие глаза, серьезный вид — деятельная служащая тоже переживает драму необъяснимого опоздания. Лицо Элизы становится еще бледнее, ноги наливаются свинцом, спрашивает она невнятно, слово вырывается, как стон:

— Ничего?

Пятидесятилетняя дородная женщина с широким лицом и хриплым голосом, дона Кармозина указывает на разложенную на узком столе скудную корреспонденцию, полученную в этот день:

— Ничего! Ни одного заказного письма. На всякий случай я проглядела сумку дважды, письмо за письмом. Все, что пришло,— здесь, писем очень мало. Я еще никому ничего не вручала, ты первая. Поступили газеты и журналы.— Заметив бледность подруги, она спрашивает: — Хочешь воды?

— Нет, спасибо,— произносит Элиза сдавленно.

— Что же это, а? За все годы не было ни разу такого опоздания.

— Более десяти лет,— пожаловалась Элиза.

— Одиннадцать лет и семь месяцев,— поправила дона Кармозина, скрупулезная в деталях.— Я еще помню первое письмо, словно это было сегодня. Когда я открыла сумку, сразу почувствовала запах — в ту пору она употребляла более крепкие духи, чем сейчас. Что это за письмо? — спросила я себя и пробежала фамилию получателя и обратный адрес. Оно было адресовано вашему отцу «либо кому-нибудь из членов семьи Эстевес», а отправитель — Антониета Эстевес, почтовый ящик № 6211, Сан-Пауло.

Увлеченная рассказом, дона Кармозина не ощущает удушающей

жары, проникающей через двойные двери. Задумчиво глядя на Элизу, она повторяет:

— Никогда не было такой задержки... просто странно.

Элиза чувствует тревогу в голосе подруги. Пытаясь успокоить ее, а заодно и себя, вспоминает:

— Однажды, когда она ездила в Буэнос-Айрес...

— Тогда письмо пришло семнадцатого... семнадцатого февраля, точно. Сегодня у нас двадцать восьмое ноября. Чем ты это объясняешь? Болезнью? — Маленькие глазки доны Кармозины наблюдают за Элизой, та не отвечает, плач сдавил ей горло. Она прощается, ощущая слабость в ногах, как это бывает у Астерио...

— Спасибо, Кармозина.

— Ну так что? Где оно? — спрашивает Перпетуа и сама себе отвечает с победоносным видом: — Письмо и чек — пиши пропало, мисс Баия! — Она изливает на сестру всю желчь, от которой сама чувствует горечь во рту.— На месте Астерио я запретила бы тебе выходить на улицу в таких неприличных платьях с грудью напоказ. Но теперь всем этим нарядам придет конец. Начнется бедность.

Элиза опускается на стул, закрывает лицо руками, не отвечает, а могла бы напомнить, что при дележке подарков Перпетуа не критикует платья, старается захватить себе самые изящные и смелые, чтобы продать их за хорошую цену богатым сеньорам в Аракажу [1]. Однако она молчит; ей хочется заткнуть уши, чтобы не слышать; мрачный тон сестры делает ее слова еще более жестокими:

— Я ж говорила: она умерла. Ты еще сомневаешься? — В дополнение к шипящему голосу грозно вытянутый палец.

Перпетуа знает и соблюдает условности, она требовательна во всем, что касается формальностей. Из кармана черной юбки она вынимает платок и касается им уголков глаз — хоть невидимые, это слезы траура. Она придает страдальческую интонацию своему резкому голосу, крикнув старшему сыну:

— Кардо! Иди сюда, быстрей! Ах, боже мой!

Она снова прикладывает платок к глазам — пусть Элиза увидит, засвидетельствует ее скорбь, когда предположение подтвердится и весть о смерти Антониеты станет бесспорной.

В комнату вбегает босой юноша, весь в поту. Сильный, высокий, красивый — семнадцать лет лучатся на его лице. Над верхней губой, приоткрывшейся в улыбке, тень усиков. Он в одних трусах — играл во дворе в футбол.

— Ты меня звала, мама? — заметив Элизу, добавляет: — Благословите, тетя.

Он пышет здоровьем, на лице довольная улыбка. Похоронную атмосферу в комнате не замечает. В третий раз, теперь уже для сына, Перпетуа вытирает скудные, но наконец заметные слезы. Юноша, спохватившись, становится серьезным:

— Что-нибудь случилось с дедушкой? Рано утром, когда я шел в церковь прислуживать во время мессы, видел его на рынке, он что-то покупал...

Перпетуа говорит ему:

— Пойди купи святую свечу и поставь в часовне. Твоя тетя Антониета, бедняжка...

— Тетя Тиета? Умерла?

Побежденная, но вовсе не убежденная, Элиза, подняв голову, восстает:

— Еще ничего наверняка не известно...

Перпетуа не отвечает, повторяет распоряжение:

— Делай то, что тебе сказано, я знаю, что говорю: поставишь свеч-

[1] Главный город штата Сержипе, соседнего со штатом Баия.

ку у стоп господа нашего Иисуса Христа — за душу Антониеты. Немедленно прими душ, оденься, отдых кончился.

— Иду, мама...

Он хочет добавить слово, соответствующее случившемуся, мысли его теперь обращены к неизвестной тетке, о предполагаемой смерти которой он только что узнал. Ее имя непременно упоминалось в его молитвах: разве не она присылала ему деньги каждый месяц? Когда он еще мальчиком поступил в семинарию, то получил присланный из Сан-Пауло богатый молитвенник в позолоченной обложке, с цветными буквами на тонкой бумаге, в футляре из красного бархата, красивейшая вещь — подарок тети Антониеты будущему падре. Однако этот подарок он видел лишь мельком, едва успел дотронуться до такой драгоценности: Перпетуа тут же преподнесла его епископу дону Жозе через падре Мариано. Футбольный мяч также прислала тетя Тиета; тайком от матери Кардо написал ей открытку, попросив послать мяч, причем умолял сохранить его просьбу в секрете — «если мама узнает, она с меня шкуру сдерет». И получил мяч, трусы и майку клуба «Палмейрас». У них, таким образом, была общая тайна, у него и у тети Тиеты. Он поднял голову и взглянул на Перпетую:

— Будем надеяться, что это неправда.

— Очень хорошо! За решетку их! — восклицает дона Кармозина громким голосом, в порыве воодушевления. Наконец-то нашелся независимый и достойный судья, решившийся вынести справедливый приговор, по которому канальи были отправлены в тюрьму.— Шайка убийц!

Воодушевление и негодование — без свидетелей, она одна в почтово-телеграфном агентстве в предвечерний час. Но когда команданте Дарио узнает эту новость, он будет вне себя от радости, ведь он так волнуется, когда обсуждают проблему загрязнения окружающей среды. «Всех этих типов надо отправить в тюрьму, моя добрая Кармозина, они убийцы». Команданте несколько риторичен, любит эффектные фразы. Вычурен, по определению поэта Барбозы.

Кармозина откладывает страницу газеты, она сохранит ее для команданте. Неважно, что эта газета адресована полковнику Артуру де Фигейредо, подписчику «Эстадо де Сан-Пауло» с незапамятных времен; дона Кармозина знает точно: с 1924 года. Благодаря «Эстадо де Сан-Пауло» фазендейро [1] был в курсе новостей со всего мира. Но теперь он лишь раз в несколько месяцев посылает за кипой газет, заполняющих помещение почтово-телеграфного агентства. Сам он уже не читает газеты — их с удовольствием и пользой прочитывает дона Кармозина,— но возобновляет подписку точно в установленный срок, положение подписчика сан-пауловской «Эстадо» является атрибутом его рода, и дона Кармозина, как лицо наиболее заинтересованное, вовремя напоминает полковнику об этом его обязательстве, сопровождая напоминание похвалами в адрес газеты и коз полковника.

Страницей больше или меньше, газетной тетрадкой больше или меньше — восьмидесятишестилетнему старцу уже безразлично. Его мало интересует происходящее в этом безумном мире — войны и потрясения, насилие и ненависть, сенсационные измышления: «А история о полете человека в ракете на Луну — детская сказка, хотят одурачить растяп. Что? Напечатано в газете, на первой странице «Эстадо»? И все же я не верю, Кармозина, я стар, но еще не выжил из ума». Хотя усадьба его фазенды — не более чем в километре от городской черты, полковник редко показывается в муниципальной палате Сант'Аны-до-Агресте, в которой он председательствует, где он был муниципальным советником, членом муниципального совета, депутатом муниципальной палаты, избиравшимся и переизбиравшимся бесчисленное множество раз, экс-интендантом и экс-префектом. Зато,

[1] Помещик.

когда он появляется в городе, обязательно заходит к почтовому агенту.

— Кармозина, расскажи мне, что ты вычитала в моей газете. Но только не смей врать...— угрожает он палкой, старик еще умеет шутить.

Дона Кармозина осторожно складывает газетный лист так, чтобы статья была на виду, важный материал — наверху страницы, крупный заголовок: «ИТАЛИЯ ПРИГОВАРИВАЕТ К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ТЕХ, КТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ЕЕ МОРЕ». Команданте будет доволен. Барбозинья также интересуется этой проблемой, жалуясь на «неизбежный вред, сопутствующий прогрессу», но команданте Дарио еще более радикален в критике и осуждении «порожденного прогрессом безумия, ведущего к отравлению всего человечества и угрожающего жизни на земле, моя добрая Кармозина!». Драматически распростерши руки, он восклицает:

— Если не положить этому конец, дети вскоре будут рождаться зараженными раком! Посмотрите на Японию...

Чтобы избежать причин и следствий и наслаждаться, пока есть время и место, радостями жизни, он отказался от многообещающей карьеры в военно-морском флоте, повесил форму в гардероб своего бунгало, сменив костюмы на шорты и морские тельняшки на шик пижамы, когда отправлялся на пляж, а в городе носил брюки со спортивной рубашкой. Вот это жизнь! В благословенном климате Агресте, в несравненной красоты Манге-Сэко. В раю.

— Хороший урок! — повторила еще раз дона Кармозина, прежде чем отдаться решению кроссвордов и логогрифов.

Когда Антониета, побитая и выгнанная из дома, уезжала на грузовике, одна лишь Кармозина пришла с ней попрощаться. «Пойди скажи своей подруге — до свидания»,— велела ей мать. У Тиеты на лице виднелись следы вчерашнего избиения, лиловые синяки на ногах, но она не жаловалась. «Может быть, это послужит для моего же блага»,— сказала она. И угадала.

За последние одиннадцать лет и семь месяцев редкий день дона Кармозина не вспоминала о ней. Со дня получения первого послания она просматривала — письмо за письмом — всю переписку между Сант'Аной-до-Агресте и почтовым ящиком № 6211 в Сан-Пауло. Была в курсе всех дел, знала больше, чем сами сестры Тиеты, намного больше. Черпала сведения непосредственно из писем и восстанавливала пропущенное путем логических построений. Дона Кармозина не заслуживала бы жалованья и привилегий своей должности, если бы не была специалисткой по вскрыванию конвертов, беглому чтению писем и приведению их в первозданный вид.

Помимо благословения от старого Зе Эстевеса в каждом письме содержались жалобы на трудности жизни, похвалы дорогой сестре и вопросы любопытствующих сестер и шурина. Антониета отвечала короткими записками — крупные буквы на дорогой, роскошной бумаге с тисненым готическим А,— которые Элиза и дона Кармозина прочитывали вместе, здесь же, в почтово-телеграфном агентстве.

Эта долгая переписка, теперь внезапно прекратившаяся, видимо из-за тяжелой болезни или смерти Тиеты, имела аспекты, заслуживавшие внимания и изучения, например, отсутствие полного адреса отправительницы в Сан-Пауло: улицы, номера дома, а также квартиры, если она жила в большом здании,— один лишь почтовый ящик, холодный и анонимный.

А муж? Без возраста, без лица, неосязаемый. Имя, звание, род занятий, седая шевелюра на фото в журнале. Дона Кармозина потратила немало времени на анализ и прояснение увлекательной загадки. Собирая данные, косвенные факты, строя предположения.

Помимо семейных новостей в письмах к Тиете были вопросы: что она, Антониета, делает? Каков ее полный адрес? Эти вопросы остались без ответа, Антониета ограничилась сообщением, что она, слава богу, здорова, замужем и счастлива, хотя у нее и нет детей. Относительно мужа, его имени, профессии, возраста — ни слова. Адрес? Нет лучшего, более надежного, чем почтовый ящик № 6211; вся корреспонденция, посылаемая туда, попадает в ее руки.

Более десяти лет переписка между Тиетой и ее семьей поддерживалась регулярно: одно письмо в месяц с каждой стороны. Сумма на присылаемом чеке возрастала, причем не только из-за инфляции. Когда у Элизы родился мальчик и дона Кармозина подчеркнула в письме трудности Астерио, Тиета добавила к ежемесячной помощи отцу сумму на воспитание родившегося ребенка и на его будущее образование. Так же она поступила, когда Перпетуа написала ей драматическое и единственное в жизни искреннее письмо, в котором оплакивала кончину своего прекрасного мужа, оставившего ее вдовой с двумя сыновьями на руках и в нужде. Она жаловалась на высокую квартирную плату, намекала на необходимость иметь пусть минимальные сбережения в банке, но Тиета, хотя и уяснила происшедшую перемену в судьбе сестры, посылала обеим одинаковую сумму: правда, у Перпетуи было двое детей, затруднения Элизы она считала куда более тяжелыми. Начали поступать посылки с поношенной одеждой, подарки к рождеству и дням рождения, но о самой Антониете и ее муже они мало что узнали. Очень мало, почти ничего, но для доны Кармозины и этого оказалось достаточно, чтобы сочетать разрозненные данные и распутать узел.

Лет девять назад — точнее, девять лет и девять месяцев — в карнавальном номере журнала «Маншете» дона Кармозина узнала Антониету, хотя волосы ее были крашены перекисью, на фотографии «участников карнавала в разгаре веселья на балу в театре «Эксельсиор» в Сан-Паулo». Да, это была она, как раз в центре снимка, счастливая, с влюбленным видом прильнувшая к пожилому, судя по его седой шевелюре, сеньору. К сожалению, кавалер был виден лишь со спины: она же была снята анфас, рот в улыбке, лицо открытое и озорное, красивая сеньора, совсем уже не та бесшабашная девчонка, отъезд которой в кузове грузовика запомнила Кармозина. Она стала красивее, формы сделались более пышными. Впрочем, Тиета никогда не была худышкой, фигура ее и раньше отличалась привлекательностью.

Дона Кармозина созвала всю семью — это была сенсация. Перпетуа кивнула головой, соглашаясь: Антониета, нет сомнения; пополнела и выкрасила волосы. Старый Зе Эстевес тоже узнал дочь:

— Она хорошо выглядит с крашенными по моде волосами. Благослови тебя господь, дочка! — Он вызывающе посмотрел на двух других дочерей. Хотел бы он видеть, кто осмелится критиковать ее. При нем — никогда!

Элиза разволновалась, раньше ей было трудно представить себе, какова она, сестра, теперь это проще, в костюме одалиски, она такая красивая. Весть об открытии в журнале, переданная в письме Элизы, принесла первый результат — в ответном письме Тиета назвала имя мужа: тот, кто держал ее в объятиях, исполняя па карнавальной самбы, был Фелипе, ее обожаемый супруг. Однако фамилию Фелипе она не назвала.

Несколько позже в письме, посланном из Куритибы[1], она упомянула о делах Фелипе, промышленника, владеющего предприятиями в штате Парана. В другой раз, попросив извинения за задержку с отправкой чека — неделя опоздания,— она сослалась на болезнь комендадора, у изголовья которого преданная супруга проводила все время. Итак, Фелипе — промышленник, комендадор.

---

[1] Главный город южнобразильского штата Парана́.

Для Перпетуи этого было достаточно; впрочем, ей достаточно было и чека, остальное не имело особого значения, хотя целыми часами она обсуждала с Кармозиной скрытность сестры: та стыдится нас, боится, как бы мы не стали злоупотреблять ее добротой. В сущности, уклоняется она не без причины. Дона Кармозина знает это лучше всех. Тиете пришлось бежать из дома — здесь не бордель! — избитой по доносу старшей сестры. Она еще слишком добра, если забыла обиду: донос, избиение, айвовый посох,— соглашалась дона Кармозина. Что же касается причины ее скрытности и недомолвок, на этот счет почтово-телеграфный агент втайне построила собственную теорию и умалчивает об этом.

Она собрала данные, намеки, следы — занятие, достойное Эркюля Пуаро[1]. Дона Кармозина разгадала тайну окончательно, когда начали поступать посылки с элегантными платьями, изящными юбками и блузками различных размеров. Причину различных размеров Антониета объяснила в короткой фразе: она, мол, посылает почти новую одежду свою и падчериц. Падчериц, запомните хорошенько. То есть дочерей комендадора Фелипе, но не ее, у нее нет дочерей. Ясно как божий день, дона Кармозина — Шерлок Холмс! Кто в Агресте сравнится с ней, превзойдет ее по уму?!

Прекращение брачной связи — шесть букв! — развод.

Развод, но в Бразилии нет развода — до чего же отсталая страна! — или разрыв супружеских отношений, вот верное и исчерпывающее объяснение, другого нет.

Столь незамысловатая загадка потребовала немало времени для ее разрешения из-за отсутствия данных и задержки со сбором минимальных сведений.

Разрыв супружеских отношений, но не развод — одно из вернейших доказательств отсталости Бразилии, ее слабого развития; дона Кармозина с возмущением вступала в долгие споры с падре Мариано, с учительницей Карлотой Алвес, с доктором Кайо Вилласбоасом: подумайте только — врач с университетским дипломом, и такие реакционные взгляды! Человек связан с другой особой на всю жизнь, даже после фактического разрыва супружеских отношений, и не имеет возможности снова вступить в брак! Дона Кармозина познакомилась со статистическими данными о числе супружеских пар в Бразилии, состоящих в сожительстве — ужасное слово! — миллионы! Живя как супруги, признанные и принятые в обществе — сеньор и сеньора такие-то,— они лишены тем не менее законных прав. Жена? Нет — сожительница. Дона Кармозина нашла ответ, и очень простой. С минимумом данных, путем дедукции она решила загадку: Антониета живет с богачом как жена, не будучи таковою на самом деле. Принятая его семьей, в том числе и дочерьми — она упоминала не раз о падчерицах и племянницах комендадора,— но не имеющая возможности узаконить союз, поскольку комендадор лишь фактически, а не юридически разошелся с прежней женой. Тиета знает о предрассудках Агресте — отец может встретить ее в темноте у открытого окна с палкой в руке: шум разбудит всю улицу. Вот она и отмалчивается по поводу своего брака. И правильно делает.

Дона Кармозина забывает обо всем этом, завидев следующего со стороны базара команданте Дарио. Она встает, подходит к двери, делает ему знак. Как только он приблизился, она стала размахивать перед ним газетной страницей.

— Я приберегла для вас, почитайте. Наверняка вам будет интересно.

Команданте берет газету. Дона Кармозина указывает на статью.

[1] Сыщик, главное действующее лицо в романах английской писательницы Агаты Кристи.

Он начинает читать про себя, текст, несомненно, захватывает его, и он принимается читать вслух:

— «...политические преобразования, происходящие за последнее время в Европе, привели к тому, что прошло почти незамеченным событие, важное для тех, кто отстаивает сохранность окружающей среды во всем мире: приговорены к тюремному заключению президент и четыре директора крупнейшего предприятия итальянской химической промышленности — компании Монтэдисон, обвиненные в загрязнении вод Средиземного моря...»

Лицо команданте расплывается в широкой улыбке:

— Этот судья — просто молодец! Смелый итальянец! — Он продолжает чтение: — «...объект спора — завод по производству диоксида титана в Скарлино, его открытие было встречено с воодушевлением бедными жителями этой тосканской провинции, теперь же на заводе систематически бастуют до 500 рабочих...»

Пока он читает, к ним подходит поэт Барбоза и останавливается послушать. Команданте настоятельно предлагает повторить чтение сначала, дабы друг его не упустил и малейшей подробности: в Италии объявился наконец-то сильный судья!

— Прослушай внимательно это место: «Один из защитников обвиняемых, адвокат Гаравента, воспользовался таким аргументом: дирекция завода всегда действовала в соответствии с разрешениями административных инстанций. Каково будет, в случае осуждения виновных, мнение граждан об администрации, которая выдала эти разрешения?»

— Удачно аргументировано! — прерывает Барбоза.— Люди ведь действовали на законных основаниях, с разрешения властей...

— Какие еще законные основания? Ничего подобного! Представители власти — подлецы, они снюхались с чудовищами, жадными до денег. Послушай дальше: «Аргумент, однако, не испугал судью Вильетту, принадлежащего к новому поколению молодых судей, не пасующих перед сильными мира сего». Браво, судья!

— Но если люди действовали по закону...

— По какому закону? Закон применил судья — слушай и не прерывай, поспорим потом, если хочешь: «Он опирался на итальянский закон от 14 июля 1965 года...» — Теперь команданте сам прервал чтение, чтобы прокомментировать: — Совсем недавний закон, а! Наконец-то начинают издавать нужные законы...— Он вновь принимается читать: — «... редко применяемый, предусматривающий наказания для всех, кто сбрасывает в море вещества, чуждые тем, что входят в нормальный состав естественных вод, вещества, представляющие опасность для рыб и вызывающие химическое или физическое изменение водной среды».

Он продолжил чтение до конца — дона Кармозина слушала с горячим воодушевлением, Барбоза же внимал с рассеянным видом.

— «Своим вердиктом судья Вильетта решил предупредить всех, кто, принимая моря за помойку, угрожает гибелью Средиземному морю». Молодец, судья! Такие нужны во всем мире, начиная с Сан-Пауло! Сеу[1] Барбоза, мы не отдаем себе отчета в преимуществах жизни в нашем райском уголке, созданном богом и, к счастью, забытом людьми! — Он повернулся к доне Кармозине: — Могу я оставить у себя эту газету, Кармозина?

— Я вырвала эту страницу специально для вас...

Пока команданте складывал газетный лист, Барбоза спросил дону Кармозину:

— Что случилось с Тиетой? Я слышал, будто она умерла...

— Не дай бог, но... кто знает? Однако все говорит за то.

— Кто умер? — поинтересовался команданте.

— Антониета, Тиета, вы ведь знаете ее?

[1] Уменьшительное от «сеньор».

— Конечно, знаю... с ней что-нибудь случилось?

— Похоже, умерла. Сведений еще нет.

— Вот увидите, что это от рака — всему виной загрязнение воздуха в Сан-Паулу. Чего стоят одни автомобили, тысячами изрыгающие газы...

Он прощается:

— Спасибо за статью, Кармозина. Благодаря этому судье у меня стало легче на душе.

Перпетуа пришла незадолго до семи. Она оставила Рикардо готовить уроки, в понедельник парень возвращается в семинарию сдавать письменные и устные экзамены. Не успела Перпетуа занять место на соломенном стуле, лучшем в доме, у двери кто-то захлопал в ладоши и послышался звучный голос доны Кармозины. Выражение лица Перпетуи стало замкнутым: что же такого интересного может быть здесь для Кармозины, если она даже пожертвовала посещением кинематографа — святым для нее делом? Вечно сует нос куда ее не просят, лезет поучать, рассуждает о предчувствиях, выставляет напоказ свой ум и проницательность, экая всезнайка!

Элиза поспешила навстречу подруге:

— Ты пришла почти одновременно с Перпетуей.

Не ожидая приглашения, дона Кармозина приступила к делу, захватив инициативу в разговоре:

— На улице ни о чем другом не говорят. Я много думала, мне всегда казалась история с семьей мужа Тиеты очень странной. Ты, Перпетуа, не учла кое-чего, что может навести на след. Она вам писала о падчерицах, не так ли?

— Да, половина наследства идет семье мужа.

— Так я говорю не о наследстве, этого наследства вообще не существует.

— То есть как это?

— А вы подумайте минутку и поймете: Тиета жила или живет с этим сеньором комендадором как жена, но не в законном браке, он наверняка просто разошелся с прежней женой. Супружеская пара, как тысячи других в Бразилии. В подобном случае лишь его семья имеет право на наследство. Только так можно все это объяснить.

На Перпетую это, однако, не подействовало:

— Теоретически — вполне возможно. На самом же деле — чепуха.

— У тебя есть объяснение получше?

— Безусловно, и у меня есть доказательства.

— Доказательства, какие же это?

— Она замужем, в законном браке, церковном и гражданском. Могу поручиться и докажу это.

— Хотела бы я верить.— В голосе доны Кармозины появилось легкое колебание.

Из глубины кармана Перпетуа извлекает конверт, а из конверта — газетную вырезку:

— Ты, Кармозина, столько читаешь газет за чужой счет, а вот это наверняка не прочла.

Держа вырезку в руке, Перпетуа не торопится:

— Месяца два назад я ездила в Аракажу, узнать, как учится Рикардо. Навестила там дону Нисию, жену доктора Симоэнса. Та дала мне посмотреть другую сан-пауловскую газету, «Фолья да манья», страницу с новостями из жизни важных персон. И, указав на одно сообщение, сказала: «Думаю, это о вашей сестре». Потом вырезала заметку и отдала мне.

Перпетуа откашлялась, но прежде чем приступить к чтению, сообщила:

— Я заметила дату газеты — 11 сентября, нет еще и трех месяцев...

Перпетуа начала медленно читать:

— «Комендадор Фелипе де Алмейда Коуто и его супруга Антониета приглашают своих бесчисленных друзей и знакомых на мессу по случаю пятнадцатилетия их брака, которую будет служить в епископальной церкви падре Эужению Мело, в свое время венчавший их. Вечером Антониета и Фелипе с обычным для них радушием распахнут для гостей двери своего особняка. Из столицы специально для участия в празднествах прибудет министр Лима Фильо, который, будучи в свое время судьей в Сан-Пауло, оформил их гражданское бракосочетание. Торжество продлится до глубокой ночи, с танцами и ужином в полночь».

Вырезка переходила из рук в руки присутствовавших, ко всеобщему облегчению.

Перпетуа посмотрела вызывающе на дону Кармозину:

— Ну, что ты мне скажешь теперь?

И тут вмешалась Элиза, взволнованная донельзя:

— Значит, ты знала фамилию ее мужа и ничего не сказала нам?— Элиза подумала о мессе, особняке, празднестве.

— Знала, уже более двух месяцев. Рассказывать тебе, а зачем?

Астерио пришел в возбуждение и предложил Перпетуе:

— Давай поедем с тобой в Эспланаду, поговорим с судьей...

— Поговорим с судьей? О чем? — спросил Зе Эстевес.

— О наследстве. Половина ведь наша.

Перпетуа объяснила:

— Да, отец. Одна половина принадлежит его семье, другая — нам, семье Антониеты.

— Я тоже поеду, хочу узнать все как следует.

— Не нужно никому из вас ездить. Я поеду одна, так лучше. Поговорю с судьей от имени всех, без лишнего шума. Потом решим, что делать.— А прежде решила изгнать побежденную дону Кармозину:— И своей семьей, без посторонних.

Выпрямившись на стуле, выставив грудь вперед, Перпетуа, с пучком, венчающим прическу, занимает место главы семьи.

В конце этой недели для обитателей Агресте Тиета умерла и была как бы погребена в обстановке всеобщей подавленности. Не будет отступлением от истины сказать, что все население городка участвовало в заочном ее отпевании.

Слезы и молитвы, печаль и угрозы, сочувствие и похвалы, проекты и соболезнования. Злопамятные люди с трудом скрывают удовлетворение: приходит, мол, конец незаслуженному благополучию Зе Эстевеса, о буйном прошлом которого они хранили воспоминания и даже шрамы.

Старые кумушки, святоши неопределенного возраста, завидев Перпетую, окружают ее, расточая хором похвалы по адресу покойной, замечательной дочери и сестры, помогавшей семье, способствовавшей ее теперешнему благосостоянию. Даже те, кто не мог забыть грехи Тиеты в молодости, признают, что она отличалась сердечностью, добротой и любезностью, на лице у нее всегда была веселая улыбка, девушка охотно помогала людям, а что говорить об ее изяществе и красоте... А дона Милу резюмировала все в одной фразе:

— Она никогда не сделала никому ничего плохого, а добро, которое творила, было безмерным.

Все признавали, что никто не поднялся так высоко, не достиг такого успеха, возвысив до вершин славы имя безвестного и прозябающего в упадке городка Сант'Аны-до-Агресте, как Антониета

Эстевес, блиставшая в высшем свете Сан-Пауло, единственная из всех, выставлявшая напоказ богатство, щедро тратя деньги; имя ее даже печаталось в газетах Юга.

Вечером в воскресенье, в час благословения, никто больше не поддерживал хрупкую версию Элизы, что Тиета, дескать, путешествует, наслаждается жизнью в Нью-Йорке или Париже, в Сен-Тропезе или Барилоче.

Благословив народ, падре Мариано, не желая брать на себя ответственность за не вполне подтвержденное известие, коснулся с явным огорчением печальной версии, обсуждаемой на улицах. Он с похвалой отозвался о чистом сердце той, которая, снискав все блага мира, все же не забыла далекую семью и край, где она родилась. Взволнованный, он открыл верующим, что большое прекрасное гипсовое изваяние богоматери Сант'Аны, торжественно водруженное в церкви три года назад вместо старого деревянного барельефа, источенного червями и не имевшего ни материальной, ни художественной ценности,— дар Антониеты, а не безвестного прихожанина, как было сказано в свое время.

Некоторые молились за душу покойной — в то, что она пребывает в добром здравии, никто не верил.

Тиета воскресла во вторник, в пять двадцать вечера, и только тогда семья заговорила о трауре. В тревогах, возникших из-за отсутствия чека и выяснения шансов на получение наследства, некогда было подумать о трауре. Да в нем и не было необходимости. Умерла, и делу конец. Какая была бы польза Тиете от черных одеяний родственников?

Во вторник «маринети» опоздал: прокол двух баллонов, мотор глох через каждые пять километров... В результате дона Кармозина открыла почтовую сумку лишь к вечеру.

Тем же рейсом Перпетуа вернулась из Эспланады, куда ездила вместе с Рикардо, пересевшим там на автобус в Аракажу. Судья принял ее после обеда и в конце беседы похвалил за усердие, которое она проявляет в отстаивании интересов детей, отца и сестры. «Для себя я ничего не хочу, достопочтенный, но за права своих сыновей, сестры и старика отца я буду бороться до самой смерти». Бедная, одинокая и самоотверженная, она произвела хорошее впечатление на судью.

Из поездки Перпетуа привезла солидный багаж сведений и советов. В Сан-Пауло, сказал ей судья, она легко найдет адвоката, который возьмется за это дело. Придется оплатить его услуги, исходя из полученных доходов, если дело, как сейчас представляется, имеет реальные шансы на успех. Они берут, конечно, большой процент. Сколько же? Он не мог сказать точно: возможно, сорок или пятьдесят процентов. «Сколько? Это уж слишком!» — «Дорогая сеньора, они просят дорого, это верно, но ведь и риск велик». Газеты Юга публикуют объявления адвокатских контор, которые работают на такой основе. Существуют даже специалисты по так называемым безнадежным делам, гонорар в таких случаях достигает семидесяти не то восьмидесяти процентов.

Судья перечел еще раз заметку, вырезанную из «Фолья да манья». «Семья Алмейда Коуто — люди влиятельные, моя сеньора, принадлежат к высшему обществу, у них много денег, их род очень древний. Если ваши сведения окажутся верными, как вы, сеньора, утверждаете, дело можно считать выигранным. Вероятнее всего, никакого дела вообще не будет, вы сразу придете к соглашению, такие важные люди предпочитают не быть замешанными в судебные тяжбы. Вам и вашей семье нужен лишь хороший адвокат».— «Бог вам воздаст, достопочтенный, за время, потраченное на бедную вдову...»

По возвращении Перпетуа договорилась с отцом и Астерио о совместных расходах на поездку; Пето она оставит с Элизой, взяв с собой Рикардо, у которого через неделю начнутся каникулы. В Эспланаде уточнит стоимость проезда на автобусе в Сан-Пауло, сядет в Фейре-де-Сант'Ана [1]. Ни цена билетов, ни прочие расходы, ни расстояние, ни опасности большого города — ничто ее не пугает. Ей ведь не удалось побывать в Салвадоре [2] с покойным мужем, как они было собирались, Перпетуа чувствует, что у нее сжимается сердце при воспоминании об этом. Но разве она не ездила одна в Аракажу, чтобы поблагодарить епископа после зачисления Рикардо в семинарию? Ездила неоднократно и всякий раз благополучно возвращалась, что же тут опасного? Сан-Пауло, конечно, далеко находится, на Юге, чуть ли не всю страну надо проехать, крупный современный город, но уж не настолько он больше, страшнее. Аракажу тоже колосс.

Перпетуа была еще в ванной, стараясь смыть с себя пыль, когда дона Кармозина открыла сумку с заказной корреспонденцией. Там было одно-единственное письмо от Антониеты. С радостным возгласом дона Кармозина, не разобрав остальную почту, выскочила на улицу и бросилась к дому Элизы с письмом в руке, как с флагом, развевающимся на ветру:

— Пришло, Элиза, пришло!

— Слава богу!

Они вскрыли конверт, в нем содержался чек и сенсационные новости: да, смерть была — нет дыма без огня. Но умер, оказывается, комендадор, причем покойный был вовсе не Алмейда Коуто с четырехсотлетней геральдикой. Им оказался не менее богатый сан-пауловский промышленник комендадор Фелипе Кантарелли, «мой незабвенный супруг, который был для меня почти отцом, кончина его оставила меня безутешной вдовой». Чтобы хоть как-то отвлечься от горьких дум, она решила повидать семью и, возможно, приобрести дом в городе, участок на побережье, желательно ближе к Манге-Сэко, где она могла бы в будущем коротать свою старость и дожидаться смерти в благодатном климате Агресте. В заключение Антониета извещала о своем скором приезде: «Я сообщу заблаговременно и возьму с собой Леонору, мою падчерицу, дочь от первого брака Фелипе».

— Она приедет, Кармозина! Она приедет, как хорошо! — Элиза тоже ожила.

Спешно созванные, собрались все родственники и друзья: отец и Астерио, пришедший из бара в сопровождении кучи приятелей, Перпетуа, притащившая Пето за ухо.

Дона Кармозина, как если бы она была главой семьи, стоя, торжественно прочла письмо — Астерио тут же завладел чеком, чтобы получить по нему деньги.

Услышав содержание письма, Перпетуа уже не стала вспоминать о советах судьи, о намечавшейся поездке в Сан-Пауло, о наследстве; при живой Антониете, вдове-миллионерше, положение менялось, надо было приспосабливаться. Перпетуа воскресла и, оглядев собравшуюся семью, скомандовала:

— Как бы там ни было, покойный был нашим родственником, зятем, шурином и дядей. Мы должны заказать мессу за упокой его души и носить траур. Когда наша дорогая сестра прибудет, мы должны ее встретить одетые в черное, страдая вместе с ней. Я-то знаю, что она переживает, мне знакомы страдания вдовы.

---

[1] Городок в штате Баия.

[2] Главный город штата Баия

ВТОРОЙ ЭПИЗОД

О счастливых санпауловках в Сант'Ане-до-Агресте, или Веселая вдова

— Я думаю, козы здесь не ощущают ни солнца, ни этого зноя, ни жара, исходящего от камней, раскаленных солнцем, не ощущают благодаря своей густой шерсти. Ни они, ни я.

На камнях под солнцем неподвижны козы, словно каменные изваяния. Внезапно они срываются с места и уносятся одна за другой. Забираются на самые высокие холмы в поисках травянистых лужаек.

— Я ходила за ними, пасла их. Козы меня знали, я давала имя, прозвище каждой из них; звала, и они откликались. Мне приходилось заботиться о них — особенно если какая-нибудь коза обдиралась о колючки, я лечила ее, накладывала кресс на раны.

— Сколько лет тогда было тебе, Мамочка?

— Думаю, лет в десять я стала их пасти. В десять или в одиннадцать... Я как раз кончила начальную школу.

Ей больше нравилось солнце, раскалявшее камни и иссушавшее землю, кактусы, змеи, ящерицы, кваканье лягушек в ручейке, леса, покрывавшие вершины холмов, заросли травы, козы, тогда как старшая сестра предпочитала заниматься домашним хозяйством.

— Перпетуа родилась старой; не знаю, как ей замуж-то удалось выйти. Молоденькой девчонкой она забивалась в ризницу вместе со старыми ханжами, была самой заядлой святошей из всех. Для нее я — дьявол во плоти...— Тиета рассмеялась: — Она была права, я не принадлежала к людской породе.

Пока народ обсуждает волнующую новость о предстоящем возвращении блудной дочери, богомолки в церкви и бездельники в баре оживленно комментируют это событие, почтово-телеграфное агентство празднично украшено. Воспользуюсь случаем, чтобы выразить свое мнение: приезд Тиеты с самого начала благотворно повлиял на родной городок, вывел его из маразма, в который он был погружен столько лет.

Прогресс за последние десятилетия лишь наносил удары по Агресте. Первый, и самый страшный: сооружение железной дороги Баия — Сержипе, прошедшей в стороне отсюда. Городок попытался удержаться, используя для перевозок корабли и шхуны, но транспортировать товары в железнодорожных вагонах было проще и гораздо дешевле. Исчезли караваны волов, шаланды гнили у берегов, редкие моторки и парусники перевозили лишь контрабанду. Занятия жителей Агресте вновь ограничились выращиванием маниоки и разведением коз.

Народ утратил всякую надежду, молодежь покидала город на «маринети» Жаиро — и юноши, и девушки, а в последние годы и женщины стали искать лучшей жизни в более богатых краях. Они превращались в горничных или в кухарок, в швей и вышивальщиц, немало их осело в злачных местах Салвадора, Аракажу, Фейры-де-Сант'Аны. Там их, кстати, высоко ценили...

Один лишь Асканио Триндаде не теряет надежды на чудесное спасение Агресте. Он любит этот край — здесь он родился и сюда вернулся из-за болезни отца, бросив обучение на факультете права. Сейчас, казалось бы, ничто уже не связывает его с Агресте — отец наконец умер после нескончаемых пяти лет, в течение которых был прикован к постели. После его похорон, два года назад, Асканио мог бы при желании уволиться с поста секретаря префектуры, куда устроил его крестный отец, полковник Артур де Фигейредо, увидя, что тот остался один с парализованным отцом на руках и без гроша в

кармане. Уволиться? Зачем? Чтобы вернуться в Салвадор, возобновить обучение на факультете? Для этого не было, конечно, средств, но главную роль сыграло отсутствие у него желания.

В первый год после смерти отца Асканио и думать ни о чем другом не мог, кроме возвращения. Но когда его возлюбленная, оставшаяся в Салвадоре, сообщила ему, что в ближайшее время, несмотря на их помолвку, выходит замуж за другого, он поклялся: ноги его не будет в городе, где жила изменница.

Он привык к жизни в Агресте, тут у него было все самое лучшее: вода, воздух, пейзаж, повседневное общение с друзьями. Он не мог лишь примириться с отсталостью, бедностью и маразмом. Голова у него полна была планов, он не позволял себе предаваться унынию.

Убогий и заброшенный край, Агресте не интересовал даже политиков, впрочем, и они — вымирающее племя. Префектом города числился доктор Мауританио Дантас, хирург-дантист, силы которого были подорваны пережитыми неприятностями и склерозом; он заперся у себя дома, и всем фактически распоряжался Асканио. По общему согласию, предполагалось, когда доктор уйдет в мир иной, на освободившееся место поставить Асканио, сделав его префектом, если возможно, пожизненно.

Асканио, не имея фактически на то бюджета, если не считать федерального налога за аренду и скудной помощи от правительства штата, содержал город в чистоте, застлал улицы и переулки галькой с реки, открыл две муниципальные школы и ныне добивается с помощью официальных ходатайств перед властями и писем в газеты и на радиостанции, чтобы к Агресте протянули линию электропередачи.

Во всем муниципальном округе нет более уважаемого гражданина, ни к кому не относятся с большей благосклонностью. Девушки на выданье не спускают с него глаз. Асканио исполнилось двадцать восемь лет; чего же он ждет, не выбирает невесту? Ведь став префектом, он уже не сможет посещать дом терпимости Зулейки...

Не раз дона Кармозина ставила перед ним эту проблему, когда он заходил к ней в почтово-телеграфное агентство. В Агресте так много красивых и одаренных девушек, и все жаждут выйти замуж. Он только улыбается своей грустной улыбкой. Другая? Никогда. Разве что в один прекрасный день с «маринети» Жаиро сойдет красивейшая из девушек, самая чистая и самая обворожительная. «Сердце мое умерло для любви, дорогая дона Кармозина».

Собравшись группами в четырех-пяти местах близ кинотеатра у конечной остановки «маринети» Жаиро, все ожидают, когда с поворота у въезда в городок послышится сиплый клаксон. В церкви под руководством падре Мариано готовятся к встрече мальчики из церковного хора в праздничной одежде, здесь же Перпетуа и сын ее, семинарист в сутане с молитвенником, улыбающийся, сильный и рослый парень, у него сейчас каникулы. По церковному двору снуют богомолки; они готовы к великому событию — приезду богатой вдовы; хотят увидеть ее в трауре и слезах, в объятиях семьи, а с ней падчерицу, чужеземку.

В баре «Азорские острова», за исключением хозяина в рубашке с засученными рукавами, все — в пиджаках и галстуках. Перпетуа потребовала от Астерио, чтобы для церемонии встречи Тиеты он облачился в строгий траур и держался с сокрушенным видом.

Почтово-телеграфное агентство полно народа: команданте Дарио с женой, поэт Барбоза, побрившийся в знак уважения к бывшей возлюбленной, Асканио Триндаде, представляющий префектуру, и Элиза в черном воздушном платье из числа поношенных туалетов, пришедших в посылках от Антониеты. Раньше она выставляла напоказ сме-

лое декольте, сегодня платье приобрело вполне благопристойный вид, оно закрыто до горла — требование Перпетуи, надзиравшей за одеяниями встречающих.

— Ты хоть грудь прикрой. Это платье скорее для бала, чем для траура, но поскольку другого черного у тебя нет, так уж и быть. Старик-то наш чуть не затеял празднество, хотел пригласить полгорода. Она приедет, оплакивая смерть мужа, а тут вместо траура ее встречает веселье, представляешь себе?

Чтобы цветы не завяли, дона Кармозина поставила букет в кувшин с водой. Поддавшись рассуждениям Перпетуи, она поспорила с матерью — может быть, цветы неуместны при встрече убитой горем вдовы, которая только что надела траур. Дона Милу не стала даже слушать: «Вручи ей цветы и скажи, что это я их послала. Если мы преподносим цветы усопшим, почему же вдова не вправе получить букет?»

— Боже мой, похоже, она никогда не приедет? — Элиза, как ни старается принять сокрушенный вид, не может сдержать волнения, в котором смешиваются радость и страх.

Безмерная радость от предстоящего знакомства с сестрой-красавицей, богатой, элегантной, принадлежащей к высшему обществу, живущей в Сан-Пауло, их покровительницей. Опасение же — из-за опрометчивой лжи: в свое время она скрыла от сестры смерть своего сынишки Тониньо, чтоб прикарманивать и дальше ежемесячную субсидию. Дона Кармозина постаралась ее успокоить.

— Ну что мне ответить, когда она спросит про Тониньо?

— Ответь правду. Сошлись на то, что это я посоветовала тебе не рассказывать, об остальном я позабочусь.

— Простит ли она меня?

— Я знаю Тиету, она и значения не придаст этому. Положись на меня...

С опозданием на два часа и десять минут наконец прозвучал клаксон «маринети» Жаиро, все засуетились. Перпетуа и падре Мариано командуют парадом. «Маринети» появляется в конце улицы. Слышится первое, правда несколько преждевременное, всхлипывание.

В первом ряду — семья; печаль выражена взглядами, слезами, одеждой. Выступил на шаг старый Зе Эстевес, жующий табак. За ним остальные родственники, все в трауре, священник, мальчики из церковного хора, влиятельные персоны, дона Кармозина с букетом в руках, веселые краски цветов не гармонируют с траурным крепом и плачем. «Эта особа, чтобы выделиться, пренебрегает самыми святыми чувствами»,— негодует Перпетуа, лицо которой закрыто вуалью, приколотой к пучку на затылке. Далее — богомолки и прочее население.

«Маринети» приближается; Жаиро за рулем, пассажиров немного. Разговоры смолкают. Пето привстает на цыпочки — как только тетка высадится, он удерет, чтобы сбросить башмаки. «Маринети» останавливается, устало ворча. Из двенадцати пассажиров последними в дверях появляются тетя Антониета, а за ней девушка. Перед ними успевает соскочить Жаиро с чемоданами и сумками долгожданных путниц.

Неужели это она? Пето охвачен сомнением. Не может быть! Ведь тетя должна быть в трауре, с черной вуалью на лице, как у его матери, не может быть, чтобы это была она — эта киноактриса, эта Джина Лолобриджида. В двери автобуса на ступеньке — величественная Антониета Эстевес. Ослепительная, высокая, пышная, с длинными белокурыми волосами, ниспадающими из-под красного тюрбана. Такого же красного, как и трикотажная спортивная блузка, простая и элегантная, подчеркивающая упругость высокой груди, которая выглядывает из низко расстегнутого ворота. Синие джинсы «Lee» обтягивают бед-

ра и ягодицы. На ногах — изящные гаванские мокасины. Единственная темная деталь во всем одеянии вдовы — очки с дымчатыми квадратными стеклами. Изумление длится какое-то мгновение, нет — огромное время, вечность...

Пето торжествующе восклицает:

— Мама, тетя не в трауре. Значит, я могу снять башмаки и галстук?

Антониета замерла на ступеньке автобуса: перед нею семья в черных одеяниях по случаю смерти Фелипе, незабвенного супруга, а она, вдова,— в синем и красном, в открытой блузке, в джинсах «Lee», боже мой, как она не подумала о трауре? А вроде бы предусмотрела каждую мелочь, тщательно обсудила все с Леонорой. И вот — забыла самое главное. Но Зе Эстевес выплевывает пережеванный табак и протягивает к блудной дочери руки:

— Дочь моя! Я уж думал, никогда больше не увижу тебя, но бог ниспослал мне это утешение перед смертью.

С высоты ступеньки «маринети» Антониета узнает отца. Отца и его посох. Тот самый посох, что прогуливался по ее спине в памятный день. В горле рождается слабый смешок; не в силах сдержать его, она вздрагивает; когда смех непроизвольно вырывается наружу, Тиета едва успевает закрыть лицо руками, прежде чем сойти со ступеньки. Все бросаются утешать плачущую вдову, блудную дочь, с трудом подавляющую рыдания в объятиях отца,— волнующее мгновение! Даже Перпетуа не сдержалась. Элиза и плачет, и смеется, она вдруг почувствовала облегчение, ведь сестра точь-в-точь такая, какой она себе ее представляла. Одна дона Кармозина удивилась курьезному звуку, вырвавшемуся из уст вдовушки, но все же приближается с цветами, так удачно сочетающимися с ярким дорожным костюмом Тиеты.

В то время как Тиета переходит из объятий в объятия, оспариваемая сестрами, шурином, племянниками; «Снимай башмаки, мой красавчик, не стесняйся», плененная бесчисленными поцелуями, слезами Элизы, в дверях «маринети» возникает самая красивая, самая нежная и самая обворожительная девушка, «воплощенная молодость, сильфида», как тут же провозгласил поэт Де Матос Барбоза. Остановившись, она наблюдает волнующую сцену, тоже растроганная. Очаровательная, в своих джинсовых брюках и берете из той же материи, в венце белокурых волос, посеребренных пылью. Пето узнал в ней настоящую героиню из ковбойских фильмов. Восторженный шепот пронесся по улице. Тиета, высвободившись из объятий Элизы, представляет:

— Леонора Кантарелли, моя падчерица, все равно что дочь.

Дона Кармозина поворачивается к Асканио Триндаде и замечает его восхищение. Ну, как теперь, дружище? Лицо Леоноры озаряется нежной улыбкой, адресованной всем, особенно же Асканио, оторопело взирающему на нее.

— Закройте рот, Асканио, и помогите девушке сойти,— приказывает дона Кармозина.

Асканио выходит вперед, подает Леоноре руку: «Добро пожаловать на земли Агресте, бедные, но полезные для здоровья и живописные; простите нам нашу отсталость и отсутствие удобств». Рикардо становится на одно колено, чтобы испросить у тетки благословения, но та поднимает его и заключает в объятия, целуя в обе щеки.

— Пошли, дочь моя,— приглашает Зе Эстевес, предлагая ей руку и опираясь на посох.

— Ко мне домой,— пытается командовать Перпетуа среди сколков нарушенного траура.

Вина на ней, ни на ком больше. Как могла она вообразить Тиету в трауре по мужу? Она приравняла сестру к себе, будто деньги, высшее общество, брак с сан-пауловским богачом, комендадором, могли исправить ту, что родилась непутевой, восстающей против законов и человеческого достоинства...

Антониета Эстевес-Кантарелли берет отца под руку, оглядывается по сторонам, улыбается богомолкам, арабу Шалите, команданте и его жене, Жаиро, мальчишке Сабино и всем остальным.

В начале переулка Трех Марий у площади Главной церкви кортеж останавливается.

— Пришли,— объявляет Перпетуа.— Заходите.

— Это твой дом?

Перпетуа приписала удивление сестры солидным размерам дома. Ее охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, она рада, ведь не помирает с голода, ведь она не жалкая нищенка. Но вместе с тем, что подумает Тиета, не сочтет ли она нахальством ее просьбу о ежемесячной помощи на воспитание сыновей? Перпетуа решает дать необходимые объяснения:

— То был дар господний, ниспосланный небом. Мой покойный муж, майор, заплатил гроши за этот дом со всем содержимым.

Друзья стали прощаться, обещая нанести визит в скором времени.

Прежде чем принять ванну, Антониета предупредила:

— Пока мы будем жить здесь, все расходы по дому — за мой счет.

Перпетуа хотела было протестовать, но ей не удалось, богачка оборвала всякую попытку спора:

— В противном случае мы забираем чемоданы и отправляемся в пансион Аморзиньо.

— Ну, если так, я не стану возражать,— поспешила согласиться Перпетуа.

— Так где же наша комната?

— Твоя здесь, Тиета, это спальня. Комната Леоноры — эта,— указала Перпетуа.— Кардо, Пето, отнесите чемоданы. Астерио, помоги и ты.

Окно спальни выходило на переулок Трех Марий, напротив, через коридор, был расположен кабинет.

— А в кабинете кто-нибудь спит?

— Рикардо.

— Я, тетя. Если ночью что-нибудь понадобится, достаточно кликнуть меня.

Смуглый, высокий, крепкий, он в своей сутане пышет здоровьем и невинностью. Живи он в Сан-Пауло, носил бы волосы до плеч, не мылся бы, сделался бы заядлым курильщиком маконьи, как сыновья стольких их знакомых,— Тиете надоело выслушивать грустные истории. Она улыбнулась племяннику:

— Если бука захочет меня унести, я покричу тебе.— Она была тронута всеобщим вниманием и любезностью: — Мы причинили вам столько хлопот.

Астерио, Рикардо и Пето, уже снявшие башмаки, принесли чемоданы и пакеты.

— Осторожнее с этой коробкой, Пето. Тут кое-что хрупкое. Впрочем, лучше вручить это сразу же.

Антониета взяла объемистый пакет, положила его на обеденный стол, ее обступили охваченные нетерпеливым любопытством родственники:

— Сувенир для твоего дома, Перпетуа.

Всеобщее восхищение и аплодисменты. Из груди Перпетуи вырывается возглас глубокого восхищения подарком, она давно о нем мечтала, только этот больше и красивее. Господь вдохновил Антониету: в коробке гипсовый барельеф Иисуса Христа. На волосах, на лице, на руках, на одеянии все цвета радуги... Тиета вздыхает:

— К счастью, довезли благополучно. Это для твоей гостиной, Перпетуа.

— Ах, какая дивная вещь! У меня прямо сердце зашлось. Не знаю, как тебя и благодарить, сестра!

Церемония вручения остальных подарков состоялась после обеда, это был настоящий праздник: служанка Араси убрала тарелки, сняла скатерть, Антониета попросила Рикардо и Астерио принести из спальни большой синий чемодан, единственный оставшийся еще нераспакованным. Его водрузили на стол, Астерио взялся открыть его. Нервозные смешки, вся семья в ожидании, непослушный Пето вытягивает шею, чтобы заглянуть внутрь чемодана. Леонора тоже принесла из своей комнаты дорожную сумку и, открыв молнию, держит ее на коленях, будто сказочную шкатулку с сюрпризами.

Зе Эстевесу — самый лучший подарок: золотые наручные часы в роскошном футляре.

— Обрати внимание, отец, на марку. Тебе ведь всегда хотелось иметь «Омегу», я помню, как завидовал ты большим часам полковника Артура де Фигейредо. Кстати, он еще жив?

— Жив и здоров. Он скоро появится, всегда справляется о тебе,— сообщает дона Кармозина.

— У меня уже нет того тщеславия, дочь моя. Ни тщеславия, ни часов, свои я разбил, и починить их не удалось. Теперь я снова смогу узнавать время. С твоим приездом становлюсь опять человеком.

Леонора сунула руку в сумку:

— А вот транзистор для вас и доны Тоньи, чтобы вы могли слушать музыку.

— И вы позаботились о нас, девушка! Радио? Кто будет доволен, так это Тонья, не так ли, жена? Она мне все уши прожужжала, чтобы я купил ей...

— Больше нашего...— прошептала Элиза мужу.— Может, отец поменяется с нами?

Обмен не понадобился, так как Антониета извлекла из чемодана внушительный аппарат со множеством кнопок, выдвижной антенной и вручила сестре: «Это вам с Астерио, лучшая модель».

— Пресвятая богородица! Тиета, это уж слишком! — Элиза осыпала ее поцелуями.

— А бумажник — тебе, Астерио, храни в нем деньги, выигранные на пари в бильярде. И вот еще кое-какая мелочь для тебя, Элиза.

Полный набор косметики. Кремы, краски, разные принадлежности для грима. «Столько всего, боже мой, я упаду в обморок!» — «Попробуйте перламутровую губную помаду»,— посоветовала Леонора.

Таково было это вечернее празднество — музыка, смех, поцелуи. Как сумела она угадать вкус, желание каждого? Как узнала о подвигах Астерио на бильярде? Про мечту Кардо об удочке, спиннинге, нейлоновой леске, об искусственных приманках? Как догадалась? Дона Кармозина хитро улыбалась, слыша неоднократно повторявшиеся вопросы,— видимо, божественное провидение! Пето получил снаряжение для подводной охоты — маску, ружье, ласты. Обоим юношам Леонора преподнесла чайные чашки с портретом короля футбола — Пеле. Для Астерио — галстук. Мантилья свинцового цвета — подарок Перпетуе от Леоноры. Элизе — модное кольцо с огромным камнем янтарного цвета, еще одна сенсация того вечера!

Никому и в голову не пришло, что Тонья будет забыта, поскольку она мачеха. Помимо радиоприемника она получила юбку и блузку, привезенные Тиетой; ожерелье из синих и лиловых камней — сувенир от Леоноры. Доне Кармозине достался изящный набор дешевых украшений — бусы, браслет и кольцо. «В самом деле нравится?» — спрашивает Тиета. «Я просто в восторге». В восторг ее привела и шариковая ручка с разноцветными стержнями: «Спасибо, Нора, считайте меня навсегда своей подругой». Доне Милу — пара колод пластмассовых,

моющихся карт для пасьянса и итальянская шаль. Даже маленькая Араси, застывшая у порога кухонной двери, получила брошку в форме сердца к праздничному платью. Она, хоть и крайне редко, посещает утренние сеансы в кино.

«Дароносица для церкви, взгляни, Перпетуа. Как ты думаешь, понравится она падре?» — «Конечно, понравится, что за вопрос!»— «Это чтобы искупить все грехи мои разом»,— смеется Тиета, игриво откинув голову. Рикардо трудно представить себе ее грешницей. Какая же святая соединяет в себе радость и благочестие?

Забавно! Он не почувствовал себя ни разочарованным, ни обманутым оттого, что живший в его воображении облик тетушки оказался совершенно иным, удивленно думает Рикардо. Он снимает сутану, облачается в фуфайку и становится на колени помолиться и поблагодарить бога, внушившего Антониете, какой именно подарок ему хотелось бы получить. Удочку спрятал, чтобы не дать Пето первому обновить ее — у брата нет никакого уважения к чужой собственности, он совершенный анархист.

Помолившись за здоровье тетки, Рикардо растягивается в гамаке. Горящий в спальне огонь озарил коридор возле кабинета. Он слышит, как Антониета направляется в ванную. Вместо почтенной старушки — настоящая тетя, веселая, блистательная, а он почему-то считал, что она старше матери. Абсурд! Рикардо слышал, как она объявила Барбозе свой возраст: «Сорок четыре, мой поэт. Здесь я не могу соврать — все знают. Прошло двадцать шесть лет с тех пор, как я уехала, а мне тогда едва исполнилось восемнадцать. В Сан-Пауло я говорю, что мне тридцать пять; ну как, дадите больше?»

Мать, он знает, преуменьшает свой возраст. Благочестивая и строгая, она не допускает лжи, и все же, когда ей приходится объявлять свой возраст... Сколько лет ей на самом деле — указано в свидетельстве о рождении, запертом здесь, в письменном столе, вместе с документами на дом, патентом отца, его военным билетом, грамотами за отличия по службе. Тиете незачем отрекаться от своего возраста — она красива. Что там красива, Рикардо подыскивает более подходящее слово — красотка...

Шаги в коридоре, тетя возвращается из ванной. Об ее приближении возвещает запах духов, тех самых, какими пахнут ее конверты.

Антониета несет эмалированный таз, полный воды. В темноте коридора она наступает на подол длинного пеньюара, спотыкается, покачнувшись, едва не падает. Рикардо вовремя подбегает, чтобы поддержать ее, взять у нее таз и отнести в спальню.

— Спасибо, мой дорогой.— С задорной улыбкой она смотрит на племянника, выглядящего огромным в своей длинной ночной рубашке.— Ты спишь еще в рубашке?

— Вот перейду в начале года в старший класс и буду спать в пижаме...— отвечает он горделиво.— Мать купит ее мне перед самым отъездом в семинарию.

Под полураспахнутым пеньюаром короткая розовая сорочка скорее подчеркивает, чем скрывает прелести тети, Рикардо отводит взор, ставит таз на край умывальника.

— Пододвинь сюда умывальник и налей в него немного воды,— просит Антониета, усевшись перед зеркалом трельяжа, где она расставила различные кремы, флаконы с какими-то цветными жидкостями, вату, множество пузырьков и баночек. У тети Элизы нет и половины всего этого, а мать вовсе не пользуется косметикой после смерти отца.

Он наливает воду и направляется к двери. Тетка наблюдает за ним.

— Ты уходишь, не испросив у меня благословения?

— Благословите, тетя. Дай вам бог спокойной ночи. — Он опускается на одно колено. — Спасибо за удочку.

— Нет, не так. Я хочу ближе и с поцелуем.

Кардо целует ей руку, она берет в ладони его лицо и целует в каждую щеку. Запах духов поднимается от ее груди. Сам того не желая, Рикардо видит или угадывает эту белую грудь, выглядывающую из сорочки.

Он ложится в гамак, свет продолжает гореть в комнате тетки, снимающей косметику, проникает в кабинет через щель в двери. Рикардо всегда спит крепко — едва коснется подушки, глаза сами закрываются,— сегодня он не может заснуть. Не потому ли, что гамак чужой, как знать? Точно такое же смятение охватило его в момент прибытия «маринети», когда он увидел тетку, выходившую из автобуса; облик ее был совершенно противоположен тому, который он вообразил себе в час получения вести о смерти Тиеты. Лучше помолиться. Он поднимается с гамака и становится на колени: «Отче наш, иже еси на небеси...»

Утром во время завтрака Перпетуа сообщила, что месса за упокой души комендадора состоится в субботу в восемь часов, а торжество освящения барельефа Иисуса Христа — в воскресенье в одиннадцать. Антониета встревожилась: если не удастся умерить пыл старшей сестры, им с Леонорой придется провести весь свой отпуск в церкви — прощайте тогда и купанье на пляже, и прогулки.

— Месса? Мы уже заказали богослужение в Сан-Пауло. На седьмой день и через месяц. Несколько месс.

— Это не имеет значения — чем больше, тем лучше для его души. Как мы будем выглядеть, если не отслужим ни одной мессы? Я, Элиза, старик. Что скажут о нас люди?! Только сегодня падре Мариано повторил: мы должны позаботиться о его душе. Падре превозносил тебя до небес. Благодаря дароносице.

— Ты сегодня уже успела повидаться с падре? В котором же часу?

— Я никогда не пропускаю шестичасовой мессы. Ни я, ни Рикардо, когда он здесь. Он помогает падре во время службы.

Рикардо, пользуясь случаем, просит разрешения снять сутану и в трусах пойти на реку попробовать спиннинг. Антониета отвечает:

— Конечно, сынок. Иди поиграй. Можешь не возвращаться до обеда.

— Спасибо, тетя.— Он быстро уходит, чтобы мать не успела запротестовать.

— Забавно, твой сын учится на священника, я никак не привыкну к этому. Днем он в сутане, ночью в длинной рубашке. А ведь он уже мужчина, Перпетуа. Я куплю ему пару пижам.

Она возвращается к разговору о мессе:

— Экая досада! Хорошо бы провести конец недели в Манге-Сэко, показать Леоноре пляж, присмотреть там участок — думаю купить. Хотела условиться сегодня с команданте, он приглашал нас в день приезда.

— Я тоже поеду, тетя. — Пето в трусах, с ластами и маской в руках поджидает брата.

— В эту субботу не получится. Вам же нельзя отсутствовать на мессе. Да и на освящении барельефа Иисуса Христа. Это святые дела, они поважнее, чем пляж и купанье в море,— настаивает Перпетуа.

Антониета, сдерживаясь, подавляет в себе раздражение.

Леонора — в шортах, облегающих бедра и выставляющих напоказ стройные ножки, в блузке, обтягивающей лишь груди, талия гола («Ах, эти нравы Сан-Пауло, разве можно мальчишкам смотреть на такое бесстыдство!» — Перпетуа перебирает четки в кармане юбки). Улыбаясь, девушка успокаивает Тиету:

— На пляж, Мамочка, поедем в другой день. Дона Перпетуа права, месса важнее.— Она улыбается Перпетуе: — Мамочка всю дорогу только и говорила что о Манге-Сэко. Но месса священна.

— Ты права, Нора. Я все упрямлюсь, как старая коза. Когда мне чего-нибудь хочется, я уже не владею собой. Мы поедем в Манге-Сэко в конце следующей недели.

Во второй половине дня они в обществе Рикардо (одетый в сутану, он сопровождает тетю) отправились в дом Элизы.

На улице им повстречался Асканио Триндаде. Случайно или намеренно оставил он префектуру на съедение мухам? Куда это они собрались? Есть прекрасное место для прогулки: там вон подальше река, расширяясь, образует небольшой затон, где стирают прачки,— дивное место, называется оно Бассейн Катарины. «Сегодня — нет, нам надо еще зайти на почту, мы обещали Кармозине».

Из окон высовываются старые девы и девицы на выданье, чтобы получше рассмотреть приезжих, следят за каждым их шагом, каждым жестом, обсуждают наряды. «Ты бы осмелилась так одеться?» — «Я? Думаю, нет».— «А я бы оделась, если мать разрешит».— «Тиета привезла Элизе мини-юбку, но та еще не отваживается выйти в ней». Переполох в баре, давка в дверях. Даже хозяин сеу Мануэл покинул свою стойку — тоже ведь человек. Леоноре все это кажется крайне забавным.

Асканио сообщают, что поездка в Манге-Сэко откладывается, и он получает приглашение на мессу за упокой души комендадора. Однако Тиета предоставляет ему полную свободу:

— Если не хочется, не ходите. Вообще вся эта история с мессой затеяна зря, просто так принято. Сам-то Фелипе питал подлинное отвращение ко всему, что пахло смертью, покойником, кладбищем, мессой седьмого дня. Я бы предпочла поехать в Манге-Сэко, но Перпетуа настаивает — ничего не поделаешь.

Асканио никак не реагирует на разногласие во мнениях между сестрами. Однако насчет мессы?..

— В ближайшее воскресенье? Буду непременно. Я уже вернусь к тому времени.

— Вы уезжаете? — удивилась Леонора.

— Куда? — поинтересовалась Тиета.

— Еду в Пауло-Афонсо похлопотать насчет электрического освещения. Сейчас от новой гидроэлектростанции проводят линии электропередачи во все районы штата и только три города оставляют без электричества — и наш Агресте в том числе. Это, с моей точки зрения, неоправданная дискриминация. Может быть, я все же сумею убедить их включить и нас в число облагодетельствованных. Я уже обращался с ходатайствами повсюду — никакого результата. Некоторые не удосужились даже ответить. Решил теперь поговорить лично с директором электростанции. Возможно, в разговоре с глазу на глаз добьюсь исправления этой несправедливости.

— Вы пробудете там долго? — Вопрос Леоноры прозвучал как просьба. «Не задерживайтесь, возвращайтесь поскорее, я вас жду»,— говорили ее глаза.

— Нет, я еду только на пару дней. Отправляюсь на «маринети» завтра, в тот же день проеду дальше — от Эспланады до Пауло-Афонсо. Пробуду там послезавтрашний день и в четверг обратно. Быть может, с хорошей вестью для Агресте.

— Мне нравятся такие решительные люди, как вы,— заявила Тиета.— Поезжайте, боритесь и убедите его, привезите нам свет, в котором Агресте так нуждается.

— Он добьется своего! — воодушевляется Леонора.— Я буду болеть за вас.

— Если я до этого готов был драться, то теперь и говорить нечего.

Асканио почувствовал себя странствующим рыцарем, отправляющимся на поле боя ради своей Дульцинеи. Вернувшись с победой, убедив далеких и суровых директоров и инженеров в исторической необходимости провести электричество в Агресте, в блестящих туристических перспективах которого он не сомневается, осуществив столь трудную задачу и выиграв нелегкое сражение, он положит к ногам Леоноры обретенный в бою трофей: блистательный свет гидростанции, который заменит нынешнее мерцающее освещение от генератора с движком, установленного еще его дедом Франсиско Триндаде, который был здесь интендантом в незапамятные времена.

— Мне надо идти. До свидания.

— До четверга, не так ли? Я буду ждать,— говорит Леонора, нежно глядя.

— Конечно, до четверга. Но, если вы позволите, я зайду еще сегодня вечером к доне Перпетуе, чтобы проститься.

— В самом деле. Заходите. Обязательно,— поспешно приглашает девушка.

Достигнув площади, Асканио оборачивается, Леонора машет ему, он отвечает. Тиета шутит:

— Уже завоевала префектуру, а, козочка? Симпатичный парень.

— Прелесть...— соглашается смущенная Нора.

У двери почтово-телеграфного агентства дона Кармозина протягивает руки, приветствуя гостей:

— Входите, девочки, я вас ждала.

Команданте Дарио встает поздороваться, затем вновь погружается в чтение заметки на первой странице «Тарде» и с негодованием комментирует:

— Нельзя, чтобы правительство разрешило подобный абсурд. Директора такого же точно предприятия, связанного с каким-то диоксидом титана, были приговорены в Италии к тюремному заключению. Судья молодец, засадил их всех за решетку.

— Какое предприятие? Объясните мне, пожалуйста, команданте.

— Да вот пишут, что в Рио-де-Жанейро основана компания, которая будет строить в Бразилии завод... что-то там насчет диоксида титана. Это чудовищно!

— Почему? Расскажите подробнее.

— Все, что связано с диоксидом титана, больше всего загрязняет окружающую среду. Достаточно сказать, что во всем мире насчитывается лишь шесть таких заводов. Ни одного в Америке — ни в Северной, ни в Южной. Ни одна страна не хочет иметь эту гадость на своей территории.

— Неужели так опасно?

Дона Кармозина вмешивается:

— Дайте Тиете прочитать вырезку из «Эстадо». «Эстадо де Сан-Пауло», кстати, газета, издающаяся в твоем теперь родном городе,— пошутила она, смеясь,— опубликовала статью, в которой рассказывается, что один судья в Италии приговорил директоров такого завода к тюремному заключению за преступное загрязнение окружающей среды.

— За преступное загрязнение окружающей среды? Хорошо бы в Сан-Пауло посадить кое-кого в тюрьму, пока городу не пришел конец.

— Самое плохое,— добавляет команданте,— что, как утверждает газета, бразильские власти не разрешают строить завод на юге страны. Они хотят, чтобы он был на северо-востоке. Всегда так: хорошее достается Сан-Пауло. Северо-востоку же — одни отбросы.

— Понимаете, команданте, в Сан-Пауло загрязнение окружаю-

щей среды уже достигло таких размеров, что его невозможно переносить.

— До чего же мы дойдем? К счастью, наш укромный маленький рай, Агресте, далек от всего этого...

Леонора пользуется случаем польстить патриоту:

— Мамочка всегда говорила, здесь необычайно красиво, но я не ожидала, что настолько. Тут просто замечательно!

— Вы еще мало видели...— загорается дона Кармозина.— Пейзажи Агресте не уступают Швейцарии. Вот побываете в Манге-Сэко, скажете свое мнение.

— Когда вы собираетесь в Манге-Сэко? Вы должны остановиться только у нас в «Тещиной лачуге», мы с Лаурой убедительно просим,— приглашает команданте.

— Большое спасибо. С удовольствием погостим у вас, пока не куплю участок и не построю собственную хижину. Это будет скоро, очень скоро,— отвечает Тиета.— Мы собирались поехать в субботу и провести там воскресенье. Но Перпетуа заказала мессу за упокой души Фелипе, а потом будет освящать образ Иисуса Христа у себя в гостиной.

— Тиета привезла для Перпетуи великолепный барельеф. Может, в Баие и найдется еще такой же, но я сомневаюсь,— рассказывает дона Кармозина.

— Взгляну сегодня вечером, я хотел бы нанести вам визит вместе с Лаурой. Что же касается Манге-Сэко, то наш домик к вашим услугам, когда пожелаете. Там у нас каждый день — воскресенье.

Компания все увеличивалась — прибыл Амантас и сразу же задал вопрос команданте:

— Сеу Дарио, что это за история? Мне передали, будто в Манге-Сэко появилась летающая тарелка, все, мол, ее видели.

— Да-да, рыбаки мне рассказывали. Кое-кто уверяет — наблюдали-де странный предмет, с шумом летавший над пляжем и кокосовой рощей. Я думал, не самолет ли, но клянутся, что нет — они уже насмотрелись на самолеты и ошибиться не могут.

— По-моему,— шутит Амантас,— рыбаки видели отражение в небе какой-нибудь лодки с контрабандой... Эта история с летающей тарелкой — чистое надувательство.

— Нет,— отвечает Дарио.— Рыбаки — не дураки, да и зачем им меня обманывать? А о контрабанде мне уже надоело слышать, и уж если ее доставляют, то по ночам. Что-то они несомненно видели и слышали. Что — не знаю, но это вполне могла быть и летающая тарелка. Или вы не верите в их существование? Я верю...

Гости расходятся. Тиета и Леонора спускаются по ступенькам и идут по улице. Предзакатное солнце освещает двух женщин, ласкает и золотит их тела, как бы обнажая их, сумеречный свет будто растворил легкие ткани восточных халатов невероятных фасонов, вывезенных из стран мечты и фантазии.

Вечером гостиная в доме Перпетуи переполнена. По просьбе Тиеты Пето заказал в баре большое количество пива, гуараны [1], кока-колы. Тетя Антониета — новый идол Пето, она оттеснила всех героев приключенческих фильмов и комиксов.

Беседа ведется непринужденно на самые разные темы: моды Сан-Пауло, парики, прозрачные ткани, брюки в обтяжку, сандалии, вызвавшие в Агресте сенсацию.

Тиета обращается к Асканио:

— Туризм в Агресте? Вы считаете это возможным?

[1] Популярный в Бразилии прохладительный напиток, приготовляемый из семян кустарника гуарана.

— А почему бы нет? Здесь есть целебная вода, уже брали пробы. Результаты — замечательные, у меня в префектуре имеется копия акта, если вас это интересует. Изучается возможность разлива этой воды в бутылки. Климат такой, что излечивает любую болезнь. Ну, а пляж... где есть лучше?

— Верно, пляжа, подобного Манге-Сэко, я не видела нигде. Копакабана, побережье Сантоса не идут ни в какое сравнение. И все-таки, ну и что? Впрочем, я умолкаю, не хочу вас лишать надежды. Правда, денег нужно много, очень много...

— Я уже говорил Асканио: оставь Манге-Сэко в покое, пока мы живы...— подытожил команданте.

— Я собираюсь купить там участок, построить летний домик. Это одна из причин моего приезда: приобрести землю в Манге-Сэко и дом здесь в городе — я хочу закончить свои дни в Агресте. Пока не перееду сюда насовсем, в доме смогут жить отец и Тонья, они будут присматривать за ним. За этим я и приехала, да еще чтобы вывезти эту бедняжку из задымленного Сан-Пауло,— она указала на Леонору.— Девочка стала такой анемичной в той испорченной атмосфере.

— А правда, Тиета, что загрязнение воздуха в Сан-Пауло, как пишут газеты, становится невыносимым?

— Страшное дело. Есть места в наиболее зараженных зонах, где дети умирают, а взрослые слепнут. Бывают дни, когда трудно различить цвет неба.

— И все-таки я хотела бы жить там,— вызывающе заявляет Элиза.

Леонора с застенчивым видом мягко возражает:

— А я очень хотела бы поселиться здесь. Если бы я могла, то никогда не уехала бы отсюда. Тут я легко дышу, живу, мечтаю. Там — нет, там работают день и ночь, ночь и день. Работают и умирают.

Асканио захотелось воскликнуть: «Бис! Повторите эти слова, они восхитительны. Ах, если бы только она не была богатой...»

В первую ночь, сраженная усталостью от поездки на «маринети» — столь тяжкого испытания, а также переживаниями от встречи, Тиета, сняв, наконец, косметику, растянулась в постели и проспала всю ночь без просыпа; сон восстановил ее силы. Сколько же лет она уже не ложилась в девять вечера? Еще молоденькой девчонкой встречала она зарю в укромных уголках Агреста.

Однако на следующий вечер, когда около одиннадцати часов распрощались последние пары, Тиета, улегшись в постель, не могла заснуть. У дверей они с Леонорой еще раз пожелали Асканио успеха в его гражданской миссии в Пауло-Афонсо.

— Поезжайте и одержите победу...— напутствовала его Тиета.

— И возвращайтесь...— добавила Леонора.

Амintас, напротив, настроен пессимистически в отношении результатов поездки:

— Свет от гидроэлектростанции? Чепуха, и думать об этом нечего! Край, забытый политиками, муниципий с малочисленными избирателями, без руководителя, умеющего настоять на своем, повлиять на дирекцию, добиться переговоров напрямую с президентом компании и с федеральными властями. Нет, Агресте суждено и далее влачить свои дни при скудном освещении от движка, хорошо еще, если он будет работать. Потом мы вернемся к коптилкам и свечам,— с тревогой предсказывает он.— Асканио заслуживает всяческих похвал, человек он настойчивый, не сдается. Но у него нет политического влияния, нет веса в глазах авторитетных лиц, увы, это правда. Не так ли, Асканио?

— Это действительно так,— соглашается секретарь префектуры. Но все же он не откажется от попытки...

Гости расходятся. Леонора прощается с Тиетой:

— Я прямо с ног валюсь, так хочется спать. Спокойной ночи, Мамочка, я в восторге.

— Вот и прекрасно! А то я боялась, тебе уже наскучило здесь.

У себя в спальне Тиета открывает окно, выходящее в переулок, вглядывается в ночную темень, поднимает взор к звездному небу. В молодые годы она знала названия многих звезд.

Тушит лампу, ложится. Но куда подевался сон? Вот она здесь, снова в Агресте, в поисках девчонки Тиеты, пастушки коз. Она прошла долгий путь, ступала по камням и чертополоху, сбивала себе ноги и ранила сердце, прежде чем подняться, начать зарабатывать, копить деньги и вкладывать их в стоящие дела по советам Фелипе, обзавестись собственностью и стать хозяйкой самой себе. Все эти двадцать шесть лет она представляла себе, как вернется в Агресте, мечтала об этом дне.

Тиета вспоминает замешательство встречающих, когда они с Леонорой вышли из «маринети», и на лице у нее появляется улыбка: семья в глубоком трауре, она же выставила напоказ красную блузку и тюрбан, Леонора — синие джинсы, что за бессердечные и жестокие жена и дочь! Когда пришли домой, она объяснила все в довольно резкой форме: «У меня траур в сердце, это дело интимное: страдание от разлуки не выставляется для виду, как и тоска; я понимаю это так, но каждый, конечно, волен думать как ему угодно и поступать соответственно». Отец поддержал ее, и даже Перпетуа заявила, что не собирается критиковать Антониету и, дескать, уважает ее точку зрения.

Бедная Перпетуа! Чего только она не натерпелась за вчерашний и сегодняшний день! Ей стоит немалых усилий выглядеть внимательной, терпеть вторжение в свой дом, мириться с нарушением стольких устоев.

Тиета думает о поклонниках. Решив поехать в Агресте, она представляла, как прижмет к груди малыша Элизы, ведь она обожает детей. Но выяснилось, что он умер,— Кармозина объяснила еще в письме молчание сестры: «Больше всех виновата я, а вернее, ее бедность; без ежемесячной помощи Элиза лишилась бы многого, она солгала по моему совету». Тиета простила, но не забыла. Остались двое ребят Перпетуи: сейчас в постели, отгоняя сон, Тиета думает о них.

Младший — мошенник, лукавый, хитрющий. Не спускает глаз с нее и Леоноры, любуясь их голыми ляжками, разглядывая в декольте округлость грудей. Он еще не достиг зрелого возраста, но разве есть здесь точные пределы?

Зато Рикардо — пример скромности и стыдливости, он все время старательно отводит взор, боясь согрешить, нарушить обет. Этакий верзила — и в длинной ночной рубашке! Тиета, вспоминая о нем, кусает губы. Цыпленок, он не дошел еще до нужной точки. Будь он женщиной, уже дымился бы; мужчина созревает позже, особенно если на него надеть сутану, оскопить его страхом божьим, грозить адским огнем. Младший, тот начнет рано; судьба Рикардо — оставаться невинным, какое безобразие!

Окажись он побойчее, тетка научила бы его приятным вещам. Но он еще слишком зелен. Тиете никогда не нравились юнцы, она всегда предпочитала мужчин старше себя.

Тиета, Леонора и Элиза дожидаются в почтово-телеграфном агентстве прибытия «маринети». Это ожидание, встреча пассажиров — одно из самых волнующих развлечений в Агресте. Всегда собираются зеваки, вертящиеся у двери кинотеатра, где Жаиро останавливает свою машину. Прочие остаются в засаде, в баре, а люди с положением беседуют с доной Кармозиной.

Но вот «маринети» гудит на повороте, в этот четверг он каким-то чудом прибывает почти точно по расписанию, опоздание ничтожно —

всего-навсего двадцать пять минут; Жаиро принимает поздравления от пассажиров. Тиета, Леонора и Элиза двинулись было навстречу Асканио, но тот, выйдя раньше всех из автобуса, ускоренным шагом удаляется в сторону своего дома.

— Он пошел принять душ. После поездки на «маринети» Жаиро человек ни на что не годится, пока не изведет на себя достаточно воды и мыла. Тем более он увидел прекрасное создание, предмет своей мечты...— поясняет дона Кармозина.— Скоро он будет здесь.

Они остаются в почтово-телеграфном агентстве ждать Асканио. Наконец на углу появляется рыцарь печального образа, он идет медленно, вид у него расстроенный. Еще до того, как он поднялся на ступеньку у входа на почту, все поняли: чемпион Агресте потерпел поражение в битве, ведущейся против Пауло-Афонсо.

— Отказ, не так ли? — спрашивает Аминтас.— Я ведь предупреждал. Не было ни малейшего шанса. Благо — движок еще работает, выдохнется — придется вернуться к коптилкам.

— Неважно,— утешает Леонора.— Вы сделали все возможное. Выполнили свой долг.

— Это было ужасно, унизительно. Директор компании, тот, что находится постоянно в Пауло-Афонсо, не захотел меня даже принять. Мне пришлось умолять его, и он наконец снизошел к моей просьбе. Но едва я начал излагать ему суть вопроса, как он оборвал меня: «Я не могу терять время, вопрос об Агресте решен, сейчас нет никакой возможности провести электричество в этот муниципий. Разве префектура не получила отказ на ее ходатайство? Говорить с инженерами нет никакого смысла, Агресте придется подождать своей очереди, и это будет не скоро, лишь через несколько лет, когда мы дадим свет в отдаленные уголки штатов, обслуживаемых электростанцией. Сейчас невозможно, мой дорогой. Вам выставлять свои доводы не имеет смысла, не мешайте мне работать, мое время дорого».

Асканио, не договорив до конца, умолк. Куда подевался его энтузиазм, решимость бороться? Они улетучились, рухнули — раздавленные директором компании.

— В конце разговора он все же подал мне добрый совет: «Есть единственный путь. Добейтесь распоряжения от президента компании «Вале-до-Сан-Франсиско», именно от президента, а не одного из директоров вроде меня. Пусть он прикажет провести свет в Агресте, и на следующий день мы будем уже там. Всего хорошего!» Он рассмеялся и повернулся ко мне спиной.

В почтово-телеграфном агентстве воцарилось тяжелое молчание. Первой открыла рот дона Кармозина:

— Негодяй! Вот почему я против этих людей.

Леонора подошла к Асканио:

— Не огорчайтесь, из любого положения есть выход.— Глаза ее были полны нежности.

Тиета встала со стула, до сих пор она слушала молча.

— Кто он, этот президент, Асканио, и что это за компания? Разъясните мне толком.

Асканио, все еще не в духе, подавленный, объяснил, что представляет собой компания «Вале-до-Сан-Франсиско», значение гидроэлектростанции Пауло-Афонсо. Под конец назвал фамилию депутата, являющегося президентом крупного государственного предприятия, человека, который властвует и повелевает: он, мол, единственный, кто может изменить утвержденные планы. Но как добраться до него? Невозможно. Прав Аминтас: Агресте недостает не столько экономического значения, сколько руководителя с престижем, такого, чье слово было бы равносильно приказу.

Тиета повторяет фамилию депутата:

— Да, я слышала о нем, но лично с ним не знакома. Хотя в Сан-Пауло нет такого влиятельного политического деятеля, к которому

бы я не нашла путей.— Она поясняет: — Все они — друзья Фелипе, все посещают мой дом. Кармо, Асканио, помогите мне составить телеграмму. Пожалуй, две.

Она называет имена влиятельных лиц, известных в Сан-Пауло и во всей стране. Дона Кармозина пишет. Тиета обращается к ним с просьбой выступить в защиту Агресте, поговорив с президентом компании «Вале-до-Сан-Франсиско»; далее следуют детально изложенные Асканио доводы, главный из них — заинтересованность Антониеты в этой услуге, за которую она не останется в долгу.

— Огромная телеграмма,— замечает дона Кармозина.— Обойдется дорого.

— Платит префектура,— заявляет Асканио.

— Нет, плачу я, сын мой, ведь телеграммы — от моего имени. Кармо, подпиши: Тиета из Агресте. Так называют меня близкие друзья, так любил называть меня и Фелипе.

Они не успели вернуться в дом Перпетуи, а новость о телеграммах уже взбудоражила город — дона Антониета Эстевес Канторелли телеграфировала одному сан-пауловскому сенатору и самому доктору Адемару [1], близким друзьям покойного комендадора, обратившись к ним с просьбой провести в Агресте освещение от гидроэлектростанции Пауло-Афонсо. Последовали разные предположения и споры: неужели вдова действительно обладает таким престижем, знает, общается, близко знакома с сенаторами и губернаторами или делает все только для виду? Что же в результате — свет или тьма? Заключались даже пари. Фиделио сделал ставку на успех, Амintас же оставался пессимистом: чего ради эти лорды из Сан-Пауло станут шевелиться из-за Агресте, этой задницы мира? Удваиваю ставку, Фиделио!

Чего ради? Тиета могла бы ответить! Они зашевелятся именно потому, что они лорды, а она — Тиета из Агресте.

[1] Адемар де Баррос — бывший губернатор штата Сан-Пауло.

(Продолжение следует)

КАЛУГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1906 г.).

Советский переводчик с португальского языка. В его переводе издавались романы Жоржи Амаду, в частности «Бескрайние земли», «Земля золотых плодов», «Габриэла», «Дона Флора и два ее мужа»; в «Иностранной литературе» напечатаны повесть «Смерть Кинкаса Сгинь Вода», романы «Мы пасли ночь», «Лавка чудес», «Тереза Батиста, уставшая воевать», романы Эрико Вериссимо «Господин посол», «Плепник», «Происшествие в Антаресе» и произведения других бразильских писателей.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Испанец

РОМАН

Перевод с французского ТАМАРЫ ЕРОФЕЕВОЙ

36

Хозяйка сидела на кровати. Когда Пабло вошел в комнату, она поднялась и молча встала перед ним. Лишь глаза спрашивали: «Ну как? Что будешь делать?»

Пабло подошел и положил руку на старый комод, на котором горкой лежали книги и каталоги сельскохозяйственных машин. Он ничего не сказал.

Отсюда меньше слышалось завывание ветра, но за окном вихрем кружились снежные хлопья, точно мухи, тысячами прилетевшие из глубины ночи.

— Ты зажгла свет, а ставни даже не закрыла,— сказал Пабло.

Она повернула голову к окну.

— В такую погоду на улице нет никого, особенно со стороны полей.

Пабло открыл окно. Хлопья снега вместе с волной ледяного воздуха ворвались в комнату. Он нагнулся закрыть ставни. Снаружи ничего не было видно, только падавший от окна прямоугольник света. Его тень с раскинутыми руками распростерлась на снегу, как огромное распятие. А дальше была ночь, пустота и никакой жизни, кроме нескончаемого завывания ветра.

Он закрыл окно, обернулся.

— Он ушел? — спросила хозяйка.

— Кто? Мэр?

— Да.

Пабло рассмеялся:

— Ха! Думаешь, он такой дурак! Он уйдет вместе с нами.

Она сделала шаг, подошла к нему вплотную:

— Ты не уйдешь!

Пабло не ответил. Тогда, взяв его за плечи, она посмотрела ему в лицо и быстро проговорила:

— Ты же только что мне подмигнул. Дал понять, что хочешь их провести, да?

Пабло вздохнул:

— Конечно. Я думал, мне удастся это устроить. Но если я вернусь, все начнется сначала. На этот раз мэр не уступит... Честно говоря, может, так даже разумнее.

— Значит, уйдешь? Пойдешь драться? Оставишь меня одну со всеми этими землями! Сам заставил меня их купить! А мне нечем даже работнику платить до следующего урожая!

Он сам это прекрасно знал. Об этом он думал всякий раз, когда в голову приходила мысль, что ведь рано или поздно ему придется

Окончание. Начало см. в № 6.

скрываться. Но сейчас, когда он поднимался по лестнице, фраза, брошенная Энрике, и его смех внезапно напомнили ему другое. Они спали вместе вот уже полтора года. И даже сейчас довольно часто занимались любовью, особенно когда работа не слишком их изматывала, когда земля не отнимала все жизненные силы. Но Пабло-то хорошо знал, что это не играет существенной роли.

— Надо бы найти какой-то выход,— сказал он.— Надо сделать так, чтобы я мог жить не слишком далеко. Тогда днем я бы мог работать на землях, особенно тех, что подальше.

— Послушай, тебе просто нельзя уходить... Ты его проводишь до плоскогорья и вернешься. Не уходи, сперва все обдумай. Уж какой-нибудь выход мы найдем.

Она говорила быстро. Пабло чувствовал, как она цепляется за эту мысль.

— Надо было думать раньше,— сказал он.— Тогда можно было бы все предусмотреть.

Она поцеловала его и сказала:

— Не ходи!

Пабло покачал головой, пробормотал:

— Никогда не хватает времени подумать.

Она отступила на шаг, чтобы лучше видеть его, и сказала:

— Так ты же сам наваливал на себя всю работу.

Он улыбнулся.

— И потом, есть еще кое-что.

— Что именно?

— Ты мне как-то сказал, что никогда больше не будешь воевать.

— Но я прячусь не потому, что хочу идти воевать, а чтобы боши меня не схватили...

— Но война-то продолжается. На днях около Дусье нашли убитых.

— Это на дороге.— Подумав с минуту, Пабло добавил:— И потом, я испанец. Французы не могут заставить меня воевать.

— Правда, но это ничего не меняет. По-моему, риску будет меньше, если ты останешься где-то поблизости. Одному тебе легче спрятаться, чем с кем-то еще. И потом, если ты откажешься воевать, они тебя и удерживать не будут.

Он вдруг рассмеялся.

— О чем, собственно, мы спорим? Ведь я же сам не хочу уходить.

Хозяйка тоже рассмеялась, потом спросила:

— Ну, а рюкзак? Надо его все же собрать, хотя бы для мэра. Ты можешь его бросить на дороге и подобрать на обратном пути.

— Возьми старый рюкзак, положи туда вещи для Энрике. Похоже, он не очень тепло одет.

— Я положу что-нибудь из одежды хозяина. Если будет легкий, я его старыми газетами набью, а ты выбросишь их по дороге.

— Отлично. Надо будет взять еще что-нибудь поесть. Нам, конечно, придется заночевать в хижине, так ты положи мне одеяло.

— Надо, чтоб ты принес мне одеяло.

Он шагнул к двери.

— Я пошел вниз. Если я еще здесь задержусь, они могут подумать...

Когда он открывал дверь, хозяйка спросила:

— Если б ты на самом деле уходил, неужели ты бы так быстро к ним спустился?

Пабло улыбнулся:

— Нет, конечно нет.

— Тогда в чем же дело?

— Не надо, чтоб они догадывались!

— А ты думаешь, мэр не догадывается! Уж я-то знаю, что́ здесь у нас говорят. Если бы они только знали, до чего мне все равно!

Пабло вышел на лестничную площадку. Она снова окликнула его:

— Послушай!

Он вернулся и закрыл дверь.

— Что еще?

— Боюсь, я при них с собой совладать не сумею. Лучше мне вообще не спускаться. Скажешь, я рассердилась. А я приготовлю тебе рюкзак, и ты за ним поднимись через несколько минут.

— Хорошо,— сказал Пабло.

— Подожди еще... Когда будешь возвращаться, не иди через долину Мулен. Прямо от хижины, что на лесосеке, пересеки лес, а потом пройдешь столько, сколько сможешь. Это длинная дорога, но у тебя же будет целый день. Выйдешь на гребень холма и пойдешь до верха виноградников, там найдешь место, откуда виден дом. В случае чего я закрою ставни на этом окне.

— Ты обо всем подумала.

— Осторожность не помешает. Опасаться-то нечего, но зачем зря рисковать?

— Но может, лучше дождаться ночи и уж потом возвращаться?

— Да, верно. Хотя бы из-за мэра.

Пабло стоял задумавшись. Пока они говорили, в нем что-то шевельнулось, что-то возвращалось, очень далекое. Хозяйка подошла.

— Что с тобой?

— Это не жизнь — вот так все время прятаться,— вздохнул он.

— Найдем выход. Вот увидишь. Я точно знаю.

Голос у нее слегка дрожал. Они молча посмотрели друг на друга, потом она сказала:

— Ты мне обещал.

Он утвердительно кивнул, повернулся к двери, сделал несколько шагов, спросил:

— Ну, а если ставни будут закрыты?

— Да я же это так, из осторожности. Ничего не будет.

Пабло не двигался. Рука его лежала на дверной ручке. Он с грустной улыбкой смотрел на хозяйку.

— Если ставни будут закрыты,— прибавила она,— иди до Брюли. Я найду кого послать к тебе, и тебе скажут, где спрятаться.

Он медленно открыл дверь, вышел на площадку и, прежде чем снова закрыть дверь, улыбнулся. Потом еще несколько минут постоял один в темноте.

В комнате скрипел пол под ногами хозяйки. Должно быть, она собирала ему рюкзак. Из кухни доносились голос мэра и смех Энрике.

37

На вырванном из тетради листке мэр начертил план, на котором обозначил плоскогорье, две долины, деревни и каждую ферму в отдельности. Он наметил дорогу и пунктиром обозначил путь от хижины на просеке Во до Эпесских лесов. Он назвал, но не написал на бумаге пароль и имя человека, к которому они должны обратиться по прибытии.

Они надели рюкзаки. Правда, у Энрике был не рюкзак, а маленькая парусиновая сумка, болтавшаяся через плечо на стареньком ремешке. У Пабло рюкзак был больше и тяжелее, а вместо ремней хозяйка привязала к нему две толстые веревки.

Энрике надел куртку хозяина, сверху — старую, изношенную шубу, на которой еще сохранился мех. Голову он обмотал большим шарфом. Пабло оделся так, как одевался, когда ходил в лес в самые холодные дни. Он знал, что не замерзнет.

Прежде чем открыть дверь, Пабло обернулся и обвел глазами кухню. Все было в порядке. Огонь в плите почти погас.

— Готовы? — спросил мэр.

— Готовы.

— Значит, вы поняли? Спросите Ренара от дяди Клемана.

— Все в порядке, мы помним,— сказал Пабло.— А вы уверены, что лесосека, где стоит хижина, находится сразу после нашей?

— Абсолютно уверен. Я проходил там неделю назад, когда возвращался из Борне.

— И вы уверены, что хижина не занята?

— Конечно. В этом году там никто леса не рубил.

Пабло сделал шаг к двери, повернулся и спросил еще:

— Она хоть не развалилась, эта халупа?

— Я же сказал вам, все в порядке.

Пабло уже собирался открыть дверь, но тут Энрике подошел к мэру, взял его за воротник замшевой куртки на меху, пригрозил:

— Ну, если ты нас надул и нам придется ночевать под открытым небом, предупреждаю: я тебя найду.

Мэр отпрянул назад.

— Даю вам слово,— сказал он.

— Ну что ж, поверим,— сказал Энрике.

Теперь они уже подошли к двери. Вдруг Энрике засмеялся и посмотрел на мэра:

— Хорошо, что ты дал нам слово, но если бы ты дал и табаку, было бы еще лучше.

Мэр улыбнулся и полез в карман.

— У меня есть две пачки,— сказал Пабло.

Мэр вынул начатую пачку сигарет. Они взяли по одной, закурили, потом толстяк протянул пачку Энрике, тот поблагодарил и сунул ее в карман.

— Думаю, наверху вы ни в чем не будете нуждаться,— заметил мэр.

Пабло открыл дверь и пропустил их вперед. В кухню ворвался ветер, крутя белые хлопья. Пабло погасил свет и закрыл дверь. Во дворе у них сразу же перехватило дыхание, и, втянув голову в плечи, они некоторое время не могли двинуться с места.

— Господи,— воскликнул Энрике,— ничего не видно!

— Пустяки, быстро привыкнете,— сказал мэр.— Давайте, пошли.— И они тронулись в путь.

Снег уже лежал толстым слоем. Местами у стен, за углами домов ветер навалил сугробы, и они проваливались по колено. В других местах дорога была почти голая и скользкая.

Пабло шел за мэром и ставил ноги в его следы. Энрике попытался идти с ним рядом.

— Иди за мной. Так легче, вот увидишь.

— В такую погоду мы в жизни не доберемся.

Он еще немного поворчал по-каталонски, но никто не поддерживал с ним разговора, и он умолк.

В деревне ветер дул со всех сторон. Он завывал в проводах, сотрясал ставни, ударял в лицо ледяными оплеухами.

— Дальше я не пойду вас провожать,— сказал мэр.

Они остановились у ограды, едва различая друг друга. Только мэр еще курил, и красная точка вспыхивала при каждой затяжке. Он протянул им руку.

— Ну, всего хорошего. Думаю, скоро увидимся.

— Надеюсь,— сказал Пабло.

— И помни,— проворчал Энрике себе в воротник,— если ты нас предал, то в день нашей встречи ты не обрадуешься!

— Ничего, я спокоен,— ответил мэр.

Они пожали друг другу руки.

— Сколько будет от той лесосеки, что мы вырубили с Хромым, до лесосек Во?

Мэр задумался:

— Километра два, может, три, не больше.

— Это уже кое-что, значит, отсюда около семи километров.

— Когда спуститесь в долину, почти всю дорогу будете под прикрытием.

— Вот это, можно сказать, повезло! — пошутил Энрике.— А у тебя нет желания пойти с нами, вместо того чтобы торчать здесь на ветру?

— Ну хватит, до свидания,— прервал его Пабло.— Надеюсь, мы сумеем разыскать хижину в этой кромешной тьме.

— Конечно,— сказал мэр,— она стоит у самой лесосеки.

Они снова пустились в путь. На этот раз впереди шел Пабло. Снег был сухой и пушистый. Он разлетался из-под ног. Дорога шла на север, и ветер беспрепятственно дул вдоль холма, свистя, как огромное лезвие на точильном камне.

Несмотря на ушанку, у Пабло окоченели уши. Он притянул ближе к шее меховой воротник, но ремни рюкзака мешали поднять его выше. В мешке половина тяжести, наверное, приходилась на старые газеты. Пабло хотел было остановиться, вытащить их, но деревня была еще близко, да и ветер слишком сильный.

— И это твой тип называет — идти под прикрытием! — проворчал Энрике немного погодя.

— Подожди, после поворота сразу спустимся в долину.

Так они шли еще несколько минут. Потом шум, от которого голова гудела как во хмелю, изменился. К пронзительному свисту прибавился глухой отдаленный грохот. Наконец свист затих, а грохот приблизился. Будто в небе над ними тарахтела повозка с дровами.

— Ну вот мы и в долине,— сказал Пабло.

Снег, подгоняемый ветром, огромными волнами скатывался с гор. Деревья трещали, стонали, стегали ветками, сбрасывая на землю снег, сохранившийся на них от последнего шквала.

— Черт побери! — кричал Энрике.— Ослепнешь, пока доберешься.

Пабло не говорил ни слова. Даже когда Энрике просил его замедлить шаг, он шел все так же. Это было единственное средство бороться с усталостью.

Они подошли к месту, где дорога проходила под отвесной скалой,— там ветра не чувствовалось совсем.

— Остановись на минутку,— попросил Энрике.— У меня разламывается плечо, я хочу перекинуть сумку.

— Перекидывай на ходу, останавливаться нельзя.

— Послушай, остановись хоть на минутку.

Пабло остановился. Энрике тяжело дышал.

— Не знаю, как ты можешь, лично я — на пределе.

Пабло только собрался развязать свой рюкзак и вытащить газеты, но тут Энрике спросил:

— Так решено? Ты остаешься со мной?

Здесь, под скалой, они почти не видели друг друга.

— А правда,— опять спросил Энрике,— она дрянь, эта твоя хозяюшка?

Пабло не ответил. Он снова затянул веревку, которую начал было развязывать.

— Пошли,— сказал он,— останавливаться нельзя, так можно замерзнуть.

Энрике заворчал, но Пабло пошел вперед, и он поспешил за ним.

Снег теперь валил менее густо, но ветер все так же перекатывался через всю долину, сотрясая по пути наиболее высокие деревья.

Они миновали лесосеки, которые Пабло вырубил вместе с Хромым, дальше Пабло не знал дороги — надо было идти по лесу, и все. Ошибиться невозможно. Как только справа появится голое пространство, надо искать хижину.

Веревки рюкзака жгли плечи, и Пабло много раз вспоминал о газетах, но старался пересилить себя и сосредоточить внимание на дороге.

Ему не хотелось ни о чем думать. Впереди была дорога, петлявшая от поворота к повороту, а сзади шел Энрике и все время ругался и кричал:

— Потише ты, ох господи... Я — на пределе.

Пабло шел спотыкаясь, но ничуть не замедляя шага. Но вот Энрике снова остановился под косогором и закричал:

— Да стой ты, наконец, я больше не могу!

Пабло обернулся. Энрике прижался спиной к откосу и опустился на корточки.

— Ноги себе отсидишь,— крикнул Пабло и подошел к нему. Но Энрике не шевельнулся.— Давай поднимайся, мы почти пришли.

— Ладно, знаю я... твою музыку.

Энрике еле говорил. И опять Пабло вспомнил о газетах. Можно их выбросить и взять сумку Энрике. Он колебался, положив руку на узел веревки. Потом нагнулся к Энрике:

— Давай мне свою сумку и поднимайся.

Он взял его сумку и, поддерживая товарища под руку, помог ему подняться.

— Вот тебя мне уже не унести!

Энрике глубоко вздохнул.

— Хороший ты парень,— еле выговорил он.— Все время шел впереди... а теперь... еще несешь мою сумку.

— Идем, не беспокойся, я привык. Пошли.

И снова они двинулись в путь. Пабло немного замедлил шаг. Время от времени он оборачивался и спрашивал:

— Ну как? Все в порядке?

— Все в порядке,— еле слышно отвечал Энрике.

Под двойной тяжестью — рюкзака и сумки Энрике — у Пабло онемело правое плечо. Он думал о газетах, потом об Энрике. И всегда возвращался мыслями к дороге.

Поворот следовал за поворотом, потом еще поворот и еще...

— Далеко... еще? — задыхался Энрике.

— Не думаю.

— Холодно... трудно дышать... но я весь мокрый... вспотел...

— Вот и нельзя останавливаться.

Они еще долго шли, прежде чем достигли лесосеки. По шуму ветра Пабло понял, что деревья стали реже. Прошли еще немного. Справа снег поднимался от дороги и терялся в ночной темноте; то здесь, то там виднелись очертания тоненьких и гибких молодых деревьев, раскачивавшихся на ветру.

Метрах в двадцати от последних деревьев Пабло свернул с дороги и полез вверх по склону. Он продвигался медленно, вытянув вперед руки и нащупывая ногой место, куда можно ступить между занесенными снегом пнями. Позади Энрике стонал все чаще и чаще.

Вдруг Пабло остановился.

— Пришли? — спросил Энрике.

— Помолчи!

Они прислушались. Здесь снова бушевал ветер. Преодолели еще десять метров подъема, и ветер ударил им прямо в лицо.

— Ты что-нибудь видишь?

— Нет,— ответил Пабло.— Зато слышу.

Энрике снова умолк, потом хихикнул.

— Что с тобой? — спросил Пабло.

— Кладбище... Снова ты устроишь мне историю с кладбищем...

— Замолчи, здесь нет никакого кладбища. Это железо гремит на крыше, значит, близко хижина, не иначе.

Энрике снова хихикнул:

— Да может, это железо просто на свалке валяется.

— Ты заткнешься? — оборвал его Пабло.

Энрике умолк. Пабло затаил дыхание. Он обшарил ночную тьму слезящимися от холода глазами. Все было белое, потом серое, потом черное. Но и белое было особенное, ночное. А железо все гремело, и этот гром смешивался с грохотом, доносившимся из долины. Нужно было только точно установить, откуда он идет.

Пабло прислушивался снова и снова.

— Я лягу здесь,— сказал Энрике.

— Пошли, это там.

Пабло зашагал направо, наискосок, в сторону леса. Сделал несколько шагов, остановился. Грохот слышался ближе. Десять шагов. Пять шагов. Значит, это здесь, рядом.

Они немного спустились и сразу же очутились перед дощатой дверью. Они ее не видели, потому что поднялись чуть выше, а крыша хижины была на уровне земли с подветренной стороны.

— Еще немного — и мы бы прошли мимо.

Пабло поискал дверную ручку. Сначала он наткнулся на кусок железа, который раскачивался на ветру, потом нащупал щеколду, приподнял ее и толкнул дверь.

— Вот будет умора, если здесь уже кто-то есть,— усмехнулся Энрике.

— Давай входи.

Пабло закрыл за собой дверь и достал зажигалку.

38

Сначала посыпались искорки, потом загорелся фитиль. Они осмотрелись. Хижина была почти квадратная. Дощатые стены, крыша из рифленого железа шла наклонно, в глубине были нары, на которых лежал сухой папоротник. Пабло прошел вперед. В углу стояла железная печка. Он потрогал проржавевшие трубы, постучал — с них посыпалась сажа.

— Наверное, ее можно затопить,— сказал он.

Энрике подошел к столу у стены и нагнулся.

— Есть даже дрова,— сказал он.

— Жалко, свечку забыли. Зажигалки ненадолго хватит.

— Надо развести огонь, и будет светло.

Пабло погасил зажигалку.

— Дай-ка я,— сказал он.

Пабло снял рюкзак, поставил на землю и начал ощупывать веревку, которой он был завязан. Снег все заледенил, пальцы окоченели. Энрике вытащил свою зажигалку.

— Оставь,— сказал Пабло.— Я могу без света обойтись. Зажигалки надо беречь, еще пригодятся.

Энрике погасил свою зажигалку.

— Просто идиотизм, что мы о свечке не подумали.

Пабло пошарил в рюкзаке. Газеты были на самом дне. Он вытащил толстую пачку плотно сложенных газет. Наверное, хозяйка боялась, как бы мэр не предложил немного понести рюкзак. Пабло вытянул одну из газет, развернул, скомкал и сунул в печь, потом положил туда кору и хворост. Энрике не двигался. Пабло слышал, как он, сидя рядом на корточках, часто и хрипло дышит.

— Ну вот и готово, можно зажигать.

Энрике щелкнул зажигалкой, вспыхнуло дрожащее пламя, он поднес его к торчавшей из печки бумаге. Газета скрутилась, желтое пламя лизнуло железо, поколебалось, пригнулось и, словно ящерица, скользнуло между хворостинами.

— Надо же, какая тяга! — сказал Энрике.

— Еще бы! Такой ветер, и труба поднимается прямо кверху!

Но дым тут же повалил из печи и обдал им лица, потом все затрещало.

— Эти дрова недолго будут гореть,— сказал Пабло.

— Ну и черт с ними, только б согреться.

Они сели прямо на пол и протянули ноги к огню. Открытая печь освещала половину хижины. Так они сидели молча довольно долго. Потом Энрике спросил:

— А что, может, перекусим?

Пабло встал и вынул из рюкзака хлеб и мясо, завернутые в тряпку. Потом вытащил литровую бутылку вина и протянул Энрике, тот открыл ее и сделал глоток.

— Господи, ледяное.

Он встал, взял длинную лучину, зажег и стал осматривать ту часть хижины, которая оставалась в тени.

— Что ты ищешь?

— Если бы найти кастрюлю, можно согреть вино.

Он осмотрел множество пустых ящиков, открыл старенький дырявый шкаф для провизии, полный паутины, потом под одним из перевернутых ящиков обнаружил сковородку и две кастрюли. Взял ту, что поменьше, и поднес к печке проверить, не дырявая ли она.

— Грязная, наверное,— сказал Пабло.

Энрике провел рукой внутри кастрюли, она оказалась пыльной. Положив в нее снегу, он растопил его и вымыл кастрюлю. Потом они вылили грязную воду и разогрели полбутылки вина.

— Вот видишь,— сказал Энрике,— хорошо, что я попросил тебя сахару захватить.

Пабло рассмеялся.

— А ты все такой же: когда дело касается жратвы, на тебя можно полностью положиться.

Энрике открыл сумку и вынул оттуда железную кружку.

— Держи,— сказал он,— ты-то позабыл это взять.

Пабло не ответил. Энрике что-то сказал про забытую кружку, а у него все расплывалось, точно во сне. Он посмотрел на Энрике, тот смеялся.

— Черт подери, Пабло, только что, когда я пришел с мэром, я ведь был немного пьян. Теперь протрезвел... Ты славный малый. Я рад, что снова нашел тебя, право, очень рад.

Пабло смотрел в огонь. Теперь отчетливо слышалось потрескиванье дров и шипение кастрюли, в которой начало закипать вино. Энрике немного помолчал, потом сказал:

— Конечно, тебе было жаль покидать славную женщину, я понимаю. Это нормально.

Он снова помолчал. Пабло не смотрел на него. Он уже не мог оторвать глаз от наполовину обгоревшего полена, оно лежало на раскаленных углях, от них поднимались веселые огоньки и убегали в трубу. Энрике прокашлялся и вдруг заговорил быстро и громко:

— Знаешь, я чуть не рехнулся. Они меня буквально довели, эти негодяи. Не лучше молодчиков Франко. Я с радостью бы им напакостил... Сейчас весь мир против них. Все только вопрос времени, но к этому надо относиться серьезно. Тут партизанская война имеет не меньше значения, чем бомбардировки и прочее. А мы будем вести партизанскую войну. И когда придет время, все гражданское население будет вооружено. Будет дан сигнал, и во всех оккупированных странах одновременно, в одну и ту же минуту, каждый прикончит кого-то из врагов. На улице, в кино, в кафе, повсюду — нож в спину, и конец.— Он потер руки, глаза у него блестели. Затем встал на колени, чтобы взять кастрюлю.

— Горячо,— сказал он. Наполнил кружку и поставил перед Пабло.

— Нет, пей сначала ты,— сказал Пабло.

— Нет, нет, сам пей.

Пабло взял горячую железную кружку, отхлебнул маленький глоток и протянул Энрике.

— Очень горячо,— сказал он,— осторожней.

Энрике тоже отпил глоток.

— Смотри, а оно согревает! — И, поставив между собой и Пабло кружку, продолжал: — Вот увидишь, как только бошей разобьют, весь мир обрушится на Франко. Мы сможем вернуться к себе. И тогда они кое-что поймут — те, кто сейчас занимает теплые местечки. Когда тут все начнется, тогда, может, и в Испании тоже. И тем из нас, кому удастся вернуться, тоже дадут прикончить кого-то из мерзавцев, когда раздастся сигнал.— Он призадумался, рука потянулась было к огню и снова упала на тощую ляжку; он покачал головой.— Вот если б можно было выбирать... Если б можно было выбирать...— Он отпил еще глоток и передал кружку Пабло.— Пей, теперь в самый раз, как надо.

Вино было еще горячее, но его уже можно было пить, и Пабло почувствовал, как оно, приятно согревая, потекло по пищеводу.

— Ну, а ты не думаешь, что оно так будет? — спросил Энрике.

— Наверняка, наверняка.— Он еще какое-то время смотрел на пламя, потом протянул хлеб Энрике: — Держи, ты ведь хочешь есть.

— А ты?

— Нет, я лучше сразу лягу.

Пабло встал, развернул одеяло и направился к нарам. Поворошил папоротник, и оттуда поднялась душистая пыль. В углу лежали две старые козьи шкуры, он их сложил, сделал подушку. Снял башмаки, поставил их рядом со своим рюкзаком, от которого шел пар, и, вернувшись обратно, улегся на бок. Он смотрел на Энрике, чей силуэт выделялся на фоне светящейся печки. Энрике еще больше похудел. Шея у него стала тощая, большие уши торчали. Он все ел и рассказывал о том, что делал со времени их разлуки. Вступил в Иностранный легион. Но фашисты разгромили французскую армию, прежде чем он успел добраться до места назначения. И он бежал на юг.

— Понимаешь,— говорил он,— я подумал, что там, в районе Коллиура, все говорят по-каталонски и я как-нибудь выкручусь. А когда боши вошли в свободную зону, они начали ее прочесывать как раз с краев. Ну и мне пришлось убраться. Мне говорили про ребят, которые организовали сопротивление возле Центрального массива. Я хотел двинуться туда, но меня схватили в Кастельнодари, городке у самого леса, когда я был уже почти у цели.

— Тебя схватили немцы? — спросил Пабло.

— Нет, французские жандармы. Эти негодяи отправили меня в Монпелье, а там я уже работал на немцев.

Он замолчал, налил себе в кружку вина и выпил.

— Хочешь? — спросил он.

— Нет, спасибо.

— Да. Так вот, я работал на них. Работенка была тяжелая. Они хотят укрепить берег: боятся высадки на побережье. А потом однажды пронесся слух, что они собираются всех нас послать в Германию работать на заводах. Тут-то я и решил поставить все на карту. И мне повезло.

Энрике умолк. Он кончил есть, снял башмаки и подложил дров в огонь.

— Дверцу надо закрыть,— сказал он,— тогда они не так быстро прогорят.

Когда он закрыл дверцу, в комнате осталось лишь два квадратика света на полу. Энрике подошел. Пабло подвинулся на нарах, давая ему место.

Они легли рядом, натянув на себя одеяла и куртки.

— Тебе удобно? — спросил Пабло.

— Все в порядке, если наверху будет так же хорошо, жаловаться не на что.

Пабло закрыл глаза. Энрике еще помолчал, потом снова стал рассказывать о том, что он пережил. Он долго говорил о войне. Пабло не слушал — он слышал только музыку слов. Слов на том языке, на котором вокруг него никто давно уже не говорил.

39

Когда они проснулись, ветер уже не свистел, но в хижине было холодно.

— Огонь погас,— сказал Энрике. Он щелкнул зажигалкой, взял палку и поворошил пепел. Несколько красных угольков померцали и погасли.— Что будем делать? Разжечь снова?

— Не имеет смысла. Надо уходить.

Пабло открыл дверь. Тусклый день придавал снегу грязноватый оттенок.

— Ночью снег, наверно, не шел; если присмотреться, можно еще разглядеть наши следы.

Пабло повернулся к Энрике.

— Ты правда думаешь, они тебя станут искать в деревне?

Энрике рассмеялся.

— Не мели ерунду, я это сказал просто так, потому что увидел наши следы и подумал об этой дурацкой буре, которая бушевала ровно столько, сколько требовалось, чтобы мы замерзли. О немцах я вовсе не думал. Скажешь тоже. Да они давно отстали. Плевать им на одного дурня. Им и других хватает — тут на тысячи счет.

Пабло свернул одеяло и подошел к своему рюкзаку. Настало время вытащить газеты, отдать белье Энрике и сказать ему: «Сейчас я покажу тебе дорогу» — или отдать ему план, который начертил мэр, потому что теперь они знали дорогу одинаково хорошо.

Энрике сел на стул и стал натягивать башмаки.

— Они почти сухие, но заскорузли. Кожа снега не любит. Надо было их бумагой набить.

С минуту они молчали. Пабло не двигался. Он сидел на корточках перед раскрытым рюкзаком и усиленно соображал.

— Жаль, не подумали,— опять заговорил Энрике.— Можно было бы их папоротником набить.— Он встал, потоптался на месте, чтобы размять башмаки, и спросил: — Что ты там делаешь? Помочь тебе?

Пабло сунул свернутое одеяло в рюкзак.

— Все в порядке,— сказал он.

— Не убирай хлеб, надо перекусить перед уходом.

Они ели стоя на пороге. Снег медленно светлел, небо оставалось серым. Свет, казалось, выходил из земли и расползался по ней, не в состоянии подняться выше деревьев. Кругом царила тишина.

Проглотив последний кусок, они отправились в дорогу. Несмотря на мороз, снег был рыхлый, ноги проваливались. Сначала Энрике шагал рядом с Пабло, потом пошел по его следам.

Время от времени раздавался сильный треск, и тогда по лесу катилось эхо, но оно никого не будило. Птицы встречались редко, они летели низко и тут же исчезали за стволами.

Так Энрике и Пабло прошагали с четверть часа, пока не вышли на опушку леса. Как только они очутились на равнине, Пабло остановился. План мэра хорошо запечатлелся у него в голове. Надо было только пройти между домами слева и стоявшей в стороне фермой, над крышей которой прямым белым столбом в небо поднимался дымок.

— Я думаю, нам надо в тот блед,— сказал Энрике.— Там наверняка есть кафе и можно будет выпить горяченького.

— Нет, от домов лучше подальше. Ничего ведь не известно...

— По-моему, в таком месте немцев определенно нет.

— А вдруг там жандармы? И потом, не все крестьяне — партизаны-маки.

— Да ну их, этих крестьян. На наших рожах ведь не написано, что мы ищем маки!

— Верно, но двое с рюкзаками, двое нездешних, чужаков — это подозрительно. Люди недоверчивы.

— Это что же — нравы твоего бледа? — усмехнулся Энрике.

Пабло хотелось крикнуть: «Отправляйся один и выкручивайся сам как знаешь». Но он только пожал плечами.

— Ей-богу,— прибавил Энрике,— ты стал настоящим крестьянином.

Пабло снова зашагал. До наступления темноты нельзя возвращаться на ферму, а один он пойдет быстрее. К тому же можно сократить путь, пройдя к Брюли через лес. Он никогда раньше здесь не ходил, но, наверно, здесь сплошь леса и пустоши.

Значит, можно идти вместе с Энрике до полудня. Да, именно до полудня. А потом Энрике одному останется пройти совсем немного.

Небо было хмурое и временами как бы подергивалось рябью. Местами оно было землистое, чуть не черное. Пабло пытался определить время, но свет не менялся. Перед ними шел подъем до какой-то ограды. Мэр отметил ее — отсюда надо взять направо. За гребнем должно находиться большое ущелье с тремя фермами и пастбищами, огороженными низенькими стенами из выщербленных камней.

Пабло решил, что скоро, должно быть, полдень. Он поискал глазами, где можно остановиться. Хоть что-то на этом голом белом пространстве. Вот показалась березовая роща. «Вон там,— подумал Пабло,— там я и остановлюсь».

Подходя к роще, он замедлил шаг. Гребень холма, поросший лесом, был уже совсем рядом.

— Остановимся? — спросил Энрике.

— Наверху,— бросил Пабло не оборачиваясь.

Немного не дойдя до вершины, они вошли в лес. Постепенно вырисовывалось ущелье. Да, здесь. Каменные ограды... дорога... ручей... Одна ферма. Вторая. Потом третья.

Над всеми тремя домами струился дымок. Дворы были подметены, и на дороге местами угадывались следы от колес.

Пабло остановился.

— Перекусим? — спросил Энрике.

Пабло вздохнул. Он об этом даже не думал.

— Если хочешь,— ответил он.

— Надо бы бревно найти и сесть.

— Нет, лучше есть и топтаться на месте, холод без движения — это погибель.

Они поставили рюкзаки и отрезали хлеба и сыру. Но все было холодное, и они поели совсем немного. Пабло чувствовал, как у него сводит живот. Теперь уже конец, хватит. Он не сделает больше ни шагу с Энрике. Все время, пока они стояли, Пабло думал о землях, о ферме, о Вороной, о Жермене, Жаннетте, Хромом.

Все это проносилось в его голове не как кинокадры, а как ряд неподвижных образов. Немых образов, столь же застывших, как и все, что окружало их на плато, в ущелье, где живыми казались лишь тоненькие струйки дыма, медленно вившиеся над тремя крышами.

— Смотри,— сказал Энрике.

Пабло увидел. Открылась дверь. Вышел человек, толкая перед собой тележку, над которой поднималось белое облако.

— Вывозит навоз,— прошептал Пабло.

Человек вывалил навоз, вернулся и съездил еще четыре раза. На снегу образовалось коричневое пятно, и от него медленно поднимался пар.

— Надо допить вино,— сказал Пабло.

Они пили по очереди. Пабло выбросил пустую бутылку в снег. Потом глубоко вздохнул, постоял в нерешительности, как перед пры-

жком в холодную воду, и, нагнувшись, вытащил из рюкзака одеяло. Потом вытащил одежду и все это положил на снег.

— Что ты делаешь? — спросил Энрике.

Пабло извлек из рюкзака пачку газет и бросил рядом с бутылкой.

— Да что это? — опять спросил Энрике.

Пабло выпрямился, посмотрел ему в лицо и сказал немного дрогнувшим голосом:

— Из-за мэра.

— Из-за мэра?

— Да, чтоб он поверил, что я ухожу надолго. Если бы он увидел, что рюкзак сплющен, у него бы возникло подозрение.

Лицо Энрике вдруг исказилось. Он наморщил лоб, прикрыл глаза, сжал кулаки, открыл было рот, словно хотел что-то сказать, и тут же разразился хохотом.

— Ах, черт побери! Так вот оно что! — воскликнул он.— Ах, бог ты мой, а ведь я еще больший идиот, чем ты! Ну надо же!

— Энрике,— начал было Пабло,— понимаешь... есть...

— Не утомляй себя. Я понял. Ну, ухватился за юбку! С этим уж ничего не поделаешь. Все трын-трава, лишь бы увидеть старуху! А я-то еще сомневался!

Тут уж Пабло повысил голос:

— Энрике, это совсем не то!

Он вдруг осекся. На какой-то миг ему показалось, что по всему плато пронеслось эхо его слишком громкого голоса. И снова тишина сгустилась вокруг них, тишина пришла из глубины земли и разлилась по долине.

Энрике покачал головой, лицо у него разгладилось. Он ткнул пальцем в мешок Пабло.

— И все это ты таскал просто так?

Он снова рассмеялся. Пабло вспомнил, что хозяйка просила принести одеяло обратно. Он посмотрел на Энрике. Энрике — худой, с впалой грудью — порывисто дышал.

— Нет,— сказал он.— Это для тебя. Ты только положи свою сумку в мой рюкзак. Теперь газет нет, и он не будет тяжелым.

Они молча посмотрели друг на друга. На миг у Пабло появилось желание обнять Энрике. И он был уверен, что у Энрике возникла та же мысль. Но оба опустили глаза на рюкзак.

— Я бы проводил тебя еще, но к ночи надо домой добраться.

Он завязал рюкзак, развернул план, объяснил Энрике еще раз то, что сказал мэр, повторил пароль, помог надеть рюкзак и завязать на плечах веревки.

— Так пойдет?

— Как-нибудь сдюжу! — сказал Энрике, улыбаясь.

Пабло протянул ему руку.

— До свидания,— сказал Энрике.— Спасибо. Ты все же славный парень.

Пабло опустил голову. Он почувствовал, как краснеет. Энрике пожал ему руку и пошел.

— Если тебе что-нибудь понадобится...— крикнул Пабло.

— Договорились!

Энрике пересек березовую рощу и зашагал вдоль гребня, огибая ущелье с тремя фермами. Пабло долго смотрел, как он идет между деревьями. Ему казалось, что Энрике пошатывается под тяжестью рюкзака,— этакое странное животное, тщедушное, на тоненьких ножках, с непомерно большой головой.

40

После того как Энрике исчез из виду, Пабло еще постоял, пристально глядя вдаль на подернутый тучами горизонт. Черное небо и

белая земля образовывали серую дымку, и она волновалась, как свинцовое море. Пабло вздрогнул. Машинально он положил руку на поясницу, как бы намереваясь приподнять рюкзак, но ему больше нечего было нести. Спина была мокрая от испарины. Он передернул плечами, повернулся и пошел по оставленным ими следам — это были единственные признаки жизни на земле в поле его зрения.

Увидев леса Во, он повернул налево и пошел наискосок. Отсюда лес казался сплошной темной линией, как будто провели пастелью толстую серую черту, а над ней более светлую. Пабло не знал этих мест. Он шел наугад, убежденный, что идет прямо к холмам, окружающим Брюли.

Он шагал широким шагом, чуть наклонясь вперед, следя за дыханием. И ни о чем не думал.

Пабло чувствовал, что он уже близок к цели. Он чуть не бегом вскарабкался по склону, проскользнул между кустов и оказался над ущельем Брюли, как раз в том месте, куда Жаннетта, спасаясь от змей, прибежала в тот день, когда они уничтожали гадюк. В глубине ущелья источник, выбиваясь из-под скалы, проделал в снегу черную извилистую дорожку. Пабло, скользя и падая, скатился вниз и, перепрыгнув через ручей, перешел на другой склон. Дойдя до рощи, где была разбита их палатка, он остановился. Он задыхался, ему стало жарко. Наверху, за линией кустов, откуда они так часто смотрели на дорогу, тучи рассеялись и показался кусок ярко-синего неба.

Пабло пошел вперед и, как только достиг гребня холма, остановился. Внизу вся равнина была залита солнцем. Он осмотрел шоссе — никого. Постоял еще немного, глядя на огромные белые просторы, по которым бежали черные дороги, были разбросаны фиолетовые деревни, а над крышами поднимался белый и черный дым.

Он прошел вдоль гребня, держась все время под прикрытием деревьев и изгородей.

Наконец, поверх большого виноградника, там, где холм бугрился к востоку, он увидел деревню.

Небо снова затянуло тучами, но последний луч солнца еще освещал дома. Пабло не нужно было искать ферму. В голубоватой дымке, поднимавшейся теперь от снега, светился маленький неподвижный огонек.

Около дома не было признаков жизни, лишь солнце бросало последний луч на окно с открытыми ставнями. Над крышей поднимался дым, и Пабло показалось, что запах горячей похлебки и древесного дымка долетел до вершины холма.

Глубоко вздохнув, он еще постоял, опершись о кол, устремив взгляд на отблеск света в окне. Вдруг он погас. Солнце скрылось. А там, далеко, земля и небо снова смешались воедино.

И тогда, не спеша, Пабло стал спускаться между рядами виноградника.

Он ничего не делал, чтобы успокоить бурлившую кровь. Ничего не делал, чтобы привести в порядок мысли, и все же почувствовал себя спокойнее, и даже усталость почти прошла. Он возвращался домой, день кончился, а завтра его снова ждала работа.

41

В последующие дни с юга дул сильный ветер, а ночью из беспорядочно налетавших туч лил дождь. Ливень длился ровно столько, чтобы смыло весь снег.

— Погода работает на нас,— говорил Хромой, потирая руки.— Правда, немного раскиснет, но, если будет ветер, земля быстро просохнет, и тогда можно начать работу.

Ветер колебался, менял направление: сначала дул с юго-востока, потом прямо с востока. Старик все потирал руки.

— Лучшего и желать нельзя,— говорил он.— Как раз то, что нужно. Уж я-то знаю, погодка наладится.

Он был прав. Небо очистилось от серых туч, и однажды ночью ветер отполировал его окончательно.

Пабло просидел дома всего четыре дня.

Четыре дня он метался по кухне, как лев в клетке, не осмеливаясь даже приблизиться к окну. Четыре дня он взбирался в свою комнату, как только во дворе раздавался стук сабо.

— Ты бы лучше в комнате оставался и спал,— говорила хозяйка,— а то у меня от тебя голова кружится, слоняешься тут у плиты.

Она говорила это шутя. Она сама все предусмотрела, все обдумала, пока Пабло отсутствовал, и изложила свой план ему и Хромому в первый же вечер. Сначала Пабло ничего не ответил, но старик сразу же согласился с хозяйкой.

— Брюли, а как же, господи! Там все есть, вот и построим тебе хорошую избушку, и спокойненько там отсидишься. Это самый заброшенный уголок в нашем краю. Я всегда говорил.

И хозяйка добавила:

— А потом, это же ненадолго. Вот мэр немного успокоится, и снова спуститесь вниз.

— Тогда, мне кажется, не стоит строить хижину, я могу обойтись и палаткой,— сказал Пабло.

Но хозяйка и Хромой настаивали.

— В такое время года! Холода и снег еще вдруг вернутся! С этим не шутят, да ведь и спешить пока некуда.

И утром на пятый день Пабло еще до зари ушел на Брюли. Он прошел полями, минуя дороги, и, как только рассвело, старик и хозяйка пришли туда вместе с Вороной, нагруженной стройматериалами.

— Вы никого не видели? — спросил Пабло.

— Нет. И мы же имеем право колья возить!

Они спрятали кровельное железо и инструменты под колья, которые тоже должны были пойти на строительство. Остальное дерево можно было найти на месте. Только срубить и обработать.

Они начали рубить лес, так как решили построить хижину посреди рощи.

— Никто и не додумается искать ее в таком месте.

Они потратили пять дней на постройку, зато избушка получилась хорошая. Стены из толстых бревен, крыша крыта железом. Сложили маленькую печку, но из-за дыма Пабло мог разводить огонь только ночью или, в крайнем случае, когда дул западный ветер.

Пабло чувствовал, что хозяйка рада сохранить его при себе. Он хорошо понимал, что она больше печется о своих землях, чем о себе и о нем, но ведь и он тоже думал в основном о виноградниках, которые в самом деле нуждались в его труде.

Что же до Хромого, тот трудился вовсю, то и дело шутил и смеялся, и Пабло казалось, что перед ним — ребенок. Хромой будто строил убежище для игры в прятки. А когда работа была окончена, когда матрац для Пабло положили на сплетенную из веток сетку, старик уселся и сказал:

— Ей-богу, как только ты спустишься вниз, я приду и тут поселюсь. Хоть уверен буду, что смогу помереть спокойно.

Пока стояла плохая погода, никто не заметил возвращения Пабло, но, как только настало время приниматься за работу, вся деревня узнала, что он проводит дни на виноградниках. И хозяйка, не дожидаясь визита мэра, сама пошла к нему. Она ходила много раз. И однажды пробыла в мэрии больше часа. В тот же вечер она поднялась на Брюли поговорить с Пабло. Тот ждал ее, сидя на самом верху, у дороги.

Как только он увидел ее, то понял, что она принесла добрые вести.

— Ну как? — спросил он.

— Подожди, дай мне... отдышаться!

Она раскраснелась, на лице блестел пот.

— Ты слишком быстро поднялась,— сказал Пабло.— Пойдем, выпей стаканчик, придешь в себя.

Они вошли в избушку, и хозяйка выпила полстакана вина, потом улыбнулась и сказала:

— Это было нелегко. Но ты можешь вернуться, никто тебе ничего не скажет.

— Как так?

— Будешь узаконен.

— Не понимаю.

Она поколебалась, посмотрела на него и, поднявшись, подошла вплотную. В избушке был всего один табурет, и Пабло сидел на краю кровати. Она села рядом.

— Есть только один способ. Мэр сам подсказал мне, когда я была у него второй раз; я только не хотела говорить, пока сама лично не удостоверюсь.

— Так что же ты надумала?

— Испанский консул — префекту приятель. Он твои бумаги подпишет.

— Испанский консул?

— Да, консульство в Лионе, но сам он часто бывает в Лоне, в префектуре.

Пабло нахмурился. Посмотрел на Жермену, спросил:

— Но это консул франкистский?

Она скорчила мину: какое-де это имеет значение. Пабло повысил голос:

— Но ты же хорошо знаешь, кто я такой!.. И я тоже хорошо знаю, что эти люди никогда не согласятся выдать мне удостоверение личности.

— А вот выдадут.

Пабло поднялся и зашагал по хижине.

— Но я не хочу! Не для того я боролся против них и не для того спасался, чтобы сейчас им покориться... Может быть, таким образом они хотят заставить людей вернуться в Испанию. Со мной это не пройдет!

По мере того, как он говорил, голос его становился все громче. Жермена смотрела, как он ходит взад и вперед по крошечному домику, в котором можно было сделать всего три-четыре шага. Она еще не видела его таким.

С тех пор, как они жили вместе, никогда Пабло по-настоящему не сердился. Только иногда в нем что-то вдруг шевелилось. Что-то странное, что ему не удавалось заглушить.

Пабло замолчал, лицо у него побледнело, руки дрожали. Наступило долгое молчание, потом Жермена сказала:

— Ты не понял. Не разобравшись, сердишься.

— Как так не понял! — Пабло повысил голос и вдруг как-то сразу успокоился. Сел на табурет, прислонился спиной к бревенчатой стене и спросил почти нормальным голосом: — Что именно я не понял?

— Почему консул это сделал.

Пабло молчал. Она немного подождала и добавила:

— Мэр сам встретил его в префектуре, он рассказал мне, о чем они говорили. Мэр объяснил, что тебя здесь держат только для работы. Сказал, что хорошо тебя знает и никогда не поверит, чтобы ты воевал.

— И тот ему поверил?

— Он сказал: «Многие попали в общий поток и бежали вместе с другими, потому что боялись...». И еще сказал: «Мне хорошо известно, что те, опасные, давно подались в маки́».

Пабло притих. Опустил глаза и какое-то время сидел неподвижно, потом встал и подошел к двери. В голове беспорядочно толпились картины: борьба не на жизнь, а на смерть против бронированных франкистских машин, разрушенные дома, трупы детей, лицо Марианны, тысяч Марианн, невинных и прекрасных; лагерь, вши, голод и потом — более четко, более близко — нелепый силуэт Энрике, шагающего по снегу. Энрике — хилый, тщедушный, Энрике, которого смерть не берет, пошел воевать с рюкзаком за спиной и ножом в кармане... Ножом и штопором.

Да, Энрике опасен!

Медленно поднималась ночь из глубины ущелья, и кусты во тьме были все одинаковые. На фоне кустов картины войны проходили смутно, то медленно, то быстро, почти такие же неясные, как эта маленькая долина цвета влажной земли и сумерек.

Пабло долго стоял неподвижно. Потом, когда ночь окутала долину, услышал, как тихо встала Жермена и подошла к нему. Она положила руку ему на плечо.

— Идем,— сказала она.— Сегодня вечером ты можешь спуститься; еще несколько дней — и получишь документы.

Она закрыла дверь избушки. Пабло шел за ней, как послушная собачка. Он молчал, руки у него чуть дрожали. Гнева он больше не испытывал, но его захлестнуло чувство огромной пустоты.

Вокруг них тьма сковала землю, все поглотила ночь, все едва дышало.

Так они шли, не разговаривая, до самой деревни. Пабло не замечал уже ни запаха, ни ветра, ничего живого на этом холме, как будто вместе с окончанием дня сюда вернулась зима.

И только войдя во двор, он остановился. Дверь конюшни была полуоткрыта. Он прошел вперед. Из конюшни в лицо ему пахнуло горячим духом. Подойдя к порогу, он бесшумно толкнул дверь. И тотчас Вороная затрясла цепью и забила копытом. Хромой, несший ей сено, крикнул:

— Эй, Вороная! Ты что это?

Кобыла подняла голову, пытаясь повернуться в загоне. Тогда Хромой взглянул на дверь. Пабло подошел. Они молча посмотрели друг на друга, и Пабло проскользнул между стенкой загона и лошадью. Он долго стоял, лаская кобылу и разговаривая с ней вполголоса.

Хромой наполнил ясли сеном, и Вороная стала есть. Они вышли из конюшни, и когда Пабло пересекал двор, ему показалось, будто что-то пробудилось в ночи. Что-то неосязаемое поднималось от земли.

Они вошли в кухню. Хозяйка уже разливала похлебку.

— Да ну же,— крикнула она,— три раза я тебе сказала, принеси еще одну тарелку.

Жаннетта направилась к буфету, взяла тарелку и повернулась. Мужчины стояли у порога, она подняла на них глаза. Увидев Пабло, она застыла с тарелкой в руках.

— Ну так как? — спросила хозяйка.— Несешь ты тарелку?

Девочка подошла к столу. Пабло подошел к нему тоже.

— Здравствуй, Жаннетта,— сказал он.

Она забормотала, все лицо ее просияло. Она улыбалась. Да, в самом деле улыбалась.

Пабло прошел и сел на свое место. Он облокотился на стол и посмотрел на дымившуюся похлебку.

Напротив сидел старик, ел и рассказывал о землях, о том, что уже сделано.

Пабло не слушал, но звук этого голоса сливался с песенкой огня в плите, с шепотом ночи, которая все сжималась вокруг дома, где у каждого предмета был свой голос.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

42

Грузовик съехал с шоссе и медленно покатился по узкой ухабистой грунтовой дороге. Когда грузовик въехал в лес, шофер затормозил. Человек с автоматом в руках подошел и, сделав знак рукой, сказал:

— Хорошо. Проезжай. Э-э, да ты никак новичка привез? Чего это он прискакал в такое время — видно ведь, что дело идет к концу! Теперь они все почуяли, куда ветер дует.

— Это приятель испанца, он уже у нас был,— ответил шофер и прибавил скорость.

Пабло ничего не сказал. Несмотря на рытвины и ухабы, грузовик покатил довольно быстро. Земля была сухая, и тряска отдавалась в кузове. Пабло слышал, как на железной крыше над головой постукивает ручной пулемет, с которым позади кабины стоят два бойца. Он повернул голову.

— Скоро приедем,— крикнул шофер.

Еще три поворота, потом перекресток, охраняемый четырьмя часовыми. Грузовик замедлил ход, свернул налево и остановился перед домом на прогалине. Позади дома под деревьями стояли два тягача и три грузовика. Шофер развернулся и дал задний ход.

— Машину всегда надо ставить вот так, под прикрытие, чтобы можно было сразу тронуться с места в случае тревоги. Мало ли что...

Грузовик остановился, Пабло и шофер вышли из кабины. Человек с ручным пулеметом уже спрыгнул на землю, как и его попутчик, который сразу же вошел в дом.

— Будем разгружать барахло? — спросил человек с ручным пулеметом.

Шофер усмехнулся.

— Да ты в своем уме? Это не наша забота. Они пришлют наряд все это растрясти.

Из дома вышли трое. Шофер направился было к ним, потом обернулся и спросил:

— Слушай, ты пойдешь в лагерь?

— Да,— сказал человек с ручным пулеметом.

— Тогда отведи новенького.

Пабло поднял рюкзак, перебросил через плечо и пошел за ним. Они шли по тропинке, которая вилась вверх среди деревьев. Вскоре они услышали гомон голосов, бряцание бидонов и кастрюль. Земля стала ровной, и Пабло заметил первые палатки, разбросанные среди дубов и буков. Перед каждой палаткой сидели люди и ели из котелков.

Они остановились перед группой, сидевшей у одной из палаток.

— Это здесь,— сказал человек с пулеметом.

— Тебе что надо? — спросил парнишка лет пятнадцати.

— Он к Энрике.

— Энрике! — крикнул парень.

Пола палатки приподнялась, и оттуда вышел улыбающийся Энрике.

— А, это ты? Я знал, что ты придешь к нам. Ну, как дела?

— Ничего,— сказал Пабло.— А ты как?

— Все хорошо.

Они говорили по-французски. Пабло это заметил.

— Заходи,— сказал Энрике.

Они вошли. Внутри палатки доска, положенная на ящики, служила столом, а другие ящики заменяли стулья. На походной кровати сидел кто-то и ел.

— Это мой приятель Пабло,— сказал Энрике.

Мужчина положил хлеб на кровать и протянул Пабло руку. В другой руке он держал банку консервов.

— Ты ел? — спросил он.

— Да,— ответил Пабло.— Спасибо.

— Все равно открой ему банку, Энрике,— он составит нам компанию.

— Нет, уверяю вас...— начал было Пабло.

— Не волнуйся,— отрезал Энрике.

Пабло не настаивал. Он взял хлеб и протянутую ему банку с паштетом.

— Это американские консервы,— сказал Энрике.— Первое время ешь в охотку, потом — надоедает и, наконец, просто с души воротит.

— Хуже всего дело обстоит с табаком,— сказал другой.— Консервы мы едим не так уж часто, а вот табак...

Некоторое время ели молча, потом Энрике сказал:

— Ах, да! Я же не объяснил тебе. Это лейтенант Дюбуа. Он командир нашей группы.

Пабло посмотрел на лейтенанта. Он был маленький и худой, почти такой же, как Энрике, но у него было бледное лицо, а волосы подстрижены бобриком. Взгляд твердый, задумчивый.

— Да,— сказал он,— твой товарищ уже давно говорил мне о тебе, и у меня появилось желание с тобой познакомиться.

— Честно говоря,— сказал Энрике,— до сих пор в этом не было такой уж необходимости...

— Я не хочу сказать, что он должен был явиться к нам раньше,— бросил лейтенант, повысив голос.— Я просто говорю, что ты действительно уже давно мне о нем рассказывал. Я ведь всегда был против лишнего народу. И даже сейчас, если бы нас было вдвое меньше, было бы лучше.

Он замолчал и глотнул вина. Пабло повернулся к Энрике. Тот взглянул на него и разразился смехом.

— В чем дело,— спросил лейтенант,— ты что, спятил?

— Нет, но я посмотрел на его физиономию и вспомнил о своем послании.

— А что ты там написал?

Энрике повернулся к Пабло.

— Бумага с тобой?

Пабло поискал в кармане и вынул смятую бумажку. Послание было написано по-каталонски. Энрике прочел вслух перевод:

«Прошу тебя сейчас же подняться к нам наверх. Ты нам нужен. Всего на несколько дней».

Лейтенант тоже рассмеялся.

— Конечно,— сказал он,— это может показаться смешным. Но верно, сейчас он нам нужен.

Он замолчал, взял металлическую флягу и разлил вино по кружкам. Потом, повернувшись к Пабло, объяснил:

— Видишь ли, у нас не хватает оружия для всех, кто пришел сюда в последнее время, но не в том беда: если бы оно у нас и было, мы все равно не могли бы его раздать. Большинство ведь совсем еще мальчишки. Так вот, сначала их надо обучить. А для нас главное — иметь хорошую, надежную группу. Поэтому, если бы я мог поменять свою молодежь на таких вот, как ты, я бы десятерых за одного отдал.

Он рассмеялся. Рассмеялся и Энрике. Пабло посмотрел на них, пробормотал:

— Вы преувеличиваете, я мало что умею.

— Не строй из себя девочку,— сказал лейтенант,— твой приятель объяснил мне, что́ вы делали в Испании. Мы-то знаем, чего стоят такие, как ты.

Пабло перестал есть. Выпил несколько глотков вина; оно показалось ему кислым.

— Ты славный парень,— сказал лейтенант.— Каждый раз, когда к тебе посылали ребят, ты всегда снабжал их продовольствием. И в глубине души сам понимал, что до сих пор тебе полезней было оставаться на месте. Только решающий бой не за горами, американцы поднимаются по долине Роны, а мы не хотим, чтобы они освободили Лон и примыкающие к нему места. Это уж наша работа. Это касается только нас.

— Вы хотите взять город? — спросил Пабло.

— Безусловно, и мы это сделаем.

— Но вы знаете, ведь немцев, говорят, еще много.

Они снова рассмеялись, глядя на Пабло.

— Не беспокойся,— сказал Энрике,— мы осведомлены лучше тебя. В тот день, когда начнется наступление, все группы будут брошены в бой.

Пабло молчал. Ему хотелось выйти на воздух. Подышать. Он не мог разобраться в своих чувствах, и ему совершенно необходимо было выйти на свежий воздух. Остальные продолжали есть. Они выложили на стол сыр и яблоки.

— Ешь,— сказал Энрике.

— Нет, хватит.

— Кажется, ты знаком с автоматом и гранатами? — спросил лейтенант.

— Немного,— прошептал Пабло.

Лейтенант, казалось, задумался, потом, обращаясь к Энрике, сказал:

— Завтра ты покажешь ему все типы оружия, которые у нас есть. Я хочу прикомандировать его к третьему отряду. Из ветеранов там только Бертран и Годар. Других мы еще ни разу не видели в деле. Им хорошо иметь такого человека.

Как только они покончили с едой, лейтенант дал Энрике некоторые указания насчет ночного дежурства и прибавил, кивнув на Пабло:

— Не назначай его на дежурство раньше завтрашнего вечера, и тот же режим, что для ветеранов. Познакомь его с лагерем, объясни правила и проводи в третий отряд.

Они встали. Лейтенант пожал им руки, и они вышли.

Энрике направился к палатке, расположенной чуть дальше, между двумя березами.

— Сначала положи рюкзак, а потом обойдем лагерь.

Палатка была сделана из большого куска автомобильного брезента, он доходил до земли только с одной стороны. Спереди и по бокам на высоте двадцати сантиметров шел барьер из досок, поддерживаемых колышками. В палатке была разбросана солома, пустые мешки, одеяла, валялись в беспорядке солдатские котелки, кружки, одежда. Четыре ружья и три автомата стояли в глубине. У подножья дерева сидел человек и читал обрывок газеты.

— А где остальные? — спросил Энрике.

Человек встал.

— Не знаю, шеф, они спустились к посту.

— Как тебя зовут? — спросил Энрике.

— Марсель Бютуа.

— А это Пабло. Мы были вместе в Испании. Он научит вас, как подрывать танки.

— Я знаю. Годар говорил, что он придет, но мы даже не надеялись увидеть его в нашем отряде.

Парень был совсем юный. Высокий и тонкий, светлые волосы, смеющиеся голубые глаза. Пабло заметил, что рука у него крепкая.

Энрике подобрал ветку и, не нагибаясь, поворошил одежду, оттолкнул котелок и наскреб немного соломы.

— Надо приготовить для него место,— сказал он.— И потом, постарайся достать ему свежей соломы. Эта совсем слежалась! Мне надо повидать Годара.

Он говорил громко, резким, отрывистым голосом. Бютуа молчал.

— Пошли,— сказал Энрике.— Надо обойти лагерь.

Когда они отошли на несколько шагов, Пабло спросил:

— А ты-то сам здесь кто?

— Старшина,— сказал Энрике.— То есть замещаю лейтенанта, когда он отсутствует. И вместе с ударной группой выполняю почти все самые трудные задания.

Они молча прошли еще немного. Пабло смотрел на лес. Это была не лесная поросль, а большие деревья, и ветки образовывали густой свод, как бы заплатанный лоскутками светлого неба. Энрике снова заговорил:

— Видишь ли, война в Испании совсем сбивает их с толку. Если бы ты пришел вместе со мной, ты был бы лейтенантом и командовал бы целой группой. Ну, а мне сначала мешал акцент. Не очень, правда, ведь не такой уж он заметный, но, сам понимаешь, их смущало то, что ими командует иностранец.

Они все шли. Пабло молчал. Он смотрел на лес. Вскоре они наткнулись на двух часовых, которые сидели за поваленным деревом.

— Как дела? — спросил Энрике.

Часовые поднялись. Один держал в руке карабин, другой автомат. Рядом лежала сумка. Пабло подумал, что в ней, должно быть, гранаты.

— Это мой приятель Пабло,— сказал Энрике.

— Ты нам уже давно рассказывал о нем,— сказал часовой с автоматом.

— И говорил вам, что он придет, когда настанет время решающего боя.

Они пошли дальше, оставив двух часовых нести свою службу.

— Это,— пояснил Энрике,— называется Второй пост, а дальше, справа, Первый пост. Они считаются самыми опасными. Из-за близости густого леса. Сюда посылают надежных ребят. Тот, который со мной говорил, один из ветеранов; другой пришел недавно, но тоже вполне надежный. Другие посты на опушке леса, там не так опасно. Раньше туда посылали одного часового, но теперь нас стало много, и мы назначаем двоих. Для молодых это полезно. Их надо заставлять что-то делать, но если их посылать по одному, они трусят и без конца стреляют. Когда мы пробовали так делать, за ночь у нас запросто бывало по четыре-пять тревог. Есть у нас еще передовые посты, они расположены вокруг леса, но это очень далеко, ты их в другой раз увидишь.

— На вас еще не нападали? — спросил Пабло.

— Здесь — нет. Мы очень далеко от дороги. Они вообще не осмеливаются заходить в леса. Но там, где мы были раньше, они нас почти полностью окружили. Нас продали. И четырнадцать парней так и остались там лежать — все молодые, они плохо знали эти места.

Они прошли еще, потом Пабло спросил:

— Значит, вы только один раз дрались?

Энрике остановился, посмотрел на него и покачал головой:

— Ты, видно, и в самом деле не слишком-то много знаешь. Ты никогда не слыхал о нападении на немецкие составы?

— Слыхал.

— Ну так вот, это наша работа. И знаешь, не всегда все сходит благополучно. Бывают раненые и даже убитые.

Лес начал светлеть. И вот они вышли на большую поляну. Собственно, не поляну, а просеку. На ней лежал хворост, из которого делали шалаши для часовых. Энрике многим представил Пабло. И каждый раз говорил, что Пабло на мадридском фронте был специалистом — подрывником танков. И каждый раз Пабло опускал голову. Они продолжали свой путь до дома, возле которого стоял грузовик.

— Здесь караульное помещение,— сказал Энрике.— Если завтра тебя назначат на дежурство, спать будешь здесь. Тут спят шоферы и оружейники, у них здесь мастерская. И тут же держат пленных.

— У вас есть пленные?

— Сейчас нет. Их надолго не оставляют.

И Энрике сделал жест — как бы вскинул ружье к плечу. Пабло ничего не сказал. Они прошли еще и вернулись в лагерь. Почти совсем стемнело, в палатках зажглись электрические лампочки. Энрике остановился, крикнул, и лампочка погасла.

В палатку, где предстояло спать Пабло, уже вернулись все.

— Ты здесь, Годар? — спросил Энрике.

Из темноты раздался голос:

— Да, место для твоего дружка приготовили. В самом конце направо.

Энрике проводил Пабло в другой конец палатки.

— Ну вот,— сказал он,— устраивайся. Спокойной ночи.

Пабло опустился на хрустящую солому.

— Тебе места хватит? — спросил тот, что лежал с ним рядом.

Пабло узнал голос Бютуа.

— Да, все в порядке.

— Вот здесь твой рюкзак.

Пабло нащупал рюкзак в глубине палатки. Он почувствовал, что солома свежая.

— Спасибо за солому.

— Порядок. Если тебе что нужно, скажи.

— Нет, ничего не надо, спокойной ночи.

— Спокойной ночи. И имей в виду, если встанешь по малой нужде, не отходи далеко, из-за часовых.

— Я знаю, Энрике объяснил.

43

В лагере еще некоторое время слышались шаги. Окрики, бряцание оружия и стук передвигаемой посуды. В соседней палатке болтали приглушенными голосами. Потом мало-помалу все стихло. Несколько минут стояла почти полная тишина.

Лежа неподвижно на спине, Пабло прислушивался. Но слышно было лишь легкое потрескивание хворостинок да еле уловимый шелест листвы.

Началась ночная жизнь леса. Уханье филинов, сов, крики незнакомых птиц нарушали тишину. Ни дуновения ветерка. И все же лес жил. Будто единое, ровное дыхание волновало ветви, и еще целый мир потрескиваний, и шепот, и шелест крыл.

Никогда Пабло не приходилось ночевать в таком лесу. Он подумал о ночах в Брюли. О тишине. О полной тишине равнины. Здесь, наверное, и не бывает тишины. Лес живет жизнью каждого животного, каждого растения — и даже сном всех этих людей, очутившихся под наспех раскинутыми палатками.

Несколько раз Пабло казалось, что кто-то стоит рядом с ним. Ему казалось, будто там, по другую сторону палаточной ткани, в нескольких сантиметрах от его лица бродит животное. Он приподнялся на локте и посмотрел. Луны не было, но между деревьями лился молоч-

ный свет и колебался под ветками. Пабло приподнялся еще. На земле что-то блестело. Что-то вроде светлячка, но толще и длиннее. Несколько минут Пабло старался рассмотреть светящийся предмет. Ему казалось, что он двигается. Немного дальше был еще один. Пабло приподнялся больше. Он уже собирался встать, когда Бютуа шепотом спросил его:

— Что случилось? Тебе что-нибудь нужно?

— Нет,— ответил Пабло,— спасибо.

— В первые ночи всегда плохо спится, но это быстро проходит. Когда нет дождя, еще терпимо.

— Ты давно здесь?

— Около месяца.

Отвечая Бютуа, Пабло не спускал глаз со светящегося предмета. Сейчас он уже не двигался. Пабло немного поколебался, потом, понизив голос, спросил:

— Я не знаю, что это, там на земле что-то блестит.

Бютуа даже не приподнялся.

— Дерево фосфоресцирует,— сказал он.— Я никогда ничего подобного не видел. Здесь таких полно. А ты тоже никогда не видел?

— Нет.

— Почти сгнившее, изъеденное червями дерево.

Пабло снова лег.

Он долго старался разобраться в своих мыслях. Понять, что ему делать. Что сказать завтра Энрике. До сих пор все происходило помимо его воли. Пришли люди, как приходили много раз, но на сей раз кроме бочек с вином и мешков с картошкой прихватили с собой еще и Пабло. Им даже не пришлось ничего говорить. Передали записку от Энрике, как обычно передавали требования о реквизиции. Пабло уложил рюкзак, сказал: «До свидания», поднялся в кабину и сел рядом с шофером. И все это почти машинально, без колебаний, без раздумий.

С тех пор, как узнали, что американцы совсем близко, все жили точно в лихорадке, и она дошла до самых удаленных ферм. Работа продолжалась, но было и какое-то тайное ожидание. Кто знает, не последняя ли это пропаханная борозда, вскопанная или взрыхленная полоса виноградника, перед тем как... Перед чем? Что будет дальше, точно никто не знал, но все знали: дело идет к освобождению. Об этом говорили мало, но было ожидание, оно было во всем, почти осязаемое. И вот, сами того не замечая, люди переменились.

Пабло думал о ребятах из маки, приходивших за продовольствием. Много раз они говорили об Энрике. Много раз повторяли: «Не сегодня, так завтра, а надо будет к нам прийти». И каждый раз Пабло только улыбался. Подмигивал, как человек, который все предусмотрел, все приготовил, который в курсе всего и только ждет своего часа, чтобы начать действовать.

Однажды вот так же пришли немцы. Они обыскивали всю деревню дом за домом. Когда Пабло показал им свой документ испанца режима Франко, офицер похлопал его по плечу и сказал:

— Маки — террористы, все коммунисты.

И на это Пабло тоже улыбнулся, подмигнул.

И вот Пабло здесь, лежит в палатке, где спят солдаты. Поднять руку — и можно нащупать холодный металл ружья. А там, дальше, в солдатском мешке — гранаты.

Он старался думать только о доме. Там, наверное, все спят. Завтра утром Жермена с Хромым закончат опрыскивание виноградников медным купоросом; да, с этим ждать нельзя. Еще Пабло подумал о Жаннетте. О кухне с большим отполированным за многие годы столом. О погребе, где бочки стоят в ряд, о своем прессе. Прекрасный новый пресс с мотором. Пресс, который стоил ему три четверти уро-

жая и прослужил только один год. Подумал он и о Вороной, о жеребенке, которого продали.

Там вся жизнь Пабло: дом, мебель, люди, животные, земля. Все там, правда, в беспорядке, как бывает, когда при внезапном отъезде в спешке суют вещи в мешок. Но зато все настоящее, как лес с тысячью звуков, как спящие люди, как оружие, которое бездействует до поры до времени.

Долго еще Пабло ворочался, но осторожно, чтоб не толкнуть спавшего рядом паренька.

Где-то далеко на извилистой дороге с перебоями надрывался мотор. Перекликались птицы. Трели соловья лились в ночь, как прозрачный источник между черных скал.

Каждый звук рождал образ. Он входил в Пабло, принимал форму, светлел, приобщался к дому, к деревне. Пабло принес их с собой. И все смешивалось, образуя мир жизни и сна, солнца и ночи, и все мешало ему думать.

Вскоре послышались приближавшиеся шаги. Фонарик тонким лучом осветил лица спящих. Пабло закрыл глаза и почувствовал, как свет упал на его веки. Фонарик погас, и шаги стали удаляться, смешиваясь с тысячью ночных звуков.

44

Утром весь лагерь залило солнцем. Свет струился сквозь листву и разливался по мху большими светлыми лужами. Люди сновали туда и сюда, сушилось белье на веревке, протянутой от одного дерева к другому, повсюду болтали, насвистывали, как на ярмарке,— только музыки не хватало.

В поисках Энрике Пабло пошел по лагерю, но парень, которого он накануне видел у палатки лейтенанта, сказал, что Энрике ушел в дозор. Пабло вернулся в палатку. Там был Бютуа.

— Тебя ищет Годар,— сказал он.

— А что от меня хотят?

— Подожди его здесь, он покажет тебе оружие.

Пабло сел на солому рядом с Бютуа. Так они сидели молча, потом Бютуа спросил:

— Ты спал?

— Да.

Он подумал, посмотрел еще раз на Пабло и спросил:

— Кажется, вам здорово досталось во время войны в Испании?

Пабло ничего не ответил. Только кивнул. Бютуа продолжал:

— По-моему, Годар страшно горд, что тебя прикрепили к нашей группе.

Пабло вздохнул. Вокруг снова лишь шумел лагерь да шелестела листва, в которой утренний ветерок играл тысячью солнечных бабочек. Пабло все молчал, и Бютуа спросил:

— А правда, что в частях, с которыми вам пришлось сражаться в Мадриде, было не меньше немцев и итальянцев, чем солдат Франко?

Пабло повернулся к парню, тот смотрел на него в упор, и глаза у него были как у ребенка, который ждет, чтоб ему рассказали захватывающую историю.

— Послушай,— сказал Пабло,— мне очень неприятно, когда мне об этом напоминают. Мне бы хотелось доставить тебе удовольствие, но сам понимаешь...

Пабло подыскивал слова. И так и не нашел их. Бютуа рассмеялся.

— Знаешь,— сказал он,— я здесь недавно, но ветераны мне говорили, что твой приятель Энрике говорит об этом без конца. Ты, по крайней мере, хоть не такой!

— Не надо на меня сердиться. Я другой.

Бютуа перестал смеяться. Посмотрел на Пабло и сказал:

— Понимаю... понимаю...

Пабло хотелось поговорить — о чем-нибудь другом.

— А что ты делал раньше? — спросил он.

— Был студентом, потом заканчивал аспирантуру. Может, буду работать по медицинской части.— Помолчал немного и, возвращаясь к войне, сказал: — А странно, что у бывшего фронтовика нет охоты порассказать, как он воевал. Мой отец воевал в четырнадцатом, и я сотни раз слышал его рассказы про войну. Я уже все знаю наизусть, а готов еще и еще слушать. Хотя он рассказывает, не меняя ни слова. И в общем у меня такое впечатление, что о самых тяжелых минутах он сохранил наилучшие воспоминания. Точно не знаю, что ты делал, но не думаю, чтобы тебе пришлось тяжелее, чем ему; вот меня и удивляет твое нежелание об этом говорить.

Парень замолчал. Пабло и сам жалел, что не может рассказать ему о том, что делал на войне. Он долго колебался и наконец сказал:

— Мне пришлось не слишком тяжко. Только, видишь ли, я там потерял все... даже жену.

Два последних слова он произнес совсем тихо. Но Бютуа понял. Лицо у него стало пунцовое. Он сделал неловкий жест, и рука повисла в воздухе.

— Извини меня,— прошептал он.— Извини.

— Не беда, ты же не знал.

Они долго сидели, не глядя друг на друга. Вокруг лагерь и лес продолжали свою жизнь. Внизу жили люди, наверху — деревья и ветер. И повсюду на землю и на людей солнце рассыпало блики столь же бесчисленные, как просветы в листве.

— В общем-то,— сказал Бютуа, не поднимая глаз,— то, что мы здесь, это нормально, но ты — другое дело!

Пабло встал и прошелся перед палаткой. Только что, почти помимо воли, он сказал о смерти Марианны. Просто чтобы избавиться от расспросов, он бросил эти слова, как бросают палку под ноги преследователя. Старая песня снова повторяется и будет преследовать его всегда. Пабло задумался. Надо уходить отсюда. Объяснить Энрике, что он не может, не хочет быть прежним Пабло, о котором тот оповестил весь лагерь.

Пабло чувствовал, как в нем поднимается гнев. И сразу на ум пришли нужные слова. И придут еще, когда здесь будет Энрике.

Пабло повернулся к Бютуа.

— Когда патрульные возвращаются с дежурства, куда они идут?

— Вниз на сторожевой пост.

— Я пойду туда.

— А если вернется Годар?

Пабло помедлил, ему хотелось крикнуть, что ему на все наплевать, но он ушел, так ничего и не сказав, даже не оглянувшись.

Патруль вернулся на пост вскоре после того, как туда пришел Пабло. Пабло сразу подошел к Энрике. Слова были тут, на языке, уже готовые сорваться.

— А, ты здесь,— крикнул Энрике.— Очень кстати!

— Я хотел тебе сказать...

Энрике повернулся к своим людям.

— Ты, Равье,— крикнул он,— быстро собери ветеранов из третьего и четвертого, доукомплектуй наиболее сообразительными новичками, чтоб было всего десять человек, и пришли сюда.

Тот поставил ружье и побежал к лагерю. Едва он сделал с десяток шагов, как Энрике снова крикнул:

— Эй, Равье!

Тот остановился.

— Что еще?

— Только девять. Один уже тут!

Он повернулся к Пабло.

— Послушай,— начал Пабло,— я должен тебе сказать...

— Не сейчас, старик,— прервал его Энрике.— Неприятности всегда случаются, когда нет лейтенанта. На шампаньольской дороге появились немецкие мотоциклисты и вроде бы внизу тоже зашевелились. Я сейчас пойду со своими ребятами, и ты сделаешь первый выход.— И рассмеялся.

— Но я...— начал было Пабло.

Все так же улыбаясь, Энрике продолжал:

— Ты уж извини, я думал, в первый день тебя лучше бы оставить в покое, но лейтенант ушел с двенадцатью молодцами, и у меня не хватает опытных людей: я вынужден бросить тебя в бой.

Пабло опустил голову. Вооруженные люди уже спускались по тропинке. Они встали в кружок, и, когда все были в сборе, Энрике объяснил им, что надо делать. Он назначил Годара командиром второго патруля. Разделились на две группы. Бютуа подошел к Пабло.

— Я рад, что мы будем вместе.

Глаза его блестели. Они стали небесно-голубыми и сияли.

— Не знаю, право,— сказал Пабло.

— Эй, Годар! — крикнул Бютуа.— Мы с ним будем у пулемета?

Годар подошел. Мужчина лет тридцати, коренастый и плотный. В больших волосатых руках он держал пулемет-автомат.

— Да,— сказал он.— Тебе знакома модель двадцать девять? Кажется, у вас в Испании тоже такие были?

— Да,— прошептал Пабло,— знакома.

— Бютуа умеет заряжать,— сказал Годар,— но он никогда не стрелял.

Бютуа протянул Пабло пулемет. Патронная обойма была полная.

— Он не заряжен.

— Вижу.

Годар отдал приказ построиться, стал во главе цепочки, и они медленно двинулись вдоль опушки леса.

Солнце поднималось, и ветер терял силу.

Они пересекли лужайку, чтобы сократить путь до другой полосы леса. Шли молча, гуськом, иногда петляя, останавливались и снова бесшумно трогались в путь.

Пабло шел шестым. Бютуа — за ним. Все перед ними были вооружены автоматами и гранатами. У замыкавших шествие было по карабину и диску для пулемета.

Добравшись до места, где лес подходил к самой дороге, они обнаружили дозорного. Пабло узнал это место — здесь грузовик останавливался, когда его сюда везли.

— Как насчет мотоциклистов? — спросил Годар.

— Я их слышал.

— Ты слышал шум моторов, но это не значит, что там немцы.

— Отсюда мне не видно шоссе. Моя обязанность — охранять дорогу. Говорю вам, я слышал их, а уж там...

Часовой пожал плечами. Годар колебался.

— Но это ты нас предупредил?

— Да, приходили ребята с фермы и сказали.

— С какой фермы?

— Не знаю.

— Они тебе точно сказали, что боши едут из Лона?

— Ну конечно. Они тут и не могут ехать из другого места.

Годар раздраженно махнул рукой.

— Ладно, пошли! — сказал он.

Надо было пересечь большой луг, отделявший лес, из которого они вышли, от другого, менее густого леса, и они развернулись в стрелковую цепь. Трава, ожидавшая покоса, доходила им до пояса.

Время от времени по сигналу Годара они останавливались и несколько минут неподвижно сидели на корточках. Трава едва колыхалась. Ветер стих и только иногда пробегал по колосьям дикого овса.

Когда они снова вошли в лес, Пабло тихо спросил:

— Куда мы идем?

— К дороге, конечно,— прошептал Бютуа.— В этом лесу уже нет дозорных.

Они продвигались медленно, часто останавливались. Тишину леса нарушало лишь пение птиц да перепархиванье их с ветки на ветку. Пабло чувствовал, как тишина проникает в него.

Земля была покрыта кудрявой зеленью. Каждый раз, когда перед ними вставал пригорок, они останавливались и выжидали, прежде чем идти дальше.

По мере того как они продвигались в глубь леса, становилось все свежее. Но Пабло чувствовал, как пот струится у него по спине. Ручной пулемет под руками стал мокрый и скользкий.

Вскоре земля стала ровной, а лес поредел.

— Теперь уж недалеко,— прошептал Бютуа.

Не доходя метров двадцать до опушки, проглянувшей меж фиолетовых стволов, залитой солнечным светом, они остановились. Годар пошел дальше, прихватив с собой еще одного бойца.

Встав на колени за своим пулеметом, Пабло смотрел, как они продвигаются вперед. Много раз он вытирал потные ладони о рубашку. Затем вытащил из кармана носовой платок, промокнул лоб. Мельком взглянул на Бютуа. Тот, казалось, был спокоен. Он следил глазами за двумя силуэтами, которые постепенно удалялись, низко пригнувшись к земле, останавливаясь у каждого дерева.

Пабло тоже следил за ними. И по мере того как эти две тени делались все меньше, по мере того как они приближались к кружевному свету на опушке, сердце у Пабло билось все сильней. Пабло ждал. Но он ждал не взмаха руки Годара, призывающего их. Он ждал другого. Уже раз двадцать в голове у него, как в фильме, проносились картины: Годар и его спутник подходят к краю леса. Вот они медленно поднимаются, вглядываются в даль. И как только они выпрямляются во весь рост, раздается короткая очередь и укладывает их на месте. Выстрелы будут сигналом к истреблению. Немцы, оцепившие лес, начнут сжимать кольцо. Круг сомкнется, и никто, решительно никто не выйдет живым. Пабло вертел головой, шарил взглядом по лесу. Все застыло и все-таки жило. Казалось, все жило, ожидая смерти, а она пряталась здесь, рядом, за каждым стволом. Стоя на коленях, Пабло чувствовал запах земли. Руки трогали влажную, прохладную землю, поросшую мхом, а чуть дальше — гладкую, как придорожный камень.

Возможно, их так и оставят разлагаться, не похоронив. Пабло видел столько трупов, распростертых на земле. Возможно, через несколько минут и он станет трупом.

Через несколько минут он узнает, как уходит жизнь. Как узнала Марианна...

Марианна!

Перед лицом смерти он вспомнил о ней.

И вот она здесь. Прозрачная, но реальная. Он видел ее лицо, в нем не было красок. В нем отражались краски леса. И прямо по этому прозрачному лицу двигались две голубые фигуры.

Вот они остановились. Пабло затаил дыхание. Руки снова легли на оружие.

Убивать или быть убитым.

Пауза.

Даже птицы перестали петь. Даже больше не поднимался запах от земли.

Кругом царила полнейшая тишина. Вот сейчас ее разорвет выстрел. Короткая очередь. Одна короткая очередь — и сразу все оживет. Вспышка жизни всего на одно мгновенье.

— Скорее... Скорей!

Губы Пабло едва шевелились.

Лицо Марианны застыло.

Тени вдруг задвигались. Покрылись золотистым солнечным светом. Рука Годара дважды поднялась и упала.

И все тронулись в путь. Пабло почувствовал, как легкие его наполняются воздухом. Спина была ледяная, рубашка прилипла к ней.

Влажные руки судорожно сжимали оружие.

45

Теперь Пабло знал: в него вселился страх. Он чувствовал его. Страх, как животное, когтями впился в его тело. Давил на легкие, сжимал желудок, от него крутило в животе, как от плохого вина. Пабло заболел от страха. Он ничего не мог есть, и только прохладная вода, казалось, приносила ему облегчение.

— Не пей столько воды,— говорил ему Бютуа.— Ее сырой пить нельзя, она из гнилого колодца.

Пабло силился улыбнуться. Потом, чтобы отделаться от вопросов, пошел и лег в палатке. Два часа он лежал с закрытыми глазами и прислушивался к жизни лагеря — к голосу войны. С тех пор, как вернулись патрульные, все время раздавалось бряцание оружия, окрики, приказы, звуки голосов. Никто ничего подозрительного не заметил, но угроза осталась.

Вокруг леса, на опушке, на передовых постах, казалось, все было спокойно, но Пабло, когда ходил в дозор, видел эти посты, они были расставлены с такими промежутками, что ночью хорошо обученные батальоны могли проникнуть в лес.

А ночь надвигалась. Она уже заползала в глубь канав. Медленно, бесшумно, с тысячью уловок она окружала лагерь, подступая к каждой палатке. На взгляд это было незаметно, но стоило закрыть глаза на пять минут, а потом открыть — и можно было измерить продвижение захватчицы-ночи.

Вон то молодое деревце только что было похоже на длинную светлую нить, подвешенную к небосводу, и вот оно уже исчезло. И стало всего лишь голубоватой чертой в тени большого замшелого бука.

Пабло снова закрыл глаза, подождал, стараясь не открывать их две, три, четыре минуты, потом посмотрел. Темнота поднялась выше. Осталось всего лишь несколько бликов света, зацепившихся за самые верхние ветки. Все остальное погрузилось в полумрак.

Много раз он вспоминал чердак сарая, где повесился работник. Снова видел крюк, весь в паутине, на который каждый вечер натыкался луч его фонаря. Видел, как хозяин лежит посреди комнаты. Гроб из плохо обструганных досок. И снова — Марианна.

Это было предзнаменованием, что смерть бродит рядом.

Потом он подумал о Жаннетте. Старик доктор из Сент-Анье говорил: «Эта девочка чует смерть, как собака». Интересно, плачет ли Жаннетта в этот вечер? Чувствует ли, что смерть подбирается к Пабло? Или нет? Бедная, бедная Жаннетта!

Уже несколько раз Пабло хотелось уйти. Бросить все: рюкзак, одеяло, отойти от лагеря будто на прогулку и уйти через лес. Он знал, что можно пойти наугад и выйти на дорогу уже близ города. Он чутьем мог найти нужное направление. И он был уверен, что не ошибется.

Идти долго, но ничего, на это у него еще хватит сил.

Но часовые, но передовые посты. Правда, они расставлены очень редко и все же могут помешать Пабло бежать.

Будь то немцы или партизаны, у всех в руках ружья. Они держат в руках смерть, а Пабло боялся смерти. Смерть могла появиться в любой момент.

А ночь все надвигалась. С каждой минутой дальние деревья все больше сливались с мраком.

Однако движение в лагере росло, шум становился почти непрерывным. То резкий окрик, то приказ, то взрыв смеха нарушали тишину. Вернулись многие машины. Приехал грузовик — он маневрировал, чтобы встать под прикрытие, потом над лагерем ненадолго нависла тишина, и снова раздался шум. Перекрывая его, взвился одинокий голос; Пабло узнал его — это был голос лейтенанта. Приподнявшись на локте, Пабло посмотрел туда, где находился центр лагеря. И заметил свет в палатке лейтенанта и вроде бы медленно расходившихся людей.

Но вот снова послышались голоса, прибыла еще одна группа. Пабло почувствовал, что Бютуа примостился с ним рядом.

— Что там случилось? — спросил Пабло.

— Вернулся грузовик с продовольствием. Ребята привезли пленного,— объяснил Бютуа.

— Немца?

— Нет, француза. Из Шампаньоля. Его многие знают.

— А что он сделал?

— Пока неизвестно, его будут допрашивать.

— Так что же, его арестовали, не зная за что?

Бютуа колебался. Оживление в лагере утихало, разговаривали уже в палатках.

— Можешь быть спокоен,— продолжал Бютуа.— На его совести определенно что-то есть, он ведь побежал прятаться, когда увидел грузовик.

Пабло не ответил. Посмотрел еще раз на то место в лесу, где еще недавно блестел луч солнца, но там уже не было ничего. День угас. Пабло снова растянулся.

— Спать будешь? — спросил Бютуа.

— Да, а что?

— Сам знаешь, нам идти на дежурство.

Пабло вздохнул.

— Нас назначили вместе,— сказал Бютуа.— И я очень рад.

— В котором часу дежурство?

— Через полчаса. Но на сторожевой пост надо идти уже сейчас.

Они взяли снаряжение и спустились к дому. Там еще никто не ложился. Перед дверью стояли и разговаривали шоферы, оружейники и охрана. Когда Пабло и Бютуа подошли, Годар, который командовал охраной, дал им необходимые указания. Они вошли в старую конюшню.

— Это хорошо, что нам дежурить с девяти до одиннадцати,— сказал Бютуа.— Потом можно спать всю ночь, снова заступать ведь только в пять утра.

Пабло подумал о рассвете. В пять часов будет уже светло. Но до рассвета еще целых восемь часов, и смерть может бесшумно подкрасться к нему в потемках.

Он упал на солому.

— Тебе плохо? — спросил Бютуа.

— Ничего, немного устал, вот и все.

Пабло приподнялся и осмотрел конюшню. Нары были сняты, оставались только кормушки и ясли. Они расстелили одеяла в дальнем конце, чтобы их не тревожили.

— Вот так,— объяснил Бютуа,— мы будем лежать головой к кормушке, а я уже заметил — это важно. Наверху шоферы спят тоже на

соломе, но доски плохие и, как только они начинают ворочаться, в лицо летит пыль.

Бютуа погасил лампу, и они вышли во двор. Пабло отошел и сел в сторонке у стены. Он чувствовал сквозь рубашку тепло нагретого камня. Он подумал о солнце — том солнце, благодаря которому зреют гроздья винограда на холме. Он подумал о Жермене, о Хромом и о Жаннетте. Сегодня они, наверное, кончили работы на участке у Трех Изгородей. Прекрасный участок. Через несколько дней, если пройдет дождь, на нем снова вырастет трава. Надо бы еще прополоть.

Пабло встал и отошел подальше: его мутило. Но он только сплюнул. В желудке было пусто.

Вернувшись к дому, он увидел, что кто-то входит в конюшню. Чей-то голос крикнул:

— Закройте дверь, надо свет зажечь!

Другие остались во дворе.

— А, вот ты где! — сказал Бютуа.— А я тебя искал.

Он протянул Пабло карабин.

— Его надо взять с собой?

— Да, в охрану один берет автомат и гранаты, а другой — карабин.

Они направились к лесу.

— Сначала будем дежурить на четвертом посту,— пояснил Бютуа.— Ты увидишь, там делать нечего.

Они сменили караул на трех постах. Первый и Второй стояли в лесу в кромешной тьме, люди угадывались с трудом, светились лишь головешки фосфоресцирующих гнилушек, которые рассыпались от пинка. Третий пост был около поляны, довольно далеко от лагеря. Четвертый тоже был на опушке, но всего метрах в двадцати от первых палаток.

Как только Годар и смена караула удалились, Пабло посмотрел в сторону леса. В одной из палаток громко разговаривали, и он узнал голоса лейтенанта и Энрике.

— Наверно, парня допрашивают,— прошептал Бютуа.

Они прислушались. Теперь в палатке говорили тише. Пабло подошел ближе. Отсюда он видел свет. И было лучше слышно.

— Ты же видишь,— говорил лейтенант,— ты видишь, что можно договориться... Всем известно, старик, каково это, когда деньги нужны. Но, между нами, не продешевил ты, а? Две тысячи франков за лагерь, в котором как-никак сто пятьдесят молодцов. Не дорого килограмм смелых людей ценится.

Раздался дружный смех. Кто-то ответил, но Пабло не разобрал. Затем, перебарывая смех, лейтенант снова заговорил:

— А ну-ка скажи, сколько они тебе за меня предложили?

— ...

— Ну, выкладывай! Ведь интересно узнать, сколько стоит твоя голова!

Молчание. Тогда, повысив голос, заговорил Энрике:

— Ты будешь говорить? А? Негодяй!

— Замолчи,— крикнул лейтенант.— Не смей его трогать, слышишь? Он нам сам во всем признался. Теперь уж все, конец. Он вел себя, как негодяй, согласен, но не наше дело выносить ему приговор. Для этого существует военный трибунал. Да и не его одного обманули. Все война, все война! На него-то я не сержусь. Наоборот, жалею, что пришлось так сильно его отдубасить. А теперь мы приятели... Правда? Мы ведь приятели?

Тот заговорил очень тихо — Пабло совсем его не слышал.

— Ну-ка, развяжите ему руки,— сказал лейтенант,— и налейте кружку вина, это приведет его в чувство.

— Вместо кружки вина я бы лично всадил ему пулю в лоб,— крикнул Энрике.

— Правильно. Так вот: чтоб никто не смел, не то худо будет!

Наступила долгая пауза. Должно быть, они пили.

— Ну так как же,— спросил лейтенант,— сколько они тебе предложили за мой кочан?

Взрыв смеха перекрыл ответ пленного.

— Я думал, ты дороже стоишь,— признался Энрике.

— Ну, лейтенант,— крикнул кто-то еще,— я бы обиделся. Тысячу франков за командира группы — это же почти даром!

— Нет, подождите, не горячитесь,— сказал лейтенант.— Тысячу франков ему, да еще дружкам-приятелям кое-что — это уже сумма.

Некоторое время все говорили разом, потом лейтенант повысил голос, он жестко и гневно выкрикивал:

— Значит, ты признаешь, что вас было много. В таком случае ты меня только что обманул. Назови имена. Ну, говори!

И снова заорал Энрике:

— Ты будешь говорить, негодяй, будешь говорить!

Тот застонал, потом страшно вскрикнул. Пабло видел, как шевелился брезент палатки. Наступила короткая пауза, потом кто-то сказал:

— Я думаю, вы его хватили слишком сильно, лейтенант. Вы его оглушили.

— Пойди принеси охапку соломы и сними с него ботинки. Сейчас он придет в себя!

Пабло шагнул к палатке.

— Остановись,— прошептал Бютуа, оттаскивая его за руку.

Пабло остановился.

— Пошли, наш пост не здесь. Не надо,— повторил Бютуа и потянул его за рукав.

Они вернулись на поляну.

— Но это мерзость,— сказал Пабло.— Я должен поговорить с Энрике.

— Молчи. Да, мерзость, не спорю. Я сам этого не люблю. Грязная работа. Мне бы ее не хотелось делать, но у этого типа, видно, есть сообщники. Надо узнать, кто они. Если я правильно понял, это он продал тот лагерь, где мы были раньше. Говоря другими словами, из-за него полегло четырнадцать парней. Это ведь тоже мерзость!

Пабло не ответил. Позади них продолжали звучать голоса. Вскоре раздался страшный крик, и сразу все стихло. Пабло прислушался.

— Ты думаешь, они его убили? — спросил он.

— Нет, что ты. Ему еще есть о чем порассказать.

Из палатки лейтенанта вышли люди. Пабло слышал, как они разговаривают на ходу, потом стало тихо.

И снова все ожило. Пабло и Бютуа сели рядом на огромный пень. Они прислушивались, всматриваясь в темноту.

Все замерло, но всюду чувствовалось движение. В мягких волнах света, шедшего от звезд, как в клубах тумана, оживал каждый куст, вырисовывалось каждое дерево. На каждый крик совы отвечало эхо. Нескончаемый диалог бежал от дерева к дереву, от ветки к ветке. И все было такое живое, реальное, ясное, четкое, что бояться было нечего.

Но невидимое, неслышное затаилось и грозило отовсюду. И могло вдруг вползти в тишину, вдруг появиться из-за деревьев.

Пока допрашивали пленного, Пабло думал только о нем, а сейчас им снова овладел страх. Страх, против которого ничего нельзя поделать. Пабло был человек здравомыслящий. В высшей степени здравомыслящий. Ведь он же дрался в Испании, не другой кто-нибудь. Он твердил себе это. Но каждый раз перед ним вставало лицо смерти. Лицо смерти с чертами Марианны.

В лесу, на поляне витали тысячи Марианн, окровавленных, скорбных.

Время от времени Пабло бросал взгляд на Бютуа. Бютуа был спокоен. С автоматом на коленях, подперев рукой подбородок, он, должно быть, всматривался в ночную тьму. То и дело Пабло хотелось сказать: «Ты видишь, вон там каска... Видишь, поднимается ружье». Но он молчал.

Бютуа был еще новичок. В боевую группу он пришел последним перед Пабло. Но Пабло значился здесь ветераном. «Новичка посылают с ветераном,— сказал ему Энрике,— если их посылать по одному, они трусят и без конца стреляют».

Страх. Страх овладевает тобой, и ты не можешь от него отделаться. Он уходит только вместе с жизнью.

— Неужели страх так и будет преследовать меня до последней секунды?

— Что ты сказал?

Пабло вздрогнул. Он говорил вслух, не отдавая себе в этом отчета.

— Ничего. Просто одна мысль в голову пришла.

Бютуа рассмеялся:

— Значит, ты думаешь по-испански.

— Как так?

— Да, ты говорил по-испански.

Пабло говорил, наверное, по-каталонски. Он промолчал. Прошло много времени. Бютуа пошевелился.

— Еще час,— сказал он.

Пабло сидел неподвижно, парализованный ночным холодом, который пронизывал его и студил пот. Целый час сидел он так, в одном положении, не шевелясь, сжав челюсти, чтобы не стучали зубы, и обливался от страха потом.

46

Как только они вошли в дом, Годар зажег карманный фонарик, чтобы помочь им найти свои места. Пока Пабло и Бютуа укладывались на одеяла, Годар пошутил:

— Отодвинулись бы немного к середине, а то вдруг сосед сверху помочиться захочет.

Пабло посмотрел на потолок.

— Да нет,— сказал кто-то,— он там в яслях — лежит, как младенец Иисус.

Годар осветил кормушку. Пабло приподнялся. Пленный лежал на спине. Лицо его было в тени, свет от фонаря падал на рубашку, испещренную пятнами крови. Ноги, связанные проволокой, были подвешены к брусу кормушки.

— Давайте ложитесь спать,— сказал Годар.

Пабло отодвинул одеяло подальше и растянулся. Годар ушел.

Наступила кромешная тьма. Одни храпели. Другие тяжело дышали. Пленный стонал. Раза три он пытался пошевелиться и каждый раз, стукнувшись головой о деревянные ясли, принимался стонать еще сильнее.

Пабло трясло. Его била лихорадка. Все тело покрылось испариной, его бросало то в жар, то в холод, и когда ему было жарко, его тошнило.

Пленный опять пошевелился. Проволока скрежетала, передвигаясь по железной перекладине. Пабло невольно вспомнил, как звякала проволока на кладбище тогда, ночью, когда он пришел в деревню.

Человек стонал все громче, и Пабло понял, что ему заткнули рот кляпом.

— Ты замолчишь? — крикнул чей-то голос.

— Заткнись, гад! — крикнул другой и ударил по деревянной кормушке.

Пленный замолчал. Теперь Пабло думал о лесе. О поляне, где между деревьями бродила смерть, немая, невидимая. Сейчас она черная, как ночь, сегодня вечером она была пепельная, как лесная поросль, как луга, залитые стынущим светом. Здесь, в конюшне, смерть не так ощутима. Она витала только над яслями, в которых лежал пленный.

Пабло тихо поднялся.

— Что ты задумал? — спросил Бютуа.

— Ничего.

Пабло постоял неподвижно, пристально вглядываясь туда, откуда слышались стоны. Затем, взяв одеяло и перешагивая через тела лежащих, направился к двери.

— Ты куда? — спросил часовой, когда он вышел.

— Я болен. Возможно, мне придется часто выходить, и я буду будить людей. Лучше уж спать снаружи.

Он на минуту ушел в чащу, потом, завернувшись в одеяло, растянулся у стены в нескольких шагах от часового. Тот спросил:

— В котором часу ты на дежурство пойдешь?

— В пять.

Пабло замолчал. Вокруг него ночь дышала, кричала, вздрагивала. И повсюду ползали тени, искали его между ветвями, деревьями, между кучами хвороста, чтобы отнять у него жалкий, еще тлевший остаток жизни.

Время от времени часовой принимался ходить по двору. Пабло видел его ботинки совсем рядом со своим лицом и чувствовал, как под щекой у него дрожит земля.

Все дрожало в эту ночь. Всех била лихорадка. Страх проникал в землю, в деревья, вселился в камни, еще недавно теплые от солнца, а теперь холодные, как лед. Страх просачивался сквозь стену, ливнем стекал на землю, туманом поднимался до веток деревьев.

Ночь сама дрожала от страха. И все вынюхивала, все высматривала смерть. А когда взойдет луна, люди, деревья, булыжники завоют, как собаки в предчувствии смерти. И смерти останется только ударить наобум, чтобы унять этот вой.

Будут еще мертвые, много мертвых, сотни, тысячи мертвых. Лица, лица, мертвые лица, скорбные лица. Лицо Марианны.

— Тебе плохо? — спросил часовой, нагнувшись к Пабло.

— А что?

— Я не знаю, ты что-то бормотал по-испански. Я не понял.

— Ничего,— прошептал Пабло.— Наверное, снилось что-то.

Часовой снова принялся ходить. Пабло еще плотнее прижался к стене, натянул на лицо одеяло, чтоб не видеть эту ночь, где смерть и страх продолжали свой обход.

47

День осветил купола деревьев. На поляне все танцевало. Танцевали дубы, молодые вязы, белые березы и буковая поросль, в которой еще застряли лохмотья ночи. Пабло закрывал глаза, но танец продолжался у него в голове. И тогда к этой фарандоле примешивались десятки и десятки Марианн, прекрасных, но с печатью смерти на лице.

— Надо позвать врача,— говорил Бютуа.— Ты весь дрожишь.

Пабло стиснул зубы и покачал головой, судорожно сжимая в ладонях ствол ружья.

— Ты никогда не болел малярией? — спросил Бютуа.

— Нет.

— Странно, у тебя все так же, как у моего отца, когда он болел малярией.

Пабло больше не смотрел на поляну. Он вообще ни на что не смотрел. Он видел только танец, только вихрь, в котором кружились деревья, земля, небо, лица — все быстрей и быстрей.

Но соображать он мог. Голова работала лучше, чем ночью.

Прошло, наверно, около часа с тех пор, как они заступили на дежурство, когда из леса вышел Энрике и подошел к ним.

— А вам повезло, самый лучший пост,— сказал Энрике, усаживаясь рядом с ними.

— Да,— согласился Бютуа,— здесь открытое поле и тебя никто врасплох не захватит.

Они помолчали. Каждое слово отдавалось у Пабло в голове. На мгновенье ему даже показалось, что он на ферме, в погребе, в большой винной бочке и собирается ее мыть. На поляне, где ясное утро вибрировало от пения птиц, все звуки слышались как в огромной бочке.

— Ну так вот,— сказал Энрике,— а мы хорошо поработали. Если продавшийся фашистской полиции негодяй разговорится, мы скоро узнаем всех, кто доносил на наших и по чьей милости людей арестовывали последние два года.

Никто на это не отреагировал. В листве перекликались птицы. В голове у Пабло отдавалось эхо.

— Жаль, мы его раньше не схватили,— продолжал Энрике.— А теперь уже поздновато.

— У вас есть новости?

— Ничего определенного, но думаю, через неделю американцы будут здесь.

— И тогда сдвинемся с места? — спросил Бютуа.

— Ну, конечно.

Энрике помолчал, потом, толкнув Пабло локтем, сказал:

— Ты хоть соображаешь, что через месяц, может, война кончится? Вот тогда мы отыграемся.— Помолчал еще немного, потом сказал, на этот раз уже по-каталонски: — Представляешь, Пабло, вернемся в Испанию, найдем негодяев, которые нас выпотрошили, тех мерзавцев, которые сожгли мой домишко. Тех типов, которые убили твою жену.

Пабло кивнул. В голове отдавались ничего не значащие слова. По-французски, по-каталонски — никакой разницы. Слова летели, как разрозненные звуки музыки, подхваченные ветром.

Энрике говорил. Из слов не получалось фраз.

— Война... убивать... свобода... освобождение...

Звенели и другие слова — говорил Бютуа. Но и из них тоже не получалось фраз.

— Мир... бороться за мир...

Энрике и Бютуа все говорили, говорили. Они были где-то совсем рядом. Пабло встал. Деревья и небо закружились быстрей. Пабло поставил ружье у пня между ними. Потом сделал шаг... два шага... три шага.

Деревья, земля, небо завертелись быстрей, быстрей.

— Что это с ним, выпил?

Голос Энрике заполнил поляну. Пабло постоял в нерешительности, потом сделал еще шаг.

— Нет, он ничего не пил, заболел, наверное.

Еще три, четыре, пять шагов.

— Ты куда?

Пабло остановился. Теперь уже он сам кружился вместе с землей и небом. Вот сейчас он взлетит над деревьями, упадет в небо.

— Ох!

Это все, что он слышал — и еще звуки поспешных шагов...

И сразу среди ясного, светлого утра наступила темная ночь.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

48

«Отправить по месту жительства ввиду физической непригодности». Пабло был освобожден. Справка, подписанная врачом, заверенная лейтенантом и печатью французских Сил Освобождения, была у него в кармане. Французские Силы Освобождения — это армия, а в армии, когда речь идет о выдаче бумаг, ничего быстро не делается. Пришлось ждать целую неделю. Долгую неделю после освобождения района. Целую неделю в лесу, где оставалась только часть группы.

В первые же дни Энрике с основным отрядом сложили багаж и последовали за высадившейся армией. Здесь остались только вновь прибывшие новобранцы да офицеры запаса, которые сразу же после отбытия последнего отставшего немца поспешили вновь обрядиться в форму.

И эти люди, когда речь шла о бумагах, знали, как себя вести. Две недели Пабло пролежал в палатке. Жизнь вернулась, лес больше не пугал, но действовал угнетающе. Пабло часто смотрел на юго-запад. Там, за деревьями,— холмы, они сбегали вниз к равнине. И на этих холмах солнце наполняло сахаром уже отяжелевшие гроздья.

Неделю Пабло ждал, но теперь справка в кармане, рюкзак за спиной, и вот он уже шагает по лесу.

В том месте, где лес подходил к дороге, Пабло перепрыгнул через канаву. Там стоял часовой. Он был из новеньких, и Пабло его не знал.

— Ты куда?

— К себе.

— А разрешение?

Пабло вытащил бумагу. Часовой посмотрел, потом поднял глаза на Пабло, спросил:

— Был ранен?

— Нет,— сказал Пабло,— болен.

— А!

Наступила пауза. Пабло сложил бумагу и сунул в карман.

— И они тебя отпустили пешком? Не могли до Лона на машине подбросить?

— Да нет, дело в том, что грузовик будет только через два дня, уж лучше я пешком.

— Ну, пока,— сказал тот.

— До свидания,— ответил Пабло.

И снова зашагал. Вокруг простирались луга, разделяемые выступами леса, которые часто доходили до самой дороги.

Нет, Пабло не был ранен. Других ранило или убило во время взятия города. Но тогда Пабло лежал. Больной. В лихорадке. Из палатки он слышал выстрелы противотанковых пушек, взрывы гранат. По возвращении Бютуа рассказал ему про бой. Он длился всего несколько часов. «Жаль,— говорил Бютуа,— что ты не смог пойти!»

Да, жаль, но нельзя воевать, когда треплет лихорадка. Нельзя драться, когда не держат ноги.

Когда солнце поднялось над головой, Пабло уже пересек долину Ревиньи. Он предпочитал не идти по дороге и теперь, в самой чаще, остановился, чтобы съесть кусок хлеба и плитку шоколада, взятые с собой.

С самого утра он шел по лугам и лесам, и дышалось ему легко и свободно. Ни на миг у него не возникало страха, что смерть притаилась за поворотом тропинки. Каждый раз, когда он замечал кого-нибудь в поле, он поднимал руку и кричал:

— Ну как, все в порядке?

И каждый раз ему неизменно отвечали:

— Все наладится.

Или:

— Не помешал бы дождичек, но особенно не на что жаловаться.

И снова Пабло шагал, следя за солнцем, а оно уже склонялось к западу. Как только он пройдет деревню Муарон, надо держать путь к долине Во, а там, после Жерюжских лесов, появятся первые акации. На этот раз ему не надо будет прятаться, как в тот день, когда он возвращался, проводив Энрике. Он пойдет прямо по дороге. Пройдет рядом с просеками. Молодые посадки, наверно, хороши. А как только он выйдет из леса, тут и деревня, а за ней налево холмы, покрытые виноградниками.

Оттуда за несколько минут он доберется до фермы. А там уже и ночь. Жермена вернется, Жаннетта станет накрывать на стол. Хромой, наверное, еще будет возиться со скотиной.

Пабло поднялся. Ноги затекли, рюкзак стал тяжелей. Но он пошел дальше и вскоре снова обрел ритм.

Он шел почти так, как ходил раньше,— от болезни осталась одна усталость, но ничего, работа ее прогонит.

Не раз думал он о том, что Энрике, Бютуа и многие другие, наверное, вот так же идут сейчас в сторону Германии.

Пришлось ли им драться? Были ли у них убитые, раненые? В Лоне перед отступлением немцы сожгли целый квартал. Они расстреляли много народу. На одно мгновенье перед Пабло возник образ Марианны. Много Марианн — и возможно, какая-нибудь из них и сейчас испускает последний вздох.

Далеко отсюда, на востоке и на севере, под тем же солнцем, в таких же вот лесах, в эту же минуту наверняка умирали мужчины и женщины.

Здесь война кончилась. Она прошла своей дорогой, а Пабло с нее сошел. Она оставила развалины, трупы, опустошенные места. Но она ушла.

Пабло продолжал свой путь. Солнце садилось. Через час оно будет светить Пабло прямо в лицо. И он будет идти к солнцу.

Выйдя из Жерюжских лесов, Пабло увидел между домами гирлянды, вывешенные в окнах флаги, а на площади — эстраду для музыкантов, украшенную цветами. Он подошел к какому-то мальчугану.

— Это что, праздник? — спросил он.

Тот перестал жевать.

— Нет, просто после Освобождения почти каждый вечер танцуют. Пришли солдаты. Американцы, французы. Угощают нас жвачкой!

Пабло поблагодарил и снова двинулся в путь. Когда он вышел из деревни, солнце почти касалось верхушек акаций. На равнине, наверное, все уже спеклось.

Солнце слепило ему глаза, он наклонил голову.

Нет, он не дрался. Он не был ранен и сейчас вот идет. Возвращается к земле, которая ждет его.

49

Войдя во двор фермы, Пабло остановился. Почти совсем стемнело. На кухне горела лампа, и ставни были еще открыты.

Решив обогнуть деревню, Пабло пошел по тропинке и по мере того, как приближался к ферме, все убыстрял шаг. Он чуть не бежал, летя на крыльях затаенной радости, которая вспыхнула ярким пламенем, как только он вдохнул запахи дома.

И вдруг, когда он вошел в ворота, радость его померкла. Он не осмеливался идти дальше. Посмотрел на окно, но увидел только угол стола. Сердце у него колотилось. Он глубоко вздохнул и посмотрел на конюшню. Там тоже горел свет. Значит, Жермена доит. Хромой,

наверное, задает скотине корм. Пабло подумал о Вороной. Постоял в нерешительности, потом направился к кухне.

Подойдя к окну, он остановился. Жаннетта была одна, она неподвижно стояла у плиты. Стол еще не накрыли. Он подошел к двери и тихонько ее отворил.

Жаннетта тотчас обернулась. Пабло улыбнулся. У Жаннетты задрожали руки. Все лицо пришло в движение, рот открылся, и она забормотала.

Пабло подошел к ней.

— Добрый вечер, Жаннетта.

Она не шевельнулась, но продолжала бормотать. Потом протянула руки к Пабло. Они были грязные. Но Пабло схватил их, притянул девочку к себе, расцеловал в обе щеки. Она все бормотала и, когда он отстранился, схватила его за рукав, чтобы удержать.

— Бедная моя Жаннетта, бедная моя Жаннетта,— сказал он. Потом, выждав, чтобы она немного успокоилась, тихо спросил: — Ты больше не умываешься?

Лицо Жаннетты дрогнуло, и, качнув плечами, она направилась к раковине.

Она умывалась медленно, время от времени поворачивая голову к Пабло, а он ей улыбался. Потом он подошел.

— Хорошо,— сказал он,— хорошо. Ты уже забыла, что надо умываться?

Пабло вновь отошел к столу, и тут у порога послышался стук сабо. Вошла хозяйка, за ней Хромой.

Они молча остановились, потом хозяйка шагнула в кухню.

— Добрый вечер, Пабло.

— Добрый вечер, хозяйка... Добрый вечер, Хромой.

— А вот и ты,— сказал старик.— А мы-то думали, с американцами ты, что ли, ушел...

— Нет, видите, вернулся и постарался побыстрее.

Хозяйка поставила ведро с молоком.

— А ну-ка, Жаннетта, накрывай на стол. Пабло, небось, проголодался.

Она сама принесла литр вина и стаканы.

— Как добрались? — спросила она.

— Пешком.

— Пешком с самого верха?

Пабло засмеялся:

— Да. Иначе пришлось бы ждать два дня, а я подумал, работа не терпит... Ну, а как у вас тут дела?

Хозяйка и Хромой стояли в нерешительности. Потом старик сказал:

— Неплохо. Думаю, урожай будет хороший.

Пабло осушил стакан. Он смотрел на хозяйку, но каждый раз, когда их взгляды встречались, она либо отворачивалась, либо опускала глаза. Волосы ее были зачесаны кверху. Непослушная прядка билась по белой шее. Пабло вдруг захотелось остаться с ней наедине.

— Мне бы взглянуть на скотину... — сказал он. — Вы не пойдете со мной, хозяйка?

— Нет, нет, идите, мне надо ужин приготовить.

Ее голос звучал как-то странно. Пабло встал и вышел.

В конюшне все было чисто и в полном порядке. Вороная, как только он открыл дверь, сразу пришла в волнение. Он долго стоял подле нее, потом вернулся на кухню.

Уже совсем стемнело, стало прохладно. Мокрая рубашка прилипла у Пабло к спине.

— Я поднимусь, переоденусь перед ужином,— сказал он.

Он уже почти дошел до двери, но хозяйка остановила его:

— Подождите!

Пабло обернулся. Она сделала несколько шагов к нему. Он улыбнулся.

— Боитесь, я один не найду?

И посторонился, давая ей дорогу. Она опустила глаза.

— Нет. Надо вам объяснить... Все ваши вещи сложены вот здесь.

Не доходя до двери на лестницу, она свернула налево, прошла позади Пабло и открыла шкаф. Она стояла к нему спиной, и Пабло посмотрел на Хромого. Тот едва заметно пожал плечами и опустил глаза.

Наконец, спустя минуту, показавшуюся бесконечной, хозяйка отошла от шкафа. Повлажневшие глаза ее блестели. Она вернулась к столу и принялась резать хлеб на ужин; все так же не поднимая головы, объяснила:

— Пьер вернулся. Снова занял свою комнату. А все ваше я положила в шкаф.

Пабло на мгновенье закрыл глаза. И опять все стало как тогда, на поляне. Ему вдруг показалось, что все в комнате закружилось. Но нет, он снова открыл глаза, наклонился к полке, где лежало его белье, взял рубашку, переоделся. Затем вернулся к столу, сел на свое место напротив Жаннетты.

Приборы были расставлены. В конце стола, на месте хозяина, которое оставалось так долго свободным, стояла тарелка. На потемневшем столе она выделялась светлым пятном, и Пабло не мог оторвать глаз от этого пятна.

Старик внезапно спросил:

— Ну как, не слишком туго пришлось? Вы там дрались, кажется?

Пабло не сразу сообразил, в чем дело; сначала он удивился — внутри у него была пустота, и в ней странно отозвались слова Хромого. Потом вдруг перед ним встал давно забытый образ. Один из тех, кто был убит под Мадридом, когда многие уже поняли, что́ происходит. Это был человек лет пятидесяти, и он всегда повторял: «Единственный смысл воевать — надежда на то, что эта война будет последняя. Только вот беда, всем известно, что она будет не последняя, одна война влечет за собой другую, и вот тогда...»

Пабло даже не взглянул на Хромого.

Он сидел неподвижно и молчал. Старик оставил его в покое.

Похлебка была готова. От супницы к лампе поднимался пар, и его мягкая тень играла на столе. Белая тарелка казалась спокойной водой, над которой плывет пронизанная солнцем вуаль тумана. А туман принимал форму тысяч предметов, тысяч лиц, и все они перемешивались. Одни были из здешних, другие пришли издалека, из других стран, других времен. Они без устали передвигались от одного края светлого круга до другого, потом исчезали и появлялись вновь. Когда Жаннетта или хозяйка проходили мимо стола, пар оседал, давая тени иную жизнь.

Пабло ни о чем не думал. Он ждал. Его одежда лежала в шкафу на полке. Все отутюжено, аккуратно сложено. Оставалось только сунуть все в рюкзак, закинуть его за спину и уйти.

Только встать, сделать десять шагов, остановиться перед шкафом, положить белье в рюкзак, снова взять ореховую палку и выйти. И надо сделать это немедленно, сразу же, не останавливаясь, не глядя ни на кого.

— Наверно, он не очень запоздает, но если голодный, ешьте, не ждите.

Пабло вздрогнул. Он повернулся к хозяйке и сказал:

— Нет, зачем же, у меня время есть.

— Ну, а мне,— сказал старик,— раз похлебка готова, налей-ка тарелку, я не люблю поздно ложиться.

Хозяйка налила похлебки Хромому.

— Вы правда сейчас не хотите? — спросила она у Пабло.

Он протянул свою тарелку. Пар поднялся к нему, слегка коснулся лица. Приятный запах копченого сала и капусты. В лагере он часто вспоминал этот запах, смешанный с древесным дымом. Он посмотрел на плиту. В очаге пылали поленья. Рядом стояла большая корзина, полная дров, которые он нарубил прошлой зимой. Некоторые были серые, без коры, все источенные, с многочисленными следами от крючков и ржавых ран. Старые колья, вырванные из земли, которую они купили, чтобы она снова пошла в дело. Пабло видел перед собой эту землю. Хорошо расположенные участки, вновь обработанные, засаженные, окуренные и чистые, как новые монеты.

Много раз Пабло бросал взгляд на Хромого. Но старик молча ел, не поднимая глаз, и обсасывал усы после каждой ложки.

— Вы не едите? — спросила хозяйка.

Пабло взял ложку.

— Да, сейчас.

Он помешал похлебку и, прежде чем поднести ложку ко рту, спросил:

— Так, значит, пленные вернулись?

— Нет,— сказала женщина,— но Пьер уже больше месяца как бежал. Он был в Швейцарии и сумел вернуться сразу, как только боши ушли.

Пабло принялся есть. Теперь ему казалось, что зря он испугался. Вернулся сын, занял свою комнату. Больше ведь ничего не случилось. Пабло снова поднял голову, посмотрел на хозяйку, и на этот раз она долго не опускала глаз. Пабло старался понять, о чем она думает, но видел только, что она грустная.

— И у него все сошло? — спросил он.

— Да.

— Не жалуется?

— Нет, последнее время он на ферме жил, прилично питался, мог не бояться бомбардировок.

Помолчали. Пабло съел несколько ложек. Теперь он был почти счастлив. Почти спокоен.

— Ну, а земля, он видел?

Она не ответила. Старик уже поужинал.

— Налей-ка мне полстаканчика, и я пойду.

Пабло налил ему вина.

— Больше ничего не хотите? — спросила хозяйка.

— Нет, все в порядке. Сейчас уже поздно, не хочу перегружать желудок на ночь, а то не усну.

И снова Пабло встревожился. Старик выпил вино и встал.

— Ну, спокойной ночи всем,— сказал он.

Старик вышел, Пабло услышал, как удаляются его шаги в ночной тишине. Когда все стихло и только в плите потрескивал огонь, Пабло посмотрел на Жаннетту, потом на Жермену и снова на Жаннетту.

Девочка не спускала с него глаз с тех пор, как он появился. Каждый раз, когда Пабло поворачивался к ней, он видел, как у нее приоткрывается рот и расширяются глаза. Она улыбалась. Жермена оставалась мрачной. Пабло подождал еще немного и спросил:

— Что же все-таки случилось? Что-то неладно?

Жермена встала, подошла к плите, помешала картофель в чугунке. Затем вернулась, упала на стул и поставила локти на стол. Пабло ждал. Тишина придавила их, как холодная ночь. Губы Жермены дважды шевельнулись.

— Ну так что? — еще раз спросил Пабло.— Говорите... Если что-то случилось, надо сказать.

Она подняла голову, из груди ее вырвался глубокий вздох.

— Он собирается жениться.— И снова умолкла.

— Ну так что же, вполне нормально. Он уже перед уходом был помолвлен.

— Да, да, да, нормально,— быстро повторила она.— Жениться нормально, но ненормально, что... что... — Она замолчала. Подбородок сморщился, губы задрожали.

— Говори же... что случилось?

И она бросила срывающимся голосом:

— Они не хотят оставаться на земле. Он нашел какое-то торговое дело в Лионе, собирается его купить. Это она дурит ему голову. Хотят в город переехать. Хотят все продать, чтоб это дело купить. Все... все...

Она не плакала, но слова застревали в горле, и она давилась ими, сдерживая рыдания. Лицо у нее сморщилось.

Они долго смотрели друг на друга. Пабло положил ложку, сжал кулаки. Лицо Жермены снова исказилось.

— Он у нее... Они собирались к адвокату. Завтра они все придут... И ее родители. И кто покупает... И адвокат!

Последнюю фразу она почти выкрикнула. Но глаза у нее были сухи. Пабло немного подождал, потом спросил:

— Ну, а ты? Как же ты? Если они все продадут, что же ты будешь делать?

Она опустила голову.

— Что ты собираешься делать? — повторил Пабло.

— Они хотят взять меня с собой.

Она сказала эти слова незнакомым ему голосом. Ни злости, ни грусти, ни ненависти. Просто голос произносил какие-то слова.

Они долго сидели неподвижно, потом она подняла голову, и Пабло увидел, как две крупные слезы скатились по загорелым щекам. Он долго молча смотрел на нее.

За несколько дней она превратилась в старуху.

Пабло подождал еще, потом встал, подошел к шкафу, обернулся и спросил:

— Можно я переночую напротив?

Жермена, не глядя, утвердительно кивнула. Тогда, не спеша, он нашел фонарь, зажег, сложил одежду в рюкзак и вышел.

50

Ночь была темная. Безлунная. Весь свет от звезд оставался далеко в небе и дрожал, как весенний туман. Ветер с гор был совсем еще теплый, он хранил дневное тепло. Он нес с собой запах леса, запах прокаленных камней. Ветер нес запах деревни, где на очагах готовили вечернюю похлебку,— запах деревни, где от конюшен ночь пропахла навозом и испариной.

Деревня жила; жизнь ветра смешивалась с жизнью людей.

Пабло остановился. Заслонил фонарь ногой, чтобы лучше почувствовать ночь.

Он глубоко дышал. Ночной ветер взбодрил его, ему стало легче. Он пересек дорогу. Ветер обдувал его со всех сторон.

Пабло обернулся и посмотрел на дом. Он вспомнил, как весенний ветер обдувал его голое тело в ту ночь, когда он пошел посмотреть на Вороную. Вспомнил о Жермене, о том, как они купили ту, первую землю.

Только что, когда он подошел к шкафу, чтобы забрать свои вещи, он ощутил огромную пустоту. Захотелось уехать. Бросить все. Он уже почти успокоился, все стало ему почти безразлично. Дом продадут, землю тоже, может, разделят по участкам, а может, одному кому-то, кто вырвет виноградники; Жермена уедет. Все уедут...

Вдруг Пабло вздрогнул и обернулся. На дороге показался свет. Он замер на месте, получше прикрыв ногой фонарь.

Это возвращался сын. Он поставил велосипед под окном и вошел в дом. На мгновенье его силуэт показался в освещенном прямоугольнике, и дверь снова захлопнулась.

Теперь Пабло окружала только ночь. Ночь хранила где-то высоко бледное мерцание. Она не освещала землю. Свет, падавший из окна во двор, казался грязным. И только ветер жил настоящей жизнью. Но он как-то изменился. Запахи, которые он нес, остыли, смешались. Все слилось в единый запах леса, удаленного, загадочного, дикого.

Пабло еще долго стоял и вдыхал запахи земли, потом он сделал несколько шагов, отделявших его от старого сарая.

Подойдя к сараю, он поставил фонарь, откинул щеколду, приподнял плечом дверь. Он открыл ее, и с потолка посыпалась пыль. Он взял фонарь и вошел, неплотно прикрыв за собой дверь.

Здесь ничего не изменилось. Пабло обвел фонарем сарай, и луч света тотчас остановился на затянутом паутиной крюке. Крюк повесившегося... Фонарь задрожал. Пабло посмотрел на лестницу, потом еще раз на крюк и начал медленно подниматься на чердак. Ступеньки все так же скрипели. Наверху соломы было немного больше, чем в тот день, когда они пришли сюда с Энрике. Снизу доносился запах кукурузы. Он открыл ставни, поставил фонарь, вытащил одеяло, расстелил его на соломе. Снял только башмаки и улегся.

Ночь едва задевала за черепицы. Но она была здесь, живая и теплая, она окружала сарай. Пабло чуял ее. Мало-помалу она становилась тяжелее, уже давила его всей своей тяжестью. Ее запах, притаившийся внизу, просачивался сюда через щели между досками. Она боролась с той ночью, которая оставалась снаружи, лезла через открытые ставни, парила над крышей.

Боролись две ночи, а на самом деле один мир боролся против другого.

Пабло точно не знал, чем закончится эта борьба. Порой ему казалось, что он просто грезит наяву, что это какой-то причудливый сон. Но тревога не проходила, она жила.

Ложась спать, он надеялся, что его сморит усталость от целого дня ходьбы, что он сразу уснет, но теперь он понял — и здесь борьба. Усталость сидела в нем, но и страх не покидал его, и временами страх одерживал верх и мешал спать. Пабло лежал с широко открытыми глазами, прислушиваясь к звукам ночи.

Еще долго боролись между собой две ночи, и ни одна не проявляла ни малейших признаков усталости. Пабло провел рукой по лбу. Он понял, что снова вернулась лихорадка.

Он сел на соломе, нашел башмаки, надел. Затем, не беря фонаря, ощупью спустился по лестнице.

Очутившись во дворе, он направился в сторону холма. Ветер дул ему в лицо, и он снова оказался в его власти. Ветер окутывал его, свистел над ухом и уносился к невидимой равнине.

Пабло шел долго.

Наконец он почувствовал, что воздух освежил его, тотчас вновь ощутил усталость во всем теле и пошел обратно к сараю.

Пабло почти дошел до сарая и вдруг увидел тень — она двигалась по стене у самой двери. Он остановился, выждал и шепотом спросил:

— В чем дело?

Тень снова задвигалась.

— Это я... я искала тебя.

К нему подошла Жермена.

— Где ты был? — спросила она.

— Мне захотелось подышать свежим воздухом, и я походил немного.

Они сделали несколько шагов по тропинке. Подойдя к двери, Пабло спросил:

— Чего ты хотела?

— Пойдем, мне надо с тобой поговорить.

Она вошла в сарай и первой поднялась на чердак. И тут же рухнула на солому.

— Сядь,— попросила она.

Пабло сел рядом. Несколько минут царило молчание, потом он спросил:

— Так что же ты хотела мне сказать?

Она поколебалась и прошептала:

— Это ужасно. Это ужасно!

Она нащупала в темноте руку Пабло. По звуку ее голоса и по тому, как она сжала ему руку, Пабло понял, что она вот-вот расплачется. Он хотел что-то сказать, но в голове не было ни единой мысли. Вернее, в голове не было ничего — только свист ночного ветра и песня гор.

— Если бы ты был здесь, может, я бы не согласилась. Но я ведь совсем одна была... И его так долго не было...

Пабло все не мог найти нужных слов. Теперь он думал о Жермене. Только о ней. На кухне он увидел, как она постарела, отяжелела, сгорбилась, лицо покрылось морщинами.

— Ты думаешь, я смогу еще что-то сделать для тебя? — спросил он.

Жермена выпустила его руку. Наступило молчание.

— Что ты собираешься делать? — спросила она.

Он усмехнулся:

— Я? А что, по-твоему, мне остается делать? Завтра уеду

— Ты не можешь так уехать.

— Как это — так?

— Я тебе за много-много месяцев задолжала.

— А разве я требовал?

— Нет, но что причитается, то причитается.

Пабло задумался, потом сказал:

— Если я не требовал денег, так для того, чтобы ты продолжала покупать землю. Стало быть, скажем, я неудачно вложил деньги.

— Зачем ты так говоришь?

— Потому что это верно, у тебя я всегда работал как для себя.

— Но почему ты говоришь мне про землю?.. Думаешь, мне мало того, что случилось?

Последние слова она произнесла с трудом.

Это были не слова — крик души. Пабло чувствовал, что она едва сдерживает слезы. Он это понял еще до того, как они сюда поднялись. Он знал, почему она плачет. Теперь он знал все. Он все понял. Он мог себе представить, что творится в ее душе. И он все так же тщетно искал нужные слова.

Ему хотелось сказать что-нибудь, чтобы успокоить Жермену, но горечь обиды заглушала в нем этот порыв. Он вновь представил себе все, что они сделали вместе. Один за другим он видел все купленные участки и все, которые еще собирался купить, и не мог найти в своем сердце ни капли жалости к Жермене.

Рядом тихо плакала Жермена. Он не видел ее, он едва ее слышал, но представлял себе ее лицо, лицо почти старой женщины, и по этому лицу катились слезы. Он угадывал тяжелую обвислую грудь, полные, круглые, вздрагивающие от рыданий плечи.

Но все это нисколько его не трогало. Он был тверд, как камни старой стены.

— Раз это дело решенное, то не о чем больше плакать,— сказал он.— Ты сама согласилась и теперь пеняй на себя. Я не могу понять, зачем вы все продаете. Ты могла бы продать ровно столько, сколько им нужно, чтоб уехать, а сама могла бы остаться.

Жермена шмыгнула носом и несколько раз кашлянула.

— Этого мало,— сказала она.— Нужен и дом, и земля. Адвокат сказал, одно без другого теряет всю ценность.

— Конечно, ты ведь продаешь не просто ферму и несколько клочков земли. Это усадьба. Большая усадьба. Хорошо налаженное хозяйство, инвентарь в полном порядке...— Он говорил, и голос у него становился жестким, потом он вдруг осекся, немного помолчал и, отчеканивая слова, спросил: — Но, собственно, может, ты об этом и пришла меня просить? Может, ты хочешь передать меня будущему владельцу вместе с инвентарем? Так ведь делают, я думаю: передают батраков вместе со всем прочим!

Жермена перестала рыдать и, не отвечая, сидела молча. Свет, лившийся через открытые ставни, стал молочным. Они уже видели друг друга. Пабло наклонился к ней. Ее влажные глаза блестели. Она все еще не решалась ответить, и он бросил:

— Ты ему не объяснила, своему парню, что представляет собой такая усадьба? Не пыталась заставить его пораскинуть мозгами? И разве есть такой закон, по которому ты обязана продавать только потому, что ему так захотелось? Я не знаю французских законов, но мне кажется, ты имеешь право на собственное мнение.— Пабло вспылил. Жалости не было, горечь обиды подступала к горлу, он почти кричал: — Как подумаю, что я считал тебя сильной, а ты позволяешь так собой командовать!

Тут он запнулся. Жермена снова принялась плакать. И слушая, как она плачет, Пабло вспомнил Жаннетту.

— А Жаннетта? — спросил он.

— Жаннетта?

— Ну да! Она ведь тоже имеет на что-то право. И что вы собираетесь с ней делать? Ведь не потащите же вы ее с собой в город?

Они долго молчали. Жермена опустила голову. Пабло ждал, глядя на ее волосы, в которых блестела большая шпилька. Сидя неподвижно, она прошептала:

— Пьер хотел отдать ее под надзор. Он сказал, надо поместить ее в дом...

— Хотите ее упрятать, да?

— Нет, она будет... Ну, словом, в больнице.

Пабло схватил Жермену за руку. Он сжимал ее в своей ладони, ни слова не говоря. Потом без ярости, свистящим шепотом произнес:

— Тебе, значит, наплевать на эту девчонку, да? Вам всем на нее наплевать. Вы просто хотите от нее избавиться...

Ему хотелось кричать. Угрожать. У него уже готово было сорваться с губ: «Вам это так не пройдет!» — но он вовремя сдержался.

Кто он такой? Никто! Испанский беженец, более или менее узаконенный. Его можно выбросить вон, без всяких объяснений. Но им не придется его выбрасывать, он уйдет сам, добровольно.

Он уедет сражаться!

И вдруг Пабло вспомнил лес. Поляну. И страх болью пронзил живот. Все прошло перед глазами. Освобождение. Деревенские балы. Праздники. Бои. Отъезд Энрике и других. Он даже увидел, как Энрике уходит по снегу, нелепый, с огромным мешком за спиной. Энрике — борец.

Марианна!

Марианна и тысячи мертвых!

Нет. Пабло не сражался... На этот раз не сражался. Не мог.

Жермена уже не плакала. Время шло. Над черепицами проходила ночь, набрасывая траурное покрывало на едва заметные звезды. Она надвигалась медленно, выходя из-за холма, и шла к краю равнины.

Очень далеко у лесов Мулен перекликались ночные птицы. За сараем долго дрались кошки, они завывали, как новорожденные дети, которых душат.

После вспышки гнева Пабло чувствовал себя опустошенным. Дрожь пробежала по его спине. Жермена сидела неподвижно и тяжело вздыхала.

— Ну, так о чем же ты хотела меня спросить? — спросил он почти шепотом.

Подыскивая слова, она произнесла — тоже тихо:

— Мы не можем продать, пока не соберем урожай... Словом, раньше ноября... Так вот, может... Ну, если это возможно... Я хотела попросить...

— Договорились, я останусь, сколько потребуется.

Жермена встала. Дошла до лестницы. Нога скользнула по доске, нащупывая первую ступеньку. Она остановилась и сказала еще:

— Только ты не говори про это с Пьером.

Пабло усмехнулся:

— Я знаю, как надо держать себя с хозяином!

— Нет,— пробормотала она,— не то... Понимаешь, это же мой мальчик.

Пабло едва расслышал последнее слово, она прошептала его, не разжимая губ. И больше ничего, только это слово...

Пабло резко встряхнулся, как собака, вышедшая из воды. Внизу хлопнула дверь. Жермена приходила в мягких туфлях. Он не слышал, как она ушла. Он завернулся в одеяло и растянулся, положив голову на рюкзак.

Не было больше борьбы между ночью в сарае и ночью на улице. Осталась одна ночь, и она молча спустилась на Пабло. Она была не холодная, она не несла запахов с холмов. Она была темная, обычная, и только несколько лиц выделялись в ней светлыми пятнами.

Особенно лица мертвых. Но, пожалуй, ярче других выделялось лицо Жаннетты. Грязное лицо. В нем едва ли было больше жизни, чем в лицах мертвецов.

51

Солнце еще не взошло, а Хромой и Пабло уже подъезжали к винограднику. После долгого стояния в конюшне Вороная шагала бодро, бежала рысцой с каждого пригорка, удлиняла шаг при подъемах.

Как только они прибыли на виноградник, старик сразу же принялся поднимать лозы и прикреплять к шпалерам. Пабло распряг кобылу и привязал к ее постромкам культиватор.

— Ты вернулся как раз вовремя,— сказал старик,— все уже стало травой зарастать.

Весь долгий путь они почти не разговаривали, только изредка обменивались несколькими словами по поводу тех участков, вдоль которых проезжали.

Пабло взялся за ручки культиватора.

— Ну, вперед, Вороная,— крикнул он,— одним махом до самого верха!

Кобыла тронулась, как всегда, бойкая и сильная.

Достигнув верха виноградника, Пабло обернулся. Ветер еще дремал в листве, и среди листвы лежало продолговатое облачко пыли, поднятое культиватором. До самого горизонта простиралось светлое, чистое небо. Окутанная тенью равнина еще потягивалась. Над домами в деревнях поднимался дым и тут же оседал, серыми хлопьями тянулся вдоль крыш.

Пабло пока еще не задумывался по-настоящему над своей судьбой. Он снова переживал минувшую ночь. Лицо Жермены, прерывающийся голос. Он не думал о себе. Ему удалось занять свои мысли другим.

Сейчас он глядел на раскинувшуюся у его ног землю. Она терялась вдали. Грусть переполняла его. Грусть нахлынула на него внезапно, без предупреждения, только от одного вида просыпающейся равнины.

Невидящими глазами он посмотрел на ладони, пожал плечами, взялся за ручки культиватора и повернул Вороную.

Дальше он старался не останавливаться. Работа для Вороной была нетяжелая, а во время спуска кобыла могла передохнуть.

Наконец, в десять часов старик вышел из виноградника и крикнул:

— Не пора ли перекусить?

Пабло спустился вниз и присоединился к старику — тот сидел на краю повозки, лицом к равнине. Солнце уже давно палило нещадно его доброе тепло сильно припекало плечи.

— Ты разве не голодный? — спросил старик.

— Нет, проголодался, но немного.

Пабло открыл корзину. Жермена все приготовила на целый день. Они молча принялись за еду. Старик уставился в одну точку на горизонте. Пабло смотрел на деревню. Много раз старик поворачивался к нему налить стакан вина или отрезать ломоть хлеба. Пабло сидел неподвижно. Он знал, что старик заговорит сам. Он ждал. И в самом деле, старик спросил:

— Так что же ты думаешь делать?

Пабло пожевал хлеб и просто сказал:

— Продолжать.

Хромой нахмурил брови. Наморщил лоб в знак того, что не понял. Немного погодя он переспросил:

— Что продолжать-то?

Как бы про себя, Пабло прошептал:

— Продолжать жить.

Старик улыбнулся.

— Ладно тебе. Не болтай. Мы уж небось знаем друг друга, мог бы мне и откровенно сказать. Она тебе рассказала?

— Да.

— Ну и что ты-то теперь станешь делать?

Пабло махнул рукой, показал на равнину. Старик с минуту смотрел на него, потом вспылил:

— Господи, глупо-то как! Сам понимаешь: я не слепой. Уже давно понял, что ты у нее не домашней прислугой был. Небось не вчера родился.

Пабло усмехнулся:

— Ну и что? Не могу же я пойти сказать сыну: «Ты не имеешь права продавать эту ферму, потому что я спал с твоей матерью!» Сами видите, это просто смешно!

— Я думал, ты умнее. Значит, не понимаешь, что парень обвел мать вокруг пальца. А она дала себя одурачить! Ты б хоть раз ему откровенно сказал все в лицо. Объясни ему, что к чему,— такая ферма и участки — и новые, и те, которые его отец оставил...

— Да плевать он на все это хотел!

— Само собой, ему-то плевать. А вот если ты объяснишь ему, что вы с Жерменой будете и дальше работать на этой земле, а сам он сможет жить припеваючи, тогда, глядишь, он и раздумает. Я хорошо знаю этого парня. Так-то он неплохой, только избаловали они его. Лентяй и пустобрех. А его будущая супруга, видать, такая же. Хотят в город уехать, думают, там дрозды, прямо жареные, будут им в рот падать. Вот и все. А больше ничего!

Пабло смотрел вдаль, на равнину. Солнце поднималось, и все четче вырисовывалась голубая линия холмов. Сверкали островки воды, среди зелени красными и белыми пятнами выделялись дома. А когда Пабло щурился, вся равнина была как большой цветущий луг.

Пабло пересчитал раскинувшиеся вокруг участки, принадлежащие ферме. Старые и новые; он смотрел и на чужие, которые вклинивались в их землю и которые он надеялся со временем купить или обменять, чтобы округлить усадьбу. Он долго сидел и думал. Старик поел, но не двигался с места. На склоне в нескольких шагах от повозки Вороная щипала траву.

Пабло продолжал молчать. Старик, наконец, не выдержал и спрыгнул на землю.

— Сделай что-нибудь, пока есть время. А когда по рукам ударят, тогда все будет иначе.

Он постоял перед Пабло, опершись о край повозки. Пабло опустил глаза.

— Хорошо,— сказал он,— я сейчас спущусь.

Он слез с повозки, привязал Вороную к изгороди и, повернувшись к старику, крикнул:

— Я пойду кратчайшим путем. За час доберусь.

Он вошел в виноградник, который спускался по склону с другой стороны дороги, и большими шагами пошел вниз между рядами посадок.

Он не тащил на себе распылитель для опрыскивания купоросом или наполненную виноградом корзину, которые подталкивали бы его в спину. Но он чувствовал в себе прилив сил. Такого с ним уже много лет не было.

Он свернул направо и пошел наискосок прямо через виноградники. Приближаясь к дому, Пабло сжал кулаки, чтоб убедиться, что эта новая сила все еще в нем, никуда не делась.

Он спускался, и равнина все уменьшалась, а небо, залитое солнцем, все увеличивалось. Горячий солнечный свет заполнял окружающий мир, и ветер нес вдаль песню каждой птицы.

52

Порывисто дыша и обливаясь по́том, Пабло остановился во дворе. Сила все еще была в нем, живая и горячая, как зверь, приготовившийся к прыжку.

Он постоял, переводя дыхание, но вот ему показалось, что мужество покидает его. Он больше не стал ждать и направился прямо к кухне.

Никого!

В плите был разведен огонь, на ней стоял котелок.

Весь дрожа от нетерпения, Пабло подошел к двери, ведущей на второй этаж, открыл ее и крикнул:

— Пьер!.. Пьер!..

Наверху послышались шаги, скрипнула дверь.

Пабло забыл и про Жермену и про Жаннетту. Он ждал, уперевшись рукой в наличник двери. Сердце страшно колотилось, но дышал он уже спокойнее.

Пьер пересек площадку и показался на верху лестницы. Остановился, положил руку на перила, нагнулся вперед:

— Что случилось? Я думал, вы на винограднике работаете!

Пабло проглотил слюну.

— Нет, я спустился. Мне надо с вами поговорить.

— Не сейчас, у меня нет времени: я одеваюсь и ухожу.

Повернулся и исчез.

Пабло постоял несколько секунд неподвижно, потом поднялся наверх. Дверь в комнату Пьера была открыта, и Пабло вошел.

— Извините меня,— сказал он,— но мне надо поговорить с вами до того, как вы уйдете.

Стоя перед зеркалом, Пьер завязывал галстук. Он повернулся, подошел и с улыбкой протянул руку.

— Здравствуйте. Как дела? Давно не виделись.

Пабло пожал ему руку.

— Все в порядке. А вы как? Тяжело пришлось?

Пьер снова повернулся к зеркалу и стал завязывать галстук.

— Нет. Ну, не то чтобы всегда было весело, но удалось спасти шкуру, а это главное.

Парень изменился. Раздался в плечах, стал плотней, и лицо такое же красное, как у отца, но в этом лице, особенно в глазах, была твердость — в мать.

— Кстати,— сказал он, садясь на край кровати,— мне надо поблагодарить вас, вы хорошо помогли матери, пока я был в Германии.

— Конечно,— ответил Пабло,— вот об этом я, собственно, и хотел с вами поговорить.

Пьер уже надевал башмаки. Он улыбнулся и сказал:

— Да, знаю, мать говорила, она вам задолжала, но вы не беспокойтесь, мы это утрясем.

Сила, сидевшая в Пабло, насторожилась. Зверь выгнул спину, мускулы его напряглись.

— Послушайте, я не для того пришел сюда. Все гораздо серьезней.

Пьер поднялся:

— Тогда поговорим позже, сейчас у меня другие дела.

Пабло шагнул к двери, закрыл ее и встал перед ней.

— Позвольте мне сказать, это займет всего две минуты.

Пьер прищурился и сжал кулаки. Ростом он был меньше Пабло. Мгновенье он мерил его взглядом, потом сказал:

— Ну хорошо. Только поживей.

— Вы, кажется, решили продать...

— Дело уже почти сделано.

— Но это невозможно. Нельзя продавать такую усадьбу. Вы отдаете себе отчет, чего она стоит?

— Да, несколько миллионов.

— Да не о деньгах я говорю,— закричал Пабло.— Я говорю о работе, обо всем, что пришлось вынести, чтобы этого добиться...

Пьер перебил его. И на этот раз сам повысил голос:

— Знаете что: хватит! Вы что, пришли мне мораль читать? Думаете, я стану слушать типа, который жил здесь, как у Христа за пазухой, пока я мыкался на войне, а потом у бошей? А вы что в это время делали? Продавали на черном рынке вино и всякую снедь да земли скупали?

— Послушайте...

У Пабло перехватило горло. Пьер кричал так громко, и Пабло чувствовал, как сила покидает его.

— Работали, ну и что? Вы же не могли рассчитывать, что вас тут даром кормить будут? — Он остановился перевести дух и, понизив голос, прибавил: — А когда я говорю: «кормить», так я уж знаю, что это значит.

Пабло вздохнул. Пьер уже не кричал. Он вообще умолк. Но и Пабло нечего было больше сказать. Несколькими словами парень убил в нем всю силу, которая казалась Пабло такой твердой.

— Чем вы здесь занимались, а? — снова начал Пьер.— Не думайте, мне все известно. Пока другим расквашивали морду, вы тут устроили маленький рай. И если бы я погиб во время бомбардировки, это чертовски бы вас устроило, а?

Пабло не ответил. Наступила пауза. Они стояли и рассматривали друг друга. Руки Пабло дрожали. Вдруг со стремительной быстротой в его голове замелькали кадры фильма. Он прыгает. Хватает Пьера за горло, валит его, кричит: «Не продавай или я тебя убью! Поклянись, что никогда не станешь продавать землю!» Пьер ругается. Тогда, держа его одной рукой, Пабло бьет кулаком ему прямо в лицо. Пьер уже не кричит, Пабло бьет еще... еще и еще. По полу течет кровь, кулак Пабло весь в крови. Наконец он оставляет труп Пьера, являются жандармы. Позор испанскому беженцу, он убил героя войны. Пабло уводят. Пьера кладут на ту кровать, на которой умер его отец. И мертвый Пьер очень похож на отца.

Пабло провел рукой по лбу. Перед ним неподвижно стоял Пьер и, подбоченясь, жестко смотрел на него. Пабло опустил голову. Они еще постояли молча. Пабло взглядом охватил комнату. Позади Пьера в открытое окно видны были поля, виноградники. Высоко в небо взвился жаворонок, замахал крылышками, улетел.

— Ну так как? — спросил Пьер.— Я думаю, нам больше не о чем говорить?

Пабло отрицательно покачал головой, но не двинулся с места. Пьер подошел к кровати, взял пиджак, надел. Потом, вернувшись к двери, сказал:

— Хорошо, тогда позвольте мне пройти, я не могу больше терять время.

Пабло посторонился и открыл дверь. Парень вышел и первым спустился. Пабло последовал за ним, но когда он вошел в кухню, Пьер уже выходил из дома.

Хозяйка стояла у стола и занималась сырами. Увидев Пабло, она замерла, и подбородок у нее дрогнул, словно она собиралась заговорить, но Пабло прошел не глядя, и она ничего не сказала.

Подойдя к порогу, Пабло увидел Пьера; он сидел на корточках перед велосипедом и надувал шины. Пабло вышел. Из дровяного склада появилась Жаннетта с корзиной, наполненной виноградными лозами. Она увидела Пабло и улыбнулась. Пабло тоже улыбнулся ей и отправился на виноградник.

Он шел не оглядываясь, не поднимая головы, держа путь к холму.

Теперь солнце припекало еще сильнее, но Пабло его не чувствовал. На плечи давила иная тяжесть.

Много раз он подносил руки к глазам, раскрывал ладони и смотрел на них.

Он смотрел на свои мозоли, на ослепительно-белую пыль дороги, на весь окружающий мир, но перед глазами расстилался туман, и в нем смешивались картины жизни и смерти.

53

Пабло вернулся на виноградник и, ни слова не говоря, снова принялся за работу. Старик не стал ни о чем спрашивать. В полдень они молча поели, сидя бок о бок в тени ольховой рощи. А потом исправно, неутомимо, как хорошо налаженные машины, продолжали свою работу до вечера.

Лишь несколько раз на вершине плантации Пабло останавливался и смотрел на извилистую дорогу. Он не думал и не говорил себе: «Вот в такой-то день я застегну рюкзак, и уйду в таком-то направлении, и сделаю то или другое». Нет, он еще ничего не решил. Но много раз он смотрел на дорогу, по которой пока уходил только взглядом. Дорогу, по которой на его глазах прошла война.

Около полудня Пабло увидел, как перед домом остановился черный автомобиль. Из него вышли люди. Затем автомобиль проехал по дороге, кое-где замедляя ход. Хромой, безусловно, тоже его заметил, но ничего не сказал.

Они возвращались домой и знали, что найдут стол накрытым к ужину.

Въехав во двор, они распрягли кобылу. Старик отвел ее в конюшню, а Пабло наполнил ясли сеном. Затем они отправились ужинать.

Хозяйка готовила похлебку, Жаннетта сидела на своем месте.

— Ну как? — спросила хозяйка немного погодя.

— Все сделано,— ответил Пабло.— Все прополото и взрыхлено. Завтра мы сделаем то же самое на холме Бершю.

Голос у него был тихий, совершенно спокойный.

Хозяйка разлила похлебку и села сама к столу. Она несколько

раз кашлянула. Помешав похлебку, измельчила ложкой овощи и хлеб. На лбу у нее пролегли морщины, брови были сдвинуты.

Пабло чувствовал, что она хочет что-то сказать, и ему хотелось помочь ей: «Да ну же! Чего вы ждете — ведь все и так ясно!» Но нет, он ничего не сказал, он был спокоен. Он чувствовал себя хорошо, немного разомлел, как равнина под вечерней дымкой. В его распоряжении много, очень много времени.

Проглотив ложку похлебки, она еще покашляла и сказала:

— Они приезжали... сегодня в полдень.

Пабло посмотрел в конец стола. Прибор для Пьера не был поставлен. Раньше он этого не заметил. Хозяйка уточнила:

— Сегодня вечером он не будет ужинать дома. Ужинает у будущих родственников.

Хромой продолжал есть. Пабло тоже ел. Время от времени он поглядывал на хозяйку. Она не спускала с него глаз, и ее взгляд, казалось, говорил: «Помоги мне, я должна кое-что сказать». Но Пабло молчал.

Наконец, спустя некоторое время, она решилась:

— Дело сделано... Они приедут первого ноября.

Пабло кивнул в знак того, что понял. Хозяйка заговорила снова, останавливаясь после каждой фразы:

— Их пятеро... Два сына и дочь... Им, конечно, никто не нужен.

И еще раз Пабло кивнул, показывая, что понял. Старик перестал есть.

— Ну мне-то это все равно,— сказал он,— я сейчас отказываю направо и налево. И потом, что мне, старому, надо? Чтоб была похлебка да табак.

Пабло посмотрел на него. Старик помолчал и сказал, не глядя на хозяйку:

— А вот Пабло оно, конечно, неприятно.

Он покусал усы. Пабло пожал плечами. Хозяйка снова кашлянула. Оба посмотрели на нее.

— По-моему, это можно уладить,— сказала она.— Я подумала...

Пабло перебил ее. Совершенно спокойно, твердым голосом он сказал:

— Ничего не надо улаживать. Я знаю, что надо делать. Первого ноября я уеду.

— Зачем? — спросила она.— Ведь можно сделать по-другому.

Он молчал. Старик положил локти на стол и ждал, полуприкрыв глаза.

— Вы слышали, что говорил Хромой: в деревне мужчина, если он хочет работать, никогда ни в чем не будет нуждаться.

— Верно,— подтвердил Хромой,— только вот работать батраком такому старику, как я, еще куда ни шло, а для человека, у которого больше потребностей...

Хозяйка не дала ему закончить. Голосом более уверенным она сказала:

— Мужчина в полной силе и с хорошей лошадью — да он только согласись работать сдельно в таком краю, где рук не хватает и где трактор не пройдет,— какой же это батрак?

На мгновенье Пабло закрыл глаза, чтобы лучше ее слышать. Его внимание привлекло не то, о чем она говорила, а голос. Она говорила, как в те времена, когда они спорили о покупке первых участков земли. Он снова открыл глаза. Хозяйка сидела выпрямившись. Пабло заметил, что на ней красивая блузка, она надела ее, конечно, для встречи посетителей и адвоката.

— Про какую это лошадь ты говоришь? — спросил старик.

Она выпрямилась еще больше и, не спуская глаз с Пабло, ответила:

— Мы о двух вещах условились: покупатели не берут земли и хижину на Брюли... И Вороную тоже не берут.

Вороная! Пабло совсем забыл о Вороной!

— Но почему же? — спросил он.

Хозяйка поколебалась, потом сказала:

— Деньги, которые мы вам должны, мы заплатим. Долг — он долг и есть, тут все ясно. Только вдобавок мы оставим вам Брюли и Вороную.— Она опять немного помолчала и тихо добавила: — Я понимаю. Вороная уже немолода, но все же еще может поработать да и жеребенка разок принести. Ну, а Брюли да и хижина в полном порядке... Рядом можно пристроить сарай для кобылы...

Пабло засмеялся. Хозяйка и Хромой взглянули на него.

— Чего смеешься? — спросил старик.

Пабло не ответил и спросил хозяйку:

— Будет еще что-нибудь на ужин? Я хотел бы лечь спать.

Она встала, подала фасоль с салом, и они снова принялись за еду.

Немного погодя старик спросил:

— Что же ты собираешься делать?

Пабло пожал плечами и ничего не ответил.

— Ему больше делать нечего,— сказала хозяйка.— Все-таки оно лучше, чем уезжать, что ему еще остается.

Пабло отбросил стул, вскочил и крикнул:

— Я ведь не прошу вас заниматься мной, правда? Я не прошу милостыни! Возможно, я пал очень низко, но еще не настолько!

Стул упал. Жаннетта заплакала. Пабло смотрел на нее, сжав кулаки. Она не спускала с него глаз и плакала как всегда — рот открыт, лицо застывшее, плечи вздрагивают от рыданий.

— Замолчи,— сказала мать,— замолчи.

Пабло нагнулся и поднял стул. Постоял, положив руки на спинку, глядя на Жаннетту, потом сел.

— Не плачь, Жаннетта,— сказал он,— не плачь, моя маленькая.

Но Жаннетта продолжала рыдать.

— Ну хватит,— сказала мать,— иди ложись спать. Пойди успокойся.

Девочка встала.

— Иди,— сказал Пабло.— Ничего не случилось. Все хорошо!

Когда она вышла, Пабло спросил хозяйку:

— Ну так что же вы все-таки решили делать с малышкой?

Жермена вздохнула.

— И это тоже уладили. Она не поедет в приют в Бург. Она поедет к монашкам в Лонс. Там за ней уход будет лучше. Правда, нам будет дальше ездить к ней, зато, когда ярмарка, знакомые ее проведают.

Пабло поднял голову. Жермена смотрела на него. Глаза у нее были влажные, голос уже не такой уверенный. Они молча съели сыр; мужчины закурили, и когда они уже собрались уходить, хозяйка спросила:

— Так что же вы решили?

Пабло выпустил дым, посмотрел на старика, потом на Жермену, на то место, где сидела Жаннетта, снова на Жермену и сказал:

— Видно будет. Подумаю. Там посмотрим.

И вышел вслед за Хромым.

54

И работа продолжалась. С каждым днем солнце наливало соком гроздья винограда. Скоро наступит время уборки урожая, надо приготовить погреб и содержать виноградники в порядке.

Время шло, и люди зрели, как зрели растения.

Хромой, Пабло, Вороная, иногда Жаннетта продолжали работу все в том же темпе, все так же бережно относясь к земле. Хозяйка

сопровождала их редко. Когда она приходила, делалось неловко всем и ей тоже.

С наступлением коротких дней и прохладных вечеров Пабло и Хромой, накормив скотину, в ожидании ужина садились на кухне выкурить трубку. Обычно Хромой подавал сигнал, Пабло следовал за ним, набивал трубку, разжигал и закуривал.

Подоив корову, возвращалась хозяйка и принималась за стряпню. Старик уже дремал. Пабло смотрел на него, смотрел на Жаннетту, на хозяйку. Из котелка поднимался пар, шел дым от трубки, но пар оставался паром, а дым дымом. Как будто все в этой кухне было как прежде, в любое время суток. Был вечер, был час перекура, отдыха, но чего-то не хватало. Что-то ушло из этой комнаты, чего Пабло раньше не замечал, и, однако, все перевернулось.

В первый вечер он по-прежнему сидел на стуле до самого ужина. На другой день, выкурив трубку, вышел во двор. На третий вечер он сказал хозяйке:

— Позовите меня, когда ужин будет готов.

Она кивнула, и Пабло ушел. Он обогнул дом. На другой стороне, напротив пристройки, там, где стоял верстак, был пень, на котором заостряли колья. Частые удары топора сделали в нем небольшое углубление. Пабло сел, опершись спиной о дощатую стену. Он сидел почти как в удобном кресле. Тепло вечернего солнца еще сохранилось в дереве, и Пабло ощущал его всем телом. Он набил трубку и закурил.

Перед ним вдаль убегала равнина и холмы, где ночь вела спор с остатками дневного тепла. Наступила тишина, пронизываемая тысячью ночных звуков. То там, то здесь в небе вспыхивали огоньки звезд, другие огоньки зажигались на равнине,— группами, в одиночку, а еще другие, мигая, проносились мимо.

Так Пабло провел не один вечер — после окончания рабочего дня и до той минуты, когда хозяйка, выйдя на порог, кричала:

— Ужинать!

Пабло пока еще ничего не сказал про Брюли, и никто его об этом не спрашивал. По правде говоря, он вообще об этом не думал. Он жил в ожидании последнего дня. Ждал его не спеша, почти без страха.

По вечерам, случалось, оставаясь один, он смотрел в темноту. Там ничего не было, кроме сплошной массы холмов, чуть темнее неба. Но, присмотревшись повнимательней, можно было разглядеть как бы треугольное отверстие. Иногда ему казалось, что это кусочек неба хочет врезаться в холм, расколоть его, как огромное полено. В другие вечера ему казалось, что это кончик стрелы, вонзенной в землю. И стрела будто говорила: «Сюда! Здесь! Видишь, здесь земля, которую называют Брюли! Земля, которая никому не нужна, потому что в наше время она непригодна. Слишком далеко она. И теперь не найти человека, который бы согласился ее обрабатывать. И к тому же в хорошей земле нет недостатка».

Всего два-три раза перед Пабло возникал образ Испании. Но каждый раз он снова находил там войну и смерть. Тогда он бежал. Без стыда, без сожаления. Он ничего не уносил с собой — только образ Марианны.

Пабло встряхивал головой. Смотрел на равнину, на холм, окутанный тьмой. Иногда перед мысленным взором его появлялся крюк — крюк, на котором повесился работник.

Тогда он вставал и быстро шел по лугу к подножию холмов. Потом возвращался и шел обратно. Он ходил долго, прикусив трубку и с силой сжимая кулаки так, что ногти врезались в мозоли на ладонях.

Но в конце концов он останавливался и устремлял взгляд на маленькую точку в темном небе.

Снова садился на старый пень и закрывал глаза.

Кровь постепенно успокаивалась. Вокруг засыпала земля. А далеко, очень далеко к северу и еще дальше — по другую сторону земли — люди продолжали войну.

Но здесь была мирная ночь, она спустилась на холм и равнину, где зрел урожай.

ЭПИЛОГ

В последнее воскресенье ноября Пабло встал еще до зари. Он покормил кобылу, взял со стола приготовленную накануне сумку и пошел по тропинке вдоль гребня. Впервые за месяц Пабло покидал Брюли.

Когда он дошел до того места, где холм немного изгибался, небо уже светлело. Вдали висела серая мгла, но зимний свет пробивался между тучами. Пабло замедлил шаг. И отбросил рукой назад тяжелую сумку, которая била по боку.

Слева в ложбине над деревней, еще купавшейся в остатках ночи, уже появились первые струйки дыма. Пабло на ходу несколько раз посмотрел туда. Он немного побаивался, но нет, в груди только чуть защемило.

Пабло продолжал шагать вдоль гребня холма, и вскоре деревня очутилась у него за спиной.

По дороге, перебрасывая через изгороди, дуя то сбоку, то прямо в лицо, ветер крутил бесчисленные ржавые листья.

Пабло шагал добрых два часа, прежде чем достиг города. У первых домов он навел справки. Оказалось совсем просто: один дом, другой и первая улица налево.

Перед фасадом дома, окна которого были забраны решетками, Пабло долго стоял, не решаясь позвонить. Наконец дернул за начищенную до блеска ручку. Немного погодя дверь отворилась, и он вошел. Дверь за ним тут же захлопнулась, и он оказался один в крошечной высокой комнате, плохо освещенной маленькой лампочкой, ввинченной в черный потолок.

У Пабло сжалось сердце.

За перегородкой послышались приглушенные шаги. Открылось окошечко, и за деревянной решеткой Пабло увидел смутные очертания лица. Часть перегородки повернулась, образовалась ниша. Пабло сделал шаг.

— Напишите на грифельной доске имя того, к кому вы пришли, и ваше имя.

Тень отошла от решетки, хлопнула дверь. Пабло осмотрел нишу. Грифельная доска лежала на полке, на веревке висел карандаш. Он подошел, написал два имени и сделал шаг назад. Ниша исчезла.

Несколько минут прошло в тягостной тишине — она исходила от серых стен и никогда не нарушалась, тишина, казалось, была здесь с давних пор, всегда.

Наконец справа открылась дверь, и Пабло вошел в комнату чуть больше первой, тоже темную и холодную, но в ней стояли стол, лавка и стулья, и старое отполированное дерево, несмотря ни на что, создавало видимость жизни. Пабло сел, положил сумку на колени и стал ждать в окутавшей его, словно туман, тишине.

Прошло довольно много времени, снова послышались шаги, в скважине низенькой двери повернулся ключ. Пабло встал. Дверь отворилась. Вошла Жаннетта.

Как только дверь закрылась, Жаннетта сделала шаг-другой и остановилась. Лицо выражало сомнение. Глаза моргали, рот немного сморщился, губы дрожали; она сделала шаг вперед, подняла руки и улыбнулась.

Тогда Пабло сам шагнул к ней. Обнял, прижал к себе, поцеловал в обе щеки.

Потом отошел в сторонку, отвернулся и вытер краешком рукава набежавшую слезу. И тут же, взяв Жаннетту за руку, подвел к столу.

— Иди садись,— сказал он,— садись.

Жаннетта села напротив. Она бормотала, а лицо ее все продолжало улыбаться. Пабло положил сумку на стол, и, пока он ее открывал, девочка следила за каждым его движением.

Он вынул из сумки яблоки, орехи, два пакетика конфет и коробку вафель.

— А вот это,— сказал он,— пирожное и конфеты от Хромого, он купил их в кондитерской. Знаешь Хромого? Помнишь его?

Она забормотала и кивнула. Пабло засмеялся.

— И ты знаешь, он просил сказать тебе очень много всего. Он бы с удовольствием пришел сам тебя навестить, но он старый. А это далеко... И потом еще и другие обещали прийти, но в базарные дни посещения не разрешаются, значит, им надо приходить специально в воскресенье... А у них совсем нет времени... ты же знаешь, когда у людей земля, скотина и всякое такое...

Жаннетта все улыбалась. Пабло вынул из сумки маленький бумажный кулек. Открыл его и вытащил наполовину высохшую виноградную гроздь.

— Видишь,— сказал он,— я ее сорвал. Это виноград с Брюли. Там все заросло травой, но немного винограду вызрело. На, попробуй, он такой сладкий, как варенье.

Пабло помолчал. Давно уже он столько не говорил. Он развернул конфету и протянул Жаннетте. Та принялась сосать, и Пабло показалось, что она в самом деле счастлива. Он поколебался немного, потом, когда над ними сомкнулась тишина, охладившая комнату, заговорил снова:

— Знаешь, они уже там больше месяца, новые. Приехали сразу после твоего отъезда.— Он нахмурил брови, посмотрел на Жаннетту, которая старательно грызла конфету, и продолжал, понизив голос, будто про себя: — Мы с Вороной уехали как раз накануне. Я увез в бричке старую борону и хороший плуг... А еще раньше отвез сено и разную мелочь, для себя.

Жаннетта протянула руку к пакету с виноградом. Пабло дал ей кисть, и она принялась есть. Она жевала все так же, почти не закрывая рта, однако теперь Пабло спокойно смотрел на нее.

— Ты знаешь, до сих пор я строил конюшню для Вороной, да и сам устраивался на новом месте. Но на будущий год, думается, если все хорошенько обмозговать, смогу восстановить старый виноградник. — Он засмеялся и прибавил: — Буду приносить тебе виноград. И потом, может, я смогу взять тебя к себе на время уборки.

Пабло на минуту задумался. Он снова представил себе свой домик. Подумал о дровах, приготовленных для очага, о сене для Вороной. Пусть приходит декабрь, пусть дует с равнины ветер, тащит за собой зиму — наверху все готово.

— И даже,— снова начал он,— мы с Вороной работали на лесозаготовках, нарубили дров в три раза больше, чем понадобится до весны. Нас все просят. А ведь я в деревне носа не показывал с тех пор, как поселился на Брюли. Но каждый раз, как Хромой приходит меня навестить, он говорит, что такому-то нужен поденщик с хорошей лошадью.

Жаннетта съела виноград. Пабло все смотрел на нее и был счастлив, что она чистая. Он молча наблюдал за ней еще некоторое время, потом сунул руку в сумку, вытащил оттуда кусок изогнутой лозы и положил на стол. Жаннетта немного подалась вперед. Лицо сразу стало серьезным. Она принялась пристально рассматривать кусочек дерева. Рука медленно двигалась по столу, как робкий зверек.

Она потрогала лозу кончиками пальцев. Затем взяла в руки, стала рассматривать, поворачивая в разные стороны. Потом положила на

стол. И снова лицо озарилось улыбкой. Она подняла голову, посмотрела на Пабло. Пабло, казалось, подыскивал слово. Губы его шевелились, и он сказал, понизив голос:

— Вороная... Вороная...

Жаннетта забормотала. Рука ее дрожала меньше, и лицо успокоилось. Она снова взяла кусочек лозы и стала двигать по столу.

— Вороная,— повторил Пабло.— Ты видишь, это Вороная... Очень похожа на Ворону.

Девочка двигала по столу кусочек дерева, а Пабло говорил все громче. Будто на самом деле говорил с Вороной. Каждый раз, когда он кричал «н-но», кусочек дерева двигался быстрее. И каждый раз, когда он говорил «тпру», кусочек дерева останавливался.

Так продолжалось довольно долго.

Потом Пабло вытащил из сумки другой кусок лозы.

— Я найду тебе еще веток,— говорил Пабло.— Меня просили выкорчевать два виноградника. Там будет целая куча веток. Я тебе подберу.

Но Жаннетта уже устала. Лицо снова стало безжизненным. Еще долго Пабло смотрел на нее, неподвижную, молчаливую.

Наконец, собрав в сумку кусочки дерева, которые Жаннетта не захотела взять, он поднялся. Девочка тоже встала. Поверх серого платья на ней был большой голубой фартук. Пабло сказал:

— Мы сейчас положим все это тебе в фартук.

Жаннетта приподняла уголки фартука — как в поле, когда собирала дикий салат. Пабло положил туда фрукты, конфеты, пирожные и кусочки дерева.

— До свидания,— сказал он.

Лицо у девочки слегка сморщилось. Пабло сделал шаг вперед, наклонился, привлек Жаннетту к себе и поцеловал.

— Иди,— сказал он,— иди! Я буду приходить каждое воскресенье. Обещаю тебе, каждое воскресенье.

Девочка стояла неподвижно, одной рукой придерживала фартук, другая висела вдоль тела. Она очень напоминала ту маленькую девочку, которую Пабло впервые увидел в день своего приезда в деревню. Только эта была чистая. Но почти не выросла, грудь была все такая же плоская, а лицо — как у двенадцатилетней.

Пабло поднял руку, сделал едва заметный жест и тихо повторил:

— Иди... Я приду снова.

Жаннетта повернулась и пошла все тем же шагом — немного расставив ноги, покачивая плечами справа налево.

Дверь за ней закрылась, и Пабло осмотрелся. Он был один. Но отворилась та дверь, через которую он вошел. Он прошел в другую комнату, ступая осторожно, боясь нарушить тишину, которая снова сомкнулась над ним и показалась еще более тягостной.

Немного подождал перед дверью, за которой открывалась серая улица, где гулял ветер.

Оказавшись на тротуаре, он еще долго вдыхал в себя свежий воздух.

Теперь тучи плыли над самыми крышами. Ветер дул вдоль улицы и нес холодные капли дождя.

Пабло посмотрел еще раз на мертвый фасад и прошептал:

— Каждое воскресенье.— И, тяжело ступая, пошел вдоль стен.

Выйдя из города, Пабло остановился у первых же кустов, вытащил из кармана нож, нашел ветку попрямее, срезал и сделал себе палку.

Ветер ослаб. Дождь пошел сильнее, он прибивал листья к дороге.

Втянув голову в плечи, ссутулясь, Пабло пустился в обратный путь.

Мой друг Испанец

Конечно, что такое любовь к земле, я понял не тогда, когда отец водил меня к своим друзьям-крестьянам; и не в тот предрассветный час, когда, ожидая, пока встанет мать, чтобы развести «огонь в очаге», я осознал, какое место занимали в моей жизни и в моих произведениях сумерки, ночь, звуки, тишина и тайна, которая продолжает меня вдохновлять. Все это жило во мне и только ждало случая проявиться, обрести форму и предстать в более четких очертаниях.

И когда я встретился с тем, кто стал мне другом, с Испанцем, я могу — по-моему, не рискуя ошибиться,— сказать, что уже выбрался из туманов детства.

Среди наиболее ярких воспоминаний молодости я храню память о времени, проведенном с ним в домике виноградарей Ревермона, так как именно тогда пробудилась во мне любовь к земле. Земля, на которой я трудился вместе с отцом в его огромном саду и на расположенном близ города лугу, где он косил,— это совсем не та земля с виноградником, маленьким стадом, посевами пшеницы и кукурузы, которая служит удовлетворению насущных нужд одной семьи.

Будучи еще более далек от крестьян, чем я, Испанец, жестоко истерзанный войной, от которой он бежал, цеплялся за работу на винограднике и в полях. Он научился любить землю и провел меня дорогой этой любви, которая разочаровывает лишь тех, кто не хочет вложить в нее свой труд.

Труд людей! Лишь благодаря Испанцу я понял, что это означает, и в то же время я открывал те радости, которые земля может дать в ответ.

Для коренного крестьянина любовь к земле столь естественна, что, если о ней даже невзначай упомянуть в его присутствии, он может прийти в замешательство. По правде говоря, крестьянин не то что любит землю — он как бы сам является ее частицей. Это люди со стороны говорят о своей любви к земле и действительно неожиданно для себя ее ощущают. Вот такой именно случай произошел с Испанцем, и это послужило для меня примером.

Изгнанный из своей страны, он открыл для себя во Франции новую родину в самом прекрасном, самом благородном и самом забытом смысле этого слова, который часто извращают, выводя на знаменах кровью невинных.

Немало написано страниц о жизни и смерти героев разных романов, но Испанец научил меня куда большему, чем самые лучшие книги. Он это сделал безотчетно, но урок был исполнен страдания и потому оставил во мне след, который никогда и ничто не сотрет.

Разлучась со своим другом вскоре после окончания войны, которая свела нас, так как, спасаясь от немцев, я вынужден был скрываться в той же деревне, я сохранил о нем память как о человеке редкой судьбы. Вот почему я решил рассказать историю Испанца, ибо его судьба, мне кажется, близка моей.

Писателю всегда нужно смотреть на своего героя с расстояния, и потому я не стал разыскивать снова Испанца. Мне было известно только, что он покинул деревню в департаменте Юра, ставшую в силу любви его родной деревней; к тому же я так живо рисовал себе конец моего романа, что не считал нужным гоняться за фактами, которые, быть может, вынудили бы меня изменить его. И потом, я не собирался писать историю моего друга, а лишь историю Испанца, похожего на него.

Через несколько месяцев после выхода романа в свет ко мне пришла знавшая нас обоих, Испанца и меня, читательница из той же деревни в департаменте Юра. Приехать в Лион ее вынудила нехватка продовольствия.

«Пабло в вашей книге,— спросила она меня,— это действительно он?»

Всего лишь вопрос, но я должен был признаться, что портрет получился гораздо ближе к оригиналу, чем мне бы хотелось. Значит, произведения, герои которых взывают к чувствам читателей, часто, невзирая на мастерство автора и помимо его воли, приоткрывают сокровенные его тайны.

«Я думаю, если бы он мог прочесть эту книгу,— сказала мне женщина,— он был бы по-настоящему счастлив».

Моя читательница рассказала мне, что Испанец был очень тяжело болен и испанское правительство, чтобы он мог «спокойно умереть», разрешило ему вернуться на родину. Она раздобыла для меня его адрес, и через несколько дней я послал ему письмо и книгу. Вскоре письмо вернулось обратно с пометкой «адресат не обнаружен», а книга, возможно, нашла себе место на полке в библиотеке таможенника — любителя автографов. Моя знакомая снова принялась за поиски, но они не дали результатов, и мы пришли к заключению, что бедный малый умер.

Тогда я впервые по-настоящему понял, что неизбежно различие между героем романа и реальным лицом. Я долго общался с Испанцем, но еще дольше, в несколько другом смысле, с героем моей книги, с тем образом, который я вынашивал и который создал по велению сердца.

Смею ли я написать, что мне пришла тогда в голову мысль: а было бы мое горе сильнее, узнай я о смерти моего героя? В тот день приподнялся уголок вуали, открыв для меня мир, где правда смешивается с вымыслом, а это не обходится без определенной душевной боли.

Снова потекло время. Год, а может быть, два — память моя не способна считать часы.

И вот однажды, когда мы сидели за столом, моя жена, дети и я, к нам пришел человек.

Моя жена открыла дверь, и незнакомый ей человек сказал: «Я Испанец».

С большим волнением мы обнялись, и он сел с нами за стол. Сначала все сидели словно зачарованные. Мои дети, которые читали роман, задавали себе вопрос, каким образом вымышленный герой мог стать реальным человеком? Так, значит, и Мария Шапделен, и Малыш, и Тереза или Тарас Бульба могут вдруг сбежать с книжных полок и присоединиться к Пабло? Диалог между Испанцем и моими детьми напоминал диалог глухонемых; дети интересовались, что сталось с его друзьями — придуманными мною персонажами,— которых бедный малый, разумеется, в глаза не видал.

— Но Энрике-то,— спросил мой старший сын,— Энрике-то вы помните? Ну того, из маки...

Мой друг повернулся ко мне и в свою очередь спросил:

— Энрике? Кто такой Энрике?

Пришлось объяснить. Сказать о необходимости отступлений, которых требует литературное произведение... Я был смущен, как ребенок, изобличенный во лжи и вынужденный сознаться, что у него возникла необходимость прибавить к реальности то, чего ей, по его мнению, недоставало.

Потом зашел разговор о Хромом, старом батраке. Мой друг совершенно не помнил этого человека, которого я с удивительной ясностью вижу перед собой. Его-то я «не выдумал», тут уж я совершенно убежден. Только я забыл его настоящее имя, но его фигура, лицо, голос, колоритный язык остались у меня в памяти. А вот Испанец, который, однако, дольше меня жил в деревне, клялся всем святым, что совершенно не помнит этого человека и что никакой старик никогда не приходил на виноградник помогать им.

По сей день это остается для меня тайной, и каждый раз, когда Хромой воскресает в моей памяти, меня охватывает беспокойство, как будто от меня ускользает частица моего «я».

Наконец — это главное — в тот день я услышал подлинную историю моего друга, ту, которую он сам мне поведал и которой никто не знал.

Более образованный, умный и предусмотрительный, чем большинство земледельцев французской деревни, где он скрывался, Испанец понимал, что война неизбежно приведет к девальвации и что опасно копить банкноты. Он вынужден был проявить твердость, чтобы вдолбить это в голову крестьянке, у которой работал, и заставить ее вложить все вырученные от продажи урожая деньги в землю, имущество, инвентарь,— деньги, пропитанные и его потом. Таким образом, в департаменте Юра по крайней мере одна ферма не пострадала, когда государство, забравшись еще раз в карман к народу, решило «обменять банкноты». И человек, у которого вообще ничего не было за душой, создал для других большую усадьбу, представлявшую собой целое состояние. Правда, предчувствие подсказывало ему, что надо оставить и за собой хоть какой-то уголок. Речь шла о домике в две комнаты, крохотном участке земли и двух коровах, купленных на скудные сбережения.

Но вот однажды несчастье, которое преследовало Испанца еще на родине, настигло его в разгар работы. Он вскапывал землю на винограднике, раскинувшемся на склоне холма, и, как всегда, любовался горизонтом, как вдруг закашлялся и начал харкать кровью. Его отвезли в больницу, там обследовали и предписали жить в санатории. Перед отъездом он обрисовал свое положение врачу и спросил, сколько у него шансов поправиться и вернуться к работе.

— Один шанс из ста,— ответил врач.

Отложив свой отъезд на несколько дней, он обратился за советом к адвокату, и тот сказал ему:

— Вы иностранец, у вас нет семьи, и если вы передадите по завещанию свое имущество тем, кто вас нанимал, то большую часть отберет государство. Лучше осуществите фиктивную продажу. Мы оформим акт, ваши «покупатели» ничего вам не заплатят, а когда вернетесь, вы снова вступите во владение своим имуществом.

Акт продажи оформили и подписали. Испанец уплатил все расходы и налоги, взимаемые при переходе прав собственности к другому лицу, взял чемоданчик и отправился в санаторий. Конечно, у него была огромная воля к жизни, раз он одержал верх над медициной и лекарствами. Однако у него были основания и для беспокойства. Перед отъездом, когда он попросил женщину, для которой так много сделал, взять на себя заботу о двух его коровах на время его отсутствия, он услышал в ответ:

— Ну, конечно, а сколько ты мне заплатишь?

У него еще оставалось немного денег, он заплатил ей вперед и спросил:

— Приедешь в больницу навестить меня?

— Путешествия стоят дорого.

А он боялся одиночества и к тому же был привязан к этой женщине и пообещал оплатить ее поездки.

Так обстояло дело. Целых два года, каждый раз, когда эта «добрая крестьянка» приезжала к нему, она брала несколько монет, которые протягивал ей человек, находившийся между жизнью и смертью.

Когда наконец Испанец вышел из больницы, он понял, что уже не найдет себе места на ферме. Сын хозяйки был в том возрасте, когда мог работать сам. Следовательно, Испанцу оставалось только поселиться в маленьком домике, который ему принадлежал.

Вернувшись в родную деревню, к столь горячо любимой земле, он ощутил сильное волнение. И, возможно, в тот момент по-настоящему понял, что здесь и есть его родина, что это все, что остается ему любить.

Он не описал мне той минуты, но я без труда могу себе ее представить, будто я сам после долгих лет отсутствия вновь обрел землю.

Как только он появился в дверях, ему предложили тарелку похлебки и охапку соломы, в чем не отказывают и прохожему нищему, но объяснили, что маленький домик, коровы и клочок земли больше ему не принадлежат. У него ничего нет. Он все продал. Нельзя же оспаривать то, что написано в документе.

На этом месте мой старый товарищ-работяга прервал свой рассказ. В пятьдесят восемь лет он выглядел совсем старым — крестьянин с обветренным, опаленным солнцем лицом. Лицо его сморщилось, избороздилось тысячью морщинок, подбородок задрожал, и из глаз покатились слезы. Он понял, конечно, по нашему молчанию, до какой степени мы потрясены и как ему сочувствуем. Он долго плакал без ложного стыда, не пряча слез. Немного успокоившись, он сказал:

— Я снова уехал в Испанию с узелком не больше того, с каким приехал во Францию, и без единого су в кармане.

Тут я взглянул на его руки, которыми так часто любовался во время работы, когда они крепко держали плуг или ловко управлялись с топором. Они были длинные и худые, как и все его тело, безусловно, значительно похудевшее, но по-прежнему крепкое, с сильными мускулами.

Вдруг я подумал о той минуте, когда этот человек мог стать убийцей. Какая потребовалась выдержка, чтобы тогда не убить!

Представляете себе драму? Человек перед судьями. Акт продажи оформлен по всем правилам. Иностранец — убийца добрых крестьян, которые дали ему приют и столько лет кормили!

Да знаем ли мы всю подоплеку человеческих трагедий, которых лишь слегка касается пресса?

Но у Испанца хватило мужества не убить.

— В пятьдесят четыре года,— сказал он,— я уехал в Испанию, чтобы все начать с нуля. У меня больше ничего не было, даже здоровья, а ведь я никогда в жизни ничего не терял по собственной оплошности. У меня всегда все отбирали.— И прибавил короткую, но страшную фразу: — Моя жизнь — как футбольный мяч. Дадут пинка — и я тут, дадут еще — и я отлетел обратно.

Он рассказал нам о своей жизни в Испании. Работу найти было трудно. Нескончаемые дни на пароме, принадлежавшем отелю. Мертвый сезон. Не всегда есть кусок хлеба. Свобода утрачена! Здоровье день сто дня все хуже.

Он рассказал о том, за какой взялся тяжелый, непосильный труд, чтобы скопить денег на поездку в Юра. Перед смертью ему хотелось снова увидеть землю, ставшую его родной землей.

— Это сильнее меня,— сказал он дрожащим голосом,— мне просто необходимо было снова увидеть те места. Ты понимаешь? Ты должен понять! — И прибавил то, что глубоко врезалось мне в память: — Родина моя — не Испания, не Франция, не Каталония. Нет, это маленький уголок на земле Юра, где я так много трудился. Эту землю я обрабатывал. В этой деревне я понял, что такое настоящая жизнь.

Вновь обретя слова, которые любят употреблять старые крестьяне, говоря о той земле, что они обрабатывают, Испанец вспомнил настоящую, украденную у него жизнь. За три года, ценой постоянных лишений и тяжелого труда, ему наконец удалось скопить денег на дорогу.

Это было его последнее путешествие.

Он приехал в Лон-лё-Сонье, город, расположенный близ той деревни, которую ему так хотелось увидеть, а поскольку в деревню ему не на чем было добраться, он попросил старого товарища подбросить его туда на машине. Человек этот был известный всему району боксер. Увидев Испанца в сопровождении боксера, «храбрые» крестьяне, охваченные страхом (угрызений совести у них не было), забаррикадировались. Получилась трагикомедия, и хотя мой друг все понимал, однако смеялся, рассказывая нам эту сцену. После долгих препирательств крестьяне наконец открыли ему дверь.

В этом месте повествования на лице Испанца отразилась глубокая печаль. Его впустили и предложили вина, но поставили стакан на край стола, давая понять, что не собираются его удерживать. И мы еще раз увидели, как у него в глазах заблестели слезы: ведь в этом доме он когда-то был за хозяина, сам разливал вино и резал хлеб. От волнения судорога сжала ему горло, и он с трудом говорил:

— Только трое порадовались моему приходу: девочка, которая так и осталась недоразвитой, старая слепая собака да кобыла, которая, узнав мой голос, заржала в конюшне. Что же касается остальных, то, вообразив, что я пришел свести с ними счеты, они задрожали и, видимо, вздохнули с облегчением, только когда увидели мою спину.

В Лон-лё-Сонье ему рассказали о моей книге, о существовании которой он не подозревал, и уже на обратном пути он остановился в Лионе, чтобы повидаться со мной.

Покидая нас, он прижал мой роман к груди и, обняв меня, сказал:

— Мне кажется, будто я уношу с собой кусочек той земли.

Через несколько недель я получил от него длинное письмо: он писал, что действительно нашел в моей книге кусочек столь любимой им земли. Но жалел, что я не рассказал его подлинную историю. И он описал еще несколько ужасных эпизодов из своей жизни. Все это окончательно убедило меня в том, что некоторые факты и персонажи не могут войти в роман такими, какими были в жизни. Часто писателю приходится идти на сделку с действительностью. Крестьяне, которых знал мой друг, были слиш-

ком отвратительны, и читатель только обвинил бы автора в том, что тот нарочно их очернил.

Надо быть Мольером или Бальзаком, чтобы уметь создавать типы людей. Я не тот и не другой. Друг мой, конечно, этого не понял. У меня сохранились его письма. Я привык к его французскому языку. И когда перечитываю их, мне кажется, что я слышу его голос. От его гневных слов у меня сжимается сердце.

В письмах его повторяются одни и те же жалобы: «Больше всего я жалею о том, что наше знакомство прервалось до того, как ты начал писать книгу. Верь мне, из твоего романа сочилась бы навозная жижа». Конечно, он имел в виду человеческую подлость, испорченность. Мне хотелось бы процитировать все письма этого человека, который соприкоснулся с самой страшной нищетой и человеческой мерзостью.

«Твоя книга окончена, а моя продолжается»,— писал Испанец, рассказывая все новые и новые эпизоды из своей трудной жизни, о работе судомойщиком в ресторане, о своей борьбе и все снова и снова возвращаясь к земле — тоска по ней не покидала его.

Этот случай научил меня понимать мир реальный и мир вымышленный, понимать истинность персонажей.

Все, кто пишет, знают, как тяжело автору «убивать» героя, которого он создал, выносил в себе, с которым долго шагал вместе. Для меня после того, как мы снова встретились, мой товарищ, несмотря ни на что, все же походил на Пабло из моего романа. Может быть потому, что я любил обоих, оригинал и портрет слились для меня воедино.

Неожиданное возвращение Испанца, которого я считал мертвым, было для меня и огромной радостью, и большой печалью, так как только ценой страданий израненного существа мы узнаем, что мир гораздо гнуснее, чем можно вообразить. Несмотря на бесконечную цепь перенесенных страданий, мой друг остался тружеником честным и чистым, человеком со светлыми идеалами, таким же, каким я знал его в 1942 году. Он потерял физическое здоровье на земле Юра, соки которой еще текли в его венах, но сохранил трезвость взглядов и чистую совесть.

Возможно, стремясь подавить свой гнев, он истратил последние силы.

Итак, он умер в сочельник. О его смерти мне стало известно спустя месяц, но я это предчувствовал. Его последнее письмо было исполнено бесконечной грусти. Однажды его дальний родственник, приехав в Лион, зашел ко мне, чтобы рассказать о его жалкой кончине.

— Ваша последняя посылка пришла в день его смерти,— сказал он.

Даже этой последней радости — проявления братской дружбы — ему не суждено было узнать. Вот и его книга жизни окончена. В ней насчитывается больше страниц, наполненных слезами и кровью, чем глав, залитых солнечным светом.

Оплакивая эту смерть, я и не догадывался, что вторично испытаю боль утраты, вторично буду горевать по моему другу Испанцу.

И тогда произошло чудо нашего века, позволяющее автору воочию увидеть, как один из его персонажей превращается в человека из плоти и крови, со всеми его переживаниями. Так случилось и со мной, когда много лет спустя Жан Пра поставил по моей книге фильм. Великолепный актер Жан-Клод Роллан так чудесно воспроизвел образ моего героя, что его прекрасное лицо, со взглядом чистым, как вода, и стало для меня лицом моего Испанца.

Но увы! Накануне демонстрации фильма смерть настигла Жан-Клода. Я все время мечтал написать продолжение книги. Жан Пра надеялся, что сможет ее экранизировать, в результате получилось бы широкое кинополотно. Но со смертью большого актера Испанец угас навсегда и для Пра и для меня.

Жан-Клод Роллан столь точно воплотил образ Испанца, что одна только мысль увидеть в этой роли другого актера, пусть даже гениального, была для меня невыносима.

Нельзя писать без страсти, и произведения романистов нередко насыщены слезами, но слезы эти лишь часть того, что называют глубокой радостью творчества.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

В РУСЛЕ ВРЕМЕНИ И ТВОРЧЕСТВА

Своим рождением, выходом в свет в 1955 году журнал «Иностранная литература» в полной мере обязан исторической победе, одержанной героическим нашим народом над гитлеризмом в Великой Отечественной войне, тридцатипятилетие которой в этом году было отмечено во всех концах земли. Благодарные поколения людей в странах Запада и Востока склоняются перед величием подвига героев, победоносно прошедших по дорогам самой тяжелой из всех пережитых человечеством войн, спасших от фашистского порабощения свою Родину, народы Европы и мира.

Нюрнбергский процесс, обнаживший подлинный облик нацистских преступников против мира и человечества, засвидетельствовал, что в развязанной фашизмом второй мировой войне погибло свыше пятидесяти миллионов человек. Только советский народ потерял двадцать миллионов своих сыновей и дочерей, более половины которых были зверски расстреляны, замучены нацистскими оккупантами, выполнявшими чудовищный приказ фюрера «сократить советское население», чтобы «очистить жизненное пространство» для фашистских завоевателей. Как созвучны бредовые идеи сгинувшего бесноватого притязаниям нынешней американской администрации, объявившей сферой «жизненных интересов» США целые страны и регионы, находящиеся в тысячах миль от Америки, но граничащие с Советским Союзом. Сколь опасны авантюристические выходки и диктаторская амбициозность Вашингтона «по всем азимутам» — от Карибского бассейна до южного ареала Азиатского континента! Видимо, не всем впрок пошли уроки истории.

Вещие слова сказаны В. И. Лениным о том, что империализм, природу которого определяют хищнические интересы монополий, является постоянным источником агрессивных, грабительских войн, в противоположность социализму, воплощающему в себе интересы и чаяния трудового народа и несущему человечеству мир и созидание.

После войны в значительной мере изменилось политическое лицо мира, прежде всего древнего континента Европы. В странах Восточной и Юго-Восточной Европы люди труда прочно овладели государственной властью, став на путь социалистического развития.

Нелегкая эта победа не только есть торжество советского оружия, но и нашего социалистического образа жизни, общественного и государственного устройства, продемонстрировавших историческое превосходство над капитализмом. Отстояв в суровых сражениях свою свободу и независимость, Советский Союз сыграл решающую роль и в спасении европейской и мировой культуры.

Победа эта — ратное, героическое деяние, урок трагических событий и добрая почва, на которой должен созревать щедрый урожай гуманности и справедливости.

«Мир — бесценное достояние»,— говорил Л. И. Брежнев, выступая на Всемирном конгрессе миролюбивых сил. Внеся самый весомый вклад в разгром германского фашизма, советский народ, верный Программе мира, выдвинутой XXIV и XXV съездами нашей партии, неустанно ведет сражение за сохранение безопасности на земле.

В этом году все прогрессивное человечество отмечает великую дату — стодесятилетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Этому юбилею посвящены многие страницы «Иностранной литературы». В апреле вышел специальный номер, посвященный публикациям международной Ленинианы.

Ленинская тема неизменно занимала и занимает почетное место на страницах «Иностранной литературы». Уместно напомнить о многочисленных публикациях разного времени: здесь и воспоминания зарубежных свидетелей, участников Великого Октября, и мировая поэтическая Ленинниана, и публицистические статьи видных современных писателей. Журнал гордится этими публикациями. Они высоко оценены и нашим читателем. И все же ими далеко не ограничивается та первостепенная по своему значению сфера деятельности «Иностранной литературы», которая непосредственно

связана с широкой и систематической популяризацией ленинского идейного наследия, ленинских принципов и заветов.

Обращаясь к действительности самых разных стран и регионов, отражая на своих страницах важнейшие конфликты современности, какими они предстают в произведениях писателей различного жизненного опыта и мировосприятия, мы постоянно осознаем решающую роль ленинских идей. Мы видим, что главная черта нашей эпохи — объективный и необратимый процесс революционного преобразования, происходящий на тех путях, которые провидел ленинский гений. Этот процесс во всем его величии и многосложности составляет и основное содержание и развитие литератур мира. И естественно, что для нас это — главная тема. Ею определяются и критерии отбора печатаемых нами произведений, и круг авторов, с чьим творчеством мы последовательно знакомим советских читателей.

Ленин рассматривал литературу как активную силу, участвующую в великом деле социалистического преобразования самых глубоких основ повседневной человеческой жизни. Призвание мастеров культуры он связывал с исторической задачей «совершенно по-новому организовать самые глубокие основы человеческой жизни сотен миллионов людей» [1]. Эта ленинская мысль исключительно важна для понимания пафоса и направленности исканий передового, революционного искусства нашего времени. И она находит для себя все новые и новые подтверждения во многих примечательных художественных произведениях современности, в том числе и тех, которые пришли к советскому читателю со страниц «Иностранной литературы».

Бурные события современности каждодневно вторгаются в сознание людей, отображаются во многих книгах. То, что происходит в духовной жизни народов Востока и Запада, обязывает нас делать достоянием советского читателя разноязычные голоса художников слова, творящих в различных уголках нашей планеты. Книга, отмечал Максим Горький, «воплощает в себе все знания о жизни мира, всю историю роста мирового разума, весь исторический труд и опыт народов земли», она «самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества». И когда Эйнштейн говорил, что самым памятным его переживанием было не открытие теории относительности, а прочтение «Преступления и наказания», он констатировал великую предназначенность литературы.

Один из показателей гуманной природы общества — отношение к духовным и культурным ценностям других народов. В том факте, что Советский Союз занимает ведущее место в области перевода и издания зарубежных писателей, проявляется глубокое уважение нашего общества к художественному опыту других народов. Именно по этим линиям прилагаются усилия журнала «Иностранная литература».

В общемировом литературном процессе с древних времен возникало множество коммуникативных связей — путей ознакомления и обмена, взаимопроникновения различных литератур, их влияния и обогащения. И это в немалой степени способствовало, помимо прочего, преодолению национальной ограниченности. Результаты и масштабы воздействия процесса международного литературного общения многомерны. Они едва ли поддаются арифметическому подсчету. Но существует иная форма исчисления — моральная, духовная. Живой интерес к литературному творчеству любого народа — это всегда интерес и к самому творцу, и к людям, их устремлениям, идеалам, национальной самобытности. Ибо в лучших произведениях художественного творчества словно заключен синтез времени, нечто общезначимое, современной эпохе присущее, нечто целостное, единое с историческими судьбами народа. В немалой мере в творениях этих содержится нечто своеобразное, обладающее для нас неповторимой этической и эстетической ценностью. «Плоды духовной деятельности отдельных наций,— подчеркивали еще в «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс,— становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература» [2].

Несомненно, однако, что речь здесь идет не о стирании граней между литературами, которым всегда присущи свои национальные и этнографические черты и особенности, но о гармоническом сочетании ценностей, о сокращении духовных расстояний между нациями и народами.

В наш век трудно себе представить, что какая-либо литература может существовать и творчески развиваться изолированно, обособленно от других литератур. И самый ход литературного общения между народами приобретает все новые общезначимые формы, которые возникают в движении самой жизни. Нередко здесь пересекаются пути прошлого и будущего. Прошлого — в виде неувядающих художественных ценностей минувших веков. Будущего — возникающего из нынешней обещающей поросли, которой предстоит щедрая плодоносная пора.

Художественная литература во все времена являлась прежде всего человековедением. Едва ли ей суждено, смею думать, изменить главную свою природу и сущность. Предмет ее изображения — развитие духовного и интеллектуального мира личности в свете наших знаний о человеке. Без литературы история едва ли смогла бы стать душой народа. Сам человек есть живое воплощение истории. Бесконечно много в нем заложено от прошлого, от давно минувшего, но продолжающего жить в нем, чтобы затем войти в будущее. Именно в силу этого столь важное и принципиальное значение в трудах В. И. Ленина придается культурному наследию прошло-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 378—379.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 428.

го, развитию его лучших традиций, созданию новой, общечеловеческой культуры на основе синтеза вершинных завоеваний человеческого духа.

Не всегда, однако, связи между культурами и литературами развивались в одинаковой мере естественно и плодотворно. История свидетельствует о том, что общение между народами нередко встречало сопротивление, помехи и барьеры, искусственно возводимые «китайские стены», которые, по замыслу господствующих сил, должны были оградить внутрипредельные области от опасного иноземного влияния, от всякого рода идей и мировоззрений, нарушающих их изоляционизм и существующие политические порядки. С другой стороны, в прошлом и настоящем есть много примеров того, что чуждые тому или иному народу идеи зачастую не только не встречали препятствий, но даже поощрялись и поощряются в различных странах, хотя они не во всем согласовывались с политическим устройством и господствующим мировоззрением этих государств. Иными словами, на процесс международного литературного обмена в историческом его развитии могут влиять различные — положительные и отрицательные — факторы и обстановка, складывающаяся в мире.

Однако сегодня с полным правом можно говорить о том, что многообразные формы общения между народами стали наполняться значительным и емким содержанием. Процесс расширения этих международных взаимосвязей, безусловно, способствует более углубленному пониманию общественных, мировоззренческих и эстетических позиций различных народов. Процесс этот, разумеется, оказывается продуктивным, если он носит взаимный характер, а не сводится лишь к односторонним действиям, не используется какой-либо стороной в ущерб другой. Сегодня обнаруживаются два главных подхода в развитии литературного общения между народами.

Острая идеологическая борьба требует все более основательного знания противника и применяемых им средств. Она, в частности, заставляет обратить пристальное внимание на ту роль, которую в огромном аппарате идеологических диверсий, клеветы и одурманивания людей в современном западном «обществе потребления» играет так называемая массовая литературная продукция, выпускаемая макротиражами, умножаемыми бессчетными экранизациями в кино и на телевидении.

В книге «Психология искусства» Л. С. Выготский резонно называет искусство «орудием общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа». Мы хорошо знаем, как искусство слова используется в буржуазном обществе в качестве одного из наиболее действенных средств, применяемых в борьбе идей, в борьбе за души людей. При этом с помощью средств массовой информации извращаются и сущность и формы художественного творчества, извращаются направленно — в интересах правящего класса.

Вспоминаются слова, сказанные крупнейшим французским романистом, членом Гонкуровской академии Эрве Базеном, ныне лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», на международной Софийской встрече писателей в 1977 году: дух Хельсинки «означает преклонение перед тремя миллионами лет, превратившими примата в мыслящее существо, нашу планету — в сокровищницу, а космос — в бескрайние просторы для человеческих дерзаний». Можно ли гордиться бездуховностью, антиинтеллектуальностью, суррогатами культуры? Покуда человек жив, разве не обязан он заботиться о своем духовном росте и обогащении? Разве перед американцем не возникает вопрос, как выстоять человеку, как сохранить индивидуальность, как справиться с обрушившейся на него опасностью полной обезличенности?

Что может предложить современному читателю «массовая литература» сегодняшней Америки, кроме отказа от истины, гуманизма, красоты, кроме скудных и зловещих плодов «мышления в пустоте, оставленной исчезнувшим человеком» эстетического декаданса? «Массовая литература» — это попросту литература, выражающая апологетическое отношение к буржуазным ценностям. В ней доминируют мелкотемье, бытовизм, псевдонародность, мещанская бездуховность. В ней отсутствуют большие, обобщающие мысли, обнаруживается робость перед анализом социально-исторических процессов. «Массовая литература» охраняет основы социального устройства «общества потребления», оберегает систему его фальшивых ценностей.

По видимости, другой «полюс» буржуазной культуры представляет кичливо-элитарная модернистская литература? Но присмотримся к ней ближе: каково ее настоящее духовное призвание? Каков герой, находящийся в центре современной модернистской литературы? Нередко это — индивид, потерянный в страшном, безумном мире буржуазной повседневности. Индивид, который конвульсивно пытается найти самого себя, свою личность в предельно стандартизованном «обществе потребления». Индивид, оказавшийся во власти тревоги и страха за собственную жизнь, за настоящее и будущее, за судьбы себе подобных. В сущности, Человек почти сошел со страниц книг многих западных писателей. Но литература, отказавшаяся от человека — главного объекта искусства, теряет тем самым и свое социальное призвание. Что же тогда остается?

Чтобы отвлечь внимание от тягот человека в абсурдном и жестоком мире современного капитализма, на Западе, как известно, организованно ведется всесветная кампания борьбы за «права человека». Не ради ли отвлечения внимания от внутренней трагедийной ситуации понадобилось американским господствующим силам превратить кампанию о «правах человека» в проблему государственной и международной поли-

тики? И характерно при этом, что одержимость новоявленных жрецов «справедливости» и «правозащиты» цинично демонстрируется нередко и во время международных литературных симпозиумов и писательских встреч (в частности, во время «круглого стола» советских и американских литераторов в Нью-Йорке в 1978 году). Нельзя в этой связи не вспомнить ленинские слова: «...господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной» [1].

В международном культурном обмене и литературных взаимосвязях мы видим не изолированное явление, а органическую часть широкого процесса оздоровления атмосферы во всем мире. В соответствии с этим строится наша политика в области культуры. Приобщение народа к отечественным и мировым художественным ценностям, овладение общечеловеческим эстетическим достоянием обрели в нашей стране законодательное основание. Достаточно в этой связи напомнить статью 46 Конституции СССР: «Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры. Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и разномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории страны... расширением культурного обмена с зарубежными государствами». Впервые в истории человечества государство приняло на себя ответственность за обеспечение народа необходимой литературой, создав условия творческого развития миллионных масс. С естественным чувством гордости можно утверждать, что в нашей стране художественный перевод и издание высших достижений мировой литературы приобрели такую масштабность, равной которой нет ни в одной другой стране.

Именно социализм стал связующим мостом между гуманистическим наследием прошлого и прогрессивным искусством настоящего, сберегая для человечества духовную преемственность времен, привнося новые традиции в развитие культуры, неустанно развивая интернациональное ее содержание.

На первый план журнал «Иностранная литература» обычно выдвигает требование — изучать и переводить зарубежную литературу прежде всего в аспектах ее общественного содержания и исторической обусловленности. Это означает применение двуединого критерия: произведение должно быть глубоким по содержанию и художественным по своим выразительным средствам. Мы руководствуемся при этом известным ленинским положением о том, что условия каждой буржуазной нации неизменно порождают идеологию демократическую и социалистическую, а вместе с тем и элементы демократической и социалистической культуры.

Важен круг духовных интересов автора, его гуманистическая концепция жизни. Мы отдаем предпочтение творчеству художника активного гражданского пафоса, передовых, прогрессивных, революционных взглядов, мировосприятию, противостоящему стандартному образу и стилю бытия, которое столь усиленно внедряется в «обществе потребления» на Западе и объективно лишает личность индивидуальности. «Массовая культура», как свидетельствует реальность западных стран, уделяет главное внимание утилитарной стороне существования человека, что ведет к культу вещей, к накопительству. «Вещизм» приобретает значение образца и символа преступности, начинает играть самодовлеющую роль. Он оттесняет человека с его духовными запросами и интересами, собственным достоинством, нравственными побуждениями. Люди в этой атмосфере неизбежно становятся неким «статистическим феноменом». Именно в этом таится причина опустошения души. Надлом психики, потеря своего места в жизни, утрата духовности. Наркомания, порнография, вседозволенность.

Мы отвергаем книги, в которых пропагандируются война, насилие, человеконенавистничество. Страницы «Иностранной литературы» не оскверняются публикацией произведений, начиненных порнографией, вульгарным натурализмом, шовинизмом, разнузданной вседозволенностью, безнравственностью. Подобного рода псевдолитература несовместима с высокой моральной требовательностью и социалистической нравственностью советского читателя.

Наш журнал, однако, печатает не только произведения зарубежных авторов, с которыми мы во всем согласны. Нередко на страницах «Иностранной литературы» помещаются романы, повести и стихотворения — литературные иллюстрации, отражающие духовный кризис буржуазного мира, в сопровождении анализа и развернутого комментария советских литературоведов и социологов, которые помогают нашему читателю лучше понять идеологическую направленность таких произведений, ограниченность взглядов буржуазных писателей на общечеловеческие категории и нравственные нормы, ложность их эстетических критериев.

Отказ от выполнения взятых на себя обязательств по Хельсинским договоренностям в области взаимного расширения издания литературы буржуазная пропаганда пытается объяснить «особенностями» условий в «свободном» обществе Запада, где книжные издательства находятся в руках частных предпринимателей и все определяется спросом потребителей. Другими словами, на произведения советских авторов якобы нет «коммерчески оправданного» спроса. Возникает, однако, вопрос: кто и каким образом определяет отсутствие такого спроса? Чтобы судить об отношении

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 103.

потребителя к книге, нужно ему эту книгу показать, то есть издать, отрецензировать, позаботиться о рекламе, как это общепринято в издательской практике. Но ничего подобного в отношении советской литературы на Западе не делается. Напротив, западная пропаганда на газетных страницах и мутных волнах злобствующих «радиоголосов» буквально надрывается в своих измышлениях по поводу Советского Союза, материальной и духовной жизни в нашей стране. Совершенно очевидно, что подлинная причина отказа — не в отсутствии спроса у западного читателя на современную советскую литературу, а в явном нежелании издавать эту литературу по политическим соображениям. Но это ли не разительное доказательство невыполнения Западом Хельсинских договоренностей, это ли не прямое нарушение обязательств, принятых по Заключительному акту европейского совещания? Но «свободная» печать буржуазных стран хранит по этому поводу гробовое молчание.

Знаменательна все возрастающая роль реалистического направления в национальных литературах стран Азии и Африки. Особое значение приобретает для них художественный опыт советской многонациональной литературы, идейные и эстетические завоевания социалистического искусства. Окрыляет сознание, отмечает известный южноафриканский прозаик Алекс Ла Гума, «что советские писатели и деятели искусства руководствуются в своих произведениях методом социалистического реализма и вдохновляются одной главенствующей идеей — идеей служения интересам трудового народа в борьбе за создание нового человека, за мир и за сохранение бессмертных творений цивилизации». Все изложенное ведет к мысли о том, что важнейшим принципом международных литературных взаимосвязей должно быть неуклонное повышение ответственности за сохранение подлинных духовных ценностей, осознание значения мирного сосуществования стран с различным общественным строем, понимание сущности, законов развития и высокого гуманистического призвания литературы и искусства. Без этого всякие рассуждения о художественных ценностях превращаются в беспредметные риторические упражнения. Для нас сохранение художественных ценностей — это осознанный долг перед историей и человечеством, перед нынешней и будущей цивилизациями.

Можно, однако, с полной уверенностью сказать, что международные литературные взаимосвязи возникают и развиваются по законам объективного движения истории и произведения искусства слова своими путями находили и находят доступ к сердцам читателей всюду, где бы они ни жили. Искусственно возводимые «книжные шлагбаумы» и «китайские стены» изоляционизма и отчуждения никогда не спасали отжившие свой век мировоззрения, антинародные режимы — господство реакционных сил. Ничто не помогало: ни политические табу и цензурные барьеры, ни полицейские репрессии, ни пресловутая «культурная революция» хунвэйбиновщины, ни огонь костров, в которых сгорали шедевры мирового искусства и человеческой мысли. Все оказывалось бессильным перед неостановимым движением передового, жизнеутверждающего, революционного. Так было в прошлом, иначе не могло быть. История со всей неумолимостью указывает на то, что именно так будет и впредь.

Двадцать пять лет существования «Иностранной литературы», из которых каждый год для нас — как межа, ознаменовались выходом в свет трехсотого номера журнала. У книги есть своя судьба, она зависит от читателей, говорили древние. Многое незримо исчезает в заботах каждодневности, но увидевшие свет книжки — не просто запечатленное прошлое или путешествие в прошлое. В них отображено нечто такое, что словно бы сохраняет неугасимость света, художественное воплощение времени и пространства изменчивого нашего мира. Индивидуальные особенности различных национальных литератур привлекают, вызывают естественный интерес у читателя, который стремится постичь что-то ему неведомое. И в этом как бы ощущается нами своеобычное приобщение мгновения к вечности. Пересечение временных и пространственных осей. Сближение отдаленного и современного. Мы будто прозреваем минувшее в нынешнем и будущее в прошлом. Едва ли существует сила, способная одолеть склонность человека к интимному общению с искусством.

«Иностранная литература», призванная отображать на своих страницах общемировой литературный процесс, первостепенное внимание уделяет произведениям искусства слова в странах социалистического содружества. Закономерность такого отношения нашего журнала объясняется общностью миропонимания, высоких нравственных идеалов, новым качеством гражданственности. Горением общественной мысли, глубокой вовлеченностью в процесс созидания мира социализма нового человека активной жизненной позиции. Мы верим, что будущее принадлежит тому искусству слова, которое вдохновляется наиболее передовым, революционным мировоззрением, идеологией научного коммунизма.

И мы видим, что литературы социалистических стран с каждым годом обогащаются все новыми реалистическими произведениями, глубоко и правдиво отображающими процессы преобразования всей жизни.

Наш журнал стремился и стремится расширять и углублять каналы связей между советской литературой и другими литературами стран социалистического содружества. Уже в первом номере «Иностранной литературы», вышедшем в июле 1955 года, были опубликованы, в частности, повесть Анны Зегерс (ГДР), стихи Бранко Чопича (Югославия), статья Богдана Чешко (Польша), разборы новых произведений писателей Чехословакии, Вьетнама... Так зарождалась традиция, которую мы бережно храним и приумножаем,— традиция широкого и многогранного отражения литературной жизни стран

социализма на страницах нашего журнала. Здесь могут быть самые разные формы: и публикация новых произведений, и литературно-критические статьи, и публицистические материалы, и совместно проводимые дискуссии... Существенно, что работа эта никогда не носила у нас характера очередной «кампании», приуроченной к тому или иному общественному событию. Она велась и ведется планомерно. Мы можем с гордостью сказать, что и наш журнал немало сделал для всестороннего сближения социалистических культур. Как отмечается в публикуемом в этом номере журнала слове Георгия Маркова, «Иностранная литература» внимательно относилась к литературам социалистических стран, отражающим героические события новой действительности, устремления людей эпохи развитого социализма, славные страницы прошлого.

Сегодня уже недостаточно говорить об углубляющихся контактах между нашими литературами. Точнее другое понятие — органическое взаимодействие, сложившаяся общность. Разумеется, эта общность не только не приглушает, но, напротив, позволяет отчетливее ощутить звучание и неповторимость каждой национальной литературы, ее особый и незаменимый вклад в общую социалистическую сокровищницу. Целое не исключает, а предполагает индивидуальную расчлененность вещей внутри себя. Устанавливается более гибкий, более подвижный вид связи, ибо многообразие путей, которыми осуществляется социалистическое преобразование жизни, предполагает и многообразие форм его отражения, всегда национально окрашенных, напоминающих о специфике социального и духовного опыта каждого народа и о своеобычности его художественных традиций.

Мы отдаем себе отчет в том, что искусство слова при всей своей наглядности и очевидности отнюдь не так просто и в своих проявлениях — идейных и эстетических — вовсе не однозначно. Здесь всегда необходима особенная проницательность в отношении индивидуального своеобразия — языкового, образного, стилистического. Творческий процесс столь же сложен, сколь и загадочен. Все это тем более существенно, когда приходится иметь дело с многонациональными и разноязычными феноменами.

В практике журнала мы всегда стараемся в полной мере учитывать диалектику процесса крепнущего взаимодействия социалистических литератур, его многогранность и вместе с тем его ясно проступающую логику, последовательность и интенсивность. Произведения писателей братских стран представлены в каждом номере журнала, фактически в каждом его разделе. У нас установились прочные дружеские связи с союзами писателей, с издательствами и литературными журналами. Многие крупные художники слова стран социализма — наши постоянные авторы, и подписчики «Иностранной литературы» знают их творчество, пожалуй, в не меньшей мере, чем читатели в самих социалистических странах. И потому на читательских встречах, знакомясь с редакционной почтой, мы с радостью отмечаем, что выдающиеся произведения, созданные в братских странах, находят у нас заинтересованный отклик, волнуют умы и сердца миллионов советских людей.

Множество положительных откликов получила редакция после опубликования таких, например, книг, как «Загадка Прометея» венгра Лайоша Мештерхази, «Выходные данные» писателя из ГДР Германа Канта, «Барьер» болгарина Павла Вежинова, «Записки молодого варшавянина» поляка Ежи Стефана Ставинского, «Мастера» словака Винцента Шикулы, романы чеха Яна Козака,— упоминаю только произведения, увидевшие свет в последние годы.

Огромным уважением пользуются среди советских читателей имена крупнейших представителей социалистических литератур, постоянно нами публикуемых: Дюлы Ийеша (Венгрия), Ярослава Ивашкевича (Польша), То Хоая (Вьетнам), Эмилияна Станева (Болгария), Андрея Плавки (Чехословакия), Анны Зегерс (ГДР), Николаса Гильена (Куба) и многих других. Их творчество — золотой фонд социалистического искусства современности. Оно развенчивает создаваемый враждебной нам пропагандой миф о некоем единообразии и обезличенности, о мнимой бесконфликтности литературы социалистического реализма. Оно отмечено вниманием к важнейшим социальным, историческим, духовным, нравственным проблемам эпохи, к человеку нового мировоззрения и к масштабным процессам революционного изменения жизни. Оно демонстрирует поразительное разнообразие жанров, форм, стилей, являясь примером новаторства и завоевывая литературам социалистических стран высокий авторитет и неослабный интерес читателей повсюду на земле.

Когда выходили первые книжки нашего журнала, в известной мере преобладал несколько односторонний взгляд на зарубежную литературу. Внимание читателей, да и критиков, было сосредоточено преимущественно на литературах стран Западной Европы и США. В самом деле, это — богатые талантами литературы, опирающиеся на большие традиции, и в практике нашего журнала они всегда представлены широко и многообразно. Но «Иностранная литература» с самого начала мыслилась как издание, в поле зрения которого должна находиться литература всех народов Запада и Востока. И чтобы отвечать этому своему призванию, журналу необходимо было отказаться от некоторой европоцентристской узости.

Кому-то принадлежит афористическое выражение: умирает не тот, кто устал, а тот, кто остановился. Художественное творчество постоянно в движении, постоянно меняется, как меняется сама жизнь, оно всегда обновляется вместе с жизнью, вместе с временем, и подлинное искусство неизменно находит путь к читателю и зрителю. То же происходит и с характером художественного развития в наше время. Мир меняется, меняется и его литературная карта, на ней сегодня появилось немало новых столиц.

Доброжелательное и пытливое отношение к таким литературам стало еще одной традицией нашего журнала. Ее тоже можно проследить с первых же номеров «Иностранной литературы». Невольно напрашиваются добрые слова в адрес наших читателей — в своем большинстве они поддержали усилия редакции, стремившейся максимально расширить круг публикуемых писателей, руководствуясь, конечно, не географическими, а идейно-художественными критериями.

В самом деле, мыслимо ли представить себе большую современную литературу без такого своеобразного и новаторского явления, как латиноамериканский роман? Выдающиеся произведения Алехо Карпентьера, Мигеля Анхеля Астуриаса, Мигеля Отеро Сильвы, Жоржи Амаду, Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара, Марио Варгаса Льосы и других прозаиков Латинской Америки стали теперь широко известными в нашей стране. Они привлекли своей социальной и философской емкостью, неповторимостью художественного языка. Между тем почти все эти писатели были «открыты» для наших читателей «Иностранной литературой». И литературная панорама далекого континента, которую читатель находит на наших страницах, поистине приобрела широкоформатность: здесь не только сами произведения, но и аналитические разборы этих произведений, публицистика, интервью, материалы под рубрикой «Писатель и время». И сегодня печатаемые журналом произведения латиноамериканских писателей нередко становятся большой удачей номера, а то и всего журнального года. Сам этот факт говорит о том, насколько обогатились и расширились представления современных наших читателей о зарубежной литературе. Думается, деятельность журнала способствовала этому в немалой степени.

В равной мере это относится и к реакции читателей «Иностранной литературы» на помещаемые нами произведения писателей Африки и Азии. Отношение это никогда не бывает равнодушным. Достаточно сослаться для примера на читательскую почту, которая пришла после публикации таких книг, как произведения Чинуа Ачебе, Воле Шойинки, А. Квеи Армы, Р. К. Нарайана, Маника Баннерджи, Ат-Тайиба Салиха, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ и других. Многие писатели Азии и Африки впервые заговорили по-русски на страницах нашего журнала.

Заслуженной популярностью, например, пользуется у советского читателя творчество Ясунари Кавабата. Крупнейший национальный художник, удостоенный Нобелевской премии, он наиболее достоверно и правдиво отобразил бытие японцев, которое мало доступно иностранному наблюдателю. Именно из реальной жизни черпал Кавабата свои проблемы, характеры, конфликты. От Кавабата требовалось немалое мужество, чтобы противостоять всеобщему психозу милитаризма в стране, тяжелому угару национализма и сохранить собственное видение реальности сложного времени, в котором он жил. И потому читателя не покидает ощущение, что кистью Кавабата движут чувства искренние, мысли и побуждения заветные.

Так было. Иначе и не могло быть. Не только потому, что перед нами талантливые книги. Но и потому, что в них находит отражение историческое содержание нашей эпохи, пробудившей революционную энергию миллионных масс на всех континентах и отмеченной ростом национально-освободительных движений, борьбой против империализма и остатков колониализма. В этой борьбе крепнет новое самосознание, рождается новый человек. Подтвердилась гениальная прозорливость Ленина, предвидевшего громадную роль, которую суждено в наш век сыграть народам бывших колоний. Современные литературы Азии, Африки, Латинской Америки находятся на подъеме, предопределенном все более активной и последовательной борьбой народов этих континентов за свое национальное и социальное освобождение. И этим литературам на страницах «Иностранной литературы» предоставляются самые широкие права.

Год, когда празднуется тридцатипятилетие победы над фашизмом,— это и год особой ответственности: люди задумываются о будущем, о том, чтобы не повторялись трагические события грозного нашего века. Быть литературой утверждения мира на Земле — вот основное гуманистическое назначение литературы, ибо под пеплом минувшей войны еще бродят угарные огни, раздуваемые уже теперь термоядерные пожары.

При всех различиях — и мировоззренческих, и творческих — реалистическая литература современности хранит верность принципам гуманизма. И создаваемые ею ценности, когда они неподдельны, непременно бывают представлены в публикациях нашего журнала. Приходилось порой слышать, как нас на Западе укоряли за «эстетический консерватизм». На Западе пытаются внушить читателю ложное представление, будто истинные художественные достижения не связаны с содержанием, социальной направленностью творчества художника. Упреки в наш адрес можно объяснить либо тенденциозностью, либо непониманием запросов советских читателей, духовных и художественных их потребностей. Журнал печатает произведения самых различных писателей стран Запада, в том числе и таких, которые в общественной жизни, в своем миропонимании, как уже отмечалось выше, далеки от наших взглядов. Повторяю, едва ли нужно доказывать, что духовная возвышенность, увы, явление не очень частое в современных произведениях западных писателей. В книгах серьезный читатель ищет не забвение, но истину и духовное постижение смысла жизни. Мы можем, часто обязаны спорить с ними по различным проблемам, выдвигаемым сегодняшней обстановкой в мире, по вопросам общефилософского или эстетического характера. В то же время мы охотно предоставляем страницы тем произведениям, в которых выражена правда о нашей эпохе и ее конфликтах, готовы поддержать художников, которые честно и глубоко выражают тревоги и заботы современного мира.

Здесь можно было бы привести десятки имен и названий, вспомнить о тех «открытиях», которые были сделаны «Иностранной литературой», впервые представившей советским читателям многих крупнейших мастеров западной литературы XX века: Уильяма Фолкнера, Альбера Камю, Франца Кафку, Сэмюела Беккета, Томаса Вулфа, Ивлина Во, Роберта Музиля, Элио Витторини, как и видных современных писателей капиталистических стран, идет ли речь о Максе Фрише, Эрве Базене или Джероме, Сэлинджере, об Уильяме Голдинге или Робере Мерле, о Джоне Апдайке или Зигфриде Ленце, Петере Вайсе.

Самое существенное, однако, не простое перечисление, а объективность, принципиальность подхода нашего журнала к литературам капиталистического мира как к явлению целостному. Да, мы знакомим читателей с творчеством художников разных стран, разных творческих пристрастий, разных писательских почерков, разных направлений (в том числе — и с явлениями экспериментальной, нереалистической литературы, если такие явления занимают достаточно заметное место в сегодняшней панораме эстетического развития). При этом для нас неизменно остается главным критерий гуманистической сущности произведений.

Разумеется, мы поддерживаем тех западных писателей, которые по своим убеждениям близки нашему миропониманию. На родине их творчество часто подвергается умолчанию, недооценивается. Но книги эти имеют принципиальное значение, отражая глубинные социальные процессы и противоречия капиталистического общества, увиденные глазами прогрессивных художников, таких, как Катарина Сусанна Причард, Джеймс Олдридж, Макс фон дер Грюн, Андре Стиль, Роже Шатонё, Альдо Де Яко или Анхель Мария де Лера. Творчество этих писателей вызывало и неизменно продолжает вызывать не только интерес, но и благодарность советских читателей.

Журнал постоянно соприкасается с проявлениями идеологической борьбы, захватывающей и собственно художественное творчество, и шире — область социально-культурных реалий нашего времени. Руководствуемся мы, разумеется, ленинскими принципами, научной методологией, партийными решениями по вопросам идеологии. Ориентиром для нас служит высказывание Л. И. Брежнева, содержащееся в Отчетном докладе на XXV съезде КПСС: «Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка создают благоприятные возможности для широкого распространения идей социализма. Но, с другой стороны, идейное противоборство двух систем становится более активным, империалистическая пропаганда — более изощренной». Адвокатам империализма безразлично, какой использовать повод для нападок на социализм. И если повода нет, его измышляют. Используется для этого буквально все: от авантюристических действий против Ирана и Афганистана до бойкота московской Олимпиады. Свой долг редакция журнала «Иностранная литература» видит в том, чтобы давать своевременный отпор любым идеологическим диверсиям и инсинуациям. Бескомпромиссность в отношении всяческих вылазок наших идейных противников — требование дня, которому подчинена вся деятельность нашего журнала в целом (он зовется не только литературно-художественным, но и общественно-политическим) и таких его разделов и рубрик в частности, как «Публицистика», «Из месяца в месяц», «Культура и современность», чье специальное назначение — «держать руку» читателя на пульсе главных событий и процессов в жизни современного мира. Наша цель при этом — не упрощая реальной многосложности явлений, происходящих в наблюдаемой нами в первую очередь сфере духовного бытия — дать возможность читателю следить за необратимым поступательным движением человечества навстречу идеям социализма, находя наиболее яркие и убедительные формы и способы выражения, привлекая свидетельства «из первых рук», взволнованное публицистическое слово и мысль писателя — зарубежного и советского. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» вносит в нашу деятельность целый ряд новых насущных задач.

В последние годы, насыщенные событиями большой исторической важности, наш журнал прилагал энергичные усилия к расширению связей и творческих встреч между советскими и зарубежными литераторами. «Иностранная литература» поддерживает постоянные деловые отношения со многими литературными журналами стран социалистического содружества, принимает участие в культурных обменах, конференциях, симпозиумах, семинарах. Так, «Иностранной литературе» вместе с американским журналом «Сатердей ревью» принадлежит инициатива проведения ежегодных встреч советских и американских писателей за «круглым столом». К настоящему времени состоялось три таких встречи — в Москве (1977), Нью-Йорке (1978), Батуми (1979). Готовится проведение четвертой встречи за «круглым столом» в Лос-Анджелесе в конце 1980 или начале 1981 года. Встречи проходят в деловой обстановке, на них обсуждаются творческие проблемы современного литературного процесса. Они получили признание литературной общественности как актуальные и продуктивные диалоги.

Юбилейный год для журнала ознаменовался присуждением международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» трем выдающимся писателям и общественным деятелям — Мигелю Отеро Сильве, Эрве Базену и Абдуррахману аль-Хамиси. «Иностранная литература» не может не испытывать большого удовлетворения по этому поводу, особенно в связи с тем, что произведения этих писателей публиковались на страницах «Иностранной литературы» и приобрели широкую популярность в нашей стране.

Словом, у журнала обширные планы и высокие цели, и мы будем стремиться осуществлять их с еще большей энергией.

◆

ЧУДО ВСТРЕЧИ

Несколько мнений советских писателей

Мы обратились к ряду советских писателей с просьбой поделиться размышлениями по поводу той или иной книги, творчества того или иного писателя, знакомству с которыми помогла им «Иностранная литература».

Георгий Марков

Журналу «Иностранная литература» — двадцать пять лет. Он заслуживает, по-моему, благодарности прежде всего за свое внимательное отношение к литературам социалистических стран, отражающим героические события новой действительности, мечты и устремления людей эпохи развитого социализма, славные страницы прошлого. Вышло уже триста номеров журнала — и достойное место в них заняли произведения талантливых прозаиков и поэтов, творчество которых помогло нашему читателю представить развернутую панораму братских литератур и их ведущие тенденции. Среди этих писателей — Эмилиян Станев, Камен Калчев, Георгий Джагаров, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Богомил Райнов (Болгария); Дюла Ийеш, Лайош Мештерхази, Иштван Эркень, Иштван Шимон, Ференц Юхас, Антал Гидаш (Венгрия); Анна Зегерс, Эрвин Штриттматтер, Герман Кант, Гюнтер де Бройн, Франц Фюман (ГДР); Николас Гильен, Алехо Карпентьер (Куба); Нгуен Динь Тхи, Нгуен Конг Хоан, Нгуен Нгок, Фан Ты (ДРВ); Лодонгийн Тудэв, Сэнгийн Эрдэнэ (Монголия); Захария Станку, Титус Попович, Думитру Раду Попеску (Румыния); Андрей Плавка, Ян Козак, Владимир Минач, Зденек Плугарж, Вилем Завада (ЧССР); Десанка Максимович, Эрих Кош, Цирил Космач (Югославия).

Вспомним лишь некоторые произведения, опубликованные в последние два-три года и вызвавшие широкий читательский отклик. Это «В ладье Харона» Дюлы Ийеша, «Гнездо аиста» Яна Козака, «Скорбно Анастасия шла...» Думитру Раду Попеску, «Черные лебеди» Богомила Райнова, «Мастера» Винцента Шикулы...

Конечно, не только признанные мастера художественного слова, но и молодые писатели — каждый в меру своего таланта и зрелости — помогают нам воссоздать целостную картину мира социализма, образ человека, утверждающего принципы коммунистической морали.

Хочу верить, что журнал с такой же бережливостью и любовью, с какой он следит за творчеством тех, кто составляет ядро братских литератур, будет относиться к «новичкам», поощрять их своими публикациями и доброжелательным, принципиальным разбором их первых книг.

■

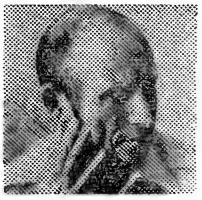
Юрий Бондарев

Подлинное искусство всегда национально, всегда имеет колыбель под кровом родного дома.

Но в то же время это богатство принадлежит всему миру, ибо ценности духа одной нации неподвластны географическим границам.

Журнал «Иностранная литература» является проводником мирового прогрессивного искусства, и я благодарен ему за то, что на его страницах познакомился с Сэлинджером, Апдайком, Хеллером, Ирвином Шоу, Вежиновым...

Миколас Слуцкис



Когда к нам в Вильнюс пришли первые книжки журнала, я был еще очень молодым писателем. Такими были и мои друзья по литературному отряду, например, ныне знаменитый романист, лауреат Ленинской премии Йонас Авижюс. Трудно даже представить себе, каким большим подспорьем стало для моего поколения — теперь уже среднего, а возможно, и приближающегося к старшему! — знакомство с современной мировой литературой. Ведь нам предстояло сказать свое слово, многое перенять и многое отбросить — властно менялись времена и требовали своего выражения, образа, новых элементов формы. Корни каждого писателя — в земле, его породившей, в недрах национальной культуры; пишешь ради родных, дорогих тебе людей, среди которых живешь, радуясь и печалясь, но дышать талант должен озоном мирового литературного океана. А океан этот — неспокойный, в нем все время что-то бурлит, вздымаются и обнажаются глубинные толщи, то одни, то другие. Трудно уследить за перекатывающимися волнами, но — надо. Хотя бы для того, чтобы не изобретать заново велосипед.

Однако смысл этой необходимости литературной любознательностью не исчерпывается. Как никто и ничто объединяет литература народы, чаяния и помыслы людей. Читаешь филигранную японскую вещь, потом яркокрасочную африканскую повесть, написанную в оригинале на суахили, потом, скажем, роман представительницы новейших западных художественных тенденций, американки Джойс Кэрол Оутс (кстати, ее бы надо публиковать чаще и весомее — это прекрасная писательница!) и радостно удивляешься внутреннему их сходству по единственной графе, ибо все остальное в них отличается друг от друга и от твоего опыта, — по графе вечной, неувядающей человечности. Да, конечно, ты все это предугадывал с детства, особенно в нашей стране, учил, что все люди равны, невзирая на цвет кожи и образ жизни, что боль ранит одинаково сидящего верхом на верблюде или откинувшегося на мягком сиденье современного автомобиля, что всем предназначена юность, старость, смерть и зыбкая память в поколениях, но только живая литература дает тебе все испытать на ощупь, как слепому, полагающемуся на чуткие кончики своих пальцев.

Это чувство, чувство всеобщности человечества, на которое издревле замахивались мракобесы и ложные пророки всякой исключительности, сейчас цинично предлагающие людям разные варианты смерти — то ли смерть от «обыкновенной» атомной бомбы, то ли от «чистой»! — очень важно для читателя. Но еще более важно это для читателя, который сам пишет книги, то есть для писателя. Это чувство питает гуманистическую струю литературы, напоминает о совести и долге не только перед родными тебе людьми, но и перед неведомыми, далекими, чье существование однажды открывается тебе из исповеди неизвестного писателя, вынужденного порою писать не на родном языке, а на языке, оставленном колонизаторами. Честно скажу, это чувство в нас помогли развить и укрепить сотни, а может, уже и тысячи разноязычных произведений, появившихся в 300 книжках «Иностранной литературы».

У всех у нас разные вкусы, ведь книги пишутся и печатаются не ради ожидаемого поддакивания, а ради серьезного, порою нелицеприятного разговора. Возможно, были за двадцать пять лет и некоторые поверхностные, случайные публикации, но в основном журнал правдиво и многогранно отразил мировой литературный процесс. Полистайте пожелтевшие книжки и услышите рокот океана, его бури и штили.

Вот накат волны, который трудно было себе представить, скажем, в предвоенной Европе. Заявляет о себе разноязыкая социалистическая литература — это в шестидесятых, семидесятых годах. Трудно рождается новая проблематика, эстетика, не все удачно в новых книгах, есть фальстарты и всякие перегибы заданности, но начинают подниматься во весь рост на основе национального и интернационального опыта целые литературы, например, замечательная польская. Или венгерская, или болгарская, или литература ГДР. «Иностранная литература» многое сделала для ознакомления советских читателей и писателей с этим небывалым явлением мирового художественного процесса.

Дело здесь не так просто, как кажется с первого взгляда,— перевели, напечатали, и пошло. Надо признаться, что и в нас, где-то в читательском подсознании, таились исконные позывы в первую очередь хвататься за произведения больших класси-

ческих европейских литератур. Принадлежность к английской или французской литературе давала авторам и книгам психологическое преимущество. Сейчас нашего читателя не заманишь лишь клише «перевод с английского» или «перевод с французского» (или с немецкого, с итальянского!), также его не отпугнешь клише «перевод с румынского» (или с болгарского, или с сербскохорватского). Имею здесь в виду опытных читателей, которых у нас миллионы и миллионы.

Сейчас не без советского влияния Западная Европа начинает больше интересоваться культурой близлежащих, но мало по-настоящему ей известных европейских народов. Мне говорили недавно в ФРГ, что там сейчас начинается мода на все польское. Не играя в ложную скромность, скажем прямо, что знание польской культуры в нашей стране наращивалось без особой моды громадными слоями.

Я говорил в первую очередь о новом явлении европейской и мировой культуры — о все набирающих силу восточноевропейских литературах. Понятно, нас особенно интересуют близкие соседи. Много общих традиций, много общих устремлений и проблем, призывающих к постоянному сотрудничеству. Но в равной степени журнал открывал свои двери для традиционных наших партнеров — для больших литератур Запада.

Особенно широко, по-моему, была представлена художественными текстами, критическими материалами, информацией современная американская литература. И это невзирая на то, что до сих пор движение в основном шло в одном направлении: от них — к нам! Становление величия Фолкнера, выдвижение на первый план целой плеяды блестящих прозаиков разных направлений не прошло мимо нашего ока. Мы одновременно с американцами переживали взлет и увядание таланта Хемингуэя, который оставил искрящийся стилистический след во всей европейской беллетристике, включая и нашу. Притом тот или иной писатель всегда приходил не один, а как бы со своим окружением, с подлеском. Не счесть разговоров и дискуссий об американских писателях. Например, нигде в мире не говорили так много о Чивере, впрочем, действительно первоклассном писателе. Таким же образом дошли до наших глаз и сознания другие современные большие литераторы Запада. К слову, надо ли доказывать после этого, что мы тоже Европа?

Я думаю сегодня о судьбе некоторых знаменитых писателей Европы и Америки. Нельзя не видеть один любопытный факт — переводы их произведений на русский язык и десятки языков народов СССР немало добавили к их славе на родине. Подобно тому как Ван Клиберн стал знаменитым в США после успеха в Москве, стали громче звенеть в США имена некоторых американских писателей после выхода у нас — на страницах «Иностранной литературы» и в последующих книжных изданиях. Даже Артур Миллер, с которым мы круто спорили в 1978 году на второй советско-американской писательской встрече, должен был это признать. Мы щедро одаривали славой скорее чужих, чем собственных авторов. Ну что ж, это неплохая традиция, отвечающая сегодня духу Хельсинки.

Что касается связей и контактов с западными литературами, то я хочу сказать следующее. На международных дискуссиях советские писатели не чувствуют себя изолированно или неудобно. Даже не владея тем или иным языком, лишь опираясь на прочитанное в «Иностранной литературе», на издания «Прогресса» и «Художественной литературы», они могут ориентироваться в мировом литературном процессе. Основные произведения и тенденции культурного процесса для них не тайна за семью печатями. В ответ на вопрос, кого из зарубежных писателей той или иной литературы они знают, они назовут, конечно, не одну фамилию, в отличие от многих западных писателей. Дух Хельсинки обязывает и к этому — к лучшему знанию друг друга. Иногда прямо диву даешься, когда слышишь из уст даже какого-нибудь весьма уважаемого иностранного писателя, что, мол, советский сегодняшний роман — это... любовь тракториста к свинарке в лучах заходящего солнца. Правда, удивительно? Но мы не в кровной обиде на это, мы говорим: «Вот наши книги, наш опыт переводов, изучайте, сравнивайте, если что понравится, перенимайте». А перенять в этой области есть что.

В последнее время, например, в мире распространился культ латиноамериканской литературы. В Мюнхене западногерманские писатели рассказывали мне, что сейчас их издатели хватаются за любую книжку, на обложке которой стоит испанское, чуть экзотическое имя. Популярность этой интереснейшей литературы явно превратилась в моду. Берется для перевода не только хорошее, но и средненькое, а то и плохое. Насколько могу судить по личному опыту, как давний читатель «Иностранной литературы», латиноамериканцы с испанскими и португальскими именами всегда были у нас на виду, всегда в почете. Тут мы целые десятилетия явно шли впереди всех, и нам вовсе не следует сейчас перенимать моду на латиноамериканское. Просто надо продолжать печатать самое лучшее из этого богатого литературного континента, но только — самое лучшее. Требовательная привязанность плодотворнее моды, похожей на мимолетную любовь в электричке.

Политический климат планеты не всегда способствует общению муз. Но общение продолжается, и оно сейчас нужнее, чем когда бы то ни было. Я с восхищением слушал выступление старейшего советского мастера Валентина Катаева в Нью-Йорке, когда он говорил об общности культурных корней европейских народов, о греко-римской основе европейской и американской цивилизаций. С восхищением я смотрел недавно на вдохновенное лицо западногерманского писателя Фридриха Хитцера, когда он в Мюнхене показывал нам ленинские места. Мне кажется, что его удивительная книга о Ленине в Мюнхене достойна европейской славы. Да, мы — европейцы. Но мы ощущаем себя не только европейцами. Мы чувствуем всеобщность рода человеческого, хрупкость человека, как такового.

Юрий Трифонов

Растопили айсберг в необозримом море — и уровень моря повысился. Приплыла в наши воды четверть века назад «Иностранка» — и уровень книг и уровень читательского моря повысились. В каких комплиментах нуждается журнал, который с первых же месяцев своего появления стал бестселлером? Мы прочитали на его страницах немало интереснейших сочинений. Имена авторов известны миру. Поэтому не хочу произносить тостов во славу отдельных книг, хочу — два слова об иностранной литературе вообще. В частности: об американской. Что она значила в моей читательской жизни. Это не так уж вплотную связано с журналом, но все же связь есть.

Почему-то так получилось — не знаю почему, это предмет особого разбора,— что не было другой иноязычной литературы, которая бы в течение почти всей жизни так усердно читалась и так мощно волновала меня, как американская. Началось с детства, с ненасытного пожирания Купера и Майн Рида, Густава Эмара и Чарлза Робертса, Сетона-Томпсона и — кого там еще? — и Джека Лондона, конечно. Тогда же, в детстве, кратко и бурно пролихорадило Эдгаром По. Первые опыты сочинительства — лет в десять — были навеяны «страшными» рассказами По. В юношеском возрасте ненадолго воспламенилась любовь к Драйзеру. Помню, роман «Сестра Керри» (дешевая мягкая обложка кофейного цвета, шершавая бумага) подействовал на меня как наркотик. Поразило: обыкновенная жизнь, состоящая из множества незначительных житейских передряг, может стать предметом книги, от которой невозможно оторваться.

Но все пристрастия и увлечения померкли перед одним, вспыхнувшим внезапно после войны, когда я учился в Литературном институте. Да, я говорю о Хемингуэе или — Хеме, как мы называли его запросто. Любовь к нему была безнадежной, ибо не сулила ни выгод, ни плодов. Директор института Ф. В. Гладков на семинарах восклицал грозно: «Я вам покажу, как подражать этому п р е с л о в у т о м у Хемингуэю!»

Хемингуэй изумил не содержанием, а методом. Вроде бы ни о чем, а в то же время о многом. Вроде без конца и без начала, но конец и начало не нужны. Вроде нет ни портретов, ни описаний душевного состояния, ни характеристик, но — люди необыкновенно живые... Какая скудость диалогов, какая обрывочность, какие чепуховые темы, какая бескрасочность ремарок: «сказал», «сказал», «сказал», «сказал» — и какая правда в разговорах людей. Я долго ходил под его чарами. Потом это стало понемногу рассеиваться. Но, по-видимому, не рассеялось до конца и осталось в моих костях, в составе моей крови — литературной, разумеется — довольно значительным элементом. Впрочем, настало время, когда я стремился отталкиваться от него, но это значило, что он продолжал существовать где-то вблизи. В последние годы я слышал много пренебрежительных и иронических замечаний о Хемингуэе у нас и на Западе, видел насмешливые улыбки снобов: «Неужели вам нравится Хемингуэй?» Я должен был конфузиться и чувствовать себя старомодным и недостаточно интеллектуальным господином, польстившимся на ширпотреб. Но я не конфузился. Да, Хемингуэй вышел из владений снобов и в каком-то смысле передвинулся в область ширпотреба. Однако это удел всех классиков, от Сервантеса до Толстого. Отсвет ширпотреба — та мзда, которая взимается за всемирную популярность.

Хемингуэй один из немногих писателей, сумевших создать волну в море, которое, кажется, уже ничем не раскачать: в море литературы. На этой волне поднялся и Джек Керуак, рассказы которого я прочитал впервые в «Иностранной литературе» лет двадцать назад. Керуак раздвинул пространства, отвоеванные Хемингуэем: его рассказы еще более как бы «ни о чем», его фраза еще более суха и небрежна, содержание еще глубже запрятано в недра междустрочий, а суть — «победитель не получает ничего» — еще более печальна. Американская литература вообще печальна. Но торопливый читатель — или тот, кто видит в книге то, что желает увидеть,— может прочитать в ней все что угодно. Истинная литература всегда печальна. Ничего более печального, чем роман «Война и мир», я не читал в жизни. Пронзительной печалью овеяна книга Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». «Великий Гэтсби» — одна из важнейших книг времени. Знакомством с этим автором мы тоже обязаны журналу.

Небольшое отступление: на тему о странностях читательского восприятия. У меня есть добрый знакомый в Америке, пожилой человек, бывший фермер, теперь успешный предприниматель; человек науки, производства и бизнеса, мистер Мэрфи. Он прочел мою книгу, долго тактично отмалчивался, потом признался: «Вы пишете неплохо, Юрий, но как-то грустно и тяжело. Герои у вас слабые, неудачливые, ничего не могут добиться. Неактивные какие-то. А мы, американцы, любим литературу жизнерадостную, бодрую! Люди должны добиваться победы! Каждый человек — кузнец своего счастья!» Я удивился: «А как же ваши великие книги? Они такие грустные».— «Например?» — «Ну, Гекльберри Финн, скажем». Мистер Мэрфи захохотал: «Да что вы! Это же самая веселая книга на свете. Я всегда хохочу, когда читаю ее». Но, может, мы правы оба. Ведь когда читаешь Гоголя — смеешься, а прочитал — тоска.

Если еще о сильном впечатлении, то назову, чтоб не копаться долго в памяти, две книги: «Шум и ярость» Фолкнера и «Ферма» Апдайка. Апдайк в этой книге глубоко психологичен, и, читая, мы поражаемся тому, как он хорошо знает то, что мы так хорошо знаем. Фолкнер в романе «Шум и ярость» удивителен другим: он проникает в области бытия и внутреннего мира человека, нам неведомые.

Давид Кугультинов

За двадцать пять лет своей работы журнал «Иностранная литература» наполнился особым смыслом и содержанием, и каждый из нас, услышав слово «Иностранка», тотчас представляет себе уже сложившийся в нашем сознании образ во всей его полноте и неповторимости.

Мы живем в такое время, когда уже невозможно говорить о духовной сфере любого народа локально, невозможно говорить о ней как о чем-то очерченном границами, чертой, пограничными вышками, ибо наш век действительно является веком, когда, быть может впервые за всю историю, человечество почувствовало себя единым существом, чей дом — наша маленькая голубая планета. Мне кажется, это ощущение пришло с выходом человека в космос, с подготовкой человека к выходу в космос, в связи с проникновением в тайны микромира, с расщеплением атома. И мы, наконец, поняли, что, как разумные существа, мы знаем пока очень мало. Очень мало не только о мире, нас окружающем, но и о себе. Чем смелее наши открытия и свершения, тем яснее мы видим малость наших знаний о себе и о мире, ощущаем потребность расширения этих знаний. Мы понимаем, что каждая крупица познания достается усилием интеллекта не одного человека, не одного народа, но жителей всей Земли, всего человечества. Я не имею в виду в данном случае только открытия в области физики, генетики, математики, медицины и других точных наук, я это распространяю и на гуманитарные науки, на области, в которых работаем и мы, пишущие. Природа наделяет человека каким-нибудь особым даром, но даром полиглота обладают, к сожалению, немногие. Во всяком случае, среди моих знакомых — всего два-три полиглота. И в связи с этим значение «Иностранной литературы» для нас неоценимо, ибо насущность быть в курсе тех процессов, что происходят в литературах и в жизни других народов, так же велика, как и насущность овладения теоретическими науками.

А если бы этот журнал родился год-два тому назад?! Насколько бы мы были обедненными духовно, сколько бы я лично потерял радости, наслаждения и — я не боюсь этого слова — даже счастья...

У меня дома, на рабочем столе стоит маленький сувенир, он, как мне сказали, из лунного камня. И на нем — золотой ободок, означающий символ вечного движения времени, жизни. Это подарок моего друга, одного из крупнейших поэтов мира, Фаиза Ахмада Фаиза. Я узнал его благодаря этому журналу. Что значит «благодаря этому журналу»? Не будем греха таить: часто нам приходится встречаться с обладателями громких имен; соблюдая законы гостеприимства, мы адресуем им порой не менее громкие слова, но настоящее взаимопонимание начинается с того момента, когда ты в другом найдешь черты, которые очень хотел бы иметь сам. Когда он чем-то дополняет тебя, «завершает тебя», что ли. Если бы в тебе было то, что притягивает тебя в другом, ты был бы полнее и ближе к тому человеку, которым бы ты хотел быть. Поиск и открытие таких черт начинается в произведениях писателя, если речь идет о писателе.

Стихи Фаиза Ахмада Фаиза я впервые прочитал в журнале «Иностранная литература». А до этого я давно его знал как борца за мир, как писателя, который вложил много сил в борьбу индийского народа за свое освобождение от английского владычества. Затем, когда было создано государство Пакистан, Фаиз Ахмад Фаиз находился в числе тех представителей своего народа, которые понимали, что главное — в дружбе с другими народами, что нельзя поддаваться внушению и науськиваниям тех, кто испокон веков держал за правило: разделяя, властвовать. И стихи, созданные Фаизом Ахмадом Фаизом, созданные его редким, могучим даром, были глашатаями добра, правды, свободы, и поистине они звучали как колокол на башне вечевой. Я так подробно говорю о Фаизе Ахмаде Фаизе просто для того, чтобы подчеркнуть важность журнала «Иностранная литература». У нас, у калмыков, есть пословица — лучше узнать имя одного человека, чем видеть лица ста; Фаиз Ахмад Фаиз часто бывает в нашей стране, он ветеран движения писателей стран Азии и Африки, а сейчас — главный редактор журнала «Лотос», но произведения его — а для меня это, может быть, самое ценное — становятся достоянием всех нас благодаря журналу.

Я хотел бы сказать о том, что «Иностранная литература» с первого своего номера продолжает великую традицию русской культуры с ее стремлением познать и вобрать в себя все мудрое, все новое, что происходит в мире, достичь той духовной высоты, откуда яснее видна перспектива грядущего.

Я могу сказать, что, бывая за рубежом, будь то в Лиссабоне или в Токио, я чувствую себя в кругу писателей достаточно свободно и смело только потому, что регулярно читаю журнал. Заходила ли речь о произведениях Габриэля Маркеса или Кэндзабуро Оэ, о стихах Ярослава Ивашкевича или Муина Бсису, я довольно свободно говорил об их произведениях, не тех далеких, которые напечатаны у них на родине, но о тех, которые стали благодаря «Иностранке» фактором советской культуры.

К сожалению, я владею лишь русским и калмыцким языками. Но, к счастью моему, есть журнал «Иностранная литература». Я хотел бы сказать слова самой сердечной благодарности тем, кто ежемесячно с такой любовью и талантом создает этот один из наших интереснейших журналов, журнал, который, смею утверждать, дорог всем моим коллегам, как и мне. Это я знаю точно.

■

Савва Дангулов

Есть некое чудо во встрече с писателем, книга которого пришлась тебе по душе. Ты ждешь этой встречи и чуть-чуть боишься ее: да знаешь ли ты писателя так, как это кажется тебе? Ошибка тут была бы очень обидной. И все-таки встреча сообщила тебе такое, что ты не ожидал. Что именно? Необычно было лицо Астуриаса. Ну, разумеется, я знал, что передо мной эрудит и философ, знаток латиноамериканской старины, друг Ромена Роллана и Томаса Манна, нет, не просто дипломат, но дипломат-ученый. Все это должно было отразить лицо писателя, но было в нем и иное, что сообщило облику Астуриаса характерность и больше чем что-либо иное говорило об его корнях. Наверно, это свойственно только лицу индейца: в складках кожи, заметно обветренной, в глазах, которые чуть-чуть застило краснотой (так бывает, когда человек долго идет против ветра), в сизоватых губах, чуть потрескавшихся, сквозило раздумие человека, который все видит и все понимает...

Ничто в такой степени не может объяснить всех тайн лица человека, кроме, пожалуй, строки, написанной им. «Последний солнечный луч огненной горчицей кропил бухту Аматике» — это Астуриас. «Лиловые, как кожура банана, губы...» — Астуриас. «Голубь, как небесно-синяя глициния — цветок с крыльями» — и это Астуриас.

Неруда сказал об Астуриасе, что он воспевает великие темы. Трудно сказать точнее. Астуриас вернул литературу к тому важному, что она в состоянии сделать для человека. Иначе говоря, к ее подлинному призванию — борьбе за равенство, счастье жить и радоваться солнцу, жизни, бороться за свободу.

Астуриас говорил: «...Благодаря писателю народ перестает быть безъязыким... Для меня писать означает говорить за тех, кто не умеет писать... Мы, писатели, являемся отчасти... этим голосом народа, который затерялся бы в молчании, если бы не наши книги».

Когда я прочел «Его Зеленое Святейшество» в переводе Маргариты Былинкиной, дух захватило. Не просто проникнуть в своеобычие романа: откуда оно, как оно далось писателю, где поместилось в книге, в языке, характерах, образной системе?

«...Лишь только ночь стала чернить гневно бурливший лак Карибского моря, время замерло, ожидая, когда пройдет нечто длящееся одно мгновение и принадлежащее не царству времени, а вечности; время остановилось, и никто не поверил своим глазам, увидев, как заалела заря. Утренний свет разлился сразу, внезапно, каким-то чудом, едва пароходик отдался плещущему покою бухты, оставив позади, за мысом Можабике, канонаду волн и горы пены, в которой суда терялись, как в хвосте кометы...»

Как это все колоритно, зримо, четко, по линиям и краскам подобно фреске, в искусстве которой так сильны латиноамериканцы. И вот что характерно: все работает на своеобычие романа, все, что способен объять своим пытливым оком художник, озирая неоглядную картину жизни. Но только ли на своеобычие?

«Юк, шорох зеленой земли, которой я натру тебе лоб, темя и затылок, даст тебе могущество и надежду: ты взлетишь выше кетсаля и опустишься ниже изумруда; у тебя будет яшмовое зеркало и безграничная власть над всем, что растет и цветет, «Человеком с зеленой головой» назову я тебя. Юк, шорох желтой земли, которой я натру тебе сердце и грудь, окрасит тебя в золотистый цвет маисового початка, чтобы ты был всегда человечен и добр»,— заклинает у Астуриаса колдун. Силы, к которым взывает колдун, потревожены Астуриасом не без умысла. Его роману нужны краски, которые без хваткой десницы колдуна, пожалуй, и не добудешь. Но дело, наверно, не только в красках. Вещун призван художником, чтобы утвердить философию романа: все коренное, первородное, лежащее у истоков человека, вопиет против насилия. Пафос этого единоборства обращает к добру даже колдуна: недаром он взывает к человечности и надежде.

Роман Астуриаса жизнелюбив, но это гневное жизнелюбие — роман потому так силен, что он сражается. Подлинный художник, классически сочетающий в себе философское постижение жизни и способность к образному мышлению, Астуриас понимает, что великое призвание литературы в ее сатирическом пафосе, в непримиримости к порокам жизни. Художник тем более добр, чем он непримиримее ко злу. Образ «гринго», алчного североамериканского босса, которого восприняла наша память еще по мексиканской книге Джона Рида, возвращен нам романом Астуриаса. Как назвать все это? Исповедью латиноамериканской свободы, ее непреклонной совести, исповедью, а может быть и клятвой.

«Семья мулатов со всеми своими детьми цеплялась за клочок земли, засаженной бананами. Тщетно. Людей вырвали, избили, раскидали. Они цеплялись за ранчо. ...Ранчо вспыхнуло вместе с тряпками, утварью и святыми. Они хватались за пепел... Дюжина одержимых наймитов по знаку светловолосого надсмотрщика бичами отогнала их прочь. Старые мулатки — горло сдавлено петлею слез — извивались точно от щекотки, крича, воя, пытаясь защититься корявыми, как ветки смоковницы, руками, ранеными, разбитыми, кровоточащими, пытаясь прикрыться от града ударов. А мулаты, старики с пегою щетиной на круглых черепах, уходили, шатаясь, пьяные от горя, изгнанные, поруганные, обездоленные, в окружении многочисленного потомства, детей, внуков, которые, плача от страха и дыма пожарищ, переводили на свой язык свист хлыста над спинами родных и лепетали невнятно: «Чос, чос, мойóн, кон... Чос, чос, мойóн, кон!...»

«Нас, нас, нас же бьют... Руки чужеземцев бьют!» А метисы сопротивлялись. Сладка родимая земля. Нет ей цены. Вся остальная — горькая...»

Астуриас во многом способствовал нашему интересу к латиноамериканскому роману — в нашем представлении он предтеча явления, с которым мы связываем приход в мир современных литератур таких мастеров, как Фуэнтес, Карпентьер, Гарсиа Маркес. В пору, когда литературы, даже некогда великие, иссушила жестокая хворь мелкотемья, был необыкновенно плодотворен пример Астуриаса и всей школы латиноамериканского романа. Но латиноамериканский роман хранит и иные достоинства, которым есть смысл воздать должное. При всех обстоятельствах роман сберегает основу, которую сообщил литературе этого жанра критический реализм XIX века. Имеет немалое значение и близость латиноамериканского романа к фольклорному началу: своеобразие, которым этот роман обладает, как и ощущение новизны в характерах, языке, во всем образном строе произведения, в какой-то мере и от этого. Мы имеем дело с крупным художественным явлением нашего времени, которое тем более значительно, что знаменует собой победу реалистического начала. И тут мне захотелось сказать о переводчике. Смею думать, что Маргарита Былинкина перевела знаменитого гватемальца с тем пониманием своеобразия романа и с той бережливостью к слову, какие здесь единственно возможны. Так или иначе, а русский Астуриас достаточно убедителен, если говорить о высоких художественных достоинствах романа.

Когда предметом перевода становится произведение, обладающее заметным языковым своеобразием, в высшей степени отражен успех переводчика. Меня порадовал роман словацкого писателя Винцента Шикулы «Мастера», напечатанный «Иностранной литературой» в переводе Нины Шульгиной.

Это произведение истинно современное, отражающее, смею думать, поиск словацкой литературы сегодня — в сфере композиции большой прозы, характеров, диалога, строя повествовательного текста, языка. Именно о языковых достоинствах как важной черте произведения хочется говорить в связи с романом Винцента Шикулы. В прозе Шикулы свой ритм, в речи его героев, нередко афористичной, всегда существует своя добрая интонация, своя лукавинка, свой подтекст. Лаконичности слова сопутствует богатство мысли — философская проза.

Художник ищущий, более всего опасающийся походить на других, Шикула ставит в романе большие проблемы. Его повествовательный текст незримо сомкнут с диалогом героев, как бы продолжая этот диалог и его предваряя. Это сообщает повествовательному тексту особый колорит, делая язык романа органичным, единым.

Хорошо зная словацкое село, автор с явной симпатией и страстью живописует его будни. Писатель ищет возможности показать крестьянина в труде, не пренебрегая самым детальным описанием процесса. Как ни подробны эти описания, они никогда не скучны. Особенно хороши сцены, когда сельские строители ладят стропила, кладут камень, скрепляют его цементом. Писатель радуется их способности понимать красивое, их умению мастерить.

«И закипела работа на славу. Вся деревня на ногах...— Посторонись, ребята, посторонись! Дайте-ка мотыгу, дайте лопату! Где известка? Посторонись, ребята, пропустите меня к известке! — Лопата сама прыгает ему в руки: знает лопатка, у кого какая хватка, она всегда своего хозяина сыщет.— Посторонись, ребята, посторонись! — Песок ближе к известке, а лопата, что ж, она и песок ловка кидать... Раствор словно начинка для пирога. Кирпичи шлепаются — шлеп, шлеп! Каждый кирпич проходит через десятки рук... — шлепает его каменщик на стену, и кирпичу там способно».

Хороши у Шикулы пейзажи — собственно, тут нет пейзажей как таковых. Картины природы узрел не автор, а герой и еще чаще зверь немудрящий или птаха. Да, панорама села, поля, леса, реки будто увидена самой живой природой, у которой свой взгляд и свои краски, что для художника, пишущего жизнь, бесценно.

«Из леса, с полей доносился птичий грай. Свистал дрозд, куковала кукушка, тамсям летали и суетились скиталицы-ласточки: жалко, не к кому в гости слетать! С земли поднялся, вспорхнул жаворонок: попробую-ка еще раз! Он пел и пел, спать ему не хотелось. Разошелся и сорокопут-дождевик: не зная второпях, кому подражать, он запел просто так, по-любительски, но при этом замечательно трелил, свистел, жаловался, заливался, протяжно улещивал, вытягивал шею, изображая порой и нежность, потом вдруг выдал стаккато, выпалив всю обойму...»

«Мастера» — всего лишь первая часть трилогии, завершенной Шикулой. Вся трилогия, явившаяся событием в современной чехословацкой литературе, должна быть опубликована у нас в переводе Нины Шульгиной, идущей как бы вослед писателю. Полагаю, что определенно повезло роману Шикулы, что он попал в руки талантливой переводчицы.

По слову Стендаля, поэзия погибает, если не имеет широкой мировой концепции. Романы, о которых идет речь, тем более значительны, что в них широкая мировая концепция, для меня адекватная мысли, необходимой людям, сочетается с истинными художественными достоинствами, в частности достоинствами языка. Наверно, тут надо ценить и добрую волю переводчика, остановившего свой выбор на произведении такого рода. Двадцатипятилетняя практика «Иностранной литературы» дает тому много примеров. Но, наверно, достаточно и тех, на которые мы обратили внимание читателя. Как ни различны произведения, они стали событием искусства. Стоит ли говорить, что это делает честь переводчику — мы же воспринимаем Астуриаса и Шикулу по-русски.

■

Сергей Залыгин

Я скажу несколько слов о своем знакомстве с венгерской литературой, которому во многом помогла «Иностранная литература» — на ее страницах были опубликованы произведения Лайоша Мештерхази, Дюлы Ийеша, Иштвана Эркеня и многих других...

Конечно, самое лучшее, когда знакомство со страной может состояться в целом, то есть с ее языком, с ее историей и культурой, с природой и современным обликом, с самым широким кругом ее граждан.

Но, к сожалению, такое всеобъемлющее знакомство может состояться редко и только для немногих, а чаще происходит по-другому: возникают знакомства лишь с отдельными людьми, а через них уже появляется интерес к стране и некоторое понимание ее.

Не помню когда, где и при каких обстоятельствах я познакомился с Палом Фехером — венгерским журналистом и специалистом по советской литературе, а затем — с Йожефом Дарвашем, ныне уже покойным, но именно после встреч с ними и возник у меня интерес к Венгрии и, конечно, к венгерской литературе прежде всего.

Признаться, до той поры я прилично знал только Шандора Петефи, собирал все его сочинения, изданные на русском языке. (И тут, правда, дело не обошлось без влияния, если так можно сказать, личного: Петефи много переводил мой давний друг и земляк поэт Леонид Мартынов.)

Однако вернусь к Йожефу Дарвашу.

Йожеф не говорил по-русски, я — по-венгерски, но мы стали с ним друзьями через посредство Белы Гейгера, венгра, издавна живущего в Советском Союзе. Я стал читать все, что выходило у Йожефа на русском, он — все, что у меня выходило в Венгрии...

Последние издания Йожефа Дарваша «Колокол в колодце» и «Пьяный дождь» выходили у нас уже с моим предисловием.

И тогда-то я стал изучать историю Венгрии — не отвлеченно, а неизменно в сравнении с историей русской. Удивительное сходство!

Расположенная в центре торговой и промышленной Европы, Венгрия так же, как и Россия, еще долго оставалась страной земледельческой, крестьянской, а это главное сходство и определило совпадение многого другого — психологии людей, хозяйственного порядка, государственных реформ.

И у нас в середине прошлого века были годы, которые мы назвали «пореформенными» — они последовали за отменой крепостного права; и у нас крестьяне получили «свободу» без земли; и у нас была тяжба между крестьянами и помещиками из-за земли, тяжба, которая нередко приводила к вооруженным столкновениям.

В венгерской литературе я встречаю и помещика, который ищет в отношениях с народом «справедливости»,— почти тургеневский или гончаровский образ.

И возникает то ассоциативное чтение-сравнение, когда все время идет работа памяти: «а у нас?», «а у них?», когда происходит знакомство с другим народом, но не отвлеченное, а через исторический и житейский опыт своей страны.

Последним моим открытием был Жигмонд Мориц.

Я понимаю, что это слишком позднее открытие, но лучше поздно, чем никогда. И вот теперь понимаю: Мориц — писатель очень большой, мирового масштаба и очень точный.

Я люблю, во всяком случае, мне ничуть не чужд тот тип писателя, чье воображение, выпадая из общего исторического и даже логического ряда, существует как бы само по себе, как творческое «я», как неповторимая личность художника; но мне кажется, что нельзя не любить и не отдавать должного и писателям совершенно другого склада — с точным зрением, с тонким слухом, с безошибочным чувством истории, с умом, которые сознательно жертвуют своей оригинальностью ради объективности.

Под пером таких писателей и возникают картины общества, которые затем становятся картинами историческими. И исторически точными.

Конечно, Венгрия очень сильно изменилась, она далеко не та, что во времена Жигмонда Морица, но, чтобы знать эту, современную, обязательно нужно иметь представление и о той, прошлой.

Важно и еще одно обстоятельство: читая писателей той или иной страны, надо, хотя бы краешком глаза, очно повидать эту страну.

Мне кажется, я очень мало понимал Лакснесса, покуда не побывал в Исландии. Так же и в отношении Венгрии: я бывал там всего два раза, но я видел Дунай и Тиссу, Будапешт, Печ, Сегед и Дёбрецен, видел Альфёльд, и это позволило мне уловить в венгерской литературе ту конкретность, которая иначе осталась бы для меня недоступной.

Кроме того, я знаю, что в Венгрии есть и мои читатели. А все это, вместе взятое, и составляет знакомство со страной, а потому расширяет и знакомство с окружающим нас миром, которому служит литература. Служит все то, что мы называем духовным миром человека.

Критика

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

ПРИЧУДЛИВОСТЬ ВЫМЫСЛА И СТРОГОСТЬ ПРАВДЫ

Заметки о творчестве Мюриэл Спарк

Читатель, знакомый с переведенными на русский язык произведениями Мюриэл Спарк, не мог не заметить, что в них происходят, казалось бы, удивительные, не всегда получающие рациональное объяснение события. Непонятно ведет себя Дугал Дуглас («Баллада о предместье»), уговаривающий работниц местных фабрик прогуливать смену, чтобы поднимать себе настроение, хотя наняли его совсем для другого — способствовать повышению производительности труда. Да и внешность Дугала необычна — искривленное как будто от рождения плечо и маленькие бугорки на голове, которые он с готовностью дает щупать всем желающим, сообщая, что остались они от ампутированных рожек... Без всяких видимых причин кончает с собой Фредерик Кристофер, преуспевающий муж знаменитой кинозвезды («На публику»)...

И уж вовсе чудные вещи творятся в одном католическом монастыре, где враждующие группировки монахинь используют в борьбе не только кражи, подкуп и подлог, но и новейшее электронное оборудование для подслушивания, скрытые телекамеры и т. п. («Аббатиса Круская»). Как такие, прямо скажем, бесовские игры за стенами древней обители сочетаются с религиозностью самой писательницы, принявшей в 1957 году католичество? Этот парадокс объясним, если доминирующим началом творчества Спарк признать начало сатирическое, о чем вполне определенно писали советские критики [1].

В самом деле, необычный сюжетный ход, оставленное без логического толкования некое фантастическое допущение — всего лишь художественный прием, обнажающий сущность явления или персонажа.

«Правда диковинней вымысла»,— говорит героиня романа «Мисс Джин Броди в расцвете лет», с которым читатель «Иностранной литературы» знакомится в этом номере, и, думается, сама писательница могла бы с ней согласиться. Ведь чаще всего нет особой необходимости ничего придумывать, стоит только внимательно вглядеться в окружающую жизнь, в свое собственное прошлое, и в череде ничем не примечательных дней и событий вдруг обнаруживается нечто, внушающее отвращение и ужас, вызывающее горячий протест.

На первый взгляд многие вещи Спарк, в том числе и роман «Мисс Джин Броди в расцвете лет», могут показаться камерными. Однако права В. Ивашева, которая пишет, что «...Спарк, даже ограничивая себя узкими тематическими рамками, раскрывает в малом мире повторяемость явлений и за частными судьбами позволяет угадывать управляющие ими законы».

[1] См. В. Скороденко. Видимость и истина в кн. М. Спарк «На публику». М., 1971; Н. Михальская. Рассказы Мюриэл Спарк в кн. M. Spark. The Public Image Stories. M., 1976; В. Ивашева. Что сохраняет время. М., 1979, стр. 123.

АНДЖАПАРИДЗЕ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1943 г.).

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам зарубежной, преимущественно английской литературы.

Камерность произведений Спарк обманчива. Что такое «Мисс Джин Броди в расцвете лет»? Модификация традиционного «романа воспитания»? Еще одна повесть о несложившейся судьбе? Или еще одна история из жизни английской школы, которым несть числа, история, обличающая косность и рутину, рисующая борьбу учительницы за души учеников, за то, чтобы привить им чувства Добра, Истины и Красоты? Как будто мисс Броди и правда искренна в любви своей к ученицам, по крайней мере к некоторым из них, что выгодно отличает ее от холодно-официальных учителей и директрисы. Но с самого начала нечто настораживает и в мисс Броди, и особенно в методах ее обучения.

Очень скоро становится ясно, что никаких систематических знаний она ученикам не дает. Вместо того чтобы заниматься арифметикой, грамматикой, историей, она рассказывает им о своих увлечениях, о том, как ухаживать за лицом и руками, о поездках в Египет, Италию, Германию. Но это не так уж страшно. Намного страшнее идеи, которые внушает своим ученицам мисс Броди. Первая и основополагающая — идея «клана», «сливок общества», принадлежности к некоей «элите». Клан мисс Броди сродни тайному обществу, вступить в которое по сути невозможно. Своей замкнутостью и герметичностью он напоминает традиционный британский институт — клуб, где можно быть доброжелательно принятым гостем, но очень трудно стать полноправным членом.

Итак, шесть девочек формируются под руководством мисс Броди. Сэнди, раньше других, еще в школьные годы, понявшая, что представляет собой любимая учительница, много лет спустя в ответ на вопрос: «Что больше всего повлияло на вас в школьные годы?» — не раздумывая скажет: «...некая мисс Броди в расцвете лет».

Каждый день мисс Броди пытается привить детям чувство превосходства над окружающими, тем более удивительное, ибо оно ни на чем не основано, кроме собственных фантазий, которые далеко не безобидны, ибо полны субъективности и произвола. В высшей степени показателен следующий обмен репликами: «Кто величайший итальянский живописец?» — «Леонардо да Винчи, мисс Броди». — «Неверно. Правильный ответ — Джотто. Он мой любимый художник». «Мой любимый» значит «величайший» — такова простейшая схема, не требующая никакой более подробной аргументации и прямиком ведущая к беспрекословному интеллектуальному диктату, воспитывающему духовное приспособленчество и конформизм.

На чем же все-таки зиждется принцип отбора «элиты по мисс Джин Броди»? Как ни парадоксально, но его по существу нет. Во всяком случае, никакие личные качества учениц заметной роли не играют — мисс Броди заботит лишь, чтобы против ее методов обучения и воспитания не восстали окружающие.

Но почему ученицы Броди, однако, ощущают себя элитой? Идея превосходства рождается и питается из пренебрежения к тем, кто не входит в клан. Да и в самом клане безоговорочно властвует жестокая иерархия неравенства: неловкую и туповатую Мэри Макгрегор постоянно третируют все, начиная с мисс Броди. Относиться к Мэри хорошо — значит изменить чему-то общепринятому, тому, что их объединяет. А этого не может позволить себе даже наиболее самостоятельная Сэнди. Устами Сэнди писательница проводит параллель между кланом мисс Броди и фашистами, которые вызывают восхищение мисс Броди: «ей пришло в голову, что их клан — это отряд фашистов мисс Броди, и не просто потому, что они тоже идут строем... а потому, что сведены в отряд, служащий целям мисс Броди и по-своему равняющийся на нее». Так исподволь и постепенно разоблачает писательница бесчеловечность «прогрессивного» метода воспитания мисс Броди. Сэнди называет свою учительницу «прирожденной фашисткой». Нет ли в этом некоего преувеличения, тем более стоит ли считать Сэнди рупором авторских идей, если постоянно, даже несколько навязчиво подчеркивается неприятное в Сэнди — ее «поросячьи глазки» и т. д.? Сэнди умна, хладнокровна, рассудительна не по годам. Но есть в ней нечто неуловимо непривлекательное — глубинный скепсис, душевная дисгармония, своего рода мизантропическое безверие, бросающее ее в лоно католической церкви.

Двойственно относится писательница и к мисс Броди, что не осталось незамеченным в критике. Так, Ирвинг Мэйлин считает, что «взгляды мисс Броди на политику, женщин, искусство и религию близки к фашистам» [1]. А Патриция Стаббс полагает, что «в некотором смысле мисс Спарк испытывает любовь к своему созданию (мисс Броди.— *Г. А.*), она способна любить ее, несмотря на ироническое к ней отношение»[2].

В самом деле, мисс Броди — фигура трагикомическая. Вообразив себя Провидением, призванным распоряжаться человеческими судьбами, она взвалила на свои хрупкие плечи непосильную ношу. Не говоря уже о том, что образцы она выбрала себе малопочтенные. Конечно, симпатии мисс Броди к Гитлеру и Муссолини заложены в ней не «от рождения», а объективно отражают тяготение к идеям фашизма мелкобуржуазных слоев английского общества 30-х годов. В случае мисс Броди фашизм преимущественно остается, так сказать, на теоретическом уровне. Правда, она повинна в смерти незадачливой шалуньи Джойс Эмили, которую уговорила отправиться в Испанию сражаться на стороне Франко, и нетрудно себе представить, что могла бы натворить мисс Броди в «пору своего расцвета», не будь власть ее ограничена стенами классной комнаты. В мисс Броди Спарк видит опасность прежде всего потенциальную. В то же время она, по мнению писательницы, человек несчастный, несостоявшийся, очевидная жертва воспитания, окружения, обстоятельств, даже собственных учениц, к которым, несомненно, по-своему привязана, — одним словом, жертва общества.

[1] Irving Malin. The Deceptions of Muriel Spark in the Vision Obscured. N. Y., 1970, p. 102.

[2] Patricia Stubbs. Muriel Spark. L., 1973, p. 23.

Таким образом, мисс Броди опасна, но она одновременно и жалка, недаром она «во многом была настоящей эдинбургской старой девой самой суровой закалки». В ней немало черт, сближающих ее с тем самым «маленьким человеком», о котором с таким сочувствием писала открывшая его литература XIX века.

Но «маленький человек» в литературе XIX века, даже задавленный несправедливыми социальными условиями, несмотря на трагизм своей судьбы, нес в себе огромный заряд человечности. В западной литературе XX века этот образ трансформируется, ибо сама жизнь показала, что «маленький человек», как только ему удается так или иначе выделиться, нередко оказывается вполне способным подавлять и унижать ничуть не меньше, чем унижали его самого. В нем далеко не всегда живет нравственное, гуманистическое начало — нередко его подменяет непреодолимое стремление повелевать. В современном капиталистическом обществе названная тенденция принимает самые разнообразные, зачастую на вид совершенно противоположные друг другу формы. К примеру, директриса мисс Маккей проповедует идею полной нивелировки личности, растворения ее в коллективе; мисс Броди, казалось бы, ратует за выдающуюся личность, которой «все дозволено», но на деле ее клан столь же подавлен и лишен какой бы то ни было самостоятельности, как и те, кто не удостоился чести принадлежать к клану. И нет ничего загадочного в ответе «предательницы» Сэнди: «Если вы сами не предали нас, невозможно, чтобы вас предали мы». В этом парадоксальном софизме сокрыт глубокий смысл. Мисс Броди предает своих подопечных еще в самом начале «расцвета», ибо никогда не видела в них маленьких любознательных девчонок, а относилась к ним лишь как к подходящему материалу для своеобразных и довольно злых педагогических экспериментов.

Постепенная утрата девочками индивидуальности зафиксирована на портретах влюбленного в мисс Броди учителя рисования Тедди Ллойда — все они получаются поразительно похожими на мисс Джин Броди.

Образ самой мисс Броди писательница дает преимущественно в восприятии ее учениц в разные этапы их жизни. Многоракурсность и объемность этого восприятия достигаются прежде всего свободным смещением временных пластов. Временные границы этого сравнительно небольшого по объему произведения весьма широки — от начала 30-х годов до конца 50-х. Подобное свободное обращение со временем — одна из характерных черт современной прозы. Но в произведении Спарк этот прием органично сочетается с наличием традиционной для английского классического романа фигурой рассказчика, знающего о своих героях все и пользующегося правом непосредственно обращаться к читателю. Тем не менее именно рассказчик от себя вкрапливает в основную повествовательную линию события, которым еще только суждено случиться в будущем, ненавязчиво, но точно корректирует происходящее в тридцатые годы оценивающим взглядом из будущего.

Этот взгляд из будущего сообщает роману «Мисс Джин Броди в расцвете лет» актуальность и для наших дней. Ведь то, что мисс Броди все-таки потерпела крах в «пору своего расцвета», исторически справедливо и соответствует правде жизни — британскому фашизму не удалось в полный голос заявить о себе. Вместе с тем нельзя не заметить живучесть идей и стремлений, высказанных персонажем романа Спарк, на Британских островах и в наши дни.

■

Мюриэл Спарк родилась в 1918 году в Эдинбурге, городе древнем, суровом и прекрасном, ставшем полноправным героем рассказа о жизни и смерти мисс Броди. Училась она в родном городе. Думается, в романе ее есть немалый автобиографический элемент. В 30-е годы работала в Африке. Во время второй мировой войны вернулась в Англию и стала машинисткой в отделе министерства иностранных дел, занимавшемся сбором политической информации и контрпропагандой на немецкие войска и население. После войны Спарк редактировала поэтические журналы, издавала письма сестер Бронте, писала рассказы. Надо сказать, что Спарк — блистательная новеллистка. Но, как это чаще всего бывает в писательской судьбе, известность ей принесли романы, которых за двадцать с небольшим лет литературной деятельности она издала пятнадцать. В подавляющем большинстве случаев прозу Спарк легко узнать — ее отличает ироничный, несколько суховатый тон, зачастую перерастающий в беспощадные сатирические инвективы. Объект сатиры Спарк достаточно традиционен — это корыстолюбие, бездуховность, ханжество и лицемерие; причем писательница обнаруживает эти пороки в роскошных дворцах и в маленьких домиках предместий, где живет так называемый низший средний класс.

Сразу после выхода в свет первого романа Спарк «Утешители» (1957) критики заметили некие особенности манеры Спарк, сохранившиеся в целом и по сей день. Романы писательницы сравнительно невелики по объему. В них действует ограниченное число персонажей — обычно десять или немногим больше. Как уже говорилось, в книгах Спарк часто происходят разного рода «чудеса», необъяснимые события, склонность к которым критики расценивают как доказательство веры писательницы в иррациональное и мистическое. Уже героиня «Утешителей» Кэролайн Роуз сталкивается с непонятным явлением: оставаясь одна, она слышит голос и стук пишущей машинки. Спарк, пожалуй, совершенно сознательно не дает происходящему однозначного толкования — быть может, это слуховая галлюцинация, ибо Кэролайн недавно пережила нервный срыв. Голос, диктующий невидимой машинистке, повторяет те мысли, которые приходят в голову Кэролайн. Иные-

---

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ
ПРИЧУДЛИВОСТЬ ВЫМЫСЛА
И СТРОГОСТЬ ПРАВДЫ

ми словами, получается, что Кэролайн одновременно и персонаж романа, и его автор. Писательница использует известный с незапамятных времен литературный прием — рассказ в рассказе.

Склонность Спарк вводить в свои произведения элементы мистики связывается у некоторых критиков с ее религиозными убеждениями. Однако отношение Спарк-художника к католицизму двойственно. В ее романах мы видим целый ряд отталкивающих и откровенно сатирических образов истовых и правоверных католиков. Недаром Сэнди и в лоне католической церкви «обнаружила немало фашистов, гораздо менее приятных, чем мисс Броди». Вряд ли можно сказать, что Сэнди, став сестрой Еленой, обрела душевную гармонию и покой. Словом, католическая вера сама по себе еще отнюдь не может служить источником счастья и не может гарантировать, что люди, ее исповедующие,— это хорошие люди. Один из самых остросатирических образов в «Утешителях» — ревностная католичка Джеорджина Хогг, бесцеремонная стяжательница и ханжа, как будто получающая наслаждение от того, что доставляет неприятности другим.

В целом «Утешители» представляют собой ряд запоминающихся эпизодов, в которых действуют комические персонажи, связанные не какой-то общей художественной идеей, а авторской волей — родственными связями, давними знакомствами, порой для читателя совершенно неожиданными. Уже в «Утешителях» очевидно определенное воздействие произведений Ивлина Во. Речь идет не только о фабульном сходстве — таинственные голоса слышит путешествующий на пароходе главный герой романа Во «Испытание Гилберта Пинфолда»; приверженность Джулии Моттрем католическим догмам препятствует ее соединению с Чарльзом Райдером в «Возвращении в Брайдсхед»,— но и о мрачном мироощущении Спарк, о неожиданности ее юмора.

В романе «Упадок и разрушение» Во шутит, что, собственно, «вся эта книга есть история исчезновения Поля Пеннифизера», захваченного бурным водоворотом событий, ставящих под сомнение наличие его человеческой индивидуальности. Аналогичным образом «исчезает» и Джеорджина Хогг: «Как только она входила в свою комнату, она исчезала. Она просто исчезала. У нее не было никакой личной жизни». Незатейливая шутка Во становится у Спарк художественным приемом — мисс Хогг существует лишь постольку, поскольку может приносить зло другим, как человеческая же личность она мнима.

Внешне еще более замкнуто-«католическим» получился следующий роман Спарк «Робинзон» (1958). Один из центральных вопросов в нем — кого следует больше почитать: деву Марию или Иисуса Христа. Однако по сути этот роман — традиционная для английской литературы робинзонада, кстати, фамилия владельца острова, на котором оказываются потерпевшие авиакатастрофу, и в самом деле Робинзон. Есть в книге и персонаж откровенно сатирический — жуликоватый и настырный Том Уэллс, издающий журнал с гороскопами и торгующий всевозможными талисманами, «приносящими счастье».

Наряду с «Мисс Джин Броди в расцвете лет» (1961) и известным советскому читателю романом «Баллада о предместье» (1960) наиболее значительным из ранних произведений Спарк справедливо считается роман «Memento mori» (1959). Если в «Балладе о предместье» высмеиваются скаредность, лицемерие и приспособленчество «низшего среднего класса», то герои «Memento mori» стоят на несколько ступенек социальной лестницы выше. Они — прекрасно обеспеченная духовная элита общества, своего рода аристократическая богема. Но сегодня все у них в прошлом. Книга Спарк о холодных и печальных днях старости, о неизбежном угасании человеческой жизни. Однако эта обычно трактуемая в элегическом или патетическом ключе тема под пером Спарк обретает остросатирическое, даже гротескное звучание. Герои романа принадлежат к тому поколению, которому довелось быть «цветом» английской молодежи, запечатленному Олдосом Хаксли в «Шутовском хороводе» и Ивлином Во в «Мерзкой плоти». Им довелось пережить две мировые войны, закат Британской империи, но они будто так ничего и не заметили, не почувствовали.

Ощущение конца эпохи, завершения определенного исторического этапа в жизни английского общества пронизывает весь роман, оно идет от его композиционного и интонационного строя. Сами же герои, несмотря на более чем преклонный возраст, продолжают существовать в суете мелочных и ничтожных страстей и интересов. Нелепы и в то же время зловещи сведения каких-то старых счетов, воспоминания о давних изменах и обидах, страшна и отталкивающа конкуренция во всем: «Как ждем мы любую неудачу друг друга!» Пустота и никчемность персонажей мрачновато и безжалостно высмеиваются Спарк. Бессмыслицу существования людей, переживших свое время, призван подчеркнуть неожиданный символ. Героям романа по телефону звонит неизвестный голос, спокойно сообщающий: «Помните, вам предстоит умереть». Даже усилия полиции установить, кто звонил, оказываются тщетными. Возникает предположение, что это «сама смерть». И Спарк совершенно сознательно не раскрывает тайну. Конечно, при желании можно дать множество мистических или психоаналитических толкований. Быть может, стариков охватила разновидность «массового психоза»? Но подобное полуфантастическое допущение — звонок неизвестного — воспринимается как удачный и яркий прием, несущий читателю окончательный и не подлежащий обжалованию приговор людям, души которых давно мертвы.

В «Memento mori» ирония Спарк суха и безжалостна. Автору-демиургу все известно наперед, и он наблюдает за своими персонажами отстраненно и без сочувствия.

Идейно-тематически и стилистически близкими оказались романы «Холостяки» (1960) и «Девушки со скромными средствами» (1963) и, конечно, не потому, что персонажи первого по-преимуществу неженатые мужчины, а во втором действуют в

основном не состоящие в браке женщины. Структурно оба романа повторяют «Утешителей»: вновь эпизоды, связанные достаточно произвольно, немало комичных, экстравагантных персонажей, едких, язвительных авторских суждений, но цельной сатирической картины не получается.

Опубликованный в 1965 году роман «Ворота Мандельбаум» ознаменовал временный отход писательницы от сатиры, хотя есть в нем комедийные ситуации и персонажи, поданные в ироническом ключе. Его сюжетной основой служит путешествие принявшей католичество Барбары Воган, посещающей христианские святыни Иерусалима, который в то время был поделен на две части — иорданскую и израильскую. И хотя с некоторыми оценками Барбары, по-видимому выражающей во многом точку зрения самой писательницы, мы не можем согласиться, она права в главном — простые израильтяне и арабы не испытывают друг к другу никакой враждебности и хотят жить в мире.

Дисгармонию между личностным началом и социальной функцией человека в современной капиталистической действительности обнажает роман «На публику» (1968). Образцово-показательную супружескую пару Фредерика и Аннабел Кристофер ничто не связывает, кроме рекламного образа «на публику», они послушно играют иллюзию семейного счастья. Аннабел трудно расстается с ней и после гибели Фредерика, покончившего с собой только затем, чтобы разрушить здание ее успеха. Доминирующей интонацией и в романе продолжает оставаться интонация откровенно ироническая: «По натуре Фредерик был интеллектуалом вообще, интеллектуалом без определенных занятий. Возможно, счастливейшими часами в его жизни были те, которые он проводил за чтением различных произведений на тему «пляска смерти» или делал пометки на полях сочинений Стриндберга...»

Тусклая бездарность, претендующая на то, чтобы считаться интеллектуалом и творческой личностью, в полном бездействии созерцающая свой мнимый талант, будто бы не встречающий понимания среди ограниченных мещан,— тип в эпоху «массовизации» искусства достаточно распространенный. Спарк холодновато препарирует мелкую душонку Фредерика, испытывавшего жгучую зависть к успехам жены.

Причудливой и жестокой фантазией проникнуты три вещи начала 70-х годов — «Место водителя» (1970), «Не беспокоить» (1971) и «Теплица на берегу Ист-Ривер» (1973). Вымысел и фантазии в них призваны еще более рельефно оттенить бездуховность и трагизм современного капиталистического общества. Героиня «Места водителя» Лиз отправляется в отпуск с единственной целью — погибнуть, ибо ее чиновничья жизнь безрадостна и невыносима. В романе «Не беспокоить» хитрые, образованные и разбитные слуги в баронском замке в Швейцарии как бы по заранее написанному сценарию стимулируют самоубийство своих хозяев, чтобы потом продать прессе их фотографии и мемуары. В экстравагантной гротескной форме Спарк высмеивает нежизнеспособность современной аристократии и падкость «масс-медиа» на всевозможные кровавые истории.

Но наиболее значительным произведением этих лет стал роман «Теплица на берегу Ист-Ривер». Действие его происходит в наши дни в Нью-Йорке, хотя немалое место занимают и воспоминания о годах второй мировой войны, когда супруги Эльза и Пол сотрудничали в подразделении британской разведки, занимавшемся пропагандой на фашистскую Германию. Содержанием воспоминаний становятся не прошлый опыт антифашистской борьбы, а выяснение взаимоотношений Эльзы и Пола с немецким военнопленным по имени Гельмут Киель, некоторое время сотрудничавшим с англичанами в годы войны.

В одном из обувных магазинов Нью-Йорка работает очень похожий на него продавец, что вызывает у героев поток воспоминаний. Пола и сегодня занимает вопрос, была ли Эльза любовницей Киеля. Но это, так сказать, план бытовой. Есть в романе и плаи фантастический, игровой, события в котором разворачиваются согласно логике абсурда, скажем, как в «Алисе в стране чудес». Дело в том, что Эльза... не отбрасывает тени, что в общем-то кажется страниым остальным персоиажам, но не настолько страиным, чтобы об этом было прилично говорить вслух. Психоаналитик, у которого лечится Эльза, желая лучше изучить свою пациеитку, нанимается к ней для работы по дому. Действие на уровне бытовом так и не может сдвинуться с банального и бесконечного супружеского выяснения отношений, а в плане фантастически условном стремительно летит к развязке. Спарк готовит читателю неожиданный финал: оказывается, все без исключения герои книги... погибли во время бомбежки еще весной 1944 года. Иными словами — романи о том, как могли бы сложиться судьбы персоиажей, останься они в живых... Но непредсказуемая развязка имеет и очевидно символическое значение — хоровод призраков кружится по современиому Нью-Йорку в поисках своего прошлого. Герои Спарк — люди-призраки в буквальном и переносном смысле слова, они — «полые люди», и их физическая бестелесность лишний раз свидетельствует об ужасающей бездуховности и бесцельности их гипотетического существования.

Новый подъем сатирического мастерства Спарк произошел в романе «Аббатиса Круская» (1974). Это точная и злая сатира на современный католицизм.

Стремящаяся к власти влиятельная монахиня Александра не видит ничего предосудительного в том, что в монастыре процветают слежка и электронное подслушивание. Более того, в письме к кардиналу в Рим она пишет, что все это, на ее взгляд, вполне укладывается в рамки католической ортодоксии, поскольку католицизму издавна был свойствен жесткий контроль над умами верующих и идущая из глубины ве-

---

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

ПРИЧУДЛИВОСТЬ ВЫМЫСЛА И СТРОГОСТЬ ПРАВДЫ

ков, нетерпимость ко всяческим ересям, сиречь к инакомыслию.

Книга Спарк построена на контрасте между «святой» формой и далеко «не святым» содержанием. Призывы и рассуждения о чистоте души и благодати, песнопения и декламация прекрасных стихов, в которых на правах одной из идейных руководительниц монастыря участвует Александра, чередуются с рассказами о тайных пышных трапезах и о секретных совещаниях, на которых Александра и ее соратницы обсуждают результаты предвыборных опросов общественного мнения. Выясняется, что соперницу, монахиню Фелисату, поддерживают сорок два процента будущих избирательниц. На этих же совещаниях прослушиваются сделанные тайно магнитофонные записи разговоров членов враждебной группировки.

Остроумная нравоописательная сатира перерастает в сатиру политическую. Сразу же после выхода «Аббатисы» была отмечена очевидная параллель рассказанной Спарк истории с печально знаменитым «уотергейтским делом». В самом деле, послушники-взломщики, проникшие в келью Фелисаты с тем, чтобы добыть компрометирующие ее письма, бесконечные переодевания, обстановка предвыборного ажиотажа и абсолютной секретности, пропавшие пленки с подслушанными разговорами, высокие слова и грязные дела — все это в высшей степени органично накладывается на «уотергейтское дело».

Легко угадывается исторический прототип монахини Гертруды, подающей Александре глубокомысленные и невыполнимые советы по «вертушке» из разных экзотических мест — из глубин Анд, Африки или Тибета, где она обращает в истинную веру заблудших язычников. Побаивающаяся Гертруду Александра особо отмечает философский склад ума у своего «министра иностранных дел», сравнивая ее с великим соотечественником — Гегелем.

Злободневные события современности естественно входят в повествовательную ткань двух последних романов писательницы — «Взятие» (1976) и «Территориальные права» (1979). Обе книги, действие которых происходит во второй половине 70-х годов в Италии, вряд ли можно назвать чисто сатирическими. Иронический, отстраненный тон писательницы остался неизменным, но Спарк значительно больше внимания уделяет психологии героев, сопряжению общественных сдвигов и судеб конкретных людей. Роман «Взятие» посвящен людям в основном богатым и очень богатым — по изобразительной мощи и разоблачительной силе он несколько напоминает известный в нашей стране кинофильм Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере». Кстати, сейчас Спарк работает над сценарием, по которому будет ставить фильм Джозеф Лоузи.

Существование героев «Взятия» не только бесцельно и бездуховно, но и совершенно безрадостно — им даже лень прожигать жизнь. Богатую американку Мэгги Рэдклифф, вышедшую в очередной раз замуж за богатого итальянца Берто, человека крайне правой политической ориентации, постоянно все вокруг обкрадывают, начиная с бывшего давнего приятеля и главного советчика Губерта и кончая настоящими бандитами, похищающими ее драгоценности. Но обкрадывают как-то буднично. Если богачи Бальзака становились добычей титанических фигур — Гобсека или Вотрена, то Мэгги разоряет совершеннейшее ничтожество, провинциальный аргентинский прохвост по имени Коко де Рено, употребляющий к месту и не к месту словечко «глобальный», вошедшее в моду с легкой руки бывшего госсекретаря США. Отмечая это совпадение, писательница иронически сближает известного политика и не слишком крупного афериста. Так вырождаются не только богачи, но и паразитирующие на них проходимцы.

Настойчиво звучит в романе мотив «конца эпохи» — умерли Джулиан Хаксли и П. Г. Вудхаус, вместе с ними уходят последние остатки традиционной гуманистической культуры Запада. На смену им, по мнению Спарк, ничего не идет. Писательница не только подхватывает основную тему «Memento mori», но существенно расширяет ее. И персонажи романа, и рассказчик говорят о кризисе, охватившем современное западное общество. Кризис этот поразил и экономику, и духовную сферу. Писательница считает, что в 1973 году с западным миром произошло нечто не поддающееся объяснению: он окончательно утратил стабильность. «Эта мутация», язвительно замечает Спарк, привела, в частности, к тому, что «уже нельзя найти вооруженных охранников и нанять их охранять тех вооруженных охранников, которым не удавалось защитить собственность, которую они охраняли...»

Писательница объективно и правдиво отображает успехи левого движения в Италии — на местных выборах почти половина голосов была подана за кандидатов-коммунистов. Чрезвычайно любопытна и показательна реакция на это известие Берто, считающего, что «лучше пусть деньги Мэгги достанутся жулику, нежели коммунистам».

Во фразе, сказанной с раздражением и как будто в сердцах, обнажается абсурдная, но в то же время характерная для западного общества логика доведения до предела частного интереса и конкуренции. В борьбе каждого против всех хороши любые средства. И трудно осуждать Мэгги, когда она нанимает профессиональных преступников для того, чтобы разделаться с Коко де Рено. «А почему я не должна быть преступницей? Ведь все кругом преступники».

Порочный характер человеческих взаимоотношений в современном капиталистическом обществе встречает строгое осуждение и в последнем по времени произведении Спарк. Действие романа «Территориальные права» происходит в Венеции, вечно прекрасном городе старинных палаццо, бесценных музеев, роскошных вилл. В Венеции, любимой Марком Карреном, богачом, меценатом и художником-любителем. Но есть и Венеция трущоб, жалких комнатушек без элементарных удобств, где ютится молодая художница-эмигрантка из Болгарии Лина Панчева. Ее отец, дипломат Виктор Панчев, подозревался в покушении на пос-

леднего болгарского царя Бориса и был, по слухам, убит в Венеции монархистами в 1945 году. Лина во время туристской поездки по Франции попросила политического убежища. Спарк скрупулезно и объективно воссоздает историю так называемых «диссидентов», ищущих пристанища на Западе. В первые недели к Лине был проявлен интерес, о ней писали газеты, ее приглашали в гости, она была «модной». Но прошло совсем немного времени, и она поняла, что никому не нужна. Картины ее никто не покупал, помощи, предоставляемой ей, оказалось явно недостаточно, и Лине приходится воровать по мелочам в бакалейной лавке. В конце концов, осознав свою трагическую ошибку, Лина возвращается на родину.

Но одиссея молодой болгарской художницы — лишь одна из линий романа, посвященного прежде всего моральному упадку западного общества. Богач и эстет Каррен, как и его приятельница, вдова графиня Вайолет де Винтер, снабжал во время войны информацией немцев. Графиня и теперь подрабатывает в качестве платного агента некоего частного сыскного бюро, не брезгуя при случае и прямым шантажом. Деклассированный английский студент-искусствовед Роберт Ливер становится сначала просто грабителем, а потом профессиональным террористом. Его отец, директор английской школы, приезжает в Венецию провести каникулы с любовницей, о чем, естественно, по законам английского лицемерия никто знать не должен. Его жена нанимает частных детективов, чтобы следить за ним. Одним словом, картина неприглядная.

Эпиграфом к роману «Даниэл Мартин» известный английский писатель Джон Фаулз взял отрывок из «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши, в котором говорится о том, что, когда старое отмирает, а новое еще не может родиться, проявляется великое множество смертельных симптомов. Этот эпиграф можно поставить к творчеству Мюриэл Спарк, которая задалась целью отразить часть этих смертельных симптомов — иногда достаточно неожиданно и причудливо, но всегда объективно и честно.

Лучшие книги Спарк развивают богатую традицию английского сатирического романа, продолжающую питать современный английский реализм. В этом смысле любопытно интервью Спарк, данное известному критику Фрэнку Кермоуду еще в 1963 году в связи с бурными дискуссиями в западной прессе об «автоматическом письме», «бессознательных побуждениях творческого процесса». Спарк сказала: «Я считаю, что правильнее всего писать совершенно сознательно, а бессознательное пусть само о себе заботится, если, конечно, оно существует, о чем мы знать не можем. Если бы мы о нем знали, оно бы не было бессознательным». В том же интервью она формулирует свое понимание необходимой правдивости литературы: «Я не претендую на то, что мои романы правдивы, они, конечно, выдуманы, но так, что в них проступает своя правда».

В книгах Спарк нельзя не услышать суровую и нелицеприятную правду об окружающем ее мире, который жесток, несправедлив, бездуховен.

◆

Публицистика

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

КАНУН

Перевод с польского Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Кругом такой беспорядок, как будто полиция минуту назад закончила лихорадочно-торопливый обыск. Везде валяются разбросанные газеты, кипы газет — местных и заграничных, экстренные выпуски, бросающиеся в глаза крупные заголовки «ВЫЛЕТЕЛ» и большие фотографии — худое продолговатое лицо, на котором читается сосредоточенное усилие не обнаружить нервного напряжения, отчаяния, черты лица настолько правильны, что, в сущности, не выражают ничего. А рядом экземпляры других чрезвычайных выпусков, с более поздней датой; они с восторгом торжественно сообщают, что ВОЗВРАТИЛСЯ, и ниже на всю страницу лицо патриарха, замкнутое и суровое, лишенное всякого желания что-либо выразить. (А между этим отлетом и возвращением какие страсти, какие высокие температуры, сколько гнева и страха, сколько пожаров!)

На каждом шагу — на полу, на стульях, на столике, на письменном столе — разрозненные страницы, клочки бумаги, заметки, набросанные так торопливо и бессистемно, что я сам теперь не могу вспомнить, откуда появилась запись: «...он будет вас обманывать и обещать, но не давайте себя провести...» (Кто это сказал? Когда и кому?) Или красным карандашом на всю страницу: «Непременно позвонить 64-12-18». (А сколько уже времени прошло, не могу вспомнить, чей телефон и почему он был таким важным.)

Письма неоконченные и неотосланные. «Старик! Много бы можно рассказать о том, что я тут видел и пережил. Но мне очень трудно привести в порядок впечатления, которые...»

Главный беспорядок царит на большом круглом столе: фотографии разных размеров, магнитофонные кассеты, любительские восьмимиллиметровые кинопленки, бюллетени, фотокопии листовок, все навалено, перемешано, как на блошином рынке, ни конца, ни начала. А еще плакаты и альбомы, пластинки и книги — собранные, пода-

© «Kultura», Warszawa, 1979.

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — RYSZARD KAPUŚCIŃSKI (род. в 1932 г.). Польский журналист, лауреат международной и национальных премий; многие годы был корреспондентом Польского агентства печати (ПАП) в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Автор нескольких книг очерков и репортажей. В 1976 г. вышла книга «Футбольная война» («Wojna futbolowa») — творческий итог двадцати лет работы, в 1977 г.— книга «Император» («Cesarz»), посвященная Эфиопии.

В «Иностранной литературе» печатались фрагменты книги «Буш по-польски» (№ 10, 1963), очерки об Анголе (№ 8, 9, 1977).

Мы публикуем главы из его новой книги «Катарсис» («Katharsis»), взятые из польского еженедельника «Культура» (июль — август, 1979) (печатаются в сокращении).

ренные, полная документация времени, которое только что прошло, но которое еще можно услышать и увидеть, ибо оно запечатлено здесь: на пленке — медленно движущиеся, взбаламученные людские потоки; на кассетах — рыдания муэдзинов, крики команд, беседы, монологи, на снимках — человеческие лица, воодушевленные, в экстазе...

Спускаюсь вниз, где в пустом унылом холле четыре молодых человека пьют чай и играют в карты. Они увлечены какой-то сложной игрой, правил которой я никак не могу понять. Это не бридж, не покер, не очко, не скат. Играют одновременно двумя колодами, молчат, в определенный момент один из них с довольной миной забирает себе все карты. Потом кидают жребий, раскладывают на столике десятки карт, задумываются, что-то считают, при подсчете возникают споры.

Эти четыре человека (служащие отеля) живут за мой счет, я содержу их, поскольку в эти дни я — единственный постоялец. Кроме них я содержу уборщиц, поваров, официантов, мужчин-прачек, сторожей, огородника и, пожалуй, еще несколько человек, а также членов их семейств. Не хочу сказать, что, если бы я не платил в срок, эти люди умерли бы с голоду, но на всякий случай я стараюсь оплачивать свои счета вовремя. Еще несколько месяцев назад достать номер в этом городе было великим достижением, выигрышем в лотерее. Несмотря на огромное количество гостиниц, наплыв был такой, что приезжим приходилось снимать койки в частных лечебницах, только бы найти кров. Но теперь деловая жизнь оборвалась, пришел конец легким деньгам и ошеломительным сделкам, местные бизнесмены ловко попрятались, а их зарубежные партнеры спешно выехали, в панике побросав все. В один момент прекратился туризм, остановилось всякое международное движение. Часть гостиниц была сожжена, другие закрыты или пустуют, в одной восставшие разместили свой штаб. Город сейчас занят собой, ему не нужны чужие, не нужен внешний мир...

Картежники прерывают игру, предлагают мне чаю. Здесь пьют чай или кислое молоко, не пьют ни кофе, ни спиртного. За употребление алкоголя можно получить сорок палок, даже шестьдесят, а если наказание осуществляет какой-нибудь дюжий детина (обычно именно такие охотнее всего берутся за палку), то он устроит из спины недурную отбивную. Поэтому мы прихлебываем горячий чай и глядим в другой конец холла, где под окном стоит телевизор.

На экране телевизора появилось лицо Хомейни.

Хомейни произносит речь, сидя в простом деревянном кресле, стоящем на дощатом помосте на одной из площадей бедного (судя по качеству построек) района Кума. Кум — маленький, серый, плоский, невзрачный город, расположенный в ста пятидесяти километрах к югу от Тегерана, на пустынной, изнурительной, адски жаркой земле. Казалось бы, в этом убийственном климате ничто не должно способствовать размышлениям и созерцанию, и тем не менее Кум — это город религиозной пылкости, упрямой ортодоксии, мистики и воинствующей веры. В этом городишке — пятьсот мечетей, здесь находятся самые крупные духовные семинарии, тут ведут свои диспуты знатоки Корана и стражи традиции, тут совещаются почтенные аятоллы, отсюда Хомейни управляет страной. Он никогда не покидает Кума, не ездит в столицу, вообще никуда не ездит, ничего не посещает, никому не наносит визитов. Раньше он жил здесь с женой и пятью детьми, в маленьком домике на тесной, душной и пыльной улице, где посреди немощеной дороги была сточная канава. Теперь переехал — недалеко, в дом своей дочери, где есть балкон, выходящий на улицу; с этого балкона — если соберется толпа — Хомейни обращается к людям (чаще всего это верующие, совершающие паломничество в мечети священного города и посещающие недоступную для иноверцев могилу мусульманской святой — Фатимы, сестры восьмого имама Резы). Хомейни ведет жизнь аскета, питается рисом, кислым молоком и фруктами, живет в одной комнате с голыми стенами, без мебели. Там есть только постель на полу и кипа книг. В этой же комнате Хомейни принимает посетителей (даже самые официальные иностранные делегации), сидя на кошме, расстеленной на полу, опираясь спиной о стену. Из окна ему видны купола мечетей и просторный двор медресе — замкнутый мир бирюзовой мозаики, сине-зеленых минаретов, прохлады и тени. Поток гостей и просителей движется целый день. Если наступает перерыв, Хомейни удаляется на молитву либо остается у себя, чтобы посвятить время размышлениям или просто — что вполне естественно для восьмидесятилетнего старца — немного вздремнуть. Постоянный доступ в его комнату имеет младший сын Ахмед — священнослужитель, как и отец. Другой сын, первенец, гордость и надежда, погиб при загадочных обстоятельствах — говорят, его коварно убила полиция шаха.

Камера показывает запруженную людьми площадь, целое море голов. Лица серьезные, внимательные. В одном месте, в стороне, отделенные от мужчин четко обозначенным пространством, стоят закутанные в чадры женщины. Солнца нет, пасмурно, цвет толпы — темный, а там, где стоят женщины,— черный. Хомейни одет как всегда — в темные просторные одежды, на голове — черный тюрбан. У него неподвижное, бледное лицо и седая борода. Когда он говорит, его руки покоятся на подлокотниках кресла, он не жестикулирует, не кивает головой, сидит неподвижно. Иногда только морщит высокий лоб и поднимает брови, больше ни один мускул не дрогнет на этом лице — очень решительном, непреклонном, лице человека великого упорства, целеустремленной и беспощадной воли, не знающего пути назад и даже, быть может, сомнений. На этом лице, как бы отлитом раз и навсегда, не меняющемся, не поддающемся никаким эмоциям и настроениям, не выражающем ничего, кроме напряженного внимания и внутрен-

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

ней сосредоточенности, только глаза в постоянном движении, их живой, проницательный взгляд скользит по колышущемуся морю голов, измеряет глубину площади, удаленность ее берегов и продолжает тщательный осмотр, как будто настойчиво ищет кого-то конкретного. Я слышу его голос, монотонный, с бесцветной, неизменной интонацией, ровный, неторопливый, сильный, но без взлетов, без темперамента, без блеска.

— О чем он говорит? — спрашиваю я картежников, когда Хомейни на мгновение прерывает речь и задумывается над очередной фразой.

— Он говорит, что мы должны сохранять достоинство,— отвечает один из игроков.

Оператор перемещает камеру, видны крыши окрестных домов, где стоят молодые люди с автоматами, их головы обернуты цветными платками.

— А теперь что он говорит? — спрашиваю я снова, так как не понимаю языка фарси, на котором обращается к толпе аятолла.

— Он говорит, что в стране не должно быть места чуждым влияниям.

Хомейни продолжает свою речь, все внимательно его слушают, на экране видно, как кто-то утихомиривает столпившуюся около помоста детвору.

— Что он говорит? — спрашиваю я через минуту.

— Он говорит, что никто не будет распоряжаться в нашем доме и ничего не будет нам навязывать, и еще он говорит: будьте братьями, будьте единым целым.

■

После короткого перерыва (в перерыве показывают поля цветов, очень здесь любят цветы, могилы величайших поэтов Ирана находятся в красочных и буйных садах) на экране появляется портрет молодого человека. Раздается голос диктора.

— Что он говорит? — спрашиваю я моих картежников.

— Он называет свое имя и фамилию. И говорит, кем был этот парень.

Потом еще и еще фотографии. Снимки мальчиков в школьных формах, фотографии со студенческих билетов, фотографии в рамках, снимки, выполненные фотографирующими автоматами, снимки на фоне далеких руин, одно семейное фото со стрелкой, указывающей на едва заметную девушку, чтобы обозначить, о ком идет речь. Каждую фотографию показывают в течение нескольких минут, слышно, как диктор читает длинный список фамилий.

Родители просят сообщить что-нибудь о пропавших без вести детях.

Они просят об этом уже несколько месяцев, все еще не теряя надежды, которую никто, кажется, уже с ними не разделяет. Пропал в сентябре, декабре, в январе, то есть в то время, когда шли самые тяжелые бои, когда над городами стояли высокие и негаснущие зарева. Очевидно, они шли в первых шеренгах демонстрантов, прямо под огонь автоматов. Или их сняли снайперы с окрестных крыш. Можно предположить, что каждое из этих лиц в последний раз видел какой-нибудь солдат, наводя на него прицел своего автомата.

Фильм продолжается, это ежедневная длительная программа, во время которой мы слышим деловой голос диктора, и мы встречаемся со все новыми и новыми людьми, которых давно уже нет на свете.

Снова поля цветов, и через минуту следующая часть вечерней программы. Снова фотографии, но на этот раз совершенно других людей. В основном это пожилые мужчины, опустившиеся, одетые как попало (мятые воротнички, мятые тиковые куртки), осунувшиеся лица с отчаянием в глазах, небритые, иногда уже обросшие бородами. На шее у каждого подвешен кусок картона, на нем написаны имя и фамилия. Когда на экране появляется очередное лицо, кто-нибудь из картежников говорит: ага, так это он! — и все внимательно вглядываются в экран. Диктор зачитывает персональные данные и говорит о каждом, какие преступления тот совершил. Генерал Мохаммед Цанд отдал приказ расстрелять безоружную демонстрацию в Тебризе, сотни убитых. Майор Хоссейн Фарзин истязал заключенных, прижигая им веки и вырывая ногти. Диктор сообщает, что несколько часов назад карательный взвод исламской милиции привел в исполнение приговор трибунала.

В холле тяжко и душно во время этого парада отсутствующих — добрых и злых,— тем более что колесо смерти продолжает вращаться, выбрасывая сотни следующих фотографий (уже поблекших и совсем свежих, тех, школьных, и этих — из тюрьмы): эта движущаяся с постоянными остановками процессия застывших, безмолвных лиц начинает так угнетать, но одновременно и так притягивает, что в какой-то момент мне вдруг показалось: сейчас я увижу на экране фотографии сидящих рядом соседей, а потом и свою собственную и услышу диктора, читающего наши фамилии.

■

Моя гостиница заперта изнутри. Никто не придет, ничего не случится. Слова сказать некому, я сижу один в пустом номере, просматриваю лежащие на столе фотографии и заметки, слушаю записанные на пленку разговоры.

Снимок 1910 года. Мы видим молодого офицера Бригады персидских казаков, который стоит около пулемета и объясняет другим офицерам принцип действия смертоносной машины. Молодого офицера (год рождения 1878-й) зовут Реза Хан. Он выше своих товарищей по крайней мере на голову, у него мощная грудная клетка, он похож на силача, без труда гнущего подковы. Выражение лица воинственное, взгляд холодный и проницательный, широкая, массивная челюсть, ни тени улыбки. На голове — казацкая высокая папаха из черного каракуля, поскольку, как я уже говорил, он — офицер Бригады персидских казаков (единственной армии, которой тогда располагал шах). Бригадой командует царский полковник из Санкт-Петербурга Всеволод Ляхов, Реза Хан ходит в любимчиках у полковника; тому нравятся прирожденные солдаты, а наш молодой офицер —

типичный прирожденный солдат. Он вступил в Бригаду безграмотным четырнадцатилетним подростком (впрочем, до конца жизни он так и не научился хорошо читать и писать), и благодаря своей покорности, дисциплинированности, решительности и незаурядному уму, а также благодаря особому качеству, которое в армии называют талантом полководца, он постепенно поднимается по ступеням военной карьеры. Однако быстрое его продвижение по службе начинается только после 1917 года, когда шах, заподозрив Ляхова (совершенно несправедливо) в симпатии к большевикам, увольняет его и отправляет в Россию.

Реза Хан становится полковником и командиром казацкой бригады, которую с этого момента опекают англичане. Британский генерал сэр Эдмунд Айронсайд на одном из приемов, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Резы Хана, говорит ему: полковник, вы человек великих возможностей! Они выходят в сад, где во время прогулки генерал подбрасывает ему идею государственного переворота и обещает благословение Лондона. В феврале 1921 года Реза Хан во главе своей бригады вступает в Тегеран, арестовывает столичных политиков, формирует новое правительство, становится военным министром, а затем премьером. В декабре 1925 года послушное Конституционное собрание (которое боится полковника и стоящих за ним англичан) провозглашает казацкого командира шахом Персии. С этого момента наш молодой офицер с фотографии будет называться Шах Реза Великий, Царь Царей, Тень Всемогущего, Наместник Бога и Центр Вселенной — и станет основателем династии Пехлеви, начинающейся с него и, согласно велению судьбы, заканчивающейся на сыне. В такое же холодное зимнее утро, как то, когда его отец захватил столицу и власть, только спустя пятьдесят восемь лет, сын покинет дворец и Тегеран, улетая на современном реактивном самолете навстречу неведомому року.

Многое станет ясно тому, кто внимательно рассмотрит фотографию отца и сына 1926 года. На этом снимке отцу сорок восемь лет, а сыну — семь. Бросается в глаза разительный контраст между ними: мощная, раздавшаяся фигура шаха — он стоит насупленный, властный, упираясь руками в бока, а рядом, едва доставая ему до пояса, послушно вытянулся по стойке «смирно» худенький бледный мальчик. Оба одеты в одинаковые мундиры и фуражки, на них одинаковые сапоги и пояса, даже пуговиц на мундирах одинаковое количество — четырнадцать. Эта идентичность одежды — идея отца, которому хочется, чтобы сын, совсем, в сущности, с ним несхожий, походил на него как можно больше. Сын чувствует это стремление и, хотя по природе своей слаб, непоследователен, неуверен в себе, будет стараться любой ценой уподобиться суровой, деспотической личности отца. С этого момента в мальчике начнут сосуществовать и состязаться две натуры: его собственная, врожденная, и отцовская; отцовскую он, подгоняемый честолюбием, будет в себе культивировать. В конце концов отцовская природа настолько возьмет верх, что, взойдя на трон, он будет невольно (а часто и сознательно) имитировать манеры отца и даже, в самом конце своего царствования, ссылаться на его властный авторитет. Тем временем отец начинает править со всей свойственной ему энергией и запалом. У него гипертрофированное сознание своей миссии, и он знает, к чему стремится (говоря его грубым языком, он хочет согнать голытьбу на работу и построить сильное современное государство, перед которым все, как он выражается, наделают в штаны со страха). У него железная прусская хватка и простые методы рьяного управляющего. Старый, сонный, разболтанный Иран содрогается до основания (по его приказу Персия отныне называется Ираном). Он начинает с создания внушительной армии. Сто пятьдесят тысяч человек получают мундиры и оружие. Армия загонит народ в современность, научит дисциплине и покорности. Все должны стоять по стойке «смирно»! Он издает запрет носить национальную одежду. Все должны ходить в европейских костюмах! Запрещает носить фески. Все должны ходить в европейских головных уборах. Запрещает носить чадру. На улицах полицейские силой сдирают чадру с перепуганных женщин. Против таких методов протестуют правоверные в мечетях Мешхеда. Он высылает артиллерию, которая сносит мечети и расстреливает бунтовщиков (через сорок три года в Иране повторятся те же сцены). Он приказывает кочевым племенам вести оседлый образ жизни. Кочевники протестуют. Он приказывает отравить их колодцы, обрекая людей на голодную смерть. Кочевники продолжают протестовать, и тогда он высылает против них карательные экспедиции, которые превращают целые округа в необитаемую пустыню. Много крови течет по дорогам Ирана. Шах запрещает фотографировать верблюдов. Он говорит, что верблюд — отсталое животное. В Куме некий мулла читает критическую проповедь. Он входит в мечеть и избивает критика палкой. Великого аятоллу Мадреси, который поднял против него голос, он три года держит в застенке. Либералы робко протестуют в газетах. Он закрывает газеты, сажает в тюрьму либералов. Те, которых он сочтет недовольными, должны в наказание ежедневно отмечаться в полиции.

Пользуясь властью, Реза Хан сколачивает небывалое состояние. Он становится самым крупным феодалом, владельцем трех тысяч деревень и двухсот пятидесяти тысяч крестьян, приписанных к этим деревням, он скупает акции промышленных предприятий и доли в банках, берет приношения, считает и считает, прибавляет и прибавляет; пусть только попадется ему на глаза могучий лес, зеленая долина, урожайная плантация — и лес, и долина, и плантация должны принадлежать ему; неутомимый, ненасытный, он все время увеличивает свои владения, умножает и приумножает свое немыслимое богатство. Но в то же время он и укрепляет государство — строит шоссейные и железные дороги, школы и боль-

ницы, конторы и казармы, модернизирует города. И, однако же, те, кто путешествуют по стране, видят Иран голодающим и апатичным. Иран не хочет стоять по стойке «смирно» и ищет покоя в прохладной тени мечетей...

Знаменитый снимок, который в свое время обошел весь свет: Сталин, Рузвельт и Черчилль сидят в креслах на просторной веранде. Сталин и Черчилль в мундирах. Рузвельт — в темном костюме. Тегеран, солнечное декабрьское утро 1943 года. Фоторепортеры кончают работу, и большая тройка переходит в холл для частной беседы. Рузвельт спрашивает Черчилля, что стало с властителем этой страны шахом Резой («...Если я правильно произношу это имя»,— оговаривается Рузвельт). Черчилль пожимает плечами, отвечает с неохотой. Шах восхищался Гитлером и окружал себя его людьми. В Иране было полно немцев — во дворце, в министерстве, в армии. Абвер стал влиятельной силой в Иране, а шах относился к этому одобрительно, поскольку Гитлер вел войну с Англией и Россией, а наш монарх не любил ни Англии, ни России и потирал руки, когда войска фюрера одерживали успехи. Лондон боялся потерять иранскую нефть, которая была топливом для британского флота, а Москва опасалась, что немцы высадятся в Иране и начнут наступление в районе Каспийского моря. Но прежде всего речь шла о трансиранской железной дороге, по которой американцы и англичане хотели доставлять России оружие и продовольствие. Шах отказал союзникам в разрешении использовать трансиранскую железнодорожную магистраль, а момент был драматический: немецкие дивизии продвигались все дальше на восток. В такой ситуации союзники действуют решительно: в августе 1941 года в Иран вступили британские части и части Красной Армии. Пятнадцать иранских дивизий сдались без особого сопротивления. Шах поверить этому не мог и воспринял происходящее как личное оскорбление и катастрофу. Лишенный своих солдат, он перестал что-либо значить, перестал существовать. Англичане, которые уважают даже предавших их монархов, предложили шаху достойный выход из положения: пусть его величество отречется в пользу своего сына, наследника престола. «Мы о нем хорошего мнения и обеспечим ему поддержку». Но пусть его величество не думает, что у него есть какой-либо другой выход! Шах соглашается, и в сентябре того же 41 года на трон вступает его двадцатидвухлетний сын Мохаммед Реза Пехлеви. Старый шах становится частным лицом и впервые в жизни надевает штатский костюм. Англичане на корабле увозят его в Африку, в Иоганнесбург, где он умирает после трех лет скучной, хотя и спокойной жизни, о которой мало что можно сказать. We brought him, we took him, кратко заключил Черчилль (мы его поставили, мы его сняли).

В ПЕРЕРЫВЕ

Я вижу, что не хватает нескольких снимков или я не могу их найти. Нет, например, фотографии последнего шаха времени его ранней молодости. Нет фотографии 1939 года, тогда он учился в офицерской школе в Тегеране, ему исполнилось двадцать лет, и отец произвел его в генералы. Нет у меня снимка его первой жены Фавзии. Того, где она купается в молоке. Да, Фавзия, сестра короля Фарука, очень красивая девушка, купалась в молоке, но принцесса Ашраф, сестра-близнец молодого шаха и, как говорят, его злой дух, его черная совесть, подсыпала ей в ванну ядовитые порошки: вот вам один из дворцовых скандалов. Зато есть фотография от 16 сентября 1941 года: шах Мохаммед Реза Пехлеви восходит на трон. Он стоит в зале парламента, худой, в парадном мундире, с саблей на боку, и читает по бумажке текст присяги. Этот снимок воспроизводился во всех альбомах, посвященных шаху, а было их десятки, если не сотни. Он очень любил читать о себе книги и рассматривать альбомы, изданные в его честь, открывать свои памятники и экспозиции собственных портретов. Изображения монарха были всюду— стоило остановиться в любом месте и раскрыть глаза: шах был везде. Поскольку он был невысок ростом, фотографам приходилось устанавливать объектив так, чтобы на снимке шах казался самым высоким из присутствующих. Он помогал им в этих ухищрениях — носил обувь на высоких каблуках. Подданные целовали его сапоги. Вот снимки, на которых люди лежат перед ним и целуют его сапоги. Зато у меня нет фотографии 1949 года, на которой шах изображен в мундире. Этот мундир, продырявленный пулями и залитый кровью, был выставлен в стеклянной витрине офицерского клуба в Тегеране как реликвия, как напоминание. Шах был в нем, когда некий молодой человек, выдававший себя за фоторепортера, тяжело ранил монарха несколькими выстрелами из пистолета, вмонтированного в фотоаппарат. Считается, что на шаха было пять покушений. Поэтому создалась такая атмосфера тревоги за его жизнь (впрочем, обоснованной), что ему приходилось передвигаться в окружении толпы полицейских. Иранцев раздражало, что иногда на празднества с участием шаха из соображений безопасности приглашались только иностранцы. О нем говорили язвительно, что по своей стране он путешествует почти исключительно на самолете или вертолете, что видит свою страну лишь с высоты птичьего полета и эта удобная перспектива нивелирует все контрасты.

Ни одной фотографии Хомейни прежних лет у меня не нашлось. Хомейни в моей коллекции появляется сразу старцем, словно он был человеком, не имевшим ни молодости, ни зрелости. Здешние фанатики верят, что Хомейни — пресловутый двенадцатый имам. Тот самый, который исчез в девятом веке и теперь, после тысячелетнего ожидания, вернулся, чтобы избавить народ от нищеты и преследований. Это достаточно парадоксально, однако Хомейни, появляющийся на снимках сразу в виде глубокого старца, мог бы подтвердить эту иллюзорную веру.

ФОТОГРАФИЯ

Можно считать, что это был самый большой день в долгой жизни доктора Мосса-

дыка. Толпа на руках выносит доктора из здания парламента. Он улыбается, приветствует людей, подняв вверх правую руку. Три дня назад, 28 апреля 1951 года, он стал премьером, а сегодня парламент утвердил его законопроект о национализации нефти. Величайшее сокровище Ирана стало собственностью народа. Надо вчувствоваться в атмосферу той эпохи, ибо с тех пор мир сильно изменился. В то время решиться на такой поступок, какой совершил доктор Моссадык, было все равно что неожиданно, без предупреждения сбросить бомбу на Лондон или Вашингтон. Психологический эффект был тот же самый — шок, страх, гнев, возмущение. Где-то там, в каком-то Иране, какой-то старый адвокат и, конечно, жуткий демагог покусился на «Англо-Ираниэн», оплот нашей империи. Неслыханно и — самое главное — непростительно! Колониальная собственность была поистине священной, неприкосновенной ценностью. Но в тот день, когда радостное настроение отражается на всех лицах, видных на фото, иранцы еще не знают, что совершили преступление и должны будут понести тяжелое наказание. А пока что весь Тегеран переживает счастливые минуты, великий день очищения от чуждого и ненавистного прошлого. «Нефть—наша кровь,— скандируют ликующие толпы,— нефть — наша свобода». Атмосфера города заражает и дворец, и шах ставит свою подпись под актом национализации. Это минута всеобщего братания, редкостный момент, который быстро станет воспоминанием, так как согласие в семье нации долго не продлится.

Отношения между Моссадыком и обоими шахами Пехлеви (отцом и сыном) никогда не складывались хорошо. Моссадык был деятелем французского склада, либералом и демократом, верил в такие институты, как парламент и свободная печать, и мучительно переживал состояние зависимости, в котором пребывала его родина. Уже во время первой мировой войны, вернувшись из Европы, где он учился, Моссадык становится членом парламента и с парламентской трибуны борется с коррупцией и лакейством, с жестокостью администрации и продажностью элиты. Когда Реза Хан совершает переворот и надевает шахскую корону, Моссадык со всей решительностью выступает против него, считая его выскочкой и узурпатором, и в знак протеста выходит из парламента и отказывается от участия в общественной жизни. Легко себе представить, сколь диаметрально противоположны были эти две фигуры — доктор Моссадык и полковник Реза Хан. При этом каждый из них обладал твердым и неуступчивым характером, что еще больше затрудняло сближение. Моссадык был натурой эмоциональной, страстной, умел говорить необычайно убедительно и даже, стоя в стороне, высказывал свое мнение о шахе, а услужливые доносчики передавали его монарху. Поэтому шах Реза то сажал его в тюрьму, то выбрасывал в эмиграцию. Во дворце всегда дурно отзывались о Моссадыке, и эти разговоры годами слышал будущий шах — Мохаммед Реза. Когда старый шах отрекается от престола и его диктатуре приходит конец, перед Моссадыком и людьми его покроя открываются большие перспективы. Молодой шах в то время больше интересовался развлечениями и спортом, чем политикой, следовательно, в Иране появляется возможность создать демократию и добиться полной независимости. Силы Моссадыка так велики, а лозунги столь популярны, что шах оказывается в стороне. Он играет в футбол, летает на своем личном самолете, устраивает маскарады, разводится и снова женится, ездит в Швейцарию кататься на лыжах. Шах никогда не пользовался популярностью и поддерживал близкие контакты с ограниченным кругом лиц. Теперь этот круг составляют прежде всего офицеры — опора престола. Старые офицеры, которые помнят, каковы были престиж и сила армии во времена шаха Резы, и молодые офицеры — товарищи нового шаха по военной школе. И тем, и другим претит демократизм Моссадыка, им не по вкусу, что он допускает улицу к участию в государственных делах. Но на стороне Моссадыка в те времена высочайший авторитет — аятолла Кашани, а это означает, что старого доктора поддерживает весь народ.

■

Еще одна фотография. Шах и его новая супруга Сорейя Эсфандиари в Риме. Но это не свадебное путешествие, не радостное и беззаботное времяпрепровождение вдали от забот и рутины повседневности. Даже на этом снимке, для которого молодой, загорелый тридцатичетырехлетний шах позировал в светлом двубортном костюме, он не может скрыть взволнованности, да оно и не удивительно, в эти дни решается его монаршья судьба — он не знает, вернет ли себе оставленный в спешке трон или будет влачить жизнь эмигранта, блуждающего по свету... Вчера, 17 августа 1953 года, они прилетели сюда из Ирана на собственном самолете, который вел шах (это занятие всегда помогало ему рассеяться), и остановились в роскошном отеле «Эксельсиор», где теперь толкутся десятки фоторепортеров, подстерегающих каждое появление царственных супругов. В это летнее каникулярное время Рим полон туристов, на итальянских пляжах толчея (в моду как раз входит бикини), Европа отдыхает, развлекается, осматривает памятники старины, питается в хороших ресторанах, путешествует по горам, разбивает палатки, набирается сил и здоровья на осенние холода и снежную зиму.

А тем временем в Тегеране нет ни минуты покоя, никто и не думает об отдыхе — здесь уже пахнет порохом и слышно, как точат ножи. Все говорят: что-то должно произойти, что-то наверняка произойдет (каждый ощущает мучительную тяжесть воздуха, атмосфера все более сгущается, обещая скорый взрыв), но о том, кто начнет и каким образом, знает только горстка конспираторов. Два года правления доктора Моссадыка подходят к концу. Доктор, которому давно грозит покушение (против него устраивают заговоры и демократы, и

либералы, и люди шаха, и фанатичные верующие), забрав с собой кровать, чемодан с пижамами и сумку с большим запасом лекарств, переселяется в здание парламента, ему кажется, что здесь безопаснее; тут он живет и работает, не выходя наружу, до такой степени пав духом, что те, кто видел его в эти дни, обратили внимание на слезы в его глазах. Все его надежды потерпели крах, расчеты оказались ошибочными. Он изгнал из Ирана англичан, заявив, что каждая страна имеет право на собственные богатства, но он забыл, что закон отступает перед силой. Запад объявил блокаду Ирана и бойкот иранской нефти, которая стала на рынках запретным плодом. Моссадык считал, что в споре с Англией его правоту признают американцы и что они ему помогут. Но американцы не протянули ему руки. Иран, которому, кроме нефти, почти нечего продавать, оказался на грани банкротства. Доктор пишет Эйзенхауэру письмо за письмом, взывает к его разуму и совести, но письма остаются без ответа. Эйзенхауэр подозревает его в коммунизме. Он уже ведет переговоры с шахом, делает на него ставку, однако же шаха бойкотируют в своей стране, он давно не выходит из дворца, его терзают страхи, мучает депрессия, он боится, что разбушевавшаяся гневная улица лишит его трона, говорит близким: все потеряно, все потеряно! Колеблется, не послушаться ли наиболее близких ко двору офицеров, которые советуют ему убрать Моссадыка, если он хочет спасти монархию и армию (Моссадык восстановил против себя всех офицеров, так как уволил в отставку двадцать пять генералов, обвинив их в измене родине и нарушении демократии). Долго не может решиться сделать последний шаг, чтобы до основания сжечь и без того уже шаткие мосты между ним и премьером, оба погрязли в борьбе, которую нельзя прекратить полюбовно, ибо это конфликт между принципом единовластия, представляемым шахом, и принципом демократии, которую провозглашает Моссадык. Возможно, шах оттягивает решение, поскольку испытывает некое уважение к старому доктору, а может быть, просто у него не хватает мужества объявить ему открытую войну, нет уверенности в себе и воли к действию. Наверняка ему хочется, чтобы всю эту болезненную и даже жестокую операцию провели за него другие.

И вот, в нерешимости и состоянии вечного раздражения, он уезжает из Тегерана в свою летнюю резиденцию в Рамсере на берегу Каспийского моря, где в конце концов подпишет премьеру приговор, но, когда окажется, что первая попытка расправиться с доктором прежде времени выплыла наружу и закончилась поражением дворца, не дожидаясь дальнейшего (как оказалось впоследствии, благоприятного для него) развития событий, сбежит со своей молодой женой в Рим.

КНИГА 1

Американские репортеры Дэвид Уайз и Томас Б. Росс пишут в своей книге «The Invisible Government»[1] (London, 1965): «Нет никакого сомнения, что ЦРУ дирижировало переворотом, который в 1953 году привел к свержению премьера Мохаммеда Моссадыка и сохранил трон шаху Мохаммеду Реза Пехлеви. Но немногим американцам известно, что во главе переворота стоял агент ЦРУ, который был внуком президента Теодора Рузвельта. Человек этот — Кермит Рузвельт — провел в Иране столь эффективную операцию, что еще в течение нескольких лет в кругах ЦРУ его называли «мистер Иран»...

КНИГА 2

Два французских репортера Клэр Бриер и Пьер Бланше пишут в своей книге «Au nom de Dieu»[1] (Paris, 1979): «Рузвельт приходит к выводу, что настало время бросить в атаку людей Хабахана Бимора, по прозвищу Хабахан Безмозглый, главаря банды тегеранских люмпенов и чемпиона по национальной борьбе «зоур-кане». Хабахан может собрать триста, четыреста дружков, которые умеют драться, а если надо, и стрелять. Конечно, при условии, что получат оружие. Новый посол США Лой Гендерсон отправляется в банк Мелли и берет пачки долларов, битком набивает долларами свой автомобиль. Говорят, он взял четыреста тысяч и разменял их на реалы.

19 августа небольшие группы иранцев (это люди Безмозглого) вытаскивают банкноты и орут: «Кричите — да здравствует шах!» Те, кто повторяет этот возглас, получают по десять реалов. Вокруг парламента начинают собираться все больше и больше людей, они выстраиваются в колонну и, размахивая деньгами, выкрикивают: «Да здравствует шах!» Толпа растет, одни провозглашают здравицу в честь шаха, другие — в честь Моссадыка. Но вот появляются танки, они атакуют манифестацию противников шаха: это в игру вступил Захеди. В толпу стреляют из пушек и автоматов. На месте остается двести убитых и более пятисот раненых. К четырем часам все кончается, и Захеди дает шаху телеграмму, что тот может возвратиться.

Генерал Фазолла Захеди, которого ЦРУ собиралось поставить на место премьера Моссадыка, был фигурой, достойной шпионского романа: высокий, красивый бабник, в свое время боролся с большевиками, потом попал в плен к курдам, в 1942 году был арестован англичанами по подозрению в шпионаже в пользу Гитлера. Британские агенты, арестовавшие Захеди, утверждают, что нашли в его спальне следующие вещи: коллекцию немецкого автоматического оружия, немного опиума, письма от немецких парашютистов, действовавших в горах, и иллюстрированный каталог самых пикантных проституток Тегерана. После войны Захеди быстро вернулся на арену общественной деятельности».

Бриер и Бланше продолжают: «26 октября 1953 года военным губернатором Тегерана назначается Теймур Бахтиар. Жестокий и безжалостный, он получает вскоре прозвище «убийца». Занимается он главным образом преследованием сторонников Моссадыка. Из тюрьмы Каср выпущены все

[1] «Невидимое правительство» *(англ.)*.

[1] «Во имя бога» *(франц.)*.

уголовники. Туда беспрерывно привозят новых арестованных; тюрьма охраняется танками и броневиками. Сторонники Моссадыка, министры, внушающие подозрение офицеры, члены партии Туде подвергаются допросам и пыткам. В тюремном дворе сотнями совершаются смертные казни.

В памяти иранцев день переворота, 19 августа 1953 года, остался как день истинного восшествия на престол шаха Мохаммеда Реза Пехлеви — восшествия, сопровождавшегося кровопролитием и чудовищными репрессиями, которые начались с этого момента».

КАССЕТА

— Да, конечно, можете записывать. Теперь это уже не запрещенная тема. Раньше — да. Вы знаете, что в течение двадцати пяти лет нельзя было вслух произносить это имя? Что слово «Моссадык» было вычеркнуто из всех книг. Из всех учебников. И представьте себе, что сейчас молодые люди, которые, казалось бы, ничего не должны были о нем знать, шли на смерть, неся его портреты. Вот вам лучший пример того, что дает такое перечеркивание истории. Но шах этого не понимал. Не понимал, что можно человека уничтожить, но это вовсе не значит, что он перестанет существовать. Наоборот, если можно так выразиться, он еще больше будет существовать. Это парадоксы, с которыми не может справиться ни один деспот. Он махнет косой, а трава сразу же вырастет, махнет еще, а трава вырастет высокая, как никогда. Очень утешительный закон природы. Моссадык! Англичане называли его Старый Мосси. Они на него злились, но как-то уважали. Ни один англичанин ни разу в него не выстрелил. Для этого пришлось выписывать мальчиков из Техаса и приглашать наших местных негодяев в мундирах. За несколько дней они установили свои порядки. Мосси посадили на три года в тюрьму. Пять тысяч человек поставили к стенке или поубивали прямо на улице. Вот вам цена спасения трона. Мрачное, кровавое, грязное начало. Вы спрашиваете, неизбежно ли должен был Моссадык проиграть? Прежде всего он не проиграл, он выиграл. К таким людям нужно подходить не с меркой карьеры, а с меркой истории, а это вещи разные. Такого человека можно устранить из администрации, но его никто не устранит из истории, потому что никто не в силах вычеркнуть его из людской памяти. Память — это частная собственность, к ней не имеет доступа никакая власть. Моссадык говорил, что земля, по которой мы ходим, наша, и все, что есть в земле, наше. Раньше в этой стране такого ни от кого не слыхали. И еще он говорил: пусть каждый скажет то, что думает, пусть возьмет слово, я хочу слышать ваши мысли. Вы понимаете, после двух с половиной тысячелетий деспотического унижения он обратил внимание иранца на то, что он мыслящее существо. Этого никогда не делал ни один правитель! То, что говорил Мосси, запомнилось, застряло у людей в голове и живет в них по сей день. Всегда лучше всего запоминаются слова, которые открывают нам глаза на мир. А это были именно такие слова. Посмеет ли кто сказать, что в том, что он говорил и делал, не было смысла? Ни один честный человек так не скажет. Сегодня все согласятся, что он был прав — только раньше времени, вот в чем дело. Нельзя оказываться правым раньше времени, это может стоить карьеры, а то и жизни. Всякая правота созревает долго, а люди тем временем страдают или блуждают в потемках. Но вдруг появляется человек, который провозглашает правду, прежде чем она созрела, прежде чем стала ходячей истиной, и тогда против такого еретика восстают правящие силы и бросают его в костер, или сажают за решетку, или вздергивают на виселице, поскольку он угрожает их интересам, нарушает их покой. Мосси выступил против монархической диктатуры и против зависимого положения страны. Теперь монархии падают одна за другой, а зависимость вынуждена скрываться под тысячью масок, такие она вызывает протесты. Он же выступил с этим тридцать лет назад, когда здесь никто не отваживался говорить вслух об этих очевидных вещах. Я видел его за две недели до смерти. Когда? В феврале шестьдесят седьмого года. Последние десять лет он провел под домашним арестом, в небольшом имении под Тегераном. Конечно, вход туда был запрещен, всю территорию охраняла полиция. Но вы же понимаете, в этой стране, имея знакомства и деньги, можно устроить все. Деньги превратят любую вещь в растягивающуюся резину. Мосси тогда было около девяноста. Я думаю, он продержался так долго потому, что хотел дождаться момента, когда жизнь докажет его правоту. Он был человек твердый, другим с ним было нелегко, потому что он никому не хотел уступать. Но такие люди не умеют и даже не могут уступать. Он до конца сохранил ясный ум и во всем отдавал себе отчет. Только ходил с трудом, опираясь на палку. Останавливался и ложился на землю, чтобы отдохнуть. Полицейские, которые стерегли его, говорили потом, что однажды утром он лег на землю отдохнуть, но долго не вставал, а когда к нему подошли, увидели, что это уже конец...

■

— Итак, шах возвращается, но в стране нет покоя. Студенты митингуют, на улицах демонстрации, стрельба, похороны. В самой армии конфликты, заговоры, распри. Шах боится выходить из дворца, слишком много людей жаждет его крови. Живет в окружении родных, придворных и генералов. Теперь, после устранения Моссадыка, Вашингтон начинает присылать много денег, половину их шах предназначает для армии, он все больше будет ставить на армию, окружать себя войсками. (Впрочем, точно так же поступают правители в других монархиях, существующих в странах, подобных Ирану. Эти монархии — усыпанная золотом и брильянтами форма военной диктатуры.)

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

...Так вот, солдаты получают мясо и хлеб. А ты должен помнить, как бедно живут наши люди и что это значит, когда у солдата есть мясо и хлеб, как это возвышает его над другими.

В те годы было много детей с огромными раздутыми животами: они питались травой. Я помню человека, который прижигал своему ребенку веко сигаретой. От этого весь глаз распухал и гноился, вид был страшный. Себе этот человек мазал руку какой-то мазью, рука распухала и чернела. Так он хотел вызвать сострадание, чтобы кто-нибудь дал им поесть.

Единственной игрушкой моего детства были камни. Я тащил за собой камень на веревке — я был конем, а камень — позолоченной шахской каретой.

Потом шах в течение двадцати пяти лет будет укреплять свою власть. Начинать ему очень нелегко, и многие не верят, что он надолго удержится у власти. Американцы спасли ему трон, но они еще не уверены, что сделали наилучший выбор. Шах льнет к американцам, поскольку нуждается в их поддержке, он не чувствует себя сильным в собственной стране. Без конца ездит в Вашингтон, живет там неделями, беседует, убеждает, заверяет. Но другие тоже ездят и тоже заверяют. Наша элита наперегонки ездит в Америку, начинается аукцион предложений и гарантий, распродажа страны. Американцы все еще колеблются: одни поддерживают шаха, другие — генерала Захеди или министра финансов Али Амини. И годами длятся эти старания, жесты и поклоны с одной стороны и размышления и выжидание — с другой. Тем временем шах и Захеди ликвидируют левых в армии, убирают всех ненадежных. Сотни офицеров расстреляны, про одного из них потом сложили песни. Он не позволил завязать себе глаза, сказал, что хочет увидеть огонь из ствола нацеленной на него винтовки. Многие офицеры эмигрируют.

Полицейское государство уже есть, теперь возникает Савак. Первым шефом Савака станет дядя Сорейи — генерал Бахтиар. Со временем шах начнет опасаться, что дядя — человек сильный и решительный — совершит переворот и лишит его власти. Поэтому он быстро устранит генерала, а потом прикажет его застрелить.

Царит атмосфера подозрений, страха, террора. Никто не знает своей судьбы. Нет покоя, пахнет порохом, пахнет революцией. В Иране никогда нет покоя, над этой страной всегда висит черная туча.

ФОТОГРАФИЯ

На снимке президент Кеннеди в Восточном салоне Белого дома. Март 1961 года. Президент произносит речь, обращенную к послам государств Латинской Америки. Президент оглашает свою новую программу, которая будет называться «Союз ради прогресса». Программа Кеннеди благоприятствует возникновению напряженных ситуаций, бунтов, переворотов и конфликтов, которые в 60-х годах выпадут на долю развивающихся стран. Так же обстояло дело и в Иране. Шах принял (хотя и в ограниченной форме) программу «Союза ради прогресса». Можно допустить, что он нашел в ней для себя существенные выгоды. В частности, ему хотелось добиться двух вещей (увы, несовместимых): упрочить свою власть и повысить свою популярность. Шах принадлежит к числу людей, для которых похвалы, восторги, обожание и преклонение — жизненная потребность, иначе как на этой постоянно возносящей их волне они не могут ни действовать, ни существовать. Ему необходимо постоянно читать о себе слова восхищения, всегда видеть светлеющие при его появлении лица, беспрестанно слушать хвалебные речи. Он страдал или злился, если в этой осанне (а она должна была звучать во всем мире) улавливал раздражавший его ухо тон, помнил такие вещи годами. Об этой слабости шаха знал весь двор, и потому его послы занимались в основном искоренением малейшей критики, даже если она раздавалась в столь малозначащих странах, как Того или Сальвадор, или высказывалась на таких недоступных языках, как занди или оромо. Немедленно следовали протесты, разрыв отношений и контрактов. Это привело к тому, что никто (за редкими исключениями) не знал, что в сущности происходит в Иране, поскольку эта страна — сложная, страдающая, трагическая, кровоточащая — представлялась миру именинным пирогом, облитым розовой глазурью. Быть может, здесь действовал механизм компенсации — шах искал в мире того, чего не мог найти в собственной стране: признания, одобрения. Вот, дескать, пожалуйста, вы тут все время выступаете против меня, а в Португалии меня хвалят, в Заире любят. Он не пользовался популярностью, не был окружен теплом. Улица относилась к нему безразлично или враждебно. Каким-то образом он должен был это чувствовать. И вот представляется возможность привлечь хотя бы деревню, объединить крестьян, раздать им землю. Чью землю? Земельные владения есть у шаха, у феодалов, у духовенства. Если феодалы и духовенство потеряют землю, их власть на местах ослабнет. В деревне разовьется капитализм, государство упрочится, а тем самым упрочится и положение шаха. Его власть обопрется на мощную социальную основу. Все просто. Но то, что делает шах, никогда простым не бывает. Он всегда хитрит, ничего не доводит до конца. Выясняется, что феодалы должны отдать землю, но это касается только части феодалов и только части их земель (и все это за большой выкуп). Что землю получат крестьяне, но только часть крестьян и то лишь тех, которые ее уже имеют (а у большинства никакой земли нет). Шах начинает с того, что сам подает пример — заявляет, что уступает свои земли. Разъезжает по стране и раздает крестьянам акты — удостоверения на право владения землей.

Мы видим на снимках, как он стоит, держа целую охапку бумажных рулонов (это и есть акты), а крестьяне, опустившись на колени, целуют его ботинки. Но проходит немного времени — и разражается скандал! Дело в том, что его отец присвоил себе множество имений — феодальных и церковных. После отречения отца парла-

мент постановил, что эти земли, которыми старый шах завладел незаконно, должны быть возвращены владельцам. И теперь его сын отдает, как свои собственные, те земли, которые имеют законных владельцев, и к тому же берет за все большие деньги, одновременно провозглашая себя великим благодетелем и реформатором!

ИЗ ЗАПИСЕЙ

Каждый предлог, продолжает мой собеседник, был хорош, чтобы выступить против шаха. Люди хотели избавиться от шаха и пробовали свои силы, если подворачивался случай. Они понимали, что шах хочет упрочить свое положение, а тем самым укрепить диктатуру, и не желали этого допускать. Понимали, что белая революция навязана им сверху, что цель ее — узкополитическая, выгодная шаху и больше никому. Теперь все начали поглядывать в сторону Кума. Так всегда было в нашей истории: как только возникало недовольство и ситуация становилась критической, люди начинали прислушиваться, что скажет Кум. Оттуда всегда исходил первый сигнал.

А Кум уже гремел...

■

ФОТОГРАФИЯ

Этот снимок запечатлел группу людей, стоящих на автобусной остановке на одной из улиц Тегерана. Во всем мире люди, ожидающие автобуса, чем-то похожи, у них одинаково апатичные и усталые лица, оцепенело-смиренные позы, мутные, неприязненные взгляды. (У всех остановок в мире есть одно и то же роковое свойство: достаточно постоять минуту в таком месте — и немедленно ваш вид и ваше настроение изменятся к худшему.) Человек, который дал мне эту фотографию, спросил, не вижу ли я на ней чего-нибудь особенного. Подумав, я ответил, что ничего особенного не вижу. На это он сказал, что снимок был сделан из укрытия, из окна на противоположной стороне улицы. Обратите внимание, говорил он, на этого субъекта (внешность чиновника низшего ранга, никаких особых примет), который стоит рядом с тремя беседующими мужчинами и явно прислушивается к разговору. Этот тип был из Савака и всегда дежурил на этой остановке, подслушивал, когда людям в ожидании автобуса случалось поговорить о том о сем. Разговоры обычно бывали бессодержательными. Люди старались беседовать только о вещах нейтральных, но даже в этом случае следовало выбирать такие темы, чтобы полиции трудно было бы в них увидеть многозначительный намек. Савак был чувствителен к любым намекам. Однажды в жаркий день подошел к остановке пожилой человек, у которого было больное сердце, и сказал со вздохом: «Как душно, просто нечем дышать».— «Вот-вот,— сразу подхватил этот дежурный саваковец, придвигаясь к изнемогающему прохожему,— духота невыносимая, людям не хватает воздуха».— «Да-да,— подхватил наивный пожилой человек, хватаясь за сердце,— воздух такой тяжелый и духота страшная!» И тут саваковец официальным тоном заявил сухо: «Сейчас вы придете в себя!» И ничего больше не сказав, увел его на допрос... Никто не знал, где помещается Савак. У Савака не было никакого центрального управления, он был разбросан по всему городу (и по всей стране), был везде и нигде. Тот, кто попадал в руки этой полиции, надолго (или навсегда) пропадал без следа. Человек исчезал неожиданно, никто не знал, что с ним произошло, где его искать, куда пойти, кого спросить, кого молить о милосердии? Возможно, его посадили в одну из тюрем, но в какую? Их было шесть тысяч. В них постоянно, по утверждению оппозиции, пребывало сто тысяч политических заключенных. Перед людьми вырастала невидимая, но неприступная стена, перед которой они останавливались опустив руки, не в состоянии сделать ни шагу вперед. Иран был царством Савака, но Савак действовал в нем как подпольная организация, появлялся и исчезал, заметал за собой следы, не имел адреса. И одновременно разные его отделения существовали официально. Савак осуществлял цензуру прессы, книг и фильмов. (Именно Савак запретил ставить Шекспира и Мольера, поскольку их пьесы критикуют недостатки монархов.) Савак распоряжался в школах, в учреждениях, на фабриках. Это был чудовищно разросшийся спрут, своими щупальцами он охватывал все, вползал в каждый угол, всюду прилеплял свои присоски, шнырял, принюхивался, скреб, ковырял. У Савака было шестьдесят тысяч агентов. Кроме того, у него было, как теперь подсчитывают, три миллиона осведомителей, которые занимались доносительством из разных побуждений — чтобы заработать, чтобы спасти себя, чтобы получить место или продвинуться по службе. Савак покупал людей — либо обрекал их на муки, раздавал должности — либо сажал за решетку. Савак устанавливал, кто является врагом, и тем самым — кого следует уничтожить. Его приговор не подлежал обжалованию. Только шах мог помиловать обреченного, те, кто ниже шаха, были бессильны перед полицией. Все это известно людям, стоящим на автобусной остановке, и потому, после того как саваковец и больной старик ушли, они продолжают молчать...

ИЗ ЗАПИСЕЙ

Виски в условиях конспирации (Хомейни ввел сухой закон), как каждый запретный плод, приобретает особую притягательность. Но в стаканах всего по нескольку капель — хозяева извлекли тщательно припрятанную последнюю бутылку, а известно, что следующую купить будет негде. В эти дни умирают последние алкоголики, оставшиеся в стране. Не имея возможности нигде купить водки, вина, пива и т. п., они вливают в себя какие-то растворители и таким образом кончают с жизнью.

Мы сидим на первом этаже небольшой, но удобной и ухоженной виллы, сквозь

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

раздвинутые стеклянные двери виден сад и сразу за ним стена, отделяющая участок от улицы. Хозяевам около сорока, они получили образование в Тегеране и работают в одном из бюро путешествий (здесь сотни таких бюро, иранцы — страшные непоседы).

— Мы женаты больше десяти лет,— говорит хозяин, чьи волосы уже тронула седина,— но только теперь в первый раз разговариваем с женой о политике. Примерно так же обстоит дело во всех домах моих знакомых.

Нет, он не хочет этим сказать, что они не доверяли друг другу. И никогда ни о чем таком специально не условливались. Это было молчаливое, почти подсознательное соглашение, оно возникло из определенного реалистического отношения к человеческой природе. Никогда не известно, как поведет себя человек в крайней ситуации. До чего его можно довести, до какой клеветы, до какой измены.

— Несчастье в том,— замечает хозяйка дома (несмотря на полумрак, хорошо видны ее большие блестящие глаза),— что ни один человек заранее не знает, в какой степени выдержит пытки. Сможет ли вообще их выдержать. А Савак — это прежде всего чудовищные пытки. Их метод заключался в том, что они похищали человека, идущего по улице, завязывали ему глаза и, ни о чем не спрашивая, везли прямо в камеру пыток. Там сразу начиналось самое чудовищное: переламывание костей, вырывание ногтей, засовывание рук в горящую печь, перепиливание черепа, десятки других жесточайших мучений, и только когда обезумевший от боли человек превращался в изуродованный, окровавленный полутруп, его начинали допрашивать. Имя? Фамилия? Адрес? Что говорил о шахе? Повтори, что говорил? А знаете, он мог ничего не говорить, это мог быть совершенно невинный человек. Невинный? Ничего, что невинный. Так все будут испытывать страх, виновные и безвинные, все будут запуганы, никто не почувствует себя в безопасности. В этом и заключался террор Савака: можно было ударить по каждому, мы все были обвиняемыми, поскольку обвинение касалось не поступков, а намерений, которые Савак мог приписать любому. Ты был против шаха! Нет, не был. Значит, хотел, сволочь! И этого было достаточно.

Иногда устраивали процессы. Для политических (но кто такой — политический? Здесь всех считали политическими) существовали только военные суды. Закрытые заседания, никакой защиты, никаких свидетелей, и сразу приговор. Потом — казнь. Кто подсчитает, сколько людей расстрелял Савак? В Саваке служили неслыханно темные и жестокие подонки; если им попадался в руки человек, имевший обыкновение читать книги, они над ним особенно измывались.

Мне кажется, Савак избегал процессов и трибуналов. Они предпочитали другой метод, чаще всего убивали из-за угла. Потом ничего нельзя было установить. Кто убил? Неизвестно. Где виновные? Нет виновных.

Люди больше не могли выдержать такого террора и потому с голыми руками бросились на армию и полицию. Это можно назвать отчаянием, но нам было уже все равно. Весь народ выступил против шаха, потому что для нас Савак — это был шах, его глаза, уши и руки...

ФОТОГРАФИЯ

Этот снимок висел рядом с лозунгами, призывами и несколькими другими фотографиями на доске объявлений, стоящей перед зданием революционного комитета в Ширазе. Я попросил какого-то студента перевести мне написанное от руки пояснение, пришпиленное булавками под снимком. Здесь написано, сказал студент, что этому мальчику три года, что его зовут Хабиб Фардуст и что он был узником Савака. Как это — узником? — переспросил я. Студент ответил, что бывали случаи, когда Савак сажал в тюрьму целые семьи, и здесь речь идет как раз о таком случае. Он прочел подпись до конца и прибавил, что родители мальчика погибли от пыток. Сейчас выходит много книг о преступлениях Савака, различных полицейских документов и воспоминаний тех, кто пережил пытки. Я даже видел — и это было для меня самым большим потрясением,— как около университета продавали цветные открытки с изображением изувеченных жертв Савака. Все, как во времена Тамерлана, за шестьсот лет никаких перемен, та же патологическая жестокость, только, может быть, несколько более механизированная. Наиболее употребительным орудием в камерах Савака был железный стол с электрическим подогревом, к которому за руки и за ноги привязывали жертву. Много людей погибло на этих столах. Часто бывало, что обвиняемый сходил с ума еще до того, как его вводили в камеру, пока ждал своей очереди — не выдерживал доносящихся оттуда криков и запаха паленой кожи. Но в этом мире кошмаров технический прогресс не успел вытеснить старые, средневековые методы. В тюрьмах Исфахана людей бросали в мешки, где метались ошалелые от голода дикие коты или ядовитые змеи. Рассказы об этих историях, иногда сознательно распространяемые самими саваковцами, годами циркулировали в обществе и воспринимались с особым ужасом, так как каждый мог вообразить себя в такой камере пыток — настолько расплывчатым и произвольным было определение «враг».

Неподалеку от Тегерана находится Соленое озеро (Дарioче-э-Намак). В нем нельзя плавать, вода соленая, тяжелая. Над серой, неподвижной его поверхностью зависали вертолеты, с которых сбрасывали живых людей. Человек падал вертикально и, не изменяя положения, постепенно опускался на дно. На дне этого озера до сих пор стоит неподвижный и молчаливый десант жертв, сброшенных Саваком с воздуха.

В дни революции манифестанты, идущие по улицам Тегерана, поют полный экспрессии и пафоса гимн, в котором несколько раз повторяется рефрен:

Иран, Иран, Иран,
Хун-о-марг-о-осьян.
(Иран, Иран, Иран,
Это кровь, смерть и бунт).

Это трагическое, но, возможно, наиболее точное определение Ирана. В течение многих веков и без каких-либо заметных перерывов.

В этом случае важны даты. В сентябре 1978 года, за четыре месяца до своего ухода, шах давал интервью корреспонденту еженедельника «Штерн». Как раз тогда исполнилось двадцать лет со дня учреждения Савака.

— Сколько политических заключенных в Иране?

Шах: — Что вы понимаете под словами «политические заключенные»? Впрочем, я догадываюсь, что вы имеете в виду. Не больше тысячи.

— Вы уверены, что ни один из них не подвергался пыткам?

Шах: — Я как раз отдал распоряжение отменить пытки.

Снимок, сделанный в Тегеране 4 декабря 1973 года: шах, окруженный частоколом микрофонов, произносит речь в зале, заполненном толпой журналистов. Мохаммед Реза, славящийся безупречными манерами и заученной сдержанностью, на этот раз не может скрыть своих чувств, волнения и даже — как заметили репортеры — лихорадочного возбуждения. В самом деле, момент важный и чреватый последствиями для всего мира, поскольку шах как раз в эту минуту оглашает новые цены на нефть. За каких-нибудь четыре месяца цена нефти возросла в четыре раза, и Иран, которому экспорт этого сырья приносит пять миллиардов долларов годового дохода, теперь будет получать двадцать миллиардов. Добавим, что шах — единственный человек, который вправе распоряжаться этой огромной суммой. Будучи единовластным правителем, он может сделать с ними все что захочет. Может выбросить их в море, истратить на мороженое или запереть в золотой шкатулке. Поэтому трудно удивляться возбуждению, охватившему монарха; никто из нас не представляет, как поведет себя, неожиданно обнаружив в кармане двадцать миллиардов долларов и зная при этом, что каждый год будет получать еще по двадцать миллиардов, а потом, может, и больше. Неудивительно, что с шахом произошло то, что произошло, а именно: он потерял голову. Ему бы собрать свою родню, близких, преданных генералов и доверенных советников и вместе с ними подумать над тем, как разумно использовать такое состояние. Вместо этого шах, которому (как он утверждает) было светозарное видение, объявляет на весь свет, что в течение жизни одного поколения сделает из Ирана — отсталой, неблагоустроенной, наполовину безграмотной, босоногой страны — пятую великую державу. Одновременно монарх провозглашает притягательный лозунг — обещает всеобщее благосостояние, и лозунг этот пробуждает в людях великие надежды. Поначалу надежды эти не кажутся совсем уж несбыточными, ведь всем известно, что шах получил в самом деле большие деньги.

Через несколько дней после вышеупомянутой пресс-конференции монарх дает интервью корреспонденту журнала «Шпигель».

— Через десять лет мы будем жить на таком же уровне, на каком живете вы — немцы, французы, англичане,— заявляет шах.

— Вы полагаете,— спрашивает с недоверием корреспондент,— что этого удастся добиться в течение десяти лет?

— Да. Разумеется.

— Но ведь Западу потребовалось много поколений, чтобы достичь своего нынешнего уровня,— возражает ошеломленный корреспондент.— Будете ли вы способны сделать такой скачок?

— Разумеется.

Я думаю об этом интервью теперь, когда шаха уже нет в Иране. Я пробираюсь через невероятную грязь среди нищих глинобитных хижин маленькой деревеньки под Ширазом, в окружении толпы полуголых, продрогших детей, а перед одной из хижин какая-то женщина лепит из коровьего навоза круглые лепешки, которые (в этой стране нефти и газа!) после того, как их высушат, будут служить в доме единственным топливом. Так вот, когда я прохожу через эту печальную средневековую деревню и вспоминаю то интервью, состоявшееся несколько лет назад, мне приходит в голову банальнейшее соображение, а именно то, что нет такой бессмыслицы, которую не был бы в состоянии выдумать человеческий мозг.

А пока что шах запирается во дворце, откуда отдает сотни распоряжений, которые потрясут Иран, а через пять лет доведут до катастрофы его самого. Он приказывает вдвое увеличить капиталовложения, начинает широко импортировать новейшую технику и решает создать третью в мире — по техническому оснащению — армию. Он рекомендует доставлять в Иран самое современное оборудование, быстро его монтировать и пускать в эксплуатацию. Современные машины дадут современную продукцию, Иран завалит мир изделиями высочайшего качества. Он приказывает строить атомные электростанции, заводы электронной аппаратуры, металлургические комбинаты и всевозможные фабрики и заводы. Засим, поскольку в Европе стоит прекрасная зима, он уезжает в Санкт-Мориц кататься на лыжах. Но очаровательная элегантная резиденция шаха в Санкт-Морице вдруг перестала быть прибежищем тишины и уединения. Известие о новом Эльдорадо к тому времени разошлось по свету и взволновало многие умы. Такое количество денег действует на любое воображение, вот все сразу и подсчитали, какой капитал можно будет сколотить в Иране. Перед швейцарской резиденцией шаха выстроилась очередь премьеров и министров в общем-то уважаемых и состоятельных правительств известных государств. Шах сидел в кресле, грел руки у камина и вслушивался в шумный поток выгодных предложений и деклараций. Теперь у его ног был довольно большой кусок мира. Перед его взором были склоненные головы, согнутые плечи,

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

протянутые руки. Вот видите, говорил он премьерам и министрам, вы не умеете править и потому у вас нет денег! Он поучал Лондон и Рим, давал советы Парижу, выговаривал Мадриду, наводил порядок в мире. Мир все смиренно выслушивал, проглатывая самые горькие пилюли, ибо его взор был обращен на сверкающую пирамиду золота, возвышавшуюся в иранской пустыне. Послы, представляющие свои государства в Тегеране, сбивались с ног, так как правительственные канцелярии забрасывали их десятками телеграмм по поводу денег. Пусть ваше превосходительство сообщит, сколько шах даст денег! Когда и на каких условиях? Он сказал, что не даст? Пусть ваше превосходительство настаивает! Мы гарантируем услуги и обеспечим благожелательную прессу! В приемных даже самых незначительных министров шаха царит постоянная теснота и толчея, лихорадочные взгляды, потные руки, никакого изящества, никакой серьезности. А ведь эти люди, которые толпятся в очереди, оттаскивают других за рукав, с бешенством набрасываются на соседей, кричат, что здесь очередь! — ведь это председатели всемирных акционерных обществ, директора крупных концернов, представители известных фирм и предприятий, наконец, посланники более или менее уважаемых правительств. Отталкивая друг друга, они предлагают, навязывают, расхваливают — кто авиационный завод, кто автомобильный, кто часовой, кто телевизионный. А вместе с этими знатными и — в обычных условиях — благовоспитанными лордами мирового капитала и промышленности в Иран хлынула лавина более мелких сошек: спекулянты и мошенники, эксперты по золоту и драгоценным камням, специалисты по дискотекам и стриптизу, торговцы опиумом и владельцы баров, мастера стричь купоны и держаться на поверхности. Потянулись люди, которые могут издавать персидский вариант журнала «Плейбой», устраивать шоу в стиле Лас-Вегас, оборудовать рулетку лучше, чем в Монте-Карло. Скоро на тегеранских улицах засверкают многочисленные рекламы и вывески: Jimmy's Night Club, Holiday Barber Shop, Best Food in the World, New York Cinema, Discreet Corner,— точно идешь по Бродвею или по лондонскому Сохо. Тем, кто теперь пытается сквозь любую щель пролезть в Иран, где-то еще на европейских аэродромах какие-то студенты, скрывающие лица под капюшонами, пытаются втиснуть в руки свернутые в трубки листовки. В листовках говорится, что люди в их стране умирают под пытками, что невозможно установить, остались ли в живых те, кого похитил Савак. Но кого это интересует, ведь подворачивается случай набить карманы, тем паче что все происходит под провозглашенным шахом благородным лозунгом строительства Великой Цивилизации. Тем временем довольный и отдохнувший шах возвращается с зимних каникул, наконец-то все действительно его восхваляют, весь свет пишет о нем приятнейшие вещи, превозносит до небес его заслуги, газеты подчеркивают, что везде, куда ни глянь, одни затруднения и даже просто безобразия творятся, а в Иране — ничего подобного, там дела идут прекрасно, страна озарена сиянием прогресса и современности, вот куда надо ездить, с кого брать пример, там правит просвещенный монарх, которого не останавливает темнота и нищета народа, он ведет его к вершинам, призывая как можно быстрее расстаться с нищетой и предрассудками и в поте лица взобраться на уровень Франции и Англии. Шах продолжает поучать мир, он чувствует себя на коне и потому критикует коммунистов за то, что они пренебрегают демократией, но в то же время дуется на Запад, поскольку там, наоборот, демократии слишком много, и от этого она загнивает.

— Ваше величество полагает,— спрашивает шаха корреспондент «Шпигеля»,— что принятая вами модель развития в наибольшей степени отвечает требованиям современности?

— Я убежден в этом,— заявляет шах. Он совершает крупные закупки, со всех континентов в Иран плывут корабли, полные товаров. Но когда они доплыли до Персидского залива, оказалось, что у Ирана нет портов (о чем шах не знал). То есть порты есть, но маленькие и старые, не способные принять такое количество грузов. Несколько сотен кораблей стояло в море, ожидая своей очереди, часто и по полгода. Иран платил судовым компаниям миллионы долларов неустойки в год. Постепенно суда были разгружены, но тогда оказалось, что у Ирана нет складов (о чем шах не знал). Под открытым небом, в пустыне, на кошмарной тропической жаре лежал миллион тонн всевозможных товаров, половина этого добра годилась уже только на помойку, потому что там были и пищевые продукты, и разные нестойкие химикалии. Весь привезенный товар надо было везти в глубь страны, но тут оказалось, что в Иране нет транспорта (о чем шах не знал). То есть было немного автомобилей и вагонов, но это была капля в море по сравнению с потребностями. Поэтому из Европы доставили две тысячи грузовиков, но тогда выяснилось, что в Иране нет водителей (о чем шах не знал). После многочисленных совещаний были посланы самолеты в Сеул, откуда были доставлены в Иран южнокорейские водители. Машины начали перевозить грузы. Но водители, выучив несколько слов по-персидски, быстро установили, что им платят в два раза меньше, чем водителям-иранцам. Возмутившись, они побросали грузовики и вернулись в Корею. А грузовики, уже бесполезные, засыпанные песком, остались стоять в пустыне, на дороге из Бандар-Аббаса в Тегеран. Однако со временем, с помощью иностранных транспортных фирм закупленное оборудование было доставлено на места назначения. Надо было начинать его монтировать. Но тогда оказалось, что в Иране нет ни инженеров, ни техников (о чем шах не знал). Если рассуждать логически, то, создавая Великую Цивилизацию, следует начинать с людей, с подготовки профессиональных кадров, с создания собственной интеллигенции. Но как раз такой подход был неприемлем! Открыть новые университеты, открыть политехнические институты? Да ведь каждое учебное заведение — это осиное гнездо. Каждый студент — бунтовщик,

смутьян, вольнодумец! Можно ли удивляться шаху, что он не желал сам себе копать яму? У монарха был свой расчет — он держал большинство своих студентов подальше от Ирана. С этой точки зрения Иран представлял собой уникальный феномен! Более ста тысяч молодых людей обучалось в Европе и Америке, что обходилось Ирану много дороже, чем создание собственных высших учебных заведений. Но таким образом режим гарантировал себе относительное спокойствие и безопасность. Большая часть этой молодежи никогда не возвращалась. В Сан-Франциско и в Гамбурге сегодня больше врачей-иранцев, чем в Тебризе и Мешхеде. Они не возвращались, несмотря на то что шах предлагал им высокие ставки: боялись Савака и больше не хотели целовать ничьи сапоги. В течение многих лет в этом была великая трагедия страны. Диктатура шаха, репрессии и преследования обрекли лучших людей Ирана, самых крупных писателей, ученых и мыслителей на эмиграцию, молчание или кандалы. Образованного иранца легче было встретить в Марселе или Брюсселе, чем в Хамадане или Казвине. В Иране иранец не мог читать книги своих прекрасных писателей (потому что они выходили только за границей), не мог смотреть фильмы своих выдающихся режиссеров (потому что их запрещено было показывать в стране), не мог слышать своих интеллектуалов (потому что они были обречены на молчание). По воле шаха людям остался выбор между Саваком и муллами. И конечно, они выбрали мулл. Когда идет речь о свержении какой-либо диктатуры (а режим шаха был особенно жестокой и коварной диктатурой), не следует питать иллюзий, что вместе с ней исчезает, как дурной сон, вся система. Разумеется, физическое существование системы кончается. Но ее психологические, социальные последствия остаются, живут, долгие годы дают себя знать и даже могут проявиться в подсознательно сохраняемых прежних формах поведения. Диктатура, уничтожая интеллигенцию и культуру, оставляет после себя пустое и мертвое поле, на котором еще не скоро взрастет древо мышления. На это бесплодное поле из укрытий, из щелей, из углов не всегда выходят лучшие — часто это бывают те, кто оказался сильнее,— и не всегда люди, которые могут внести или создать новые ценности, скорее те, что сумели выжить благодаря своей толстой шкуре и несокрушимому цинизму. В таких случаях история начинает вращаться в трагическом порочном кругу и иногда требуется целая эпоха, чтобы она могла из этого круга вырваться. Однако здесь следует остановиться и даже вернуться на несколько лет назад, поскольку, опережая события, мы уже разрушили Великую Цивилизацию, а нам еще предстоит ее построить. А как тут строить, если нет специалистов, а народ, хотя и стремится к образованию, не имеет учебных заведений. Чтобы претворить в жизнь видение шаха, нужно было немедленно найти для промышленности по меньшей мере семьдесят тысяч специалистов. Выход нашелся самый простой и самый безопасный — будем доставлять их из-за границы. Вопрос безопасности был здесь очень весомым аргументом, ведь само собою разумеется, что чужой человек не станет организовывать заговоры и устраивать бунты, не будет протестовать и возмущаться Саваком, ему нужно только выполнить свою работу, заработать денег и уехать. Вообще в мире прекратились бы всякие революции, если б жители Эквадора строили новую жизнь в Никарагуа, а индийцы работали в Родезии. Смешать, перемешать, переселить, рассеять — и будет тишина и спокойствие. И вот в Иран начинают стекаться десятки тысяч иностранцев. Самолет за самолетом приземляется на тегеранском аэродроме. Приезжает домашняя прислуга с Филиппин, гидравлики из Греции, электрики из Норвегии, бухгалтеры из Пакистана, механики из Италии, военные из США (этих больше всего). Перед нами фотографии шаха того периода — шах беседует с инженером из Мюнхена, шах беседует с мастером из Милана, шах беседует с крановщиком из Бостона...

А кто же те иранцы, которых мы видим на снимке? Это министры и сотрудники Савака, охраняющие монарха. Зато те иранцы, которых мы на снимке не видим, взирают на все это с растущим недоумением. Прежде всего эта армия чужеземцев уже в силу самой своей компетентности, в силу того, что умеет нажимать соответствующие кнопки, передвигать соответствующие рычаги, соединять соответствующие кабели — как бы скромно они ни держались — начинает доминировать, начинает вызывать у иранцев комплекс неполноценности. Он умеет, а я нет. Иранцы — народ гордый и необычайно чувствительный в вопросах личного достоинства. Иранец не признается, что чего-нибудь не умеет, это для него великий позор, он «теряет лицо». Он будет страдать, мучиться и в конце концов — возненавидит. Иранец быстро разгадал, из каких соображений исходил шах: ваше дело — сидеть в тени мечетей и пасти овец, раньше чем через сто лет от вас толку не жди, а я должен за десять лет построить мировую империю с американцами и немцами. Поэтому иранцы восприняли Великую Цивилизацию прежде всего как великое унижение. Но это, конечно, лишь одна сторона вопроса. Дело в том, что вскоре стали распространяться слухи насчет того, сколько зарабатывают эти специалисты в стране, где для многих крестьян десять долларов — целое состояние (крестьяне получали за свою продукцию пять процентов той цены, по которой она потом продавалась в городе на рынке). Самое большое возмущение вызывают размеры жалованья американских офицеров, приглашенных шахом. Часто оно составляет сто пятьдесят тысяч долларов в год. Можно вообразить, как обожает шаха и его Цивилизацию средний иранец, едва сводящий концы с концами, что он испытывает, когда в собственной стране его постоянно третирует, поучает, высмеивает множество чужих людей, которые — даже если этого не демонстрируют — убеждены в своем превосходстве. Можешь быть великим и величай-

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

шим, но у себя дома, а зачем же ты к нам-то приехал со своим величием! В конце концов, с помощью иностранцев часть заводов была построена, но тогда оказалось, что нет электроэнергии (о чем шах не знал). То есть, точнее говоря, и не мог знать, поскольку шах читал статистические отчеты, а из них следовало, что электроэнергия есть. И это было правдой, только по отчетам выходило, что энергии в два раза больше, чем ее было в действительности. Тут уж шах разгневался не на шутку, ибо понял, что по причине недостатка энергии нельзя запустить ракету Великой Цивилизации, а шел уже 1977 год, и, согласно обещаниям монарха, оставалось лишь пять лет до того момента, когда Его Царство вознесется до уровня Англии и Франции. А тем временем петля почти совсем затянулась, и шах надумал экспортировать промышленные товары, поскольку, имея столь фантастические деньги, он не только истратил их до гроша, но и залез по уши в долги. А зачем, спрашивается, Иран делал долги? Затем, что должен был выкупать акции крупных иностранных концернов, американских, немецких, разных. А разве это было так уж необходимо? Да, это было необходимо, потому что шах собирался править миром. В течение нескольких лет он всех поучал, давал советы шведам и египтянам, но теперь ему потребовалась еще и реальная сила. Иранская деревня тонула в грязи и топила печи коровьим навозом, но какое это имело значение, когда шах жаждал мирового господства?..

ФОТОГРАФИЯ

Собственно говоря, это не фотография, а репродукция картины, написанного маслом портрета, на котором художник-панегирист представил шаха в позе à la Наполеон (император Франции верхом на коне командует одним из своих победоносных сражений). Этот снимок распространяло иранское министерство информации (nota bene, руководимое Саваком), следовательно, оно получило на то санкцию монарха, который любил такого рода сравнения. Хорошо скроенный мундир, подчеркивающий стройность спортивной фигуры Мохаммеда Резы, ошеломляет богатством золотого шитья, количеством орденов и изысканным рисунком размещенных на груди шнуров. На этом портрете мы видим шаха в его самой любимой роли — в роли «предводителя армии». Его истинным увлечением, его всепоглощающей страстью является именно армия. Армия всегда была опорой трона, а по прошествии лет стала единственной его опорой. В тот момент, когда армия рассыпалась, шах перестал существовать. Правда, я сомневаюсь, можно ли в данном случае вообще пользоваться этим определением «армия»: здесь она была не чем иным, как орудием внутреннего террора, чем-то вроде живущей в казармах полиции. Историю армии Мохаммеда Резы знаменуют страшные избиения собственного народа. Поэтому все, что связано с армией, народ воспринимал со страхом и ужасом. Даже разделение между армией и полицией (в Иране было восемь родов полиции) носило чисто формальный характер. Во главе всех родов полиции стояли генералы армии — приближенные шаха. Армия, так же как Савак, имела все привилегии. («После окончания учебы во Франции,— рассказывал мне один врач,— я вернулся в Иран. Однажды мы с женой пошли в кино, встали в очередь. Появился унтер-офицер, он взял билет без очереди. Я сделал ему замечание. Тогда он подошел ко мне и с размаху ударил по лицу. Мне пришлось принять пощечину со смирением, поскольку соседи по очереди предостерегли меня, что любой протест кончится тюрьмой».) Итак, шах лучше всего чувствовал себя в мундире и больше всего времени посвящал своей армии. Много лет его любимым занятием было чтение журналов (эти журналы дюжинами издаются на Западе), посвященных новым видам оружия, рекламируемого разными фирмами и трестами. Мохаммед Реза выписывал все эти издания и внимательно их изучал. В течение многих лет, не имея достаточно денег, чтобы закупить любую из этих смертоносных игрушек, если она придется ему по вкусу, он мог только во время своего увлекательного чтения погружаться в мечты и надеяться, что американцы дадут ему пару танков или самолетов. Американцы действительно давали много, однако находился и какой-нибудь сенатор, который поднимал шум: Пентагон, дескать, отправляет шаху слишком много оружия. Например, сенатор Хьюберт Хэмфри предал гласности беседу, в которой ближайший доверенный шаха, генерал Овеисси, сказал Хэмфри: «Вы дали нам достаточно оружия, чтобы мы могли держать в ежовых рукавицах свой народ, теперь вы должны дать нам столько, чтобы мы могли побить русских».

Когда шах получил огромные нефтяные деньги, его заботы кончились. Прежде всего он разделил эту фантастическую сумму — двадцать миллиардов долларов — примерно пополам. Десять миллиардов он предназначил на экономику, десять миллиардов — на армию. (Напомню, что в армии служит примерно один процент населения страны). Затем монарх — с еще большей страстью, чем всегда,— погрузился в чтение военных журналов и проспектов, а из Тегерана поплыл в мир поток самых невероятных заказов.

Сколько танков в Великобритании? Полторы тысячи. Прекрасно, заказываем две тысячи. Сколько пушек в бундесвере? Тысяча. Прекрасно, заказываем полторы тысячи. Но почему всегда больше, чем в английской армии и бундесвере? Потому что мы должны иметь третью армию в мире. Что поделаешь, мы не можем иметь ни первой, ни второй, но третью — да, третью можем и должны. И вот снова в сторону Ирана плывут корабли, летят самолеты и едут автомашины с грузом самого современного оружия, изобретенного и изготовленного людьми. Очень быстро (если с постройкой заводов и фабрик были осложнения, то с доставкой оружия дела шли наилучшим образом) Иран превращается в большое выставочное пространство разнообразного оружия и военного оборудования. Именно выставочное, так как в стране нет ни складов, ни арсеналов, ни ангаров, чтобы все это спрятать и хранить. Зрелище

и в самом деле небывалое. Когда едешь из Шираза в Исфахан, в одном месте по правую сторону дороги среди чистого поля видишь сотни вертолетов. Бездействующие машины постепенно засыпает песок. Никто не охраняет этой территории, но это и не нужно: нет людей, которые могли бы запустить эти машины. Под Кумом целые поля занимают оставленные в беспорядке пушки, поля брошенных танков можно увидеть около Ахваза. Но мы опережаем события. Пока еще в Иране правит Мохаммед Реза, чей распорядок дня заполнен до последней минуты. Ибо арсенал монарха растет, постоянно прибывает что-то новое — то ракеты, то радары, то истребители, то бронемашины. Всего этого очень много, только за год военный бюджет Ирана возрос пятикратно, с двух до десяти миллиардов долларов, а шах уже размышляет о дальнейшем его увеличении. Монарх ездит, проверяет, осматривает, ощупывает. Он принимает донесения, рапорты, слушает объяснения — для чего служит вот эта рукоятка, а что будет, если нажать вот на эту красную кнопку. Шах слушает, кивает головой. Однако какие странные лица выглядывают из-под круглых боевых шлемов, из-под овальных летных и танковых пилоток! Какие-то слишком светлые, с русыми усами и бородами, а иногда совершенно черные, негритянские. Ну да, ведь это американцы! Ведь кто-то должен летать на этих самолетах, кто-то должен управлять радаром, кто-то должен устанавливать мишени: известно, что Иран не располагает техническими кадрами, не только гражданскими, но и военными. Покупая наиболее сложное оборудование, шах был вынужден приглашать дорогих американских военных специалистов, которые умели бы им пользоваться. В последний год его правления их находилось в Иране около сорока тысяч. Это много. Каждая третья фамилия в офицерской платежной ведомости была американской. Даже американская армия не имела такого количества экспертов, какого домогался шах.

В один прекрасный день, рассматривая проспекты военных фирм, шах пришел в восторг при виде новейшего эсминца «Спруэнз». Цена одного экземпляра составляла тридцать восемь миллионов долларов. Шах немедленно заказал четыре. Суда были доставлены морским путем в порт Бандар Аббас, но американские экипажи должны были вернуться на родину, так как сами Соединенные Штаты не располагают достаточным количеством специалистов для обслуживания этих кораблей. И по сей день они ржавеют в порту Бандар Аббас. В другой прекрасный день восхищение шаха вызвал прототип бомбардировщика F-16. Он сразу решил закупить большую партию. Но американцы народ бедный, им не хватает средств на порядочное оружие, и они сняли бомбардировщик с производства, поскольку его цена оказалась слишком высокой — двадцать шесть миллионов долларов за экземпляр. К счастью, шах спас положение и решил поддержать своих бедных друзей. Он прислал им заказ на сто шестьдесят таких самолетов, присовокупив к нему чек на сумму три миллиарда восемьсот миллионов долларов. Вот только почему бы из этих головокружительных сумм не отдать хотя бы один миллион, чтобы приобрести несколько городских автобусов для Тегерана? Столичные жители часами ожидают автобуса, а потом часами добираются до работы. Городские автобусы? А что же есть величественного в городском автобусе? Разве от него исходит блеск всевластия? А что, если взять один миллион и на эти деньги построить колодцы в нескольких деревнях? Колодцы? А кто, интересно, поедет в эти деревни осматривать эти колодцы? Эти деревни расположены далеко в горах, никто не захочет смотреть на них и любоваться ими. Допустим, мы издаем альбом, в котором представляем Иран как пятую державу мира. Разве стоит помещать туда иллюстрацию с изображением деревни с колодцем? Люди в Европе удивятся. Что означает такая фотография? Ничего. Просто деревня, в которой стоит колодец. А вот если мы поместим снимок монарха на фоне длинного ряда реактивных самолетов (таких фотографий очень много), все с восхищением закивают головой и скажут, разумеется, что это шах превратил Иран в нечто небывалое.

Тем временем Мохаммед Реза находится в своем штабном кабинете. Я видел по телевизору репортаж из этого кабинета. Целую стену занимает огромная карта мира. На значительном расстоянии от нее стоит глубокое покойное кресло, а рядом с ним столик и три телефона. Любопытно, что во всем помещении нет никакой другой мебели. Ни кресел, ни стульев. Здесь он находился один. Садился в кресло и разглядывал карту. Острова в проливе Ормуз. Уже завоеваны, заняты его войсками. Оман. Там находятся его дивизии. Сомали. Он оказал там военную помощь. Заир. Он действовал здесь так же, как в Сомали. Он предоставил кредиты Египту и Марокко. Европа. Здесь у него капиталы, банки, доли в больших концернах. Америка. Здесь он тоже выкупил много акций, имел право голоса. Иран разрастался, становился огромным, занимал позиции на всех континентах. Индийский океан. Да. Настал момент, чтобы упрочить свое влияние на Индийский океан. Этому вопросу он начал посвящать все больше времени.

ФОТОГРАФИЯ

...Занятый созданием пятой державы, революцией, цивилизацией и прогрессом, шах не имел времени углубляться в такие мелочи, как заботы о нуждах подданных. Миллиардные счета монарха возникали простым способом. Он был единственным человеком, который имел право контролировать бухгалтерию Иранской нефтяной компании. Иными словами, он решал вопрос о распределении нефтедолларов, а граница между карманом монарха и государственной казной была нечеткая, неопределенная.

С того момента, когда Иран начинает свой нефтяной бизнес, ни один сенат не

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
КАНУН

имеет права вмешиваться во внутренние дела Ирана, и поток долларов спокойно может выплывать из страны в чужие, но доверенные банки. Каждый год иранская элита помещает в этих банках более двух миллиардов долларов, а в год революции вывезла их более четырех миллиардов. Это был грабеж страны в масштабах, которые трудно вообразить. Каждый мог вывезти столько денег, сколько имел, без какого-либо контроля и ограничений, достаточно было заполнить чек. Но это еще не все, так как помимо этого вывозятся огромные суммы, чтобы с ходу истратить их на презенты и развлечения, а также на то, чтобы в Лондоне, Сан-Франциско или во Франкфурте-на-Майне приобрести целые улицы многоэтажных домов и вилл, десятки отелей, частных больниц, игорных домов и ресторанов. Огромные деньги позволили шаху вызвать к жизни новый класс, не известный прежним историкам и социологам,— нефтяную буржуазию. Буржуазия эта ничего не производит, и ее единственным занятием является безудержное потребление. Это класс паразитов, который быстро присваивает себе значительную часть нефтяных доходов и становится хозяином страны.

Эти люди одеваются в Нью-Йорке и Лондоне (дамы — обычно в Париже), свободное время проводят в американских клубах в Тегеране, их дети получают образование за границей. У этих людей светские манеры, они говорят на европейских языках. Хотя бы по этой причине европейцы именно с ними ищут контактов. Но как же далек от тех вилл реальный Иран, который скоро заговорит во весь голос и потрясет мир! Класс, о котором идет речь, руководствуясь инстинктом самосохранения, предчувствует, что его восхождение столь же стремительно, сколь и непродолжительно. Поэтому он с самого начала сидит на чемоданах, вывозит деньги и скупает недвижимость в Европе и Америке. Но, поскольку денег много, часть состояния можно отвести на комфортабельное устройство в Иране.

В Тегеране начинают возникать супермодные районы, ошеломляющие новоприбывшего комфортом и роскошью. Цены многих домов достигают миллиона долларов. Районы эти вырастают в том самом городе, где на других улицах целые семьи гнездятся на нескольких квадратных метрах без света и воды. На глазах молчаливой и все более враждебной толпы новый класс демонстрирует иранский вариант «дольче вита», не зная удержу в своей разнузданности, ненасытности и цинизме. Он провоцирует пожар, в пламени которого сгорит вместе со своим вдохновителем и покровителем...

■

АЛЕКСАНДР БОВИН

ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Хроника, документы, размышления

«Иран представляет собой остров стабильности в одном из беспокойных районов мира... Это в значительной мере заслуга вашего величества и результат того уважения, восхищения и любви, какими вы пользуетесь у вашего народа». Так сказал президент США Дж. Картер, поздравляя иранского шаха с новым, 1978 годом. Впрочем, шах измерял свое время в иной системе координат. С 21 марта 1976 года за точку отсчета был принят 558 год до нашей эры, год коронации персидского «царя царей» Кира Ахеменида. Так что шах жил в году 2536-м. А в Неджефе, где вот уже почти полтора десятка лет находился опальный аятолла Хомейни, текло другое время: мусульманский календарь показывал 1356 год.

Оставаясь в пределах метафоры, можно утверждать, что гигантский взрыв, потрясший иранское общество, был неизбежным результатом столкновения трех разных временных потоков. Распалось, исчезло, было сметено шахское время. Наступило время Хомейни. Имам, писал после встречи с ним один египетский журналист,— это «человек седьмого века, ворвавшийся в XX столетие со скоростью летящей пули, движимой силами прошлого. Кто знает, что разнесет эта пуля в настоящем или будущем? В этом суть кризиса». Да, верно. Но кто знает, что сделает с этой «пулей» настоящее или будущее? И в этом тоже суть кризиса...

В считанные месяцы «остров стабильности» был поглощен бурлящим, клокочущим океаном страстей человеческих. Деспотам,

---

БОВИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1930 г.) Советский журналист. Политический обозреватель газеты «Известия». Автор статей по проблемам внешней политики и международных отношений.

самодержцам мало, чтобы их боялись. Они хотят, чтобы их любили. Что ж, официальная любовь — это тень неофициального страха, обратная сторона разъедающего душу раболепия. И взрываются аплодисментами огромные залы. И заполняются улицы восторженно ревущей толпой. И сервильная пресса изо дня в день тиражирует всеобщее восхищение... Но чем плотнее сотканное пропагандистской машиной покрывало, тем эффективнее действуют глубинные, скрытые под поверхностью событий механизмы, перегоняющие любовь в ненависть, восхищение в ярость. «Когда сажают дерево, корни которого питаются кровью,— писал Фирдоуси,— то сколько бы ни прошло времени, на нем вырастут плоды мести».

Представляемые «Иностранной литературой» отрывки из книги Рышарда Капущинского — не научное исследование о причинах иранской революции. Это — своеобразная смесь репортажей с исторической публицистикой. Автор не столько исследует, сколько показывает; его интересует не столько логика, сколько психология. Однако — и в этом сила таланта и, наверное, четкость замысла — сквозь фрагментарность, импрессионистские мазки, сквозь причудливую смену лиц и сюжетов постепенно проступает рельефная картина предреволюционного Ирана. «Народ должен восстать!» — вот, пожалуй, главный и единственно возможный вывод из страниц, посвященных богатству и нищете, коррупции и пыткам, обману и самообману, мании величия и бессилию силы.

Меня попросили прокомментировать работу Капущинского. Но сама по себе она вряд ли нуждается в комментариях. В ней все понятно и все правильно. И поэтому вместо комментария я написал нечто вроде документированной хроники иранской революции. Мне хотелось, чтобы каждая страница недавней и уже такой далекой истории говорила своим, присущим только ей голосом. Отсюда — обилие «цитат»: документов, заявлений, интервью и т. д. Не везде они сопровождаются авторскими оценками. В ряде случаев оценить сказанное, сделать вывод должен «сам» читатель...

Динамика иранской революции, ее стихийность и массовость не имеют прецедентов в послевоенной истории. Локальные репрессии, разрозненные карательные операции не тушили, а лишь разжигали огонь всеобщего недовольства. За одной волной демонстраций, забастовок, протестов вставала новая, еще более грозная. Стремительность, неожиданность событий захлестнули, парализовали шахский дворец. В середине августа 1978 года шах согласился ответить на вопросы корреспондентов западногерманского журнала «Штерн». Вот их впечатления: «Шах сидел погрузившись в свои мысли, надломленный и усталый. На его лице можно было увидеть следы утренних сообщений: прошлой ночью в столице снова раздавались выстрелы, по всей стране его противники вновь взялись за дело. Как и в 1953 году, когда ему пришлось бежать от революционеров, дела шаха Мохаммеда Реза Пехлеви обстоят плохо. Шах был похож на представителя похоронного бюро: он был одет во все темное, но темной была не только его одежда. Можно сказать, темным было и его лицо, и, в первую очередь, голос. Голос был усталым и бессильным. Редко на какой-нибудь другой пленке с записью интервью журналу «Штерн» можно услышать столько вздохов». Но шах не только вздыхал. Он все еще пытался действовать, пытался сопротивляться.

«Чтобы уцелеть, проводите реформы» — учил когда-то английских тори Маколей. Шах вряд ли читал Маколея. Да это и не нужно. То, что в середине XIX века казалось почти ересью, давно уже стало общим местом политики. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — для политиков это не юмор, а жестокая необходимость. И шах сам бросил себе спасательный круг. 28 августа было сформировано правительство Джафара Шариф-Имами. Оно разрешило деятельность политических партий и отменило цензуру печати. Не помогло. Вернее, если и помогло, то только не шаху. Сентябрь начался массовыми манифестациями в Тегеране и других городах. 6 сентября правительство запретило демонстрации. 7 сентября демонстрациями была охвачена вся страна.

Утром 8 сентября агентство Парс распространило следующее заявление правительства: «Было отмечено, что лица, действующие в рамках антинародного заговора вопреки призывам верховного духовенства к сохранению спокойствия и недопущению беспорядков, организовали широкие демонстрации и сеяли смуту. Эти лица выдвигали лозунги, противоречащие конституции страны, нарушали законы и общественный порядок, нарушали обычный распорядок жизни населения и его экономическую деятельность, создавали обстановку страха и беспокойства среди населения страны, что неприемлемо для каждого иранца-патриота».

«Мы располагаем,— настаивало правительство,— точными сведениями о корнях этого глубокого заговора, который с каждым днем принимал все более широкие масштабы при иностранной финансовой помощи и подстрекательстве извне». «От имени народа» правительство объявило о введении военного положения на шестимесячный период в Тегеране и еще одиннадцати городах.

Это было, повторяю, утром. А через несколько часов Тегеран превратился в арену кровопролитного столкновения безоружных толп с правительственными войсками. «Бойня в Тегеране», «Черная пятница», «Иран в огне и крови», «Кровавая баня». Закон пушек»,— под такими или аналогичными им заголовками вышли на следующий день многие газеты мира. «День 8 сентября,— писала в передовой парижская «Фигаро»,— следует считать поворотным в иранском кризисе. Человеческое море, захлестнувшее Тегеран, несмотря на правительственное запрещение, развеяло последние иллюзии.

АЛЕКСАНДР БОВИН
ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Стало ясно, что расчеты шаха примириться с умеренными руководителями шиитской общины потерпели неудачу». Со стороны, как говорится, виднее. То, что было ясно в Париже, отнюдь не было ясно в Тегеране и Вашингтоне.

10 сентября Картер позвонил шаху. Президент выразил сожаление по поводу гибели людей и высказал надежду, что либерализация будет продолжаться. В этот же день в Тегеране открылась чрезвычайная сессия меджлиса. Дж. Шариф-Имами зачитал программное заявление правительства. Причиной неудовлетворенности, «которую можно наблюдать в любом уголке страны», сказал премьер, явились проблемы, вызванные «нескоординированным развитием общества». И далее: «Если не будет начата решительная борьба против коррупции и антинациональных лозунгов, представляющих опасность для независимости страны, государство не сможет избавиться от существующих проблем. Мы заявляем о полном уважении прав всех слоев общества и поддерживаем их».

За доверие правительству проголосовали 173 депутата, против — 16, 2 воздержались. Все это, однако, уже не имело значения. История Ирана делалась не в стенах меджлиса и министерских кабинетов. Она делалась на улицах и в мечетях. Она делалась в скромном доме недалеко от Парижа.

7 октября во Францию прибыл аятолла Хомейни, человек, имя которого стало символом непримиримой борьбы против шахской тирании. Что же это за человек, о котором совсем недавно знала только шиитская община, а ныне говорит и пишет весь мир? Судя по тем материалам, которые мне приходилось встречать, Хомейни родился в 1899 (или в 1900) году в небогатой крестьянской семье в небольшом городке Хомейн к югу от Тегерана. Учился в мусульманской школе сначала в Хомейне, а потом — в Араке, где его учителем был известный богослов Абдель Керим Хаэри. В 1920 году Хаэри переехал в Кум и основал там знаменитую ныне медресе Файзие. Вместе с Хаэри в Кум перебрался и его талантливый ученик. Пишут, что Хомейни увлекался исламским мистицизмом, изучал Платона и Аристотеля, что он всегда связывал ислам с политическими проблемами. Хомейни были свойственны резко выраженные антимонархические настроения. В 1944 году он оказался единственным духовным лицом, отказавшимся встать, когда школу в Куме посетил шах. Хомейни поддерживал антиколониалистскую политику Моссадыка.

В конце 50-х годов Хомейни стал аятоллой и тем самым получил право публично высказывать свои взгляды Резко и неоднократно Хомейни противопоставлял свою позицию позиции шаха. Известна его телеграмма тогдашнему премьеру Асадолле Аляму: «Мое сердце готово к тому, чтобы быть пронзенным штыками ваших солдат. Я никогда не замолчу». В июне 1963 года Хомейни был арестован. Просидел четыре месяца, был выпущен на свободу, но вскоре снова оказался в тюрьме Его освободили через полгода и выслали в Турцию, откуда он скоро перебирается в Ирак в священный для шиитов город Неджеф Там он преподавал в мусульманской академии и продолжал пропагандистскую войну против шаха: пленки с записью его филиппик переписывались и распространялись по всем мечетям Ирана. И у шаха сдали нервы. В середине 1977 года он просит Багдад выслать Хомейни. Многие страны, не желая портить отношения с шахом, отказались принять беспокойного аятоллу. Французы, прозондировав, правда, почву в Тегеране, согласились. Так Хомейни появился в Париже, точнее, под Парижем, в местечке Нофль-ле-Шато. Шах явно прогадал. Очутившись в одном из центров мировой политики, в сфере досягаемости крупнейших газет и телеграфных агентств, телевидения и радио, бунтующий аятолла получил возможность оказывать еще большее влияние на события в своей стране. И он не преминул эту возможность использовать...

Те, кто пишет о характере, политическом поведении Хомейни, на первое место ставят обычно его непримиримость, неподкупность, отрицание компромиссов, почти фанатичную последовательность и целеустремленность. Имам верит, говорит один из авторов, что «ему открыта истина», что он «положил начало борьбе истины с ложью и добра со злом». В этом царстве абсолютов нет места половинчатым решениям, политическим сделкам, смирению. Директору газеты «Эттелаат», который извинялся перед Хомейни за то, что по указанию режима вынужден был опубликовать ложное сообщение, аятолла ответил: «Если действительно кто-то может тебе сказать, что́ нужно писать, то никто не может заставить тебя оставаться журналистом».

О подходе Хомейни к ценностям и ориентирам западного мира свидетельствует, в частности, фрагмент из его интервью американскому журналу «Тайм»:

«Вопрос: Вы не занимались серьезным изучением экономики, международных политических отношений. Вы получили главным образом богословское образование. Не зарождает ли это у вас мысль о том, что в этом уравнении могут быть факторы, которые вы не принимаете в расчет?

Ответ: Мы отметаем уравнения, социальные и политические критерии, которыми до сих пор пользовались для оценки всех мировых проблем. Мы создали новую систему ценностей во имя справедливости и борьбы против несправедливости. Мы будем отстаивать и поддерживать справедливость и обрушиваться на всех, кто пытается вершить несправедливость... Мы закладываем фундамент для такой системы ценностей, которая, как мы надеемся, в один прекрасный день заменит—в Совете Безопасности ООН, других международных организациях — влияние капиталистов и великих держав, которые сейчас могут осудить кого им заблагорассудится. Я действительно ничего не понимаю в ваших критериях и считаю это благом». Политически Хомейни делает акцент на антиамериканизм. Правительство США он рассматривает как «врага № 1» иранского народа. «Мы должны одержать верх над Америкой,— призывает аятолла.— Мы должны сокрушить ее во всем нашем регионе».

Но вернемся в Тегеран. К началу ноября 1978 года положение в стране оставалось крайне неустойчивым. Из-за океана подбад-

ривали. 3 ноября шаху позвонил Збигнев Бжезинский и, ссылаясь на «высшие инстанции», дал совет: надо восстановить порядок, даже если потребуется применить жесткие меры. Шаху пришлось последовать этому совету уже на следующий день, 4 ноября. Собравшись на территории Тегеранского университета, многотысячная толпа стала скандировать: «Повесить американского шаха!». Солдаты пустили в дело слезоточивый газ и начали стрелять. «Убийства в университете,— рассказывает корреспондент американского журнала «Ньюсуик» Лорен Дженкинс,—были лишь прелюдией к насилию, вспыхнувшему на следующий день, когда мятежники предали огню всю деловую часть Тегерана. Весь город затянула пелена дыма после того, как демонстранты подожгли министерство информации, отель «Уолдорф — Астория», другие здания, несколько банков и кинотеатров, а также десятки автомашин... В отличие от решительности, проявленной накануне, армия на этот раз оставалась безучастным зрителем, оставив город на растерзание толпы, не появлялись даже пожарные... Когда ночь опустилась над истерзанной столицей, пламя пожаров долго озаряло небо после целого дня разгула анархии».

Новый день начался с обращения шаха к иранскому народу. Цитирую этот любопытный документ: «Революция иранского народа не может быть не одобрена мною как шахом и иранцем. К сожалению, параллельно с осуществлением иранской революции проявились интриги и злоупотребления, беспорядки и бунты... Волнения, бунты, беспорядки, убийства происходят во многих районах страны и достигли такой степени, что возникла угроза для ее независимости. Вчерашние события, ввергнувшие столицу в пламя пожаров, больше не могут быть терпимы народом и страной». Это, так сказать, констатирующая часть. Теперь — часть резолютивная: «...заверяю, что больше не повторятся прошлые ошибки, беззаконие, гнет и злоупотребления»; «будущая власть будет основываться на положениях конституции, социальной справедливости, идеалах народа и будет свободной от деспотизма и коррупции».

И в заключение шах объявляет: так как коалиционное правительство сформировать не удалось, он создает временное правительство во главе с генералом Голямом Резой Азхари.

Генералу понадобилось 48 часов, чтобы сформулировать свое кредо. «В настоящее время,— заявил Азхари 8 ноября,— обстановка в стране стала ужасной. В городах совершаются нападения на дома, магазины, школы, банки. Поджоги и пожары вызвали всеобщее беспокойство... Экономика страны в развале, школы и вузы закрыты, торговля в упадке, волна забастовок нарастает, все надежды рушатся и тают. У страны нет сегодняшнего дня, и нависла угроза над ее будущим». Пока вроде бы все правильно. Но шахский генерал перестал бы быть самим собой, если бы из правильных посылок сделал правильный вывод. Все дело, оказывается, в том, что «влияние иностранной пропаганды... подобно чуме, внедрилось в умы и сердца иранского народа». Да, в прошлом были ошибки. Однако, «если бы иностранцы не вмешались в эти дела, то народное недовольство не вылилось бы в варварские разрушения и были бы созданы условия для удовлетворения народных требований». После «обеспечения мира и стабильности», пообещал генерал, будет создано «демократическое гражданское правительство».

Поздно. Время обещаний давно прошло. Неотвратимое приближалось. По всей стране раздаются требования низложить шаха. «Смерть или Хомейни!» — восклицают тысячи транспарантов. Шах или лихорадочно пытается нащупать компромисс с буржуазно-либеральной оппозицией, или замыкается в угрюмом молчании. «Нужно быть орнитологом, чтобы понять, что происходит в этой павлиньей голове»,— сказал в те дни один раздосадованный западный дипломат. «Он напоминает мне Никсона в его последние дни»,— заметил другой. Наконец, шах отстраняет генерала. Новый, 1979 год Иран встречает с новым премьером. Им становится Шахпур Бахтияр — известный политический деятель буржуазно-либерального направления и даже не без некоторого социал-демократического оттенка. Чтобы спасти то, что еще можно спасти, он уговаривает шаха покинуть Иран. Генералы, двор сопротивляются, требуя действий. Шах колеблется. Наконец, решение принято. 16 января 1979 года шах отправляется «на отдых».

Вот как описывает «Ньюсуик» прощание с монархом: «Держа под руку закутанную в меха шахиню, с коробочкой иранской земли в кармане, шах прошел под Кораном, как это принято у мусульман перед началом долгого путешествия, и направился к своему самолету «Боинг-707», окрашенному в голубой и серебряный цвета. Но едва он подошел к самолету, как полковник шахской гвардии бросился к ногам шаха, стал целовать его туфли и умолять не уезжать.

Шах помахал рукой провожавшим его, в последний раз бросил взгляд на горы Эльбрус к северу от Тегерана, сделал круг над Ираном и направился в Египет, в изгнание — по крайней мере временное». Насчет «временности» бывшие подданные думали иначе. Трудно описать, что творилось в Тегеране в этот день. К вечеру в городе не осталось ни одной статуи шаха или его отца. Так иранцы простились со своим прошлым.

■

Теперь надо было разбираться с настоящим. Правительство Ш. Бахтияра явно ориентировалось на то, чтобы направить революционный поток в русло если не конституционной монархии, чего настойчиво требовала генеральская верхушка, то уж во всяком случае в русло обычных буржуазно-демократических преобразований. С исламской аранжировкой, разумеется. Для этого нужно было договориться с Хомейни, ибо только он имел власть над разбушевавшейся революционной стихией. В Париж полетели гонцы агитировать за правительство «национального единства». Но не тут-

то было. Нашла коса на камень. Аятолла решительно отверг любое подобие компромисса. Для Хомейни Бахтияр и его команда были не меньшими «западниками», чем шахская камарилья, и поэтому подлежали безусловному удалению с политической арены. Насколько мне представляется, Бахтияр вначале не очень серьезно отнесся к неуступчивости Хомейни. Возможно, он надеялся, что отъезд шаха ослабит напор революционной борьбы и тем самым лишит Хомейни массовой поддержки. Возможно (второе не исключает, а дополняет первое), он рассчитывал противопоставить Хомейни союз гражданского правительства с армией. В общем, Бахтияр не сдавался. «Премьер — это премьер,— сказал он,— а кардинал — это кардинал. Один не заменяет другого».

Возвращение Хомейни из эмиграции — это произошло 1 февраля — позволило окончательно выяснить, кто есть кто. Хомейни встречал весь Тегеран. Сразу из аэропорта аятолла — сначала на машине, а потом на вертолете иранских ВВС — отправился на кладбище Бехешт-Захра, где были похоронены жертвы революции. «Существующие сейчас парламент и правительство незаконны,— заявил аятолла под восторженные крики толпы.— Если они не уйдут, мы арестуем их. Мы им заткнем рот. И я создам правительство при поддержке иранского народа». Сказано — сделано. Хомейни назначает своего премьера — Мехди Базаргана.

Сложилось своеобразное «двоевластие». Были дни, когда страна находилась на волоске от военного путча. Везде продолжались забастовки и демонстрации. «Вожди, вожди, дайте нам оружие!» — требовали демонстранты. Но у вождей оружия не было. А может быть, и побаивались вожди... И массы взяли оружие сами. 10 февраля в Тегеране начались столкновения сторонников и противников монархии. Захватив крупный арсенал, восставшие вооружились. Улицы покрылись баррикадами.

Если верить «Нью-Йорк таймс», то в ночь с 10 на 11 февраля, когда в Белом доме узнали о начале восстания, оттуда позвонили американскому послу в Иране и спросили: можно ли устроить военный переворот? «Говорят, Салливен ответил, что нет, невозможно, и прибавил несколько крепких выражений». Он действительно уже ничего не мог сделать. Растерянные генералы вышли из игры. Армия объявила о своем «нейтралитете». Только шахская гвардия пыталась усмирить «бунт», но «бессмертные» оказались бессильны. К полудню 12 февраля вооруженное восстание победило. Бахтияр исчез, чтобы через несколько месяцев объявиться в Париже. Закончился первый этап революции. Поле боя осталось за «кардиналом».

Если я не ошибаюсь, это первый в XX веке случай, когда революция, действительно народная, действительно радикальная революция была органически слита с религиозными лозунгами и вознесла на вершины власти религиозных деятелей. Что же произошло? Для Хомейни тут нет проблемы. Ислам, говорит он, «означает все, в том числе все то, что в западном мире называют свободой и демократией. Да, ислам содержит все, ислам включает все. Ислам — это все». При таком подходе, объявляющем свободу, равенство, справедливость своего рода ипостасями ислама «как такового», его революционный потенциал вообще не нуждается ни в каком объяснении. Он заключен в исламе, так сказать, ex difinitione.

Более близким к истине представляется другое замечание Хомейни. «Когда вы (на Западе),— заявил он корреспонденту американского журнала «Севен дейз»,— проводите различие между религиозной и политической деятельностью, вы воображаете, что, появляясь на политической арене, религиозный деятель или священнослужитель оставляет свое главное в жизни дело и принимается за новые обязанности. В отличие от этих представлений ислам сочетает в себе духовную и политическую деятельность. Больше того, в исламе политических проблем гораздо больше, чем сугубо религиозных». Думается, здесь аятолла прав, особенно если иметь в виду шиитскую традицию.

То, что иранское революционное движение «имеет прежде всего религиозную окраску,— говорил накануне февральского восстания первый секретарь ЦК Народной партии Ирана (Туде) Нуреддин Киянури,— зависит от двух факторов. Первое: у шиитской религии в Иране глубокие корни, которые связаны с требованиями народа. В стране имеются исторические традиции связей шиитской религии с народными силами, с борьбой за независимость и свободу. И второе: значительная часть иранских религиозных деятелей под руководством Хомейни в течение продолжительного времени энергично и последовательно борется на самом переднем крае против антинационального, диктаторского режима шаха, против империалистического господства, за восстановление прав народа». К этим бесспорным соображениям мне хотелось бы добавить следующее. Иранское общество, безусловно, созрело для революции. Шахский режим возбуждал всеобщую ненависть. Но в стране не было политического авангарда в точном значении этого слова. Все левые, демократические организации давно были загнаны в глубокое подполье, ослаблены десятилетиями репрессий. Религия была единственной отдушиной для несогласных, которую шах не сумел закрыть. В этих условиях руководство революцией неизбежно перешло в руки церкви. Только она одна имела авторитет и организацию, охватывающие все оппозиционные слои общества. И если верно, что Хомейни сделал революцию, то еще более верно, что революция сделала Хомейни.

■

После событий в Иране много говорят и пишут о ренессансе, возрождении ислама. Мне данный тезис не представляется убедительным. Он чрезмерно упрощает реальное положение вещей. Ислам Хомейни отличается от ислама Каддафи или короля Халеда. Ислам Садата не похож на ислам Зия-уль-Хака или Бургибы. Различные социально-политические силы, стоящие за исламом, меняют его облик от страны к стране, заставляют служить разным, часто противоположным политическим интересам. Это во-первых. И во-вторых. Возрождение

ислама как религиозной доктрины, как религиозного мироощущения предполагает повсеместный рост личной набожности. Это трудно доказать. Но легко доказать другое. Растет стремление использовать ислам как культурно-историческую ценность, как противоядие против бездумной и безответственной «вестернизации», как средство сохранения и утверждения национальной самобытности.

1 апреля 1979 года Иран был провозглашен Исламской республикой. Этот акт означал формальное завершение иранской революции как революции антимонархической. Что же касается более широких политических и особенно социальных задач революции, то они были только намечены в самой общей и приблизительной форме. Революция должна была вступить в этап созидательной работы, осуществления надежд. Однако чрезвычайная пестрота сил, участвовавших в революции, множество победителей делали практическую реализацию победы делом чрезвычайно сложным. Тем более что сразу же наметилось заметное расхождение позиций между хомейнистским правительством и самим Хомейни. Лондонская «Файнэншл таймс» оценивала ситуацию следующим образом: «Д-р Базарган хочет создать Исламскую республику, основанную на западных демократических ценностях, однако, как выясняется, аятолла Хомейни и его окружение в священном городе Куме стремятся к обществу благочестивому, строгому и неподкупному... Политический хаос в Тегеране усугубляется возможностью гражданской войны. Политический раскол уже налицо: левые против революции ислама; суннитское меньшинство против шиитского большинства, провинциальные этнические меньшинства — курды, туркмены, белуджи и арабы — все они борются за автономию». Одним из практических выражений раскола сил революции явилось усиление террористической деятельности. В ответ на это 6 мая было объявлено о создании «корпуса стражей исламской революции». В заявлении штаба корпуса говорилось, что долг стражей революции — «защищать революцию в Иране и распространять ее в мире на базе чистоты мусульманской идеологии». Создание корпуса сопровождалось ожесточенными нападками на левые группы и организации.

Острые споры разгорелись вокруг вопроса о порядке подготовки новой конституции. Сторонники влиятельного аятоллы Шариатмадари, круги, поддерживающие правительство, левые организации требовали созыва конституционной Ассамблеи для разработки и демократического обсуждения конституционного закона. Хомейни настаивал на избрании узкого конституционного Совета с последующим вынесением конституции на референдум. «Мы не можем поступиться Кораном,— заявил аятолла.— Те, кто заявляет, что станет бойкотировать референдум, если не будет конституционной Ассамблеи, являются коммунистами. Мы хотим построить исламскую, а не западную страну. Нам не нужны западные и прозападные юристы: они не полномочны вмешиваться в исламский закон. Мы не хотим создать московскую или американскую конституцию. Мы хотим конституцию исламскую, и разрабатывать ее должны люди, сведущие в первую очередь в исламе». Именно такие люди и оказались в консультативном Совете. На выборах 3 августа 60 мест из 73 получила партия, возглавляемая аятоллой Бехешти — Партия исламской республики, стоящая на ортодоксально исламских позициях.

Тем временем экономическая и политическая обстановка становилась все сложнее и запутаннее. Объем промышленного производства упал на 80%. Четверть рабочей силы оставалась без работы. Инфляция достигла 30%. Разорилось более 80% строительных фирм. Каждый день несколько тысяч специалистов покидали страну. Обострилось положение на национальных окраинах, особенно в Курдистане. С левого фланга революции усилилась критика в адрес духовенства. И Кум переходит к решительным действиям. В августе были закрыты 22 газеты более или менее левого направления. «Муллы организовали революцию и пришли к власти,— сказал аятолла Хальхали,— и они останутся у власти независимо от того, нравится это Соединенным Штатам и Советскому Союзу или нет». Впрочем, среди высших духовных лиц Ирана есть и такие, которые думают иначе. «Духовенству незачем вмешиваться в политику, в которой оно ничего не смыслит»,— так сказал Табатабаи-Куми, один из пяти мусульманских деятелей, имеющих титул «великий аятолла».

В 20-х числах сентября в Тегеране было опубликовано заявление ЦК НПИ о положении в стране. «За последние недели,— констатировал ЦК НПИ,— в области внутренней политики Ирана произошел серьезный поворот вправо. Существенно ограничены или сведены на нет те свободы, которые существовали в первые послереволюционные месяцы и которые были обещаны руководством революции. Такой поворот не был неожиданным. Он явился следствием постепенного поправения курса во всех областях политической и социально-экономической жизни». Кампания по подавлению левых сил, говорилось в заявлении, «противоречит чаяниям иранского народа, восставшего на борьбу за свободы, против гнета и деспотии, противоречит обещаниям вождя революции о свободах личности. Ограничение свобод ведет к загниванию правящего аппарата, создает почву для процветания коррупции и злоупотреблений...». Если события пойдут так и дальше, делал вывод ЦК НПИ, то поворот вправо «окажется необратимым».

По мнению руководства НПИ, особая роль в данной ситуации принадлежала Хомейни. «Все зависит от Хомейни,— заявил в интервью «Унита» Н. Киянури.— Он пользуется поддержкой народа. Если он займет более правые позиции, народ последует за ним. Если он постарается помешать ускорению хода событий, то только он может сдержать натиск консерваторов... Вся наша политика направлена на то, чтобы не отдать Хомейни исламским правым силам.

— А если это не удастся?

— В таком случае верх одержат правые религиозные экстремисты. Создадутся все условия для контрреволюции...»

С резкой критикой правительства выступило руководство Национального фронта — политической организации либеральной буржуазии. В письме фронта М. Базаргану, опубликованном 11 октября в газете «Бамдад», говорится: премьер-министр «поддался безответственным, но имеющим власть элементам и проводит курс, противоречащий его собственным заявлениям о целях революции». Вместо терпеливых поисков взаимоприемлемого компромисса правительство пошло по пути «братоубийственной войны» в Курдистане. «Вмешательство безответственных, некомпетентных и шовинистических элементов еще более затруднило решение курдской проблемы». Руководство Национального фронта выразило свою обеспокоенность тем, что «...обстановка удушения постепенно охватывает всю страну. Деспотизм правящих верхов религиозной прослойки запускает свою пятерню все глубже в общество и уводит нашу великую национальную и исламскую революцию с ее истинного пути».

Таким образом, к осени прошлого года обозначились три возможных варианта развития иранского общества. Или усиление политического влияния национальной буржуазии и постепенное превращение Ирана в буржуазно-демократическую республику с последующим восстановлением тесных экономических и политических связей с западными державами, включая Соединенные Штаты. Или усиление правых религиозных экстремистов, ведущих дело к образованию теократического государства. Или, наконец, осуществление радикальных требований революции, демократизация общественной жизни в рамках Исламской республики. Разумеется, границы между этими возможностями довольно размыты. Не исключались и какие-либо промежуточные, комбинированные варианты, которые так любит история. Однако абстрактный перебор вариантов не входит в мою задачу. Достаточно отметить, что события конца октября — начала ноября практически перечеркнули — не знаю, надолго ли,— первый из указанных вариантов.

■

22 октября бывший шах Ирана прибыл в США для лечения. Это, с одной стороны, вызвало новый взлет антиамериканских настроений в Иране, а с другой — поставило под удар всех, кого можно было хоть в малейшей степени заподозрить в симпатиях к Западу.

«...Нам нужно избавиться от тех, кто преклоняется перед Западом и США,— заявил Хомейни 31 октября.— Нам нужно провести чистку в учреждениях, избавить их от предателей, которые действуют по-прежнему в интересах прошлого режима и против нынешнего строя».

Захват американского посольства, осуществленный 4 ноября «мусульманскими студентами — последователями курса имама», вызвал цепную реакцию перемен, означавших в сумме переход революции на новую орбиту. 5 ноября премьер-министр М. Базарган подал Хомейни прошение об отставке. В нем говорилось, что «в результате вмешательства неполномочных лиц в дела правительства, а также наличия многих центров власти и противоречий среди членов кабинета министров создались условия, в которых дальнейшая деятельность правительства стала невозможной». 6 ноября аятолла Хомейни удовлетворил просьбу Базаргана и передал все государственные дела Исламскому революционному совету, который получил статус надправительственного органа. Аятолла подчеркнул необходимость «революционной, решительной чистки в госаппарате». 7 ноября в соответствии с указом Хомейни Исламский революционный совет опубликовал заявление, в котором изложил программу своих действий:

— проведение референдума для утверждения конституции, а также выборов президента и парламента;

— осуществление коренных преобразований в области экономической, социальной и культурной жизни;

— чистка управлений, министерств и других учреждений от «нездоровых» элементов;

— выработка и реализация программ по улучшению условий жизни обездоленных масс;

— укрепление сельского хозяйства, решение земельной проблемы, борьба с феодализмом. Это был явный сдвиг влево.

За последние два месяца, сказал Н. Киянури корреспонденту «Юманите», столкнулись две линии. «Одну — революционную и антиимпериалистическую — представляет Хомейни. Другая — реформистская; ее сторонники выступают за примирение с США, которые пытались придать событиям удобный для себя оборот». С победой первой линии начался «новый этап революции». Его две главные цели: «положить конец всем видам американского господства» и «углубить классовое содержание революции». Аятолла Хомейни, далеко не ограничиваясь ролью арбитра, «пытается взять в свои руки бразды правления, опираясь непосредственно на народ с тем, чтобы добиться проведения своего твердого курса...» И хотя внутри Исламского революционного совета по-прежнему «имеются различные течения и происходит глухая борьба за власть между радикалами и умеренными», широкий народный фронт «стал теперь реальностью».

Ниже я вернусь к хронике событий первой половины 1980 года. А пока рассмотрим проблему заложников, которая наложила заметный отпечаток на внутренние дела и международное положение Ирана.

Указанная проблема имеет, по крайней мере, два аспекта: правовой и политический. Относительно первого позиция Советского Союза может быть проиллюстрирована резолюцией Совета Безопасности ООН от 5 декабря 1979 года. Совет Безопасности, говорится там,

«1. Настоятельно призывает правительство Ирана незамедлительно освободить персонал посольства Соединенных Штатов Америки, задержанный в Тегеране, предоставить ему защиту и позволить ему покинуть страну;

2. Призывает далее правительства Ирана и Соединенных Штатов Америки принять меры для мирного решения еще неурегулированных между ними вопросов к их взаимному удовлетворению в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций;

3. Настоятельно призывает правительства Ирана и Соединенных Штатов Америки проявлять максимальную сдержанность в существующей обстановке...». Проголосовав за эту резолюцию, наша страна недвусмысленно выразила свое отношение к нарушениям норм международного права.

Что же касается политической стороны дела, то она может рассматриваться только в контексте сложной и длительной истории ирано-американских отношений. Соединенные Штаты пожинают то, что они посеяли...

Теперь послушаем Хомейни. Его спросили: у каждой политической акции должна быть какая-то определенная причина. А какова причина в данном случае? Ответ имама: «Мы хотим покончить с иностранным господством в Иране. Его представляет сейчас американский империализм, который оскорбил иранский народ и честь Ирана. Американцы не сочли нас государством, в которое они посылают дипломатов обычным образом. Они обращались с нами как с вотчиной для своих шпионов. Шпионы внутри страны — шпионы вокруг нее. Все, кто работал в американском посольстве, были шпионами». Следующий вопрос: а какова ваша цель? «Нам необходимо разоблачить заговор против иранского народа»,— ответил Хомейни.

С Хомейни солидарно руководство НПИ. Вот, например, отрывок из диалога Н. Киянури с корреспондентами «Униты». Цитирую: «Нуреддин Киянури, руководитель партии Туде, очень рассердился, когда мы заявили ему, что нам трудно понять и оправдать такие действия, как захват американского посольства.

В Европе еще не поняли иранской революции, ответил он, и пытаются измерить ее европейскими мерками. Однако мерить ее нужно ее же собственными мерками. Никогда и ни в какой стране не происходило ничего подобного. Кто мог бы сказать, что ислам в конце нашего XX века может с такой силой проявить свой революционный дух?

Однако, настаиваем мы, революция — дело, конечно, хорошее... Но террористический акт, одобренный государством, даже революционным, мы принять не можем. Он изолирует иранскую революцию и в конце концов замазывает более глубокий кризис, скрывающийся за этими событиями.

Настаивает на своем и Киянури. Он говорит: нет, это было не посольство. Это был центр шпионажа и вмешательства во внутренние дела Ирана. Это длилось десятилетиями.

Однако, возражаем мы, рабочему классу и демократам Европы трудно понять такой акт шантажа, как захват американских заложников с требованием выдать шаха. Он отвечает: мы созершили эту революцию не для Европы, а для иранского народа». Иной ракурс своего понимания проблемы Н. Киянури изложил в интервью «Матэн»: «Я считаю, что никаких заложников нет. Заложник — это, например, ни в чем не повинный человек, оказавшийся в угнанном самолете. Эти люди — шпионы. И не говорите мне о международных законах! Соединенные Штаты первыми нарушили их, и пусть они сегодня не жалуются». «Мы признаем дипломатическую неприкосновенность,— уточнил свою мысль Н. Киянури в интервью испанской газете «Мундо обреро»,— но мы не признаем неприкосновенность шпионов».

Об одном из важных психологических аспектов проблемы напомнил американский журнал «Тайм»: свержение шаха «поражает воображение третьего мира, как националистическая революция, которая устояла перед влиянием сверхдержавы. Разумом люди в третьем мире понимают, что нельзя вести себя как Хомейни, и они не одобряют нарушения дипломатической неприкосновенности. Но эмоционально широкие массы во многих странах третьего мира отнюдь не относятся враждебно к тому, что сделал Хомейни. При виде того, как страна противостоит влиянию сверхдержавы, люди испытывают подсознательное удовлетворение». Два уточнения. Наверное, сказанное относится не только к людям «третьего мира». И почему обязательно «подсознательное»?

Захват заложников привел к длительному и острому кризису в ирано-американских отношениях. Правительство США использовало кризис для нагнетания шовинистических настроений в стране и наращивания американского военного присутствия в районе Персидского залива. 24—25 апреля американцы попытались освободить своих дипломатов, используя военную силу. Это показало, что политика США вплотную подошла к той опасной грани, за которой может начаться неуправляемое перерастание ирано-американского конфликта в кризис глобального характера.

Истерику в Белом доме нельзя оправдать, но понять ее можно. Выпадение Ирана из сферы американского влияния сопоставимо по своим политическим последствиям с поражением США во Вьетнаме. Естественно, в Вашингтоне ищут виноватых. Виновата, разумеется, разведка: не докладывала вовремя и докладывала не то. Это верно. Но разведка огрызается. «История знает немало примеров,— говорится в докладе секретариата комиссии палаты представителей по разведке,— свидетельствующих о бессмысленности предостережений, если те, кто принимает решения, не хотят прислушиваться к этим предостережениям или не хотят заниматься вопросами, насчет которых сделано предостережение». Тоже верно. Поиски козла (или — козлов) отпущения продолжаются. Вместе с тем на фоне этих мелочных чиновничьих препирательств появляются и более увесистые соображения. Часть из них идет в русле традиционного имперского мышления. Вот что можно, например, прочитать в том же «Тайм»: Америка «сейчас вполне готова дать почувствовать свою силу. Но как ис-

пользовать эту силу против противника, не реагирующего на обычные формы дипломатического, экономического и даже военного нажима, и как использовать ее по отношению к тем в третьем мире, кто, возможно, последует примеру Хомейни и тоже поднимет восстание? Вот в чем, может быть, будет заключаться главная проблема американской внешней политики на протяжении 80-х годов». Типичный пример империалистической логики: мы плохо используем свою силу, надо научиться использовать ее лучше. К сожалению, в Америке так рассуждают многие. Нельзя, конечно, отрицать, что оптимизация силовых приемов может обеспечить тот или иной тактический успех. Но в стратегическом плане такая политика обречена на провал, ибо по общему правилу против социальных перемен сила бессильна. Даже американская сила.

А теперь раскроем журнал «Форчун». Взвешивание конструктивных политических вопросов, написано там, которое «призвано занять место взаимных личных обвинений, должно начаться на основе нового осознания того, что другие страны в конечном счете не принадлежат нам, и поэтому мы не можем их «проигрывать». Если есть какой-то урок, который американцы должны были извлечь из вьетнамской трагедии, так это то, что мы не можем декретировать ход событий в древних странах, на которые их собственная история, культура и религия оказывают колоссальное влияние. Если политическая роль буддизма в Юго-Восточной Азии часто сбивала с толку, то роль ислама в Иране еще больше поставила в тупик творцов американской политики». Это уже более реалистический взгляд на вещи. Если отбросить оговорки («в конечном счете», «в древних странах»), то проступает вполне справедливая мысль: право «декретировать ход событий» в той или иной стране принадлежит народу данной страны. И никому больше. Забыть об этом — значит получить новый «Иран».

■

В Вашингтоне придумывали все новые и новые санкции — в Тегеране продолжали формировать новое общество, новые политические структуры. 2—3 декабря референдум одобрил новую конституцию. Фактически ее автором была Партия исламской республики, объединяющая наиболее последовательных сторонников «исламизации» Ирана. Это отразилось на содержании документа. Общие демократические положения соседствуют в нем с требованиями, идущими от Корана. В качестве основы политических, социальных и экономических отношений конституция утверждает «исламский дух и мораль». Специальная статья — «О правлении факиха» — обеспечивает Хомейни практически неограниченное право воздействовать на государственные дела. Отсутствие в конституции всякого упоминания об автономии национальных меньшинств, явный крен в сторону шиизма вызвали протесты и волнения, которые не позволили провести референдум в ряде районов страны.

Конституция отразила взгляды известной части духовенства на то, каким должно быть исламское государство. Для изложения этих взглядов я приведу в выдержках интервью, данное Хомейни итальянской журналистке Ориане Фаллачи. Отрывки из интервью были напечатаны 26 сентября 1979 года в «Коррьере делла сера» и 8 октября в «Дейли мейл».

«Вопрос: Имам Хомейни, вся страна находится в ваших руках. Каждое принимаемое вами решение приобретает силу приказа. Вы вызываете страх, и многие называют вас диктатором. Новым диктатором, новым боссом. Новым хозяином. Что вы скажете по этому поводу? Не огорчает ли вас это или же вам это безразлично?

Ответ: С одной стороны, мне грустно слышать это. Да, меня это огорчает, потому что называть меня диктатором несправедливо и бесчеловечно. С другой стороны, мне это в общем безразлично, потому что я знаю, что злобность органически присуща человеку, и понимаю, что эту злобную характеристику мне дают наши враги...

Вопрос: Но вы пугаете людей. Эта толпа, скандирующая ваше имя, производит пугающее впечатление. Что вы испытываете, когда день и ночь слышите их крики, зная, что они часами сидят возле вашего дома, в тесноте и толкотне, страдая от жары и жажды, лишь бы на секунду увидеть вас, лишь бы воздать вам хвалу?

Ответ: Мне это доставляет удовольствие. Мне нравится слышать и видеть их, ибо это те самые люди, которые восстали против гнета и выбросили из страны внешних и внутренних врагов. Их аплодисменты — продолжение боевого клича, который был на их устах, когда мы свергали узурпатора. Очень хорошо, что они не успокаиваются, потому что враг еще не исчез. Пока жизнь в стране не будет упорядочена, люди должны сохранять боевое настроение, быть готовыми к новым маршам и атакам. Кроме того, это любовь, сознательная любовь. Невозможно не радоваться ей...

Вопрос: Извините, имам. Мне хочется спросить вас еще о многом. Например, об этой чадре, которую меня заставили надеть, прежде чем пустить к вам. Вы настаиваете, чтобы все женщины носили чадру. Скажите, почему вы заставляете женщин скрывать свое лицо и фигуру под этим неудобным и нелепым одеянием, в котором трудно работать и двигаться. Между тем даже здесь женщины доказали, что они не хуже мужчин. Они сражались не хуже мужчин, их бросали в тюрьмы и подвергали пыткам наравне с мужчинами. Они тоже помогали делать революцию.

Ответ: Женщины, которые внесли свой вклад в революцию, носили и носят одежду, предписанную исламом. Это не те элегантные, намазанные и напудренные женщины, вроде вас, которые ходят по улицам без чадры и за которыми волочатся мужчины. Кокотки, которые мажутся, пудрятся и выходят на улицу без чадры, демонстрируя свою шею, волосы, фигуру, не сражались против шаха. Эти женщины никогда ничего хорошего не сделали. Они не умеют приносить пользу ни в социальном, ни в политическом, ни в профессиональном от-

ношении, и все потому, что, открывая лицо, они отвлекают мужчин от дела и лишают их душевного равновесия. Они отвлекают от дела и лишают душевного равновесия даже и других женщин.

Вопрос: Это неправда, имам. Но, как бы то ни было, я говорю не только о данном предмете одежды, а о том, что чадра символизирует. Чадра — символ сегрегации, которой вновь подвергаются женщины в вашей стране после революции. Возьмем, к примеру, то, что им не разрешается ни учиться в университете вместе с мужчинами, ни работать вместе с мужчинами, ни ходить на пляж или в бассейн вместе с мужчинами. Им приходится плавать в специальных женских бассейнах прямо в чадре. Интересно, как это можно плавать в чадре?

Ответ: Это не ваше дело. Наши обычаи — не ваше дело. Если вам не нравится одеяние, предписываемое исламом, вы не обязаны носить его, потому что исламское одеяние предназначено для хороших и честных молодых женщин...

Вопрос: Но вы говорите о законах и обычаях, которые были установлены 1400 лет назад. Не кажется ли вам, имам Хомейни, что мир с тех пор ушел вперед? Требуя соблюдения этих законов, вы одновременно воскресили запрет на музыку и на спиртные напитки. Скажите мне, разве грешно выпить стакан вина или пива, когда вы испытываете жажду или за едой? И почему грешно слушать музыку? Наши священники пьют и поют, даже папа римский. Разве из этого следует, что папа — грешник?

Ответ: Правила, по которым живут ваши священники, меня не интересуют. Ислам запрещает спиртные напитки, и этим все сказано. Он категорически запрещает их, потому что алкоголь заставляет людей терять голову и лишает их ясности мысли. Музыка одурманивает голову, потому что она приносит удовольствие и приводит в экстаз, так же как это делают наркотики. Я имею в виду вашу музыку. Обычно ваша музыка не возвышает дух — она его убаюкивает, расслабляет. Она губит нашу молодежь, отравляет ее, и молодежь перестает любить свою родину.

Вопрос: Даже музыка Баха, Бетховена, Верди?

Ответ: Я не знаю этих имен. Если их музыка не затуманивает ум, мы не будем ее запрещать. Некоторая ваша музыка разрешена — например, марши и гимны. Нам нужна музыка, которая возвышает дух, например, маршевая музыка, которая пробуждает в нашей молодежи бодрость, а не парализует ее. Да, ваши марши разрешены у нас...»

■

25 января состоялись выборы президента. Подготовка к ним вызвала новый накал страстей. Первоначально было выставлено 124 кандидатуры. Потом список стал сокращаться. По указанию Хомейни, отсеивали лиц, имевших связи с «шахским режимом», находящихся «под влиянием» Запада или Востока, не одобряющих «теократию мусульман-шиитов». В конце концов на пост президента претендовали 9 человек. С большим перевесом победил один из ближайших к Хомейни людей — Абольхасан Банисадр. Его считают главным теоретиком «исламской экономики». Характеризуя принципы своей экономической политики, А. Банисадр говорит о необходимости освободить экономику от господства Запада, «ликвидировать господство человека над человеком», поставить человека в центр экономической политики, обеспечить всем людям «возможность заниматься творческой деятельностью». Если мы будем трудиться творчески, заявил А. Банисадр, «мы — приблизительно через двадцать лет — достигнем такого положения, когда экономика станет средством освобождения, а не угнетения». В докладе «бюро революционных программ» об основах социально-экономического развития Ирана, который был опубликован в «Бамдад» в сентябре прошлого года, сказано, что цель исламской революции — создание «бесклассового монотеистического общества», граждане которого «считают бога владельцем всего». Экономика «не ставит своей целью процветание и развитие, она является средством сближения человека с богом»; она удовлетворяет «разумные и общепризнанные нужды общества без расточительства»; все граждане «равноправны в пользовании дарами бога». Я не располагаю фактическим материалом, показывающим, как эти принципы применяются (начинают применяться) на практике.

Избрание А. Банисадра президентом Ирана было встречено на Западе с осторожным оптимизмом. Не знаю, справедливо или нет, но его считают «умеренным» деятелем, способным противостоять давлению исламских «радикалов». Выражалась надежда, что выборы в парламент дадут большинство сторонникам Банисадра и, значит, укрепят его положение. В ходе предвыборной кампании президент вел себя весьма решительно. Он критиковал Исламский революционный совет, где решения «принимаются не твердые и не конкретные А если и принимаются, то до выполнения дело не доходит». Сетуя на появление десятков «центров принятия решений», он призывал избрать такой парламент, который смог бы стать «орудием решительной борьбы с такими центрами». Однако выборы, первый тур которых состоялся 14 марта, разочаровали сторонников президента. Большинство мест получила Партия исламской республики. Второй тур — он проводился 9 мая — закрепил этот результат. О настроениях, царящих в Партии исламской республики, дает, в частности, представление статья «Туде наступает» из партийной газеты «Джомхурие эслами». Наш народ, который разбил явного врага, утверждает газета, должен теперь «терпеть удары в спину со стороны врага скрытого. Цель этого врага — помочь сверхдержавам остановить движение шиизма, поскольку победа такого движения для обеих сверхдержав — и восточной, и западной — может закончиться лишь их капитуляцией перед всемирной революцией обез-

доленных. Именно поэтому они желают поражения нашей революции». В статье подчеркивается, что члены Туде и других подобных «народных» организаций поддерживаются «угнетателями мира» и поэтому не могут служить интересам угнетенных.

В этой связи хотелось бы напомнить то, что уже неоднократно звучало в заявлениях наших государственных деятелей: в Советском Союзе с большой симпатией относятся к иранской революции, к той борьбе, которую иранский народ ведет против внутренней и внешней реакции. Мы — за развитие добрососедских, равноправных отношений с Ираном. И нас не могут не беспокоить недружественные ноты, которые иногда можно слышать в Тегеране.

Газета «Мардом», обсуждая проблемы внешней политики иранского правительства, имела все основания написать: «Еще не установлены и не объявлены критерии, по которым нужно распознавать, является ли та или иная страна врагом или другом иранской революции. Пока даже сейчас остается неясным вопрос, вытекают ли оскорбления и обвинения в адрес Советского Союза, всесторонне поддерживавшего и поддерживающего революцию, из внешней политики Исламской республики Иран или они вытекают из личных тенденций того или иного оратора». Вот именно.

Во второй половине апреля в рамках реформы системы высшего образования в Иране началась «исламизация» вузов, которую иранские власти преподносят как начало «исламской культурной революции». Практически под лозунгом «культурного возрождения» взят курс на разгром левых организаций, которые имели довольно сильные позиции среди студенчества. «Мы считаем эти штабы штабами дьявола и подавим их без всякой жалости»,— заявил А. Банисадр. По многим городам Ирана прокатилась волна столкновений между исламскими группами и левыми силами. В ряд вузов введены «стражи исламской революции». Есть убитые и раненые.

«Культурная революция» продолжается. Продолжается и борьба различных сил и тенденций в «верхах» и «низах» иранского общества. В муках рождается новый Иран... Каким он будет? Это покажет время.

Антирубрика

ГЕНРИК БАРДИЕВСКИЙ

ДИАЛОГИ И СЦЕНКИ

Главы из книги

Перевод с польского ЕЛЕНЫ РИЗКИНОЙ

А и Б

— Пожалуйста, скажите «а».

— Что сказать?

— А.

— Зачем это вам? Так скоропалительно, не обдумав, не взвесив?

— Я ведь не прошу ни о чем серьезном. Только сказать «а».

— А потом — «б». Я, знаете ли, в этом разбираюсь. Мне известно кое-что о тех, кто сказал «а». Я всегда настороже и слов на ветер не бросаю.

— Это же только буква.

— Но какая? Первая! За ней идет весь алфавит! А кто знает, не переключитесь ли вы после букв на цифры — пожалуйста, скажите: один, два, десять, миллион! Я не скажу «миллион»! Этого вы от меня не дождетесь, так и знайте.

— Да не надо миллион. Прошу сказать «а».

— У!

— А!

— О!

— А.

— И! Вы мне не указчик. Я сам знаю, что надо говорить и чего не надо. У меня, видите ли, собственные взгляды и собственное мнение. Эль, игрек, икс!

— А.

— Не могу. Ну, поверьте мне, дорогой, не могу. Рисковать все-таки можно только в разумных пределах.

— А.

— Я всегда тщательно выбирал выражения. И если до сих пор я жил спокойно, то именно потому, что никогда не говорил «а». Особенно незнакомым.

— Хватит с меня ваших объяснений. Ну, живо,— «а»!

— Вы не имеете права. Это насилие! Я буду звать на помощь!

— А!

— Слушайте, давайте попробуем договориться. Я, может быть, и сказал бы «а», но не один, а хором — с кем-нибудь вдвоем или, еще лучше, втроем. Что вы на это скажете? Ну, тогда только вдвоем — вы и я. И еще одна формальность...

— Какая формальность?

— Это свое «а» вы мне предъявите в письменном виде. Я, знаете ли, не раз попадался на том, что мне не все предъявляли в письменном виде. Ну как, напишете?

— Допустим, напишу — что дальше?

— Тогда я ее скажу вместе с вами. То есть произнесу эту букву. Не слишком громко, разумеется, и не большое «А», только маленькое «а».

— Ну, наконец-то!

— Что «наконец-то»?

— Вы уже сказали!

— Когда?

— Только что! Вы сказали и большое, и маленькое «а»!

— О боже, что теперь будет?

— Ничего особенного. Небольшая краснота в горле. Прописываю вам полоскание и микстуру.

Откровенность

— О, здравствуйте, очень рад вас видеть, садитесь... Нет, не за стол, зачем же так официально,— располагайтесь в кресле... Рюмочку коньяку?

Нет? А может, сигарету? Тоже нет? Ну, положите хотя бы ногу на ногу, вот так...

Свободнее, свободнее... Погода сегодня плохая, правда?

— Правда, пан...

— Тс-с... Никаких титулов, прошу вас. У нас с вами дружеская беседа, неофициальная и ни к чему не обязывающая. Я хотел бы услышать от вас что-нибудь нестандартное... Узнать ваше истинное мнение... Итак, прошу вас, говорите хотя бы о самом печальном, но откровенно! Время от време-

ни я должен лично выяснять, о чем люди думают. Я вас слушаю.

— Простите?..

— Есть, конечно, люди — и мне об этом хорошо известно,— которые считают, что спорить бесполезно, что разговоры ни к чему не ведут; но ведь это смотря с кем разговариваешь, смотря кому делаешь замечание, верно? Вы согласны со мной?

— Да.

— Рад это слышать. Не бойтесь, говорите смело. Вы не боитесь, правда?

— Правда.

— Отлично, отлично. Я всегда умел разговаривать с людьми. Никто еще не пожалел о том, что был со мной откровенен. Вы верите мне? Я знал, что верите. Ну, говорите.

— Простите?..

— А может, вы считаете, что со мной не стоит разговаривать? Что это ничему не поможет и ничего не изменит? Нет, вы не можете так думать. Вы ведь знаете, кто я такой, правда? Или не знаете?

— Знаю.

— Прекрасно. Я тоже более или менее знаю, кто вы такой. Мы с вами, можно сказать, знаем друг о друге многое. Это сближает, не правда ли? Располагает к откровенности, помогает установить взаимопонимание. Вам все ясно?

— Да.

— О, благодарю вас. Ваше «да» говорит о многом. Ваше «да» — это, если хотите, повод для размышлений. Я тщательно обдумаю все, о чем вы мне рассказали. Речь идет, видите ли, о сближении различных уровней. Я нахожусь на определенном уровне, ну и вы тоже на каком-то своем уровне. Задача состоит в том, чтобы мы стали как можно ближе друг другу. Вы с этим согласны? Или, может, у вас есть возражения?

— Нет.

— Нет, говорите вы. Отлично вас понимаю. Иногда приходится сказать «нет», ничего не поделаешь. Итак, у вас нет возражений. Скажу вам откровенно: у меня их тоже нет. Честное слово. Вы мне верите?

— Да.

— Вы не представляете, как вы меня обрадовали. Подумать только, кое-кто поговаривает, будто я уже не могу найти общего языка со своими людьми... А вы ведь — мой человек, правда? Чудно, чудно, можете идти. Ага, еще одно. Будьте осторожны — не с каждым можно разговаривать так откровенно, как со мной. К сожалению, еще не с каждым...

Приглашение на ужин

Однажды шеф вызвал меня к себе — не в кабинет, а домой, где можно поговорить на пятьдесят процентов свободнее, затронуть на сорок процентов больше тем, а выбирать выражения не нужно вообще. Итак, вызывает меня шеф и говорит:

— На этот раз, мой дорогой, без реорганизации нам не обойтись. Надо бы предложить что-нибудь новенькое.

— Будет сделано, шеф. Предлагаю упростить структуру.

— Упростить? А что, в последний раз мы ее усложняли?

— Нет, тоже упрощали.

— Значит, теперь надо усложнять. Нельзя дважды предлагать одно и то же. Скажут, что нам недостает новых идей.

— Да все равно никто не помнит, что было в прошлый раз. Вы ведь сами забыли!

Тут я совершил первую ошибку. Я должен был помнить, что у шефа пунктик на почве памяти. Я попросил у него прощения, но он, несмотря на это, несколько окаменел. Я решил тщательнее выбирать выражения и говорить на десять процентов менее свободно.

— Однако, кушайте, коллега. Раз уж приготовлено, надо съесть.

— Слушаюсь, пан начальник. Вы убедили меня в том, что реорганизация должна идти в направлении усложнения. Новые задания — новые сложности.

— Это звучит разумно. Наступает, видите ли, обновление.

— Так точно, пан начальник. Наступает обновление, и надо позаботиться о том, чтобы нас не смело.

Это была вторая ошибка. Шеф еще больше окаменел. Моя последняя фраза была явно не на уровне. Я извинился перед шефом и принял решение вновь ограничить свободу высказывания, на этот раз на двадцать процентов.

— Еще салата.

— Спасибо, я уже ел.

— Я не о вас говорю. Я себе хочу еще салата. Прошу положить.

— К вашим услугам, пан магистр. Хлебушка?

— Лучше подумайте о своем собственном. Реорганизацию начнем с вас. Ваш отдел разделим на два подотдела.

— А мой стол — на два подстолья...

Позволив себе эту горькую иронию, я в ужасе смолк. Шеф окаменел, как монумент. Я тут же извинился, но это мало помогло. Пришлось, хочешь не хочешь, ограничить свободу высказывания еще на сорок, а круг вопросов урезать на тридцать процентов.

— Сколько вы выпили?

— Две рюмки, пан магистр.

— Не люблю, когда персонал столько пьет. Это надо изменить. До тех пор пока вы не пройдете курса лечения, вас будет заменять коллега Пароль.

— Кто?! Этот олух?!

Вот она, ошибка четвертая и последняя. Шеф встал, встал и я. Чай мы допили стоя, причем я уже не раскрывал рта, чтобы не ухудшить своего положения. Было ясно, что ужин с шефом мне очень повредил. Ничего не поделаешь, я просто не оценил размеров надвигающейся реорганизации...

Король развлекается

Капитан: Пей, братец, вино, пей, а то ты уже на себя внимание обращаешь.

Агент. Не могу, капитан, врач запретил...

Капитан. Пей... Дружба дружбой, а служба службой... Ты здесь в первый раз, а другим каково? С тех пор как его величество начал ИНКОГНИТО бывать в трактире, нет ни минуты покоя. Каждую ночь весь гарнизон на ногах, вдобавок мы одеваемся мещанами, крестьянами, пропойцами... Люди у нас спиваются — вот она, цена королевских капризов...

Агент. Король уже здесь?

Капитан. Здесь. Вон он сидит, видишь? Одетый садовником.

Агент. Тот, что хлопает по плечу какого-то крестьянина?

Капитан. Он самый. Думает, что с народом дружбу заводит, а на самом деле нашего человека по плечу хлопает. Каждый день подсовываем ему кого-нибудь другого, для разнообразия. И твоя очередь придет. Со мной он уже общался.

Агент. Ну, а остальные посетители?

Капитан. Все на службе. Служба тоже на службе.

Агент. А та барышня, которая села королю на колени?

Капитан. Это не барышня, а переодетый агент.

Агент. Интересно... Значит, ни один посторонний сюда пробраться не может?

Капитан. Исключено. Единственный посторонний здесь — король. Он один развлекается, остальные работают.

Агент. И он ни о чем не догадывается?

Капитан. Да что ты, он же глупый... Думает, стоит ему только переодеться и выйти из дворца через черный ход, и никто уже его не узнает...

Агент. А королеве что-нибудь известно?

Капитан. Королеве известно все. Иногда она даже одевается девушкой и соблазняет короля. Вот уж когда мы веселимся...

Агент. Я думаю... А откуда вообще известно, что он король?

Капитан. Ну как, откуда известно... Известно... Наши люди за ним идут от самого дворца.

Агент. А может, он и есть садовник?

Капитан. Ты с ума сошел? Столько войска его бы охраняло?!

Агент. А может, это вы король, капитан? Может, это вас так охраняют?

Капитан. Да нет, что ты... Какой из меня король...

Агент. А из него? Думаете, лучший? Таким королем каждый мог бы быть.

Капитан. Ты с ума сошел. Нельзя так говорить. Не положено.

Агент. Да ведь тут все свои...

Капитан. Тем более не положено и даже запрещено.

Агент. Вы, капитан, наверняка управляли бы лучше.

Капитан. Замолчи, или я велю тебя вывести!

Агент. Кого? Нас?

Капитан. Как — нас? Почему ты сказал о себе — нас?

Агент. Я так сказал? Вероятно, забылся.

Капитан. Послушай-ка. Ты случайно не король?

Агент. Может, и король...

Капитан. Но ты и непохож как-то...

Агент. Ну да...

Капитан. Так ты, может, и не король...

Агент. Может, и нет...

Капитан. Черт возьми, что за проклятая служба! Выпьем до дна — твое здоровье, брат!

Агент. Благодарим от всего сердца. А теперь предлагаем выпить за здоровье наших подданных...

Капитан. Слушаюсь, ваше королевское величество... О боже, вот и пришел мой конец...

Конец античного мира

Император. Итак, переводчик, чего требует вождь германцев?

Переводчик. Краха античного мира, ваше величество. И чтобы мы подписали капитуляцию.

Вождь германцев. Яволь!

Император. Что это значит?

Переводчик. Подписывайте, говорит, капитуляцию.

Император. Нахальство какое. А что будет, если мы подпишем?

Переводчик. Конец света, ваше величество.

Вождь германцев. Яволь!

Император. Что он говорит, этот дикарь?

Переводчик. Будет, говорит, конец света.

Император. Нахальство какое. А что будет, если мы не подпишем?

Переводчик. Тоже конец света, ваше величество, только насильственный.

Вождь германцев. Яволь!

Император. Что он сказал?

Переводчик. Будет, говорит, насильственный конец света.

Император. Нахальство какое. Ну что же, придется вести переговоры.

Переводчик. Он не умеет вести переговоры, ваше величество. Он еще никогда не вел переговоров — он дикий.

Император. Господи, хоть бы нас кто-нибудь другой завоевал! Скажи ему, человечеству будет очень жаль античного мира.

Вождь германцев. Яволь!

Император. Что он сказал?

Переводчик. Нужен им всем, говорит, ваш античный мир, как щуке зонтик.

Император. Нет, это надо же, какое нахальство! Небось в жизни не видел ни щуки, ни зонтика и смеет делать такие сравнения! Может, это оппозиция, чтобы нас запугать, притворилась германцами?

Вождь германцев. Яволь.

Император. Что он говорит?

Переводчик. Это, говорит, не оппозиция. И вообще, говорит, поторапливайтесь.

Император. Странно ты как-то переводишь. Ты случайно не подкуплен?

Вождь германцев. Яволь.

Император. Что он сказал?

Переводчик. Да что вы, говорит, как вы могли подумать...

Император. А ты действительно его понимаешь?

Переводчик. Я не понимаю, что он говорит, но знаю, что он хочет сказать.

◆

Среди книг

Издано в СССР

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ПРИЗМА ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества. Роман. Повести и рассказы. Предисловие Л. Осповата. Москва, «Прогресс», 1979.

Впервые прочитав «Сто лет одиночества» в «Иностранной литературе», мы, кажется, полностью воздали Габриэлю Гарсиа Маркесу дань восторга и благодарности. Это было как взрыв, это было событие, взбурлившее читательское море. Неожиданная книга, поэма-роман, сага о роде Буэндиа, симфония, или скорее фантазия, на тему «что есть жизнь?» — она раздвинула наш горизонт, подарила нам мир, дотоле неведомый,— странно, как мы не знали его раньше? — вывела перед нами галерею типов, мужчин и женщин, поразительно живых, достоверных, удивительно увиденных. Писатель не просто повествовал, не просто поведал нам далекую историю, пленившую нас экзотикой,— нет, им было сказано, поверх историй и образов, еще нечто неуловимо важное, чему, может быть, даже нет названия. «Сто лет одиночества». Что это значит?..

Мы написали в наших сердцах: Габриэль Гарсиа Маркес, мы поместили это имя в созвездие лучших писателей XX века.

Нашлись, разумеется, и скептики: иные читатели не принимали именно причудливости книги, ее гипербол, иронии, не могли различить правду ее вымысла, вязи ее письма. Слышались ссылки на Гоголя, на Фолкнера — хотя что же плохого в таких ссылках? Заговорили о магическом реализме Габриэля Гарсиа Маркеса, о новой литературе латиноамериканского континента. Но как признавался сам Гарсиа Маркес, это кубинская революция привлекла внимание читающего мира к литературе Латинской Америки, заставила увидеть и оценить то, мимо чего раньше проходили без внимания.

После «Ста лет одиночества» были переведены рассказы колумбийского писателя, повести, мы многое узнали о личности художника, и обаяние этой личности еще усилило нашу привязанность к его произведениям, раскрыло нам их корни. Затем явилась на свет не менее сокрушительная, чем первый роман, «Осень патриарха» (споров стало еще больше: что лучше?), и имя Габриэля Гарсиа Маркеса, захватывая все новые и новые читательские круги, стало звучать еще мощнее.

И все-таки теперь уже никогда, видимо, не отделаться от того первого, удивительного впечатления, которое произвел когда-то роман «Сто лет одиночества». Перечитывая роман сейчас, в однотомнике писателя (выход которого, собственно, и есть повод для данного разговора), испытываешь вместе с радостью воспоминания прежнее чувство новизны и свежести. И хочется опять поговорить о Габриэле Гарсиа Маркесе, подумать о его даре, опыте, о принадлежащих ему художественных открытиях и вновь отдать этому человеку дань уважения.

В самом деле, почему эта трагическая в сущности книга, полная печали, с апокалипсическим финалом, с гибелью всех населявших ее героев, звучит тем не менее ликующе-радостно и оставляет в душе след света, а не мрака? Нельзя не различать раблезианскую усмешку рассказчика, но вместе с нею не слышать стона отчаяния — о великой утрате, о потере, которой нет возврата. Кажется, сам дьявол смеется над людьми в этой книге и сам бог, сострадая, в бессилии, предостерегает их. От чего? Скорее всего, от самих себя.

Мысль художника о жизни, о человеке широка и вместе с тем сурово-определенна. Его система познания беспощадна. Казалось бы, перед нами самый строгий реалист, переносящий на полотно лишь то, что есть. Но в его крови играет солнце, он поэт, дудочник, пересмешник, лирик.

И как прекрасно искажен изображаемый им предмет, сколько сияет вокруг радуг,

и правда изображаемого от этого не расплывается, но фокусируется еще точнее.

Как много перемешано, смещено, перепутано на первый взгляд в этой книге, и как в конце концов все ясно, просто и определенно прочерчено. Как в самой жизни. Какие сверкают человеческие личности, какое разнообразие, сколько энергии, усилий, страсти — и рок судьбы, предопределенность, цыганская ворожба Мелькиадеса, которая сбывается то ли потому, что каждый был хоть в чем-то виноват, то ли потому, что не был виноват никто, и дело не в чьей-то вине, а в чем-то еще. В чем? В чем? В чем? — вопиет эта книга, полная любви к жизни и отчаяния от того, что жизнь проходит... Жизнь проходит, люди проходят, могикане сходят с ума и их сажают на цепь, младенцев пожирают муравьи, героев убивают предатели, чьи пули попадают прямо в божью отметину на их лбу, прекрасные женщины превращаются в лысых старух, а галионы, оснащенные всеми парусами, гниют среди леса, на суше. Сто лет одиночества, сто лет одиночества...

Разве дело в смерти? Нет, Габриэль Гарсиа Маркес не боится смерти и знает, что не одна ее коса косит человечью траву. В системе его верований и его представлений о жизни смерть занимает свое, нормальное место, и совсем нетрудно поставить ее в ряд с другими событиями человеческой жизни. Не более того. «Амаранта увидела свою смерть в один жаркий полдень... смерть сидела и шила в галерее рядом с Амарантой, и та сразу же ее узнала: в ней не было ничего страшного — просто женщина в синем платье, длинноволосая, немножко старомодная...» Смерть есть смерть.

Но отчего же вырождается и гибнет могучий род Буэндиа, какой червь точит и точит это крепкое яблоко? И один ли червь? Что они делают с собой, эти люди, и что делает с ними жизнь?

Веселая и даже озорная поначалу форма рассказа не может скрыть от нас библейских аналогий писателя. Он начинает свой эпос об истории Макондо, о роде Буэндиа с тех времен, когда «мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем». Сотворение нового мира совершается в сказочных джунглях, вдали от всего света. От первой пары в роду, Хосе Аркадио Буэндиа и Урсулы, рождаются двое мальчиков с разными характерами и судьбами. Является странная фигура Мелькиадеса, черного цыгана, исполняющего роль дающего познание совратителя. Сказочные цыганские и нецыганские чудеса наполняют этот первобытный мир. И как могучи, легендарны, дельнокроены первые из рода, родоначальники, основатели, зачинатели истории. Да здравствует жизнь! Но тем не менее Маркес сразу же фиксирует свое внимание не на том, как предки корчевали пни и пахали землю, а на том, как бушующие в них природные силы вносили разлад в их же судьбу. Либо эти силы не находили применения, либо расходовались на пустяки: на изготовление леденцов, на алхимию, на золотых рыбок, которых бесконечно чеканит полковник Аурелиано. У всех Буэндиа «могучее воображение», которое «увлекало не только за ту грань, перед которой останавливается созидательный гений природы, но и дальше — за пределы чудес и волшебства».

Вообще, пока люди сражаются с природой, добывая кусок хлеба и строя свой дом, они обнаруживают и силу, и выдержку, и здравый смысл, но вступая в борьбу с собою, со своими характерами и страстями, они чаще всего терпят поражение. «Они все такие,— говорит старая Урсула. — Сумасшедшие от рождения». Но сумасшедшие по-разному. «В то время как все Аурелиано были нелюдимыми и обладали проницательным умом, все Хосе Аркадио отличались порывистым, предприимчивым характером и были отмечены знаком трагической обреченности». Не зря первая в роду трагедия происходит с Хосе Аркадио Буэндиа, «самым толковым человеком в деревне», тогда, когда он «позволил воображению ввергнуть себя в состояние непреходящего бреда».

Может быть, Габриэль Гарсиа Маркес смеется? Может быть, он рассказывает свою историю так же, как веселый студиозус, вернувшись после каникул из родного медвежьего угла, рассказывает приятелям о своих чудаках-«предках»? Так насмешничает и озорничает вместе с сестрой Амарантой мальчишка Аурелиано-последний, когда они таскают свою прародительницу, бабку Урсулу, немощную и высохшую, как куклу, по всему дому. Да, Маркес смеется. Но тут же он глядит пристально и страстно, умно и обреченно, как тот же Аурелиано-юноша, который, оторвавшись однажды от старых книг, видит вокруг себя закат Макондо, разрушающийся дом своих предков, декаданс,— и сам, последний в роду, идет на гибель: прекрасная и грешная любовь к сестре, от которой старики уберегали пять поколений Буэндиа, да так и не уберегли, замыкает эту звенящую цепь жизни.

Габриэль Гарсиа Маркес и смеется и плачет, и негодует и страдает. Он глядит не через лупу, а сквозь призму: все ярко и близко. Он пишет о родном, своем, беря этот мир из сердца. Макондо есть целый мир, как любая деревня есть целый мир (Обломовка или Йокнапатофский округ), и между Макондо и всем остальным миром можно поставить знак равенства. «Нам никто не нужен для исправления,— говорит Хосе Аркадио присланному в Макондо коррехидору-исправнику,— у нас здесь нечего исправлять». И в самом деле, в Макондо есть все: бесконечный спектакль жизни с его неожиданными завязками и кульминациями разыгрывается перед нами; герои и негодяи, королевы и проститутки, клоуны и колдуны, соперницы, незаконнорожденные дети — кого здесь только нет. Комедия, драма, война, смерть, верность, предательство, страсти, низкие и высокие,— что вам нужно еще? Мало того, у Макондо есть развитие, начало и конец. Замкнутый его мир сворачивается в конце концов, как змея, головой внутрь. Сто лет одиночества даром не проходят.

Писатель бесконечно любит свое Макон-

до, но, дитя нового мира и нового века, он понимает (и доказывает), что патриархальность иллюзорна, она обречена, она нелепа. Казалось бы, на Макондо, на его нравы не производит впечатления ни железная дорога, ни банановая лихорадка, ни война, ни забастовка, ни расстрел забастовщиков,— история будто бы понапрасну развевает над Макондо свои знамена. Но это только кажется.

Языческая вера в судьбу и предопределение недостаточна для объяснения всего, что происходит с родом Буэндиа. Клеймо одиночества, «знак трагической обреченности», к сожалению, подтверждены тем, как устроена жизнь. Полковник Аурелиано — один из самых прекрасных и трагических образов художника — еще «в животе у матери плакал и родился с открытыми глазами», будто предвидя, какая жизнь его ждет. Он становится национальным героем, главнокомандующим, поэтом, достигает высшей власти и славы, его именем назовут потом улицу в Макондо. Но что же дает это ему? Он «поднял тридцать два вооруженных восстания и все тридцать два проиграл». «У него было семнадцать детей мужского пола от семнадцати разных женщин, и все его сыновья были убиты один за другим в одну-единственную ночь». Он испытал великую любовь, но после смерти своей юной жены жил в «пассивном, тоскливом ощущении обманутых надежд». Он «запутался в пустыне одиночества своей необъятной власти», и «только он один знал, что его безрассудное сердце осуждено на вечные муки неуверенности». И еще: «Он сделал последнее усилие, чтобы отыскать в своем сердце то место, где он сгноил все свои добрые чувства, и не смог его найти». Но почему, почему? И Габриэль Гарсиа Маркес вынужден сказать, ссылаясь уже совсем не на судьбу: «Война все уничтожила». Даже если полковник был рожден для войны, ему она не дала ничего. И умирает он в тот момент, когда «снова лицом к лицу встретился со своим жалким одиночеством».

Потом, в «Осени патриарха», мы прочтем о злодее, узурпаторе, безграмотном, темном правителе, вызывающем отвращение и насмешку, и узнаем в нем зачатки, черты Аурелиано (как в повести «Полковнику никто не пишет») и даже испытаем к негодяю правителю почти жалость за муки самого страшного наказания — за тоску одиночества.

Одиночество есть производное индивидуализма, обособления и исключительности. На все лады исследуя и разглядывая сквозь свою спектральную призму это человеческое состояние, писатель видит, что к нему могут привести свойства не только отрицательные, но и вполне замечательные: гордость, талант, воображение, красота. Отличие — вот, может быть, начало пути в одиночество. И трагедия индивидуума в том, что иным, чем он есть, он быть не может, а таков, как он есть, он не нужен. Или не нужен, или обречен на одиночество.

А одиночество — невыносимо. Цыган Мелькиадес, например, который «действительно побывал на том свете», «не смог вынести одиночества и возвратился назад». И точно так же у мертвого Пруденсио Агиляра «за долгие годы пребывания в стране мертвых тоска по живым стала такой сильной, необходимость в чьем-то обществе такой неотложной, а близость еще одной смерти, существующей внутри смерти,— такой устрашающей, что Пруденсио Агиляр возлюбил злейшего своего врага». Вот, оказывается, как! Вот он, может быть, самый близкий путь любви к ближнему!

Критики много говорили и писали о том, что Габриэль Гарсиа Маркес — глубоко народный писатель. Да, его демократическая закваска неистребима, его герой — всегда народ, его повествование фольклорно, «материала» одной деревни ему вполне хватает для эпоса. Сам стиль Габриэля Гарсиа Маркеса, столь поразивший читателя, эта безудержная фантазия, может быть, не что иное, как атмосфера сказок, которые в детстве он слышал от своей Арины Родионовны, бабушки Транкилины,— писатель сам рассказывал об этом в одном из интервью. Все «чудеса» художника, его знаменитые теперь струйки крови, бегущие через весь город от убитого сына к матери, или простыни, на которых улетает в небо Ремедиос, или желтые бабочки, спутницы любви Меме,— это естественное продолжение человеческого изумления перед чудом жизни, преломление жизни в сказку.

Габриэль Гарсиа Маркес идет к фантастике через быт, через замкнутый мир Макондо. Любопытно, но, может быть, ничто так не будит фантазию, как одиночество, как деревенская тоска. Миру, широко раскрытому, технически оснащенному, научно объясненному, социально организованному, как-то идут сказочные объяснения необъяснимого. Необъяснимое вообще называется всего лишь непознанным. Солнечный свет или дождь не принадлежат у нас к числу чудес.

Зато уж когда дождь идет в Макондо, то он идет «четыре года, одиннадцать месяцев и два дня», опять же как библейский потоп. Между шестеренками «бесплодных механизмов» прорастают цветы, а в отсыревшем белье «заводятся водоросли шафранного цвета». Но мало того: в домах сидят «люди с остановившимся мертвым взглядом, они сидят, скрестив руки на груди, всем своим существом ощущая, как течет поток цельного, неукрощенного, неупорядоченного времени, ибо бесполезно делить его на месяцы и годы, на дни и часы, если нельзя заняться ничем, кроме созерцания дождя». Габриэль Гарсиа Маркес — народный писатель, и это дает ему право не только говорить от имени народа, но высказывать самому народу то, что писатель думает о нем. Художник позволяет себе нарушить канонические литературные табу насчет народа: народ всегда прав, всегда безгрешен, всегда велик. Всегда ли?.. В «Осени патриарха», в фигуре самого героя, выходца из народа, сына рыночной птичницы, Г. Гарсиа Маркес соберет не очень привлекательные, но тем не менее именно народу присущие черты: консерватизм, упрямство, слепую веру, долготерпение, тщеславие, страх и жестокость. Дождь

порождает сон, сон отнимает разум, сон разума, как известно, порождает чудовищ.

В Макондо происходит «постоянно нарастающее ухудшение качества времени». «Вялые, медлительные люди не могли противостоять ненасытной прожорливости забвения», а людей невялых, ярких и быстрых, которыми отличался, в частности, род Буэндиа, становится все меньше,— их, к сожалению, пожирают разные формы одиночества. «Дух лености, раскаленной пыли и тяжелого сна» после обеда приходит на смену прежним бурным годам. Народное в высоком смысле слова, историческом и героическом, уступает место обывательскому, пищеварительному, тупому. Когда-то старая Урсула говорила, что в этом роду все повторяется, идет по кругу,— но в этом по крайней мере была надежда, что вместе с ничтожным или диким повторится и выдающееся, необычайное. Но — увы. И другая женщина, как бы вторая, «теневая» прародительница рода, блудница Пилар Тернера, знает и говорит иное, идет дальше: «Карты и собственный опыт открыли ей, что история этой семьи представляет собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо, которое продолжало бы крутиться до бесконечности, если бы не все увеличивающийся и необратимый износ оси».

Печальные и прекрасные слова. И может быть, в них-то и заключен секрет, смысл всей этой книги. Бесстрашный реалист, смелый сказочник (что одно и то же) приводит себя и нас к выводу, который всем известен, но всегда неприятен: когда-нибудь колесо остановится. Износ оси необратим. Будь то ось одной жизни или семьи, рода, даже народа, и даже будь то ось земли. Износ необратим и неотвратим. Ничего не поделаешь. Но это нормально. Как «жили-были». И ничего страшного в этом нет. Страшны не естественные концы, а другие, «смерть внутри смерти», смерть души, порыва, надежды, несовмещения. Ужасно то, что не осуществилось, не состоялось. Но все, что было живо, что жило,— то благословенно.

Человек смертен, говорит нам Габриэль Гарсиа Маркес, и бессмертен. Прекрасна одна жизнь, полная бури и страсти, и прекрасна другая, иноческая и исступленная. Прекрасен полковник и прекрасен мальчик, женщина и бабочка, луч и дождь, явь и сон. Все неповторимо, говорит нам насмешник-автор, который на протяжении всей книги хотел уверить нас, мистифицировал нас, не раз повторяя, что все идет по кругу. Нет, не идет, все неповторимо, и как бы ни были похожи все Хосе Аркадио между собой, а Аурелиано между собой, каждый неповторим, каждый одинок в лучшем смысле этого слова, и каждый слит с другим — как это было с близнецами.

Зачем жить, если все проходит, все пройдет?.. Затем, что наше «я» неповторимо, что эта неповторимость уже, может быть, есть оправдание человеческого существования на земле. Мы родились, чтобы украсить и удивить собою этот мир. Так это сделали все Буэндиа.

Сказочный, магический метод Габриэля Гарсиа Маркеса рожден внутренней потребностью, необходимостью говорить о мире и человеке удивленно и высоко. Подобно старику Мелькиадесу, зашифровавшему свои рукописи, Маркес расположил события, о которых рассказывает, «не в обычном, принятом у людей времени, а сосредоточил всю массу каждодневных эпизодов за целый век таким образом, что они все сосуществовали в одном-единственном мгновении». То есть, если перенести это на человека, то писатель старался, чтобы в тот миг, когда он говорит об Аурелиано, или о Ребеке, или об Амаранте (как обидно, что из-за недостатка места нельзя отдельно и особо поговорить о женских образах Гарсиа Маркеса),— чтобы в тот миг мы знали бы о человеке все, от начала до конца, обо всей его жизни, его жизни, включающей в себя и связывающейся с жизнями всех, кто есть рядом, кто был до него и будет после. Наверное, в этом — гуманистический пафос этой книги, светлый и оптимистический ее заряд. На кого ни посмотрит Габриэль Гарсиа Маркес, на какой, пусть самый темный предмет ни наведет свою призму, все равно объект вспыхнет и загорится множеством разных красок. Разных, самых разных.

Современная литература грешна перед человеком: она много занята раздеванием его, разоблачением, принижением, тычет ему в глаза его пороки. Наверное, это нужно. Но писатели не могут, не имеют права делать это без любви к человеку. Есть писатели, которые знают это, но все равно пишут, хотя любви не испытывают. Но любовь вещь такая — или она есть, или ее нет. Тут не обманешь.

У Габриэля Гарсиа Маркеса испепеляет любовь. К людям, к жизни, к дню, к ночи. Это жадная любовь живописца. Это страсть. Художник любит человека высоко, вдохновенно. Он так пишет об этом, так это звучит в нашем русском переводе. И закончить я хочу любимым мною отрывком о том, как возносилась Ремедиос Прекрасная: «Окруженная ослепительно белым трепетанием поднимающихся вместе с ней простынь: вместе с ней они покинули слой воздуха, в котором летали жуки и цвели георгины, и пронеслись с ней через воздух, где уже не было четырех часов дня, и навсегда исчезли с нею в том дальнем воздухе, где ее не смогли бы догнать даже самые высоко летающие птицы памяти».

Три воздуха, а не один — вот призма Габриэля Гарсиа Маркеса.

МИХАИЛ РОЩИН

АНДЕРСЕН, ЕГО ЖИЗНЬ И БЕССМЕРТИЕ

Бо Грёнбек. Ханс Кристиан Андерсен. Жизнь, творчество, личность. Предисловие и комментарии Д. Б. Александрова. Перевод с датского М. С. Николаевой. Москва, «Прогресс», 1979.

Ханс Кристиан Андерсен входит в нашу жизнь так, как входят в нее самые прочные, самые досто-

верные, самые необходимые люди, идеи, знания. И вряд ли мы помним, от кого и когда мы узнали об Андерсене; образы сказок его будто бы от рождения — с нами. И всю жизнь живут рядом с нами и принцесса на горошине, милая куколка; и гадкий утенок, оказавшийся, впрочем, не утенком, а лебедем; и чванливый голый король, сопутствуемый простаком-мальчуганом, который выкрикнул, что властелин, наряженный будто бы в новейшее платье, на самом-то деле красуется перед толпами верноподданных нагишом.

Андерсен — это сказки. И невзирая на присущий сказкам Андерсена специфический западноевропейский колорит, в обиходе русских детей персонажи из этих сказок становятся в ряд с мудрыми богатырями былин, с колобком, с говорящим зверьем; посмертная судьба писателя сложилась причудливо, и сказки в его многотомном наследии оказались чем-то обособленным, отделенным от окружавшего их огромного контекста.

Книга Бо Грёнбека, современного соотечественника Андерсена, прежде всего — справедливая книга. Исследование словно пронизано опасением оказаться несправедливым к своему переменчивому объекту — к сложному писателю XIX столетия, сентименталисту, романисту, человеку нелегкой жизни и неспокойного, а порою и просто капризного нрава. И оно исполнено справедливости по отношению к учителям, к друзьям и к прижизненным критикам Андерсена, к нему самому и, наконец, к литературным жанрам, в мире которых нет априорно высшего и заведомо низшего, незначительного: детские сказочки, побасенки могут оказаться выше и многопланового романа, и многозначительной драмы.

Исторически конкретный подход к изучаемому явлению литературы, искусства давно стал нормой для всякого серьезного исследования. Но, возможно, настает время для дальнейшей дифференциации этой методологической установки. Одни лишь общие закономерности хода истории литературы, как бы тонко и точно они ни были вычерчены, уже не удовлетворяют. Чертеж остается чертежом: выявляется генезис исследуемого явления, его социальная родословная, но над ним нависает угроза оказаться локализованным где-то в достаточно отдаленном прошлом, которое не знало о нас, но все-таки сумело заговорить с нами на вполне понятном нам языке. И конкретный историзм ищет средств стать более утонченным, а в частности — более внимательным и к мелочам былой жизни, и к изломам индивидуальной судьбы отдельного художника слова, мыслителя.

Конкретный историзм Бо Грёнбека глубоко человечен. Исследователь как бы беседует со своим героем: сострадает ему в мытарствах его сурового детства; иронизирует над запальчивостью его упований с ходу, с маху взойти на высоты литературного Олимпа Дании начала прошлого века; увещевает его не слишком-то заноситься в романтические мечты. Как всякая справедливость, его справедливость строга. Но тем достовернее и его восхищение Андерсеном.

А восхищаться есть кем и есть чем.

Нелегкая жизнь Ханса Кристиана Андерсена была чрезвычайно типичной для писателя XIX столетия вообще; была она, я сказал бы, на удивление полно укомплектованной всем тем, что положено испытать, изведать художнику слова. И в «маленькой Дании» преломлялось то же, что было и в нашей пространной России.

Скудное, бедное детство? Оно было у Андерсена. Или, скажем, педант-учитель, не сумевший понять, угадать в своем порывистом ученике будущего исполина? Был и он, этот угрюмый педант, фатально сопутствующий едва ли не всякому выдающемуся и творческому уму. А верный друг? Был, конечно, и верный друг. А путешествия, странствия? Были и странствия. А жажда славы? Была. А любовь, причем любовь не просто несчастная, а роковая, всю жизнь охватившая и сказавшаяся на творчестве? Была и любовь: любовь-потрясение. Словом, история уготовила Андерсену детство, по типу близкое к детству Алеши Пешкова-Горького, интимную драму Лермонтова, странничество Гоголя; было тут все, что по отдельности, разрозненно както переживалось и далеко за пределами Дании. Может быть, только в отношениях с власть имущими у Андерсена все складывалось так, как его русским собратьям по перу и во сне не могло бы присниться: венценосцы были к нему благосклонны, а по мере роста его мировой известности даже чуточку заискивали перед национальным писателем. Но что касается внутренней биографии Андерсена, то она, повторяю, удивительно собирательна. Это — биография-обобщение; и Бо Грёнбек, не выходя за пределы творчества Андерсена, представляет его именно как фигуру обобщенную, как тип европейского писателя исследуемой эпохи. Ему приходится быть историком, социологом, эстетиком. Делает он экскурсы и в таинственную сферу психологии творчества, особенно задерживаясь на одном интересном ее явлении.

Андерсен рос в провинции. Он ощущал себя представителем окраины Дании. И когда юношей он отправился в Копенгаген, в столицу, он был полон светлых, но достаточно агрессивных намерений: столицу надо завоевать, покорить. В столице его прочтут, и столица преклонится перед ним. Как все это знакомо! Конечно же, подобная творческая и жизненная установка делает будущего великого писателя странно похожим на милого русского юношу, на поэта-романтика Александра Адуева из «Обыкновенной истории» Гончарова. Но рассказанное датским исследователем подводит и к более заманчивым сопоставительным обобщениям: творчество вспыхивает на границе периферии, провинции и признанного центра умственной жизни страны. Творчество, я сказал бы, задорно. Оно экспансивно. Оно изначально обращено к тому, что в центре, на взгляд творца, закоснело, утратило свежесть; и творец осознает себя как бы мессией, призванным взорвать закосневшее, оживить, взбудоражить центр. Злоключения датского романтика описаны в книге в обычном для нее сочувственном то-

не, в тоне понимания и чуть-чуть иронического участия. Что-то у Андерсена получалось, а что-то — нет. Королевский театр «устал от его разнообразных, но... небрежных, наспех написанных драматических произведений», хотя «критика все же говорила много приятных слов об его поэтических сборниках этих лет — 1830—1833...». Андерсен возносился в горделивых мечтах и тут же впадал в уныние. Да, все было. И то, что было, было опять-таки чрезвычайно типично: и наш Гоголь, и Лермонтов, и Белинский, а далее вплоть до Чехова, до Хлебникова, Маяковского, все же это — плеяда гениальных, блистательных провинциалов, дарованных миру отечественными окраинами, глубинкой. Полтава и Пенза, Таганрог, Астрахань, Кутаис... Окраины слали в столицы своих представителей, и они, сознавая свое историческое призвание, одаривали новый для них социальный мир хлебом духовным. Разумеется, у нас, в огромной нашей стране, закономерность сия проступает броско, а Дания с вполне простительной для жителя России меркой масштабов кажется миниатюрной, провинция в ней очень приближена к центру. Но закономерность сказалась и там, да еще как сказалась! И Андерсен в исследовании Бо Грёнбека предстает как отважный носитель некоей общей тенденции. Быть справедливым к провинции, к периферии той или иной страны, государства спокойно и истово требует его книга.

Справедливости требует и периферия литературная.

Бо Грёнбек останавливается на романах, созданных Андерсеном и, казалось бы, поставивших его «в один ряд с такими европейскими величинами, как Вальтер Скотт и Виктор Гюго». Написанные в 30-е годы романы «Импровизатор», «О. Т.» и «Только скрипач», «Две баронессы» (1848) и далее, до романа 1870 года «Счастливчик Пер»,— все рассмотрено в книге достаточно пристально. Что ж, романы вполне заслужили добрые слова, о них сказанные; а Белинский, который в 1844 году написал суровую рецензию на «Импровизатора», возможно, оказался излишне требователен. Ему претил романтизм Андерсена, и критик не придал значения смелой фантазии неведомого романиста, его чистосердечному простодушию, его стремлению понять духовную жизнь ребенка, подростка и стремление вообще понимать нечто инородное, нечто чужое. «Импровизатор» целиком посвящен Италии, и эта устремленность северянина Андерсена на юг, в неизменно влекущий северян романтический мир опять-таки явственно сближает выдающегося датчанина с его русскими современниками: от Батюшкова до Гоголя просматривается в нашей литературе вспышка очень глубокого интереса к Италии, и из Петербурга в Рим протягиваются незримые линии, каналы, по которым многовековая культура этого полуострова притекает в Россию. Андерсен и здесь оказывается в русле какой-то общеевропейской закономерности, и когда читаешь «Импровизатора» в том же издании, в том же переводе, который предстал перед суровым Белинским, ясно видишь, как Андерсен вновь совпадает с неведомыми ему россиянами. А то, что он проникает в мир итальянских виртуозов-импровизаторов, сближает его с нашим Пушкиным: «Импровизатор» написан едва ли не в том же году, что и «Египетские ночи», в которых, как известно, явлен интереснейший образ очутившегося в Петербурге южанина, поэта-импровизатора из Италии.

Итак, романы... Признанный жанровый, проблемный центр творческих интересов европейской литературы XIX столетия. Романам Андерсена воздано должное, но книга торопит к сказкам. К тому, что уже давно было оттеснено на периферию литературы и не считалось чем-то серьезным, заслуживающим внимания (вспомним, как сердито отозвался тот же Белинский о сказках Пушкина). Но сказки Андерсена «являются единственными датскими произведениями, вошедшими в мировую литературу. Время не лишило их жизненной силы, и они пересекли все национальные границы. В чем же их секрет?» — спрашивает Бо Грёнбек. И он ищет разгадки секрета.

Суждения Бо Грёнбека бывают и чрезмерно общи. Конечно, важно сказать и о «человеческой правдивости сказок», и о том, что персонажи их «резко индивидуализированы». Но это еще не разгадка секрета, а так, декларации. И исследователь спешит отойти от них, переходя к наблюдениям значительно более рафинированным. Он, например, совершенно справедливо утверждает, что один из секретов андерсеновских сказок «о животных, цветах или предметах» в том, что «мир предстает перед читателем таким, каким он выглядит для них, а не для человеческого глаза».

Верно, что «Гадкий утенок» автобиографичен. Но верно и то, что мир в этой сказке дан как бы с точки зрения «бессловесных созданий». В «Счастливом семействе»— то же: мир — с точки зрения «двух симпатичных старых улиток», и эта «почтенная чета считает себя центром мира». «Самодовольный, немного ворчливый жук уверенно чувствует себя в императорской конюшне, которая для него центр мира, а все остальное — излишки цивилизации». «Животные и вещи,— пишет Бо Грёнбек,— живут сами по себе, независимо от людей. И тем не менее они ведут интенсивную человеческую жизнь». Секрет, стало быть, в совмещении точек зрения на мир, аспектов, масштабов: человеческое сходится с чем-то трансцендентным, с внечеловеческим. «Читатель видит свои и чужие слабости под новым углом зрения»,— резюмирует книга.

И это резонно, хотя относится это, пожалуй, исключительно к читателю взрослому. Но что касается основной массы читателей или, точнее, слушателей Андерсена, то к ним подобное резюме полностью относиться не может. Андерсен просто-напросто угадал, как ощущают мир дети. Трехлетние Платоны, язычники в возрасте от двух до пяти годочков непоколебимо уверены в том, что в мире вообще нет ничего неживого, безмолвствующего, статичного. Они вступают в мир, видя окружающее как сонм существ. Но с каждым шагом вперед такое ощущение мира утрачи-

вается, и у ребенка возникает двойственное отношение к былому: повзрослеть, избавиться от него, но и помнить о нем как о чем-то уходящем, об ускользающем. И сказки Андерсена приходят к человеку тогда, когда у него появляется прошлое. Они напоминают детям о том, как видели они мир недавно. Они полны уважения к тому, что по прошествии лет ребенок сочтет иллюзией, которую, по законам взрослых, ему надо поскорее отбросить. Что ни сказка, то память о каких-то иллюзиях, которые еще остаются у малыша, влекомого к скептицизму взрослых. Андерсен словно бы побуждает малыша в последний раз оглянуться назад: так оглядываются, покидая родимый дом, от него удаляясь; а он уменьшается, контуры его расплываются; и видно лишь, как кто-то долго-долго стоит на его пороге и грустно машет рукой вслед покидающим детство. Этот «кто-то» и есть мудрый сказочник: человек, никогда не имевший детей, но до преклонных лет сохранивший детство в себе.

В. ТУРБИН

ИСПАНИЯ В СЕРДЦЕ

«Испанская поэзия в русских переводах, 1792—1976». На испанском и русском языках. Москва, «Прогресс», 1978.

Для меня, счастливого обладателя этой книги, она явилась своего рода историко-литературным подспорьем. Не учебником, не учебным пособием, а живым сводом испанских поэтических сокровищ. Чем дальше и глубже я читал эту книгу, тем сильней убеждался в ее ценности. Но среди многих других ценных качеств этой книги есть одно, которое при самом имени «Испания» заставляет сердце биться сильней, чем обычно. Словно в глаза тебе полыхнул багрянец зари, или знамени, или костра. Иные скажут: забыл корриду. Нет, не забыл. Ее не забудешь, читач и эту книгу. Но я говорю о восприятии Испании, свойственном людям моего поколения.

Испания вошла в нашу жизнь не из учебников географии и истории. Она вошла в нашу жизнь со столбцов газет. Тревожных столбцов, в которых — кровь и свинец.

Мы, молодые люди середины тридцатых годов, глубоко переживали схватку республиканской Испании с фашизмом. Эти события во многом определили нашу жизненную и литературную позицию. Для нас стало честью числить себя в стане антифашистов. Для проверки истинности этой позиции недолго было ждать. За 1936—1939 годами последовали 1941—1945 годы...

Мы услышали мощный, страстный, яркий голос испанской музы: Антонио Мачадо, Мигель Эрнандес, Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти и другие имена, оставшиеся не только в памяти, но и в сердце. Испания в сердце — старое, но не стареющее словосочетание.

Ожили и чудесно зазвучали восьмисложные стихи с постоянным ассонансом через строку — романсеро. Все виды и формы испанской поэзии служили высокой цели — освобождению народа от фашизма.

Вероятно, в ту горячую пору битвы республиканской Испании с фашизмом родилась наша любовь к испанской поэзии на всем историческом ее протяжении. Тогда-то мы заново и по-новому прочитали и Сервантеса, и Лопе де Вегу, и Кальдерона. Тогда-то наша историческая память подсказала нам выстроить в щедрый ряд «испанские мотивы» от Пушкина до Светлова. Тогда-то и много поздней, сейчас, мы оценили вклад, который сделали такие поэты-переводчики, как Эренбург, Савич, Выгодский, Цветаева, Пастернак, Кельин, Тынянова, Румер, Чежегова, Гелескул, Самаев, Талов, Донской, Грушко, Столбов, Самойлов, Васильев, Гончаренко и другие.

Антология «Испанская поэзия в русских переводах» делает этот вклад наглядным, собранным воедино и потому производящим сильное и глубокое впечатление. Книга эта — для длительного чтения, для чтения по частям, по авторам, по отдельным разделам, по отдельным полюбившимся стихотворениям.

Эта книга давно на моем столе. Но я не смею утверждать, что я ее знаю, что я могу объять всю ее целиком. Утверждать такое было бы преувеличением.

Читая книгу, мы блуждаем по землям истории, не покидая земель поэзии. Веянье испанской поэтичности (это несколько шире самой поэзии, самих стихов) мы ощущаем всякое мгновенье. Послушаем Леона Фелипе, поэта нашего века:

Разберите стихи на слова,
Отбросьте бубенчики рифм,
Ритм и размер,
Даже мысли отбросьте.
Провейте слова на ветру.
Если все же останется что-то,
Это
И будет поэзия.

(Перевод В. Столбова)

Открываемая образцами из древнеиспанской лирики, антология дает широкую панораму ее на протяжении двух веков. За романсеро следуют более поздние поэты, некоторые из них представлены русскому читателю впервые. Радостно для него будет познакомиться в более полном объеме, чем прежде, с Беккером, Хименесом, Д. Алонсо, с безымянными авторами. Не менее важно почувствовать в антологии процесс, движение, перетекание мотивов, образов, идей от старших к младшим. Почувствовав это, читатель поймет характер целого — поэзии Испании.

Антологическое хозяйство обширно и, я бы сказал, громоздко. Прежде всего для составителя. Но и для читателя. Антологию нельзя прочитать, как повесть или роман. Это долговременное и многоступенчатое чтение. Чтение с перерывами и возвращением. Чтение с раздумиями и анализом.

Среди многих прочих достоинство книги «Испанская поэзия в русских переводах» — в наглядности самого литературного процесса, а вместе с ним — в наглядности поступательного развития русского стихотворного перевода, достигшего в наше время значительных успехов.

Составитель С. Ф. Гончаренко проявил знание и вкус в отборе материала, в его расположении. Но дело не только в том, чтобы выбрать и предпочесть одни перево-

ды другим, а и в том, чтобы сопоставить их. И сделать это на глазах у читателя.

Так, одна «Песнь пирата» Хосе де Эспронседа дается в четырех переводах (К. Бальмонта, Ю. Дошельмайера, М. Талова, П. Грушко). Так, одно стихотворение Рафаэля Альберти «Vosotros no caisteis» дается в двух переводах («Вы не пали» Д. Выгодского и «Вы не погибли» Д. Самойлова).

Стихотворение «Las rosas» Педро Кальдерона дается в четырех переводах («Сонет» О. Румера, «Сонет» Б. Пастернака, «К розам» П. Грушко, «Розы» Б. Дубина). Все здесь разное. Четыре перевода — четыре точки зрения на оригинал. Четыре его прочтения. Четыре его трактовки. И — что наиболее для меня важно — четыре пути к познанию истины оригинала. И все четыре (при разном к ним моем, читательском, отношении) приближают меня к оригиналу, а вместе с тем показывают разные возможности искусства стихотворного перевода.

Мало вооружиться испано-русским словарем. Следует уловить дух передаваемого и ускользающего от прикосновения иноязычного слова, ускользающего, но столь необходимого в поэтических переложениях.

Перед нами классический сонет. Для сравнения возьму последнее шестистишие (два терцета) в переводе О. Румера:

Проснулись розы утром для цветенья
И расцветают, чтоб увясть навеки.
Лежат в объятьях ночи жертвой тленья

И то же я скажу о человеке:
Он в тот же день — ведь годы лишь мгновенья! —
Едва познав, навек смежает веки.

Весьма полно передается содержание, основная мысль этого сонета Кальдерона. Вероятно, это и продиктовало составителю необходимость помещения перевода О. Румера в основном антологическом своде.

Остальные три перевода помещены в «Приложении».

В переводе П. Грушко:

Очнулись розы, дабы цвесть нетленно
цвели, дабы состариться смиренно:
был колыбелью — склепом стал бутон.

Судьба людей примером их чревата:
мгновенье — от рассвета до заката,
а там — что день, что век—все тот же сон.

В переводе Б. Дубина:

Цветы, вы торопились распуститься
раскрылись утром — ввечеру увяли:
бутон — и колыбель вам, и гробница

О жизнь людская, ты не такова ли:
едва проснемся, как пора проститься,
прошли часы — столетья миновали.

В переводе Б. Пастернака:

Чуть эти розы расцвести успели —
Смотри, как опустились лепестки!
Они нашли могилу в колыбели.

Того не видят люди-чудаки,
Что сроки жизни их заметны еле,
Следы веков, как миги, коротки.

Наиболее ранний из переводов — О. Румера (1949), далее — по времени — идут: Б. Пастернак (1961), П. Грушко (1973), Б. Дубин (1978).

Мне очень нравится концовка перевода П. Грушко («мгновенье — от рассвета до заката, а там — что день, что век — все тот же сон»), концовка перевода Б. Дубина («едва проснемся, как пора проститься, прошли часы — столетья миновали»). И все же меня всего более убедил перевод Б. Пастернака (если не считать выражения «люди-чудаки», явно не по-кальдероновски осовремененного). Меня убедила цельность звучания сонета у Пастернака, его живое единство, нерасчлененное на строфы и строки. Особенно удачной показалась мне ключевая строка: «Они нашли могилу в колыбели». Какой взрыв смысла в этом образе! Как катастрофически сближены понятия! Не последовательность — сперва колыбель, а потом могила (у Грушко — склеп, у Дубина — гробница, у Румера — «жертвы тленья»), а единство противоположностей, выраженное поэтически лапидарно.

Такая возможность — хотя бы бегло сопоставить переводы — дается составителем, и это вполне оправдывает себя. Чтение антологии обретает более глубокий, действенный, творческий характер.

Несмотря на внушительный объем книги (1022 стр.), в ней легко ориентироваться. Надежным компасом служит содержательное и дельное предисловие составителя и комментатора С. Ф. Гончаренко, краткие справки об испанских поэтах, русских поэтах-переводчиках, краткие сведения об испанском стихосложении и поэтическом переводе в России. Желающий узнать — узнает.

Перед нами антология образцов испанской поэзии начиная с перибда Реконкисты и до поэтов первой половины XX века в переводах, которые публиковались в России с 1792 по 1976 год. Таким образом, перед нами образцы работы отечественных поэтов на протяжении двух веков. Большая работа, смысл и значение которой будут раскрываться со временем.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

КНИГА О БЕССМЕРТИИ ПОЭТА

Высокую оценку дает болгарская пресса книге известного болгарского критика Пенчо Данчева «До и после расстрела», посвященной жизни и творчеству Николы Йонкова Вапцарова.

Книгу П. Данчева, подчеркивает газета «Работническо дело», отличает не только глубина критического анализа, но и сознание неповторимости вапцаровской поэзии, острое чувство времени, смелость мысли, стремление преодолеть сложившиеся штампы и неверные представления.

«Пенчо Данчев,— пишет газета,— показывает Вапцарова на суровом фоне эпохи. Его книга борется, воюет за правду о поэте, о его болгарских корнях, о его мировом значении. Словом, она достойно продолжает высокие традиции болгарской марксистско-ленинской критики и литературоведения». Особенно интересны размышления критика о роли новаторства в искусстве, о становлении Вапцарова как человека и художника, о месте Вапцарова в мировой литературе, в частности, сопоставление его с венгерским поэтом Миклошем Радноти.

Не случайно книга Пенчо Данчева удостоена национальной премии имени Вапцарова, учрежденной в связи с юбилеем поэта, который в прошлом году широко отмечался во всем мире.

«ПОЛЕ ЧЕСТИ»

Так назвал Матей Шопкин свой новый сборник стихов, который вышел в Воениздате в Софии под редакцией Д. Ненчева.

Как отмечает рецензент «Пламка» Тодор Янчев, в сборник вошли стихотворения военно-патриотической и гражданской тематики, в основе которых — духовная связь человека с Родиной, землей, историей. «М. Шопкин,— пишет критик,— импульсивный поэт, ему чужды приглушенные тона, поэтому его стремление к пафосу нельзя воспринимать как манерность. В этом особенность поэзии М. Шопкина, своеобразие его поэтического почерка. Строфа М. Шопкина заражает своей искренностью, даже если звучит патетично».

В стихотворении «Знамена», которое является в какой-то мере программным, автор говорит о том, что чувства человека, его прошедшее, настоящее, мечта о будущем находятся в постоянной битве на поле чести. И выстоять в этой битве — долг каждого человека.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В ЛИВЕРПУЛЕ ЧИТАЮТ ЕСЕНИНА

Недавно в Ливерпуле в переводе профессора Джесси Дэвис вышел томик стихов Сергея Есенина.

На снимке: обложка книги «Избранное Сергея Есенина».

На протяжении многих лет Джесси Дэвис изучает творчество поэта, во время поездок в Советский Союз встречается со специалистами по русской и советской поэзии, с близкими Есенина. Во время последнего приезда она посетила редакцию «Иностранной литературы», поделилась своими творческими планами, вспомнила годы второй мировой войны, когда она, тогда еще молодая девушка, следила за событиями на фронтах. Мужество советских людей вызвало у нее чувство восхищения и любви к русской культуре.

ВЕНГРИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КОШУТА

Высшая награда 1980 года Венгерской Народной Республики в области литературы присуждена двум известным венгерским писателям: Ласло Дюрко за разработки революционной темы и Эмилю Грандьерре Коложвари за разработку темы современной жизни.

«Революция и все, что с ней связано, является темой моих повестей, романов, драм, статей уже на протяжении десятка лет,— сказал в одном из интервью Ласло Дюрко.— Но наибольшее развитие она получила в последнем романе «Счастливые похождения доктора Фауста в аду», своего рода «венгерской оптимистической трагедии». В этой книге Ласло Дюрко высказал свое представление о личности революционера; основываясь на современном материале, он рассказал о буднях революции и ее участниках.

В своих работах, как отмечает журнал «Уй тюкор», Дюрко настойчиво проводит мысль о том, что «художественное творчество всецело связано с социальными условиями».

Пятьдесят с лишним лет трудится в литературе дважды лауреат премии Баумгартена, лауреат премии Аттилы Йожефа Эмиль Грандьерре Коложвари. «Всю свою жизнь я больше всего интересовался образом мыслей людей, становлением человеческой личности»,— говорил как-то писатель на страницах журнала «Кортарш».

Через все произведения Коложвари, от первого романа «Гниль» до одной из лучших работ — повести «Капля росы», проходит тема Матери, матери-подвижницы, матери-труженицы.

Проявление индивидуальности в будничной жизни, в отношениях между близкими, внутри семьи — вот лейтмотив всего его творчества. Тонкий психолог, он сталкивает в своих произведениях людей, по-разному обнажающих суть своего «я». Коложвари по праву называют признанным мастером бытовой темы.

Но особая заслуга Коложвари в том, как отмечает критика, что он умеет раздвинуть границы повседневного, поднять обыденное до уровня важных жизненных проблем.

ВЬЕТНАМ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Большой интерес зрителей и критики вызвал новый фильм «Знакомые лица», созданный известным кинорежиссером Чан Ву на Ханойской студии художественных фильмов. В картине затрагиваются многие важные проблемы вьетнамского общества, анализируются негативные явления, в борьбе с которыми утверждается социалистическая мораль.

Тема войны по-прежнему остается главенствующей в творчестве вьетнамских кинематографистов.

Художественная лента «Когда мамы нет дома» поставлена кинорежиссером Нгуен Кхань Зы по одноименной новелле писателя Нгуен Тхи об отважной коммунистке Ут Тить, ее борьбе с американскими интервентами. Авторы фильма сделали основной акцент на молодом поколении, которое призвано было заменить отцов и матерей, заботиться о своих младших братьях и сестрах, помогать старикам.

События недавнего прошлого воскрешаются в новом фильме, снятом в Объединенной киностудии города Хошимина. В основе картины «Когда дует гнилой ветер» (режиссер Хонг Шен)— одноименный роман прозаика Нгуен Куанг Шанга. Автор фильма, снявший до этого немало ярких документальных лент, на этот раз обратился к новому для себя жанру и, как считает вьетнамская критика, создал эпическое полотно, запечатлевшее героическую борьбу населения Южного Вьетнама за свободу и независимость своей страны.

ГДР

ПО РАССКАЗУ РУТ ВЕРНЕР

По мотивам рассказа известной писательницы Рут Вернер «Тетушка Меле» создан телевизионный фильм того же названия (режиссер — Томас Лангхофф).

Действие происходит в Швейцарии в конце 30-х годов. Тетушка Меле воспитывает детей немецкой эмигрантки Мириам, ведущей подпольную антифашистскую борьбу. Сама тетушка Меле выросла в детском доме, жизнь ее была безрадостной, и теперь она как бы обрела семью и смысл своего существования. Любовь к детям заслоняет от нее все, что происходит в мире. Она

На снимке: кадр из фильма «Когда мамы нет дома».

(Газета «Куан дой нян зан»)

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Тетушка Меле».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

не понимает важности того, что делает Мириам, и это ведет к драматическим конфликтам...

Как отмечают рецензенты, Рут Вернер описала в рассказе историю, которую хорошо знала по своей подпольной работе в Швейцарии. Что касается режиссера—сына известного актера, режиссера и театрального деятеля Вольфганга Лангхоффа,— то и его детство тоже прошло в Швейцарии, в эмиграции. «Это была для меня очень трудная работа, она стала частью моей жизни»,— сказал Томас Лангхофф в одном из интервью.

«Большую роль в фильме играет красота природы, ландшафта,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг»,— режиссер использует природу как фон для трагических событий».

«Томас Лангхофф создает видимость идиллии: прекрасная горная местность, хороший уютный дом, приветливые крестьяне. Тем страшнее развиваются события, когда в эту на первый взгляд мирную жизнь вторгаются приметы времени»,— отмечает еженедельник «Зоннтаг».

«Фильм «Тетушка Меле» рассказывает о мрачном времени фашизма и о том, как трудно было сохранить человеческое достоинство»,— пишет газета «Нойес Дойчланд».

ИНДИЯ

НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ

Нынешний год в Индии называют годом Премчанда: прогрессивная общественность отмечает 100-летний юбилей со дня рождения писателя-гуманиста, которого по праву считают основоположником индийской литературы критического реализма. В предъюбилейный год по всей стране проходили собрания, конференции, симпозиумы, в которых принимали участие видные писатели, литературоведы, общественные деятели Индии.

Как сообщает еженедельник КПИ «Нью эйдж», значительным событием в культурной жизни Бомбея явилась постановка инсценированного романа «Жертвенная корова» — основного произведения Премчанда. Инсценировка романа была сделана известным писателем хинди Вишну Прабхакаром и поставлена режиссером Камалакаром Сонтаке. В создании спектакля принимали участие Академия языка и литературы урду и бомбейское отделение Индийской ассоциации прогрессивного театра.

В роли Хори — главного героя «Жертвенной коровы» — выступил известный киноактер А. К. Хангаль, роль его жены Дхании с блеском исполнила Рохини Хаттангади — студентка Национальной школы сценического искусства.

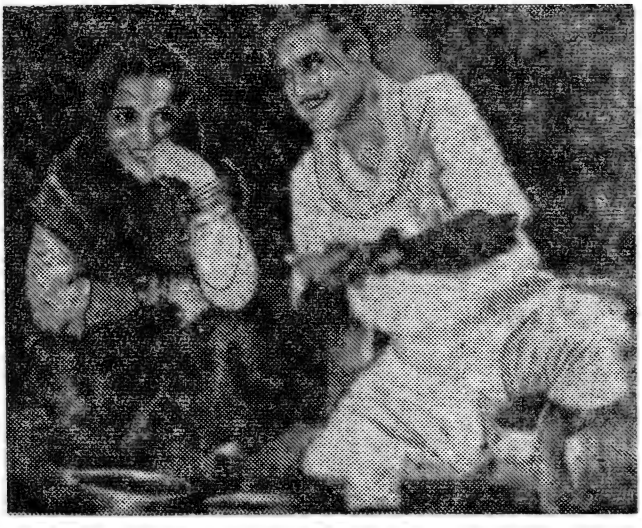
ИТАЛИЯ

УРОКИ «ТРЕХ РАБОЧИХ»

Неаполь без солнца, без чарующих звуков мандолин. Серое небо, загрязненное нефтью море, надоедливо моросящий дождь, грязные лачуги и общественные ночлежки. Таким увидел свой

На снимке: исполнители главных ролей в спектакле «Жертвенная корова» Рохини Хаттангади и А. К. Хангаль.

(Еженедельник «Нью эйдж»)



родной город писатель Карло Бернари, таким его воспроизвел режиссер Франческо Мазелли.

Бернари знаком советскому читателю по своим рассказам, а также по повести «Горькая любовь» (опубликованной в «Иностранной литературе» № 4 за 1979 год, когда в Италии отмечали семидесятилетие писателя). В настоящее время внимание итальянцев приковано к раннему роману Бернари «Трое рабочих», на основе которого создан четырехсерийный телевизионный фильм. Автор его, Франческо Мазелли, ученик Антониони (некоторое время он работал у него ассистентом), в последние годы заявил о себе как создатель острых политических лент; событиями в итальянской кинематографии стали его «Открытое письмо в вечернюю газету» (1970) и «Подозрение» (1975). Любопытно, что действие «Подозрения» — фильма о героической борьбе коммунистов-подпольщиков в период диктатуры Муссолини—происходит в 1934 году, то есть как раз тогда, когда был создан роман «Трое рабочих».

Этот роман повествует о драматической судьбе трех молодых неаполитанцев Теодоро, Анны и Марко, об их ожесточенной борьбе за существование, о трудном становлении их классового сознания накануне и в период первой мировой войны. В заключительных эпизодах действие происходит в конце 1919 года, когда рабочий класс Италии терпит поражение и в Италии ощущается приближение фашизма.

Роман привлек режиссера не только как объективное свидетельство исторического пути итальянского рабочего класса, но прежде всего, по признанию самого Франческо Мазелли, актуальностью поставленных в нем проблем: общество и личность, сознание и политическая борьба. В беседе с корреспондентом «Униты» он отметил, что в книге Бернари широко ставится вопрос о пролетарской солидарности, она интересна новым подходом к вопросам личных взаимоотношений. В романе исследуются причины краха буржуазной демократии в Италии.

В беседе с корреспондентом еженедельника «Эпока» Бернари заявил, что возвращение к этим исследованиям в настоящее время симптоматично, аналогии с тридцатыми годами вызывают тревогу. «Я убежден,— заметил далее писатель,— что сейчас, как и тогда, необходимо хорошенько поразмыслить, где мы допускаем ошибку... Надо вновь изучить урок трех рабочих, чтобы не повторять ошибок, ставших для нас роковыми».

Сценарий телефильма написан Мазелли в содружестве с автором романа и с Энцо Сичилиано. Консультант — видный публицист и историк рабочего движения Паоло Сприано. На главные роли приглашены непрофессиональные актеры Стефано Сантоспаго (Теодоро), Нунция Греко (Анна), Нелло Маша (Марко).

На снимке: кадр из телефильма «Трое рабочих».

(Газета «Унита»)

КАНАДА

МАРГАРЕТ ЛОРЕНС—ДЕТЯМ

Как сообщает рецензент газеты «Торонто стар» Стивен Льюис, писательница Маргарет Лоренс, живущая с 1962 года в Англии, выступила в новом для себя жанре. До недавнего времени она была известна прежде всего как автор романов и рассказов, созданных на африканском материале, прекрасно изученном ею «из первых рук»: Лоренс долгое время жила в Сомали и Гане. Произведения канадской писательницы, обнаруживающие великолепное знание африканской жизни, противоречивых процессов, происходящих на этом континенте, неоднократно удостаивались почетных литературных премий. Помимо этого Лоренс издала в 1954 году антологию сомалийской поэзии и фольклора и является автором исследования, посвященного нигерийской прозе и драматургии 1952—1966 годов.

Ныне М. Лоренс решила попробовать свои силы в детской литературе и, по мнению рецензента, удачно выступила в новой для себя роли. В 1979 году увидели свет две ее книги: «Шесть штопаных коров» (издательство «Лоример»), знакомящая самых маленьких читателей с фермерской жизнью, и «Пальто былых времен» (издательство «Макклелланд энд Стюарт»). Последняя книга заслужила особенно высокую похвалу рецензента, восхищающегося поэтичностью языка писательницы, «его удивительным изяществом, которое не может благотворно не повлиять на ребенка». Лоренс рассказывает детям волшебную сказку о девочке по имени Сол, о ее приключениях, открывающих ей «большой» мир. Обо всем этом писательница поведала легко и непринужденно, касаясь попутно и многих «взрослых» проблем. Как явствует из рецензии, рассказанная Лоренс история является истинно канадской по духу, что выгодно отличает эту книгу от многих других произведений канадской литературы последних лет.

КУБА

КНИГА ЛИРИКИ НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА

Издательство «Унион» выпустило книгу лирики Николаса Гильена «Камерные мелодии». Сборник иллюстрирован художником Альфредо Г. Ростгаардом.

В интервью корреспонденту газеты «Гранма» Николас Гильен рассказал об истории создания книги: «Для большинства читателей сущность моей поэзии определяется преимущественно произведениями, посвященными теме национально-освободительной борьбы и революционных преобразований на Кубе. Однако многим почти неизвестна моя лирика. Вот почему у меня возник замысел книги, которая представит меня читателям в качестве поэта-лирика. В «Камерных мелодиях» собрано 88 небольших по объему, но наиболее значительных, на мой взгляд, произведений этого жанра — баллады, песни, мадригалы, для которых характерны народно-песенная основа, ритмическая созвучность национальным кубинским мелодиям, исполняемым под аккомпанемент гитары и других популярных в нашей стране музыкальных инструментов. Эти произведения, отнюдь не «враждуя» с моей революционной поэзией, по-особому дороги мне: они несут в себе отпечаток моих сокровенных раздумий и чувств, являясь своеобразным итогом пережитого мной. Некоторые из них были написаны для настоящего издания, другие — значительно ранее».

Верность поэта социальной тематике, заметил Николас Гильен, не исключает возможности его творчества в жанре лирики — само противопоставление их принципиально неверно, ибо гражданственность и лиризм, в сущности, неразделимы. Однако непростительно малодушие тех, кто в эпоху социальных перемен, замыкаясь в сугубо интимном мирке собственных переживаний, остается глух к тревогам и чаяниям своего народа. Творчество поэта должно быть сопричастно передовым идеям его времени.

Среди ливийских зрителей большой популярностью пользуются комедии, бичующие общественные пороки и высмеивающие подхалимов, карьеристов, лицемеров, всех, кто мешает строительству новой жизни. Авторы этих комедий нередко заимствуют сюжеты из народных эпических сказаний и арабской классической литературы, приспосабливая их к современности. На сцене театра «Аль-Кашшаф» в Триполи с большим успехом прошла комедия «К вам пришел Антар», поставленная труппой «Арабский театр» из города Бенгази (режиссер пьесы — Абдаль-Хамид аль-Мальти, автор текста — Али аль-Ариби).
На снимке: сцена из пьесы «К вам пришел Антар».
(Журнал «Ас-Сакафа аль-арабийя»)

ЛИВИЯ

«КОГДА ШУМИТ ПУЧИНА»

Вышел новый сборник рассказов известного ливийского писателя Абдаллаха аль-Кувейри «Когда шумит пучина». Автор рисует жизнь простых ливийцев. Ранее им было опубликовано несколько сборников, последний из которых — «Шестьдесят коротких рассказов».

ПОЛЬША

НОВЫЙ ЦИКЛ РОМАНОВ ЕЖИ ПУТРАМЕНТА

«Творчество Ежи Путрамента,— пишет критик Вацлав Садковский,— нельзя рассматривать вне его поразительной по размаху и интенсивности общественной и политической деятельности».

Начав печататься в 1932 году, Путрамент неизменно находится в гуще политической и литературной жизни. В годы второй мировой войны он был одним из организаторов Союза польских патриотов в СССР и Первой армии Войска Польского. После войны — активный участник культурного строительства в Польше. Был послом в Швейцарии, во Франции.

Для его романов, широко известных у него на родине и за рубежом («Действительность», «Сентябрь», «Перепутье», «Ноев ковчег», «Пасынки», «Маловерные», «Вепрь», «Пуща», «Болдын»),

характерны острота проблематики, драматизм конфликтов и динамичность действия. В «Иностранной литературе» печаталась его повесть «20 июля».

Широко известен его мемуарный цикл «Полвека». В нем Путрамент рассказывает о событиях и явлениях, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, он рассказывает о них со своей, глубоко личной точки зрения, рассматривая их сквозь призму собственных переживаний, наблюдений и опыта.

Писатель работает над новым циклом романов под общим названием «Избранники». Первый том, «Бегство», уже издан, сейчас вышел второй том — «Возвращение». «Судьбы Польши и поляков во время второй мировой войны, проблематика, связанная с боями на разных фронтах, необходимость четкого и ясного политического выбора, позиции людей в эпоху «черного поражения», споры о будущем социально-политическом устройстве — все это вечно живые темы польской литературы,— пишет Я. Термер в газете «Трибуна люду».— Эти темы отражает и творчество Ежи Путрамента, что очевидно во втором романе «Возвращение». В этом романе показаны судьбы поляков, которые оказались в годы второй мировой войны в Советском Союзе. В нем рассказывается о формировании Первой дивизии им. Тадеуша Костюшко, об ее участии в битве под Ленино, в освобождении Польши, о формировании Первой армии Войска Польского. «Путрамента меньше всего увлекают батальные описания, его интересуют,— пишет Я. Термер,— прежде всего люди с их трудными и сложными проблемами. Путраменту не свойственны публицистические упрощения, он верен своей манере в создании острого психологического рисунка. Если судить по новой книге,— заключает критик,— цикл романов «Избранники» может стать настоящей эпопеей».

С большой рецензией на новую книгу Е. Путрамента «Возвращение» выступил в «Жице литерацке» Т. Жулчинский.

«Возвращение» Е. Путрамента еще раз подтверждает тот тезис, что все творчество писателя неразрывно связано с судьбами его поколения. Для него это — недавнее прошлое, события которого он оценивает с позиций сегодняшнего дня. Рассказ об исторических событиях помогает дать ответ на многие вопросы современности...

В описании событий под Ленино Путрамент не стремится документально еще раз воспроизвести события, хорошо известные по мемуарам и историческим исследованиям, главное для него — воссоздать атмосферу тех дней. Его главный герой и тысячи ему подобных рвались в бой, стремясь отомстить за «дни поражения». Разумеется, они не сознавали, что открывают первые страницы новой истории Польши, на наших глазах превращаясь в героев этой истории.

РУМЫНИЯ

«СВИДЕТЕЛЬСТВА»

Издательство «Картя ромыняскэ» выпустила антологию литературных и политических эссе крупнейших румынских писателей XX века, озаглавленную «Свидетельства». Как отмечает рецензент журнала «Ромыния литерарэ» В. Бэран, в антологии, составленной поэтом и литературоведом Эм. Ма-

---

Как уже сообщалось («ИЛ» № 5 за 1979 г.), Анджей Вайда поставил в Старом театре в Кракове спектакль «С течением лет, с течением дней», который шел почти восемь часов и стал событием сезона. Сейчас Анджей Вайда перенес спектакль на голубой экран, что расширило возможности съемок, позволило выйти с камерой в город, снимать старинные дома, интерьеры. К реализации фильма в качестве помощников-постановщиков Вайда привлек оператора фильма Эдварда Клосинского, выдающегося мастера операторского искусства, и актрису Анну Полоны.
На снимке: кадр из телевизионного фильма «С течением лет, с течением дней».

(Журнал «Театр»)

ну, собраны высказывания художников слова Румынии на самые животрепещущие темы нашего столетия. Значение книги прежде всего в том, что она свидетельствует о благотворном влиянии марксизма на мировоззрение многих выдающихся румынских деятелей культуры в довоенную пору и в период строительства социализма.

В этой перекличке писательских поколений, продолжает рецензент, слышны и голоса тех, кто в первые годы после образования коммунистической партии в Румынии выступал в защиту завоеваний Великой Октябрьской революции (Г. Галактион, Н. Д. Коча), и тех, кто позднее беспощадными памфлетами громил фашизм (М. Садовяну, Т. Аргези), кто разоблачал политику господствующих классов в буржуазно-помещичьей Румынии (Ал. Сахия, Дж. Богза). С большой убедительностью звучат обращенные к писателям новой Румынии призывы крупнейших художников слова активно участвовать в строительстве социализма (Дж. Кэлинеску), утверждать в литературе реалистический метод (Д. Р. Попеску), видеть в настоящем будущее обновленной родины (Н. Стэнеску).

ФРГ

«НЕДОБРАЯ ПЕСНЬ О СМЕРТИ»

Под таким заголовком западногерманский еженедельник «Ди цайт» помещает обзор ряда книг о минувшей войне, которые обильно стали появляться в последнее время на прилавках книжных магазинов.

«Книги о войне опять стали очень популярными, — констатирует автор обзора Гизела Ульрих.—На обложках — фотографии: бомбардировщики летят к своим целям, танки катятся навстречу врагу, рекламные тексты обещают захватывающие приключения». В условиях возрастания агрессивных тенденций и активности неонацистов, а также все еще распространенного непонимания опасности гонки вооружений, пишет «Ди цайт», нельзя «недооценивать воздействие такого рода чтения».

В обзоре подробно анализируется ряд книг на военную тему, выпускаемых штутгартским издательством «Моторбух». Издательство старательно подчеркивает «объективность» и «документальность» своих публикаций. Действительно, на страницах этих книг можно встретить «и критику национал-социалистского руководства, и трезвое признание больших потерь, и информацию об ошибочных решениях». Однако в целом все эти публикации являются пропагандой милитаристских идей. В них «восхваляется легендарная слава германского вермахта, превозносятся «солдаты-герои», война изображается искаженно, как явление, истоки которого коренятся в самой природе человека... Явно или неявно здесь постоянно возникает вопрос о том, какое оружие, когда и как надо применить, чтобы в следующий раз выиграть войну. Ни разу я не встретила в этих книгах вопроса, как ее избежать», — заключает Гизела Ульрих.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ,** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

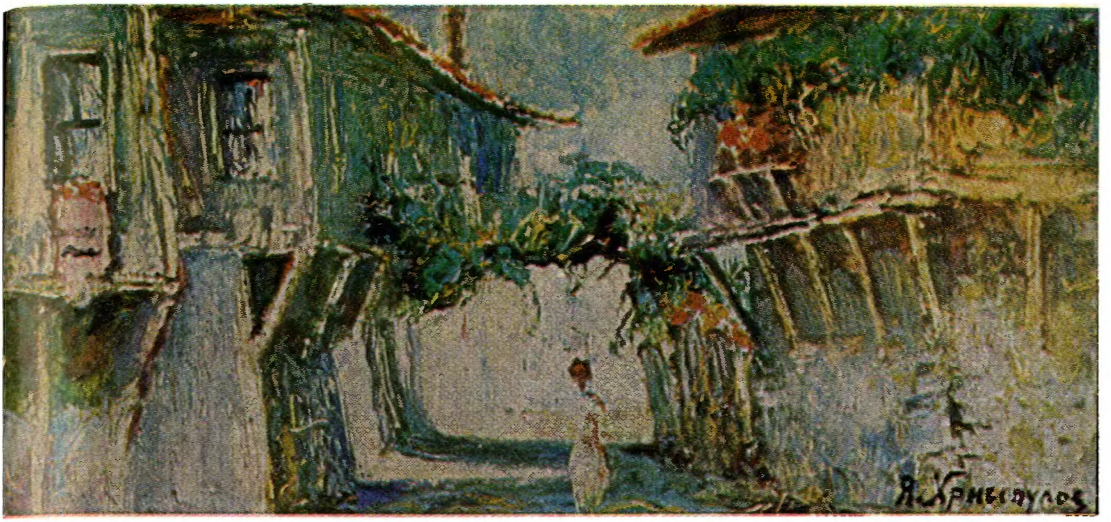
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 7/V 1980 г. А 11093. Подписано в печать 17/VI 1980 г.
Бумага 70×108 1/16. 17 п. л. (23,8) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 23,18.

Тираж 480.000 экз. (2-й завод 200.001—480.000 экз.).

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев-6, ул. Анри Барбюса», 51/2. Зак. 02928.



Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394